

ISSN 0130-7673

ЖУРНАЛЫ И
МИР

2

ЖУРНАЛЫ И
МИР

2

1984

1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БОРИС ОЛЕЙНИК — Родная земля, стихи. Перевел с украинского Лев Смирнов	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Книга четвертая	7
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Новые стихи	93
ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ — Небо, повесть	96
ПЕРЕКЛИЧКА — Юрий Беличенко, Александр Бобров, Зиновий Вальшонок, Вадим Попов, А. Данилевская, Иван Панкеев. Стихи	142

ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием. Окончание	150
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. ШЕШИН — Сестра декабриста	186
------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ — Действенность художественных открытий	202
Л. АННИНСКИЙ — Ржаной хлеб летописца	213

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	226
Рафаэль Мустафия. Биография духа.	
А. Михайлов. Движение таланта.	
Вл. Костров. Смысла живая основа.	
В. Турбин. Обретение дома.	
Б. Руния. К вопросу о подлинности притворства.	
О. Алякринский. «Копни поглубже человеческую природу...».	
<i>Политика и наука</i>	
	246
Александр Никитин. «Жить, как все, а работать вдвойне».	
Е. Зайцев. Эпилог с продолжением.	
П. Батов. Народный герой.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	254
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ф. Сетин. — Е. Долматовский. Зеленая брама. ✦	
Лидия Мешкова. — Валерия Перуанская. Зимние каникулы. Повести. ✦	
А. Белорусец. — Николай Амосов. Книга о счастье и несчастьях. ✦	
Лев Разгон. — Ст. Рассадин. Круг зрения. Беседы об искусстве. ✦	
В. Селезнев. — Г. А. Шахов. Игорь Ильинский. ✦	
Т. Балашова. — Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. ✦	
Р. Баландин. — Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своем искусстве	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

БОРИС ОЛЕЙНИК

★

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

С украинского

* * *

Альфою и омегою, зыбкою и мавзолеем,
Земля, ты была и будешь, — и вера моя тверда.
Собственные планетки лепят жуки-скараabei...
Я не из них! От тебя пошел я и в тебя вернусь навсегда!
Как я метался! Пекло и рай себе выдумал.
Так не хотелось — в ничто! Молился в ночи...
Но, Земля, в тебя поколений ушло видимо-невидимо,
Только никто назад не вернется, хоть криком кричи!
Мы проносили грома над твоими пашнями,
Штыками кололи тебя, свинцом поливали... А ты
Брала к себе, словно мать, солдат и маршалов
Под обелиски, под холмики и под кресты.
Тихая моя. Скорбная моя и великая.
Что я без тебя? Так себе — серый субъект.
Вон журавли — небесам хвалу накурлыкали,
А на земле по весне вьют гнезда себе.
О, среди нас было столько орлов, что шатали
Небо, как будто стреху деревенской избы, —
Но и они у материнских могил рыдали,
Крылья свои уронив на святые гробы.
Родная моя! Живу, в лоне твоём зачатый
В ночь на Ивана Купалу, у папоротникова куста.
Вербы вздыхают. Вишни дрожат, как девчата,
Когда их парубки жарко целуют в уста.
Вот я на миг застыл в борозде, как ребенок.
Рана тепла еще, стебли бессильно торчат.
Плугом искромсаны, нервы корней оголенных
Белою болью безмолвно кричат.
Матерь! Тебе на рану я не насыплю соли,
Для исцеленья принес я золотое зерно.
В муках незримых из материнской боли
Пусть превратится в колос надежды оно!
Вот я коснулся нетронутых губ троянды,
Вот на червя наступил и обжегся крапивой во рву...
Святая моя! Послушай! Я не безгрешный ангел.
Часто с зерном хорошим поганую сеял траву.
Ты все от меня стерпела; и с улыбкой своей печальной
Баюкала моих ребятишек под крик петухов.
Земля моя! В твоей чистоте пасхальной
Я очищался от всех своих смертных грехов.
Альфою и омегою, зыбкою и мавзолеем,
Земля, ты была и будешь, — и вера моя тверда.

Собственные планетки лепят жуки-скарабеи...
 Я не из них! От тебя пошел я и в тебя вернусь навсегда!
 Да, я вернусь! И буду мчаться степями,
 Покуда в детях как эхо будет звучать мой род.
 В генах, в крови неистребимая Память
 К внукам и правнукам перейдет.
 После снегов и буранов трава и деревья эти
 Весной опять пробуждаются от долгого сна,
 И кровь давно погребенных, живших до нас на свете,
 Венчает калину и знамя. На вечные времена!

К проблеме добра и зла

Где только я не бродил эти тысячи лет!
 Сколько забылось? Забудется сколько? Не знаю...
 Кровь зацветала на льду, словно маковый цвет,
 Тяжко на грудь мою падала воронов стая.

Вел меня кто-то сквозь холод заброшенных сел.
 Кладбища станций... Глазницы оконных провалов...
 Лики и лица... Поземка — как едкая соль...
 Все это в памяти где-то навеки пропало.

Кто ж меня бросил в степную холодную синь?
 Кто? Позабыл я... Лишь врезалось в память навечно:
 Страх одиночества, славы посмертной польнь,
 Коршун, над жертвой чертящий круги бесконечно.

Все позабылось, размытое ливнями дней, —
 Только тавро на пергаменте доли былинной:
 Выстрел, как молния, из-за трусливых плетней,
 Рана жестокая в нежной коре тополиной.

Даты безликие белый унес снеговей,
 Крики угрозы расплзлись по чащобам забвенья.
 Только один с остановленной пулей моей
 Светит мне тополь свечою Судьбы и Спасенья.

Дав ему имя (без имени нету добра!),
 Тайну его стерегу я, как он — мою пулю.
 Небом укрыл, опоясал разливом Днепра,
 В крону его поселил, словно память, зозулю.

Дальше иду... То людей бесконечная цепь,
 То привиденья столбов, проходящих по полю.
 Станций каких-то названья... Уже и не помню.
 Поезд продрогший умчался в забытую степь.

Бил меня ветер, и пели мне вьюги окрест.
 Где ж? На каком это было разъезде?... Забыто.
 Но не забыто: под звездною сенью зенита
 В благословении поднят тополем перст.

Дал ему имя (без имени нету добра!).
 Светит мне символом дома, надежды, отчизны.
 Вечно иду к нему — словно на суд своей жизни.
 Вижу в очах его синюю думу Днепра!

Как ни кружило б меня колесо бытия,
 Как бы ни ранилось сердце тоской и обидой —

Все ж возвращаюсь я, словно на круги своя,
К тайне великой, у тополя в сердце сокрытой!

Пуля свинцовая, хоть она с виду мала,
Будет терзать меня тем, что в ее сердцевине
Прячется чье-то — людское, конкретное — имя,
Ибо без имени нет на земле нашей зла!

Ивану Франко

Покропи меня, дождичек, тихо меня покروпи.
Может, вырасту терном... ромашкою. Но — не осотом.
Просмоли до суровости пряжу житейской тропы,
Чтоб вовек не рвалась, словно нить меж Франком и народом.

...Желтый лист покружил и, увядший, на плечи упал.
Превратился в сонет. А в сонете — в начало соцветий.
Тайна тайн — зарождение духа в глубинах столетий.
Воскрешение времени — в слове, начале начал.

Щедрый дождь — на посевы. И тишь — словно мудрая речь.
На ветвях светят капли, как слезы любви на ресницах.
Честно жил ты, Иван. Тень за плугом твоя — на страницах.
Нам не только собрать — нам еще выпал жребий сберець

Для посевов грядущих зерно, что ценней янтаря.
Тихо падает дождь, как твое сокровенное слово.
И душа хлебороба для трудного дела готова.
Поле ждет человека. И в слове играет заря.

...Покропи меня, дождичек, тихо меня покропи.
Может, вырасту терном... ромашкою. Но — не осотом.
Просмоли до суровости пряжу житейской тропы,
Чтоб вовек не рвалась, словно нить меж Франком и народом.

Ода музыке

И цвет звезды, и стон ветлы всклокоченной,
И гул небесный, и немой туман —
Все, все вокруг в мелодии законченной
Звучит для человека, как орган.

Все, все на свете неземными узами —
Чабрец со снегом, журавля с тоской —
Роднит благословляющая музыка, —
Хорал земли и неба голубой.

О муза муз, и вещая и мудрая,
Нас, как роса живая, омой,
И опускай на землю многотрудную,
И в поднебесье духа устремляй!

* * *

Как сквозь облачную дрему
Распахнется вышина —
Золотым по голубому
Напишу тебе: «Весна».

Как с теплом к родному дому
Журавли вернутся вновь —
Голубым по золотому
Напишу тебе: «Любовь».

Как скользнет по окоему
Звездной полночи ладья —
Голубым по голубому
Напишу тебе: «Моя».

К проблеме времени

Диптих

I

Все долги мы привыкли откладывать с вами на завтра:
«Отдадим, будет время! Еще не настала пора!»
А когда ненароком вдруг взглянем на круг циферблата,
Убиваемся горько: «Ну чтоб спохватиться вчера!»

Встретил я старика, на веку повидавшего много.
«Прочитай по ладони...» И мудрый сказал: «Не беда.
Вон за линией этуя дальняя вьется дорога».
«А когда ж... снаряжаться?» «Не скажет никто никогда».

Головая моя свесилась в плаче, в тоске лебединой.
А мудрец мне: «Я правду из тьмы вековой добывал
Не затем, чтобы ты убивался над горькой судьбиной,
А — чтоб делал добро, чтобы времени зря не терял!»

II

Коль выпал жребий: добрые одни
Творить дела, а полдень — на исходе, —
Помолимся и солнцу и природе,
Чтоб миги наши удлинлись в дни.

Когда ж душою (боже сохрани!)
Вдруг завладеет зло, а жизнь — в расцвете,
Помолимся и небу и планете,
Чтоб в миги превратились наши дни!

Перевел ЛЕВ СМИРНОВ.



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ

Роман

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ*

Часть первая

I

До начала нового, 1967 года, оставалось чуть больше двух недель.

По Москве уже были открыты елочные базары, и всюду в толпах людей чувствовалось праздничное настроение. Завершался год — тот условный виток жизни, какой люди сами определили для себя. С точки зрения государственной виток этот представлялся успешным. Казалось, что поставлена была еще одна веха в истории, по которой будущие поколения смогут судить о величии свершенных дел. Но хотя экономика, как и положено ей, продвинулась еще на шаг к общему благополучию, благополучие это, разделенное на миллионы частей, было так незначительно, что с точки зрения отдельной семьи не замечалось и не воспринималось, и жизнь людей с их беспокойством и поисками выхода из того положения, в каком оказывались они и в плане личном и в плане общественном, с их разочарованиями, радостью, любовью, ненавистью, желаниями карьеры и славы, — жизнь эта, не подходившая ни под какие условные измерения, была и в канун Нового года точно такой же, какой была и в начале, и в середине лета, и год, и два, и десять лет назад. Компас общественного беспокойства продолжал показывать в сторону деревни, но в поисках разрешения деревенского вопроса вместо одних, правильных путей выбирались другие, словно и в самом деле не было в стране людей, способных реалистически взглянуть на дело; интеллигенция, та, определенного положения, обретавшая влияние, которой казалось, что решение всего и вся зависит от поднятия «национального духа», старалась поднимать этот дух главным образом в себе, потому что на другие дела нужны были иные, более серьезные усилия, а народ — то есть те простые люди, для которых, как для Павла Лукьянова или Парфена Калинкина, жизнь была не предметом исследования, а тем, что были о н и с а м и, — народ был поглощен заботами о труде и воспитании, из которых всегда складывалась и будет складываться основа общей жизни.

Несмотря на то, что в Москве Лукину дали ясно понять после его выступления в Кремлевском Дворце съездов по поводу зеленолужского эксперимента, что существует общепринятый принцип хо-

* Предыдущие книги печатались в «Новом мире»: первая — 1975 год, №№ 4—6; вторая — 1979 год, №№ 1—2; третья — 1981 год, №№ 1—2.

зайствований, отступать от которого не положено никому; несмотря, главное, на то, что он вроде бы согласился, будто эксперимент открывал некую дверь для личного обогащения,— в Мценске, когда все нерешенные деревенские проблемы опять окружили его и он опять столкнулся с тем, что нельзя было уже решить только залатыванием старого, как делалось прежде, а требовало обновленного подхода ко многим не оправдывавшим теперь себя формам жизни, он постепенно начал приходить к мысли, что в отдельных кабинетах на Старой площади, видимо, не совсем правильно поняли его, надо найти способ вернуться к разговору о семейно-звеньевом закреплении земли. «Та же техника, те же удобрения и на том же поле, но делали все как будто другие руки,— вновь просматривая результаты эксперимента, думал Лукин. — Ну и что, что Сошниковы заработали больше? Они больше сдали зерна, себестоимость которого ниже общеколхозной, так что же тут плохого? Выгодно ли это государству или невыгодно — вот как следует ставить вопрос, и при чем тут отступление от общепринятого принципа?» — продолжал он. В его представлении все это выглядело как замена одних колес в обычной деревенской телеге другими, более надежными и современными.

Но в то время как пример для сравнения, который он брал, был настолько очевиден, что не было нужды пояснять его, в деле с экспериментом все обстояло сложнее и требовало, он видел, теоретических обоснований; и он, несмотря на занятость партийными делами, которых в райкоме всегда уйма, приступил к поискам этих необходимых теоретических обоснований.

Прежде всего он обратился к общественному мнению, которое формировалось более не вокруг вопросов деревенской жизни, а вокруг брошюр, статей и очерков по деревенским проблемам, и обнаружил лишь, что ничего полезного для решения дела, которым он занимался, взять из них нельзя. Когда он читал их, ему даже казалось, что он только запутывался в том, что до этого ясно представлял себе. Он увидел, что о нравственной привязанности человека к земле наряду с добрыми, полезными наблюдениями некоторые писали не потому, что понимали что-либо в этом деле (понимали и чувствовали современную деревню), а потому, что писательство подобное иногда приносило успех; он увидел, что по некомпетентности многих авторов, а иногда и по скрытому умыслу настолько искажались история и перспектива будущего (для блага будто бы того народа, о котором эти авторы пеклись, отгораживая его, если прямо взглянуть на дело, еще на столетия от этого блага), что в пору было не только распускать колхозы, но и рушить кирпичные дома и линии электропередач и возвращаться в полутемные, с лучинами и свечами избы. Все это было странно, и Лукин, разочаровавшись в подобного рода публикациях («в общественном мнении», как иногда подавалось это), решил съездить к руководителям хозяйств, в том числе и к Парфену Калининку, в которых он чувствовал силу и к которым прислушивался. Но из разговоров с ними он, к удивлению своему, сделал вывод, что они понимали все, были сторонниками эксперимента, но тоже не умели доступно, как деревенский человек испокон веку говорил о своем деле, объяснить, что они понимали; они выражали только озабоченность делами в сельском хозяйстве. Парфен Калинин, на которого Лукин надеялся больше всего, отделался лишь некоей притчей о колобке. «Пустили колобок с горы, и он катится. Но он вечно катиться не может»,— было в притче, и утверждение это, приложимое не только к сельскому хозяйству, но ко всякому делу, Лукин чувствовал, нельзя было не признать верным. «Колобок должен катиться,— думал он.— Но для этого надо, чтобы скорость его движения зависела не от крутизны или покатоности дороги, а от силы, постоянно действующей в самом колобке». Что отчасти, думал Лукин, и достигалось зеленолужским экспериментом.

II

Не найдя нужного объяснения там, где положено было находиться ему (при условии, разумеется, если бы так называемое общественное мнение выражало истину, а сельские вожаки, к которым обратился Лукин, не тяготились бы грузом прошлого), он неожиданно нашел это объяснение в другом месте, где меньше всего можно было ожидать его.

Будучи в очередной поездке в Орле, он зашел к Зиновию Федоровичу Хохлякову, и уважаемый народный судья, любивший на досуге, дома, пофилософствовать, вернее, поиронизировать над общим состоянием жизни, словно он был не участником ее, а лишь наблюдателем, сейчас же, как делал это всегда, втянул Лукина в открытый разговор, в котором Лукину (по прямоте его суждений) отводилась роль защищаемого, а Зиновию — нападающего. Нападая же, то есть иронизируя над горячностью Лукина, Зиновий сам иногда впадал в ту же горячность.

В тот вечер, как, впрочем, и во многие предыдущие вечера, разговор шел о сельском хозяйстве вообще, о земле и притче зеленолужского председателя о колобке, которую Лукин пересказал Зиновию.

— Умен твой Калинин,— заметил Зиновий.— А знаешь, что он хотел сказать этим? Что из кабинетов можно управлять только деревней, но не землей. Не землей,— подтвердил он, что для него было фразой, опровергавшей собеседника, а для Лукина — мыслью, возбуждавшей интерес.

— Я думаю, это не Калинин, это ты говоришь,— возразил Лукин.

— Я?..— Зиновий усмехнулся.— Ну, я бы сказал другое. Я бы сказал, что мы...— Он на минуту остановился, как бы желая подчеркнуть, что его «мы» еще не означает, что он готов причислить себя к тем, к кому он относит Лукина.— Что мы,— снова начал он,— в своих заботах о сельском хозяйстве люди далеко не бескорыстные. Ведь мы заботимся не о том, чтобы деревне жилось лучше, а о том, чтобы самим не остаться без хлеба, молока и мяса. Себе стелим под ноги ковровую дорожку.

— Положим, не себе и не ковровую,— опять возразил Лукин.— Мы работаем на единый общегосударственный стол жизни.

— На котором нет еще нужного изобилия.

— Это с какой стороны посмотреть.

— С любой.

— С любой так с любой, что ж, так ли уж бедна наша деревня? Или так уж беден город? Нам не надо вытягивать крестьян из нищеты, как в прошлом веке, времена те прошли. Перед нами другая задача — как прокормить страну, продовольственная проблема в целом, и вопрос о пользовании землей, конечно же, в этих условиях вопрос не праздный.

— А по-моему, так: сколько живет человечество, столько и спорит о земле. Скажешь почему? Да потому, что не в споре, а в самой сути вопроса заложены две противоборствующие силы: собственность рождает инициативу, а единолично владеть землей нельзя. Мы хотим, чтобы по одной колее сразу и параллельно двигались два поезда, а возможно ли это? — многозначительно спросил он. И тут же, не давая ответить Лукину, принялся развивать перед ним эту не раз уже высказывавшуюся им мысль, в которой важно было не то, что она отражала правду, а что не просто было опровергнуть ее.— Такова диалектика, Афанасич, и мы перед ней бессильны. Почитай хотя бы Толстого Льва, Льва Николаевича.

— Ты имеешь в виду Левина с его исканиями?

— Нет. «Воскресение» — вот исследование земельного вопроса. И не с философских точек зрения, а с точки зрения мужика, с точки зрения, если хочешь, естественности жизни,— продолжил Зиновий, давно усвоивший себе, что лучшим доказательством во всяком споре было обращение к естественности жизни. Лукин плохо помнил содержание романа, и Зиновий, почувствовав это, принялся высказывать ему не столько толстовские, сколько свои предположения и выводы, которые основывались у него не на действительном положении вещей, а на скептическом, чего он не скрывал от Лукина, взгляде на жизнь. Он чувствовал себя как бы оттесненным от того пульта, с которого направлялась жизнь и где он должен был, как он думал, быть, и по той логике, что если нельзя управлять сверху, то надо действовать снизу, считал нужным осуждать все, что принималось другими. В этот вечер, после неудачно проведенного разбирательства в суде, он озадачивал Лукина неожиданностью суждений.

Но Лукин, простившись с уважаемым народным судьей, почти тут же забыл и о разговоре с ним и лишь спустя несколько дней, прохаживаясь дома вдоль шкафов с книгами, приобретавшимися Зиной (по модному поветрию — каждой семье собственную библиотеку!), невольно задержался взглядом на собрании сочинений Л. Н. Толстого. Достав том, в котором было «Воскресение», он сел в кресло возле торшера и хотел было просто полистать его. Он не думал, чтобы из того прошлого, о чем была книга, можно было извлечь хоть что-то полезное для решения современных проблем деревни. Но, открыв ее на середине, в том месте, где Толстой (устаи Нехлюдова) рассуждал о земельном вопросе, Лукин с изумлением увидел, что рассуждения великого писателя вовсе не были архаичными. «Надо перечитать все»,— решил про себя Лукин и, оставив, к неудовольствию Зиной, ее с детьми и телевизора, ушел в кабинет с томом Толстого. Он просидел за книгой почти до полуночи, выписывая поразившие его места, в которых говорилось о возможных вариантах общественного пользования землей; и чем глубже вникал в мысли Толстого, тем яснее проступала перед ним истина, которую он искал. «Вот тебе и Зиновий, вот тебе и Толстой»,— уже ложась спать, говорил он, соединив несоединимое.

Несколько дней затем он ходил под впечатлением этого открытия, в котором все было как будто не столько ново, сколько просто и ясно; так просто и ясно, что Лукин, не веря себе, вновь и вновь обращался к «Воскресению» и мыслям (по земельному вопросу), изложенным в нем. Мысли эти, сконцентрированные вокруг двух противоборствующих утверждений, были следующие: одна о том, что «земля... не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа», потому что всегда найдется предприимчивый человек, который начнет скупать ее, обездоливая других, и вторая о том, что будто бы «право собственности прирожденно человеку» и что «без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли». Вывод же из этих утверждений был только тот, что в земельном вопросе всегда, во все времена действовали эти две взаимосвязанные и взаимоотталкивающие друг друга силы, с которыми нельзя было не считаться. Но Лукин видел, что признано и осуществлено было революцией только первое положение, что «земля не должна быть ничьей собственностью», и отвергнуто (что он и считал теперь ошибочным) второе как не имеющее будто бы корней в крестьянской жизни, что «без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли». «Мы взяли за одну сторону и хотим поднять всю проблему,— рассуждал он.— Но время показывает, что у проблемы есть и другая сторона, за которую тоже надо браться». И он задавал себе вопрос, что не отсюда ли как раз та нерадивость в народе, то небрежение, которое заметно не только по отношению к земле — пашет, выворачивает с пластом гли-

ну и не обернется,— но ко всему, что, называясь своим, составляет общественное: скот ли некормленный на ферме, до которого нет никому дела, сено ли, мокнувшее в разворошенном стогу, на что все смотрят, и никому в голову не приходит взять вилы и подобрать колхозное добро, трактора ли, сеялки или комбайны, ржавеющие под сугробами талого снега (картина, не раз наблюдавшаяся Лукиным). «Видимо, нельзя было отбрасывать, а надо было изучить действие этой силы,— продолжал рассуждать он.— Видимо, изъев одни дружины, надо было заменить их другими и столь же действенными, чтобы они служили нынешним государственным интересам». И ему казалось, что зеленолужский эксперимент как раз и был той новой пружиной, которая, исключив право на собственность, то есть на возможность обогащения и скупки земли, в полной мере могла бы воздействовать на нравственные силы в деревенском человеке, которые во все времена привязывали его к земле. «Земля колхозная,— думал Лукин.— Председатель колхоза — хозяин общему делу (хотя выражение это «хозяин общему делу» было выражением Парфена Калинкина, но Лукин употреблял его теперь как свое), а поле, то пахотное поле, на котором родится хлеб, передано в одни надежные руки — семейному звену на правах хозрасчета. Семья кормится с этого поля, именно кормится, так должно быть поставлено дело. Благополучие ее должно зависеть от вложенного труда и прилежания, как на своем приусадебном участке, и в чем же здесь отклонение от общепринятого принципа хозяйствования?» — спрашивал себя Лукин, не только не находя этого отклонения, но видя лишь, что открываются новые возможности в общепринятых рамках. По поводу же так называемого общественного беспокойства вокруг проблем деревни у него сложилось теперь мнение, что будто повторялась в наши дни известная ошибка девятнадцатого века, замеченная Толстым. Лукин брал признание Нехлюдова, в котором говорилось, что «в ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его, только не о том одном несомненном средстве, которое наверное поднимает народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю», и, заменив в этом признании одни понятия на другие, приносил его примерно следующим образом: «В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о продовольственной проблеме страны и средствах поднятия на еще более высший уровень сельского хозяйства, только не о том одном несомненном средстве, которое наверное изменит к лучшему все положение дел и состоит в том, чтобы провести закрепление земель за семейными звеньями и восстановить таким образом во многом разорванную сейчас связь человека с землей».

III

Придя к этому очевидному как будто выводу, в котором все представлялось неоспоримым Лукину, он, отключившись на время от райкомовских дел, составил пространную, с изложением всех теоретических обоснований записку, которую собирался сперва показать в областном комитете партии, затем в Москве в той комнате на Старой площади, где однажды уже принимали его и должны были помнить и где он надеялся теперь убедить всех в целесообразности продолжить эксперимент. «Решено будет многое,— думал он.— Во всяком случае, восстановится утраченное деревенским человеком чувство хозяина». Он был удовлетворен тем, что сделал, и находился в приподнятом настроении еще и потому, что завершение работы над запиской совпало с другим важным для него событием — ему исполнилось сорок лет, и в доме по этому поводу решено было собрать гостей. Лукин поехал в Орел как раз в канун своего сорокалетия —

1 декабря — и вечером должен был вернуться; но, как это и бывает, когда торопишься, его смогли принять только на следующий день, и он сразу же после разговора с руководством обкома выехал домой, чтобы успеть к торжеству.

В доме же с утра в этот день шла суета, без которой не обходится ни один праздник. Помочь Зине пришли родственники. В Мценске их объявилось теперь по мужу столько, что невозможно было запомнить всех. Это были двоюродные, троюродные и в прочих степенях сестры, племянники и племянницы. Они ничего как будто не ждали от своего пробившегося в начальство Ивана, как они между собой называли Лукина, а хотели только угодить Зине. И особенно, казалось, усердствовали в этом жена и незамужние (в возрасте) дочери Ильи Никаноровича, главного родственника Лукина, одну из которых звали торжественно Анной, другую столь же торжественно — Катериной, словно в том уже, как звучали их имена, должно было просматриваться что-то. Дочери вместе с матерью, с которой они поминутно ссорились, так взялись за дело, что Зина вскоре была оттеснена и от кухни и от гостиной, где накрывали стол; ей не давали ни к чему притронуться, и она лишь ходила, смотрела и уставала от этого больше, чем если бы работала.

В середине дня незвано примчалась из Орла Настя, тоже почему-то решившая, что ей надо поздравить своего именитого и строгого по ее понятиям зятя, и с появлением ее не то чтобы прибавилось в доме помощниц, но прибавилось той бестолковой толкотни, которая неизбежно возникает, когда у плиты или духовки скапливается несколько хозяек. Объявив, что она лучше других знает, как по-современному принять гостей (что было видно по ее укороченному яркому платью и туфлям с пробковыми каблуками, в которых она щеголяла), она старалась научить работающих женщин тому, что они умели лучше ее; веселый и шумный голос ее слышался то на кухне, то возле накрывавшегося стола, и в самый разгар этой ее деятельности в гостиную вошел Лукин, возвратившийся из поездки.

Поздоровавшись и неприятно поморщившись от вида Насти, которую он недолюбливал теперь уже за то, что она была свидетельницей его семейной ссоры, он прошел в кабинет и, похрустывая от неудовольствия пальцами, остановился у стола с цветами в хрустальной вазе. Цветы были срезаны утром и выглядели еще свежими, но Лукин только с холодностью, как он относился ко всякой условности, оглядел их и, услышав за спиной звуки шагов, обернулся на них. Это Зина спешила к нему. Но ее еще не было видно, и пока она подходила к двери, Лукин продолжал думать о деле, которое всю дорогу от Орла до Мценска занимало его. Он не получил от обкома ясности, какой ожидал, и как ни был убежден в своей правоте, как ни казалось ему, что изложенное в записке не сможет никого оставить равнодушным, испытывал чувство, подобное тому, как если бы вдруг перестал ощущать под ногами твердую почву. Но ему не хотелось верить в это, и, пока ехал в машине, заставлял себя надеяться на лучшее. Дома же, теперь, все неопределенное и по семейной и по служебной линиям опять открылось ему. В отношениях его с Зиной хотя и считалось, что было улажено все, но он чувствовал, что размолвка, в которой он был виноват, еще не забылась ни им, ни ею, и семейная жизнь его от этого была, в сущности, не жизнью, а лишь постоянным заглаживанием вины. Он особенно понял это, когда увидел в гостиной Настю (на которую и теперь, хотя ее не было перед глазами, продолжал морщиться). Но по служебной линии он не чувствовал за собой вины и потому не хотел ни в чем приспособляться. «Что за позиция: ни да, ни нет; что за позиция?» — восклицал он с той запоздалой решительностью (как это часто и прежде случалось с ним), с какой готов был теперь высказать все тем в обкоме, от

кого зависела судьба дела. Лицо его было мрачным, сосредоточенным, и с этим мрачно-сосредоточенным выражением, не успев стряхнуть его, он и встретил вошедшую к нему Зину.

По привычке, как он делал всегда, возвращаясь из своих по району или в область поездок, он обнял жену и, ломая прическу ей, приложился щекой к ее ухоженным, мягким, приятно пахнувшим волосам. Приняв затем поздравления от нее и поцеловав перевернутые ладонями вверх руки, которые не преминул, как обычно, назвать трудолюбивыми и нежными (за что, собственно, и целовал их), и похвалив за цветы, что особенно было приятно Зине, он сел вместе с нею на диван и, не выпуская ее руки из своей, неторопливо и обдуманно, как будто боясь упустить что-либо важное, но на самом деле обходя именно это важное, что могло расстроить Зину, принялся рассказывать ей о своей поездке. Он не столько делился с ней своими соображениями, сколько создавал впечатление, что делится; и впечатление это, что он как будто всегда держит жену в курсе своих дел, он видел, упрощало ему жизнь. Чем бы он ни бывал недоволен, он тут же переводил свое недовольство на служебные дела. Он был теперь недоволен Настей, которую застал в доме и от присутствия которой, казалось, как раз и происходило теперь все его раздражение; но, щадя Зину, он ни разу в разговоре не напомнил ей о сестре. Только когда среди доносившегося из гостиной шума голозов вдруг особенно ясно выделился голос Насти, Лукин спросил:

— Ты пригласила?

— Сами,— ответила Зина, не поняв, о ком речь.— Ты имеешь в виду Кузнецовых?

— Да.

— Сами,— подтвердила она.— У нас же теперь родственников...

— Каждый третий,— усмехнулся Лукин, как он усмехался всякий раз, когда разговор заходил о родственниках.— Ну что сделаешь, не запретишь,— добавил он, в то время как из гостиной продолжал доноситься голос Насти, поучавшей женщин, как правильно сервировать стол.

Выждав, пока голос стихнет, и несколько раз за это время обернувшись на дверь с неудовольствием, которого не мог скрыть от Зины, Лукин снова заговорил о своей поездке.

— Если бы отказали, было бы ясно,— сказал он.— Но отказать нельзя, а утвердить не хватило, видимо, смелости.

— Что же тебя волнует? — возразила Зина.

Она хотя и не была посвящена во все подробности составленной мужем записки и не могла судить, насколько в ней обосновано все, но она верила в несомненную честность мужа, и этого было достаточно ей, чтобы считать его правым.

— Не уладил там, уладишь в Москве,— сказала она.

— В Москве пожалуйста, никто не возражает. Но ведь там надо опираться на что-то. На что? На мнение обкома. А где оно у меня? — вопросительно проговорил он.— Если бы я предлагал отдать землю, это одно. Это — ни в какие ворота. Но я предлагаю посемейно закрепить ее, как за звеньями, а это совсем другое. У земли должны быть одни руки, один постоянный хозяин, который сознавал бы, что он кормится с этой земли (что было теперь его излюбленной мыслью), что благополучие его зависит от вложенного им труда, и даже, может быть, не столько труда, сколько радения,— заключил он, словно говорил уже не с женой, а с эппонентами в инстанциях, с которыми, он чувствовал, придется столкнуться ему.

Он еще с минуту продолжал думать об этой своей программе, которая должна была принести не только успех сельскому хозяйству, то есть решить продовольственную, как он полагал, проблему страны, но и успех и славу ему, и так как в нем свежи еще были воспоминания о Кремлевском Дворце съездов, где после выступления ап-

лодировали ему и в зале и в президиуме (чем он гордился), вместо шума женских голосов, доносившихся из гостиной, он невольно опять услышал те важные для себя аплодисменты.

— Да,— будто очнувшись вдруг, сказал он, поворачиваясь к Зине,— если предложение мое будет принято, это революция в деревне.— И он, поднеся ее руку к своим губам, несколько раз расчувствованно (в ладонь) поцеловал.

— Я рада за тебя,— ответила Зина.— Но тебе надо переодеться. Сейчас начнут собираться гости.

— Конечно, конечно,— поспешно вставая, проговорил он. — Как девочки?

— Они уже готовы.

— И я сейчас. Сейчас,— добавил он, будто извинялся за что-то перед нею.

IV

Торжества у Лукиных (несмотря на старания Насти приложить к ним свои знания «светской» жизни) имели то одно несомненное достоинство (в отличие от подобных у Лусо или Дорогомиловых), что здесь не прикрывались «изяществом» отношений, и разговоры, возникавшие между гостями, хотя и не затрагивали основ жизни, но более приближены были к тем действительным проблемам, которые стояли теперь перед государством и требовали решения.

В шестом часу вечера квартира Лукиных уже была полна гостей.

К столу еще не приглашали, ждали Илью Никаноровича, за которым была послана машина, и в ожидании, пока он приедет, гости — цвет мценского общества (как можно было бы сказать о них), — разделившись на группы, неторопливо разговаривали между собой. Женщины в стеснявших их модных кримпленовых платьях стояли и сидели в детской, куда отводила их Настя, взявшая на себя роль руководительницы вечера. Она представляла им дочерей сестры, которыми все должны были восторгаться, и гости восторгались и говорили о детях вообще и о том, как трудно в настоящее время (будто они были первым поколением, сетовавшим на свое время) растить и воспитывать молодежь. Двери из детской были открыты, и разговор женщин хорошо слышался и в гостиной, где уже был накрыт стол, и в кабинете, где находилась мужская половина общества и где, казалось, все было исполнено достоинства, важности и деловитости. В темных костюмах и светлых рубашках с жесткими воротниками и в тусклых, под цвет костюмов, галстуках, они словно сошлись не на праздник, а на очередное заседание бюро; и это особенно чувствовалось по их разговору, перенесенному из райкомовских стен сюда.

Успевший переодеться и выглядевший, несмотря на усталость, как всегда, с щеголеватым изяществом, Лукин стоял в центре образовавшегося вокруг него круга и не столько говорил сам, сколько слушал, о чем говорили другие. После успешного (свидетелями чему благодаря телевидению были почти все в районе) выступления в Кремлевском Дворце съездов о нем окончательно закрепилось мнение, что он не в пример прежним руководителям был умным и деловым хозяином. И хотя все в районе продолжало и при нем жить и двигаться так же, как жило и двигалось при Сухогрудове и Воскобойникове, но всем казалось, что полоса перемен, связанная с избранием Лукина в райком, уже наступила, и что отовсюду веяло теперь жизнью. Это одинаково признавали и те, кто скептически вначале относился к Лукину и ожидал от него лишь провала в связи с его семейной историей, и те, кто, не обращая внимания на слухи, продолжал верить в него и связывать свои надежды с ним. Скептиков было больше; и почти все они стояли сейчас возле Лукина. Но

они успели так перемениться, что их нельзя было узнать по теперешней искренности к нему.

Особенно выделялся этой своей искренностью среди других Федор Игнатьевич Гольбин. Избранный при Сухогрудове членом бюро райкома и сумевший выдвинуться в секретари при Воскобойникове, против которого чуть было не создал дело, и продолжавший оставаться на этой же должности и теперь, умевший, главное, как некоторым казалось, подо все подвести партийную принципиальность и считавшийся вследствие этого незаменимым в аппарате райкома работником, — став теперь по правую от Лукина руку, то есть заняв то при начальстве место, на какое, он полагал, вполне имел право, он перехватывал вопросы, задававшиеся Лукину, и отвечал на них. Одного с Лукиным роста, но почти вдвое шире его, он будто специально был приставлен к Лукину, чтобы ограждать его; и он делал это так откровенно и с такой убежденностью, что нельзя было осудительно подумать о нем. Он считался человеком дела и твердых взглядов, тогда как вся определенность его взглядов состояла в том, что он умел быстрее других приспособиться к той или иной выдвигавшейся идее. Высказав как-то на заседании бюро райкома прочитанную им или услышанную от кого-то мысль, что за всякую нерадивость надо спрашивать прежде всего с самих себя («Взять хотя бы корма, — сказал он тогда. — В России раньше было почти шестьдесят миллионов лошадей. Лошадей тех нет, рогатого скота не прибавилось и сена нет. Я спрашиваю себя: в чем дело, куда все улетучилось?»), он теперь на основании этого не только причислял себя к единомышленникам Лукина, но и давал понять, кому было нужно, что не все, приписываемое Лукину, есть только его. «Кое-что и мы значим, так просто не скинешь» — жило все эти дни в юрких глазах Федора Игнатьевича. Он более чем кто-либо был осведомлен о записке Лукина — по доверительности того к нему; и по этой доверительности, которой дорожил и по которой делал вывод, что если Лукина возьмут на повышение, а это, судя по обстоятельствам, должно случиться, то в первые будет предложен он, Гольбин, — был кровно заинтересован в успехе. Ему не терпелось спросить у Лукина о результатах поездки. Но он чувствовал, что если задаст этот вопрос, то обнаружит свое неведение, которого обнаружить он не хотел; и он не спрашивал, а видя, что Лукин улыбается, и заключая из этого, что поездка удалась, был так добродушно весел, что казалось — юбиляром был не Лукин, а он, Гольбин, пришедший принять поздравления.

По левую сторону от Лукина стоял другой секретарь, Николай Михайлович Киселев. Несколько лет назад он был переведен из Орла сюда и все еще, казалось, не мог приспособиться к мценской жизни. Исполнительный, как и Гольбин, и все еще надевавшийся, что его вновь заберут в обком, он представлялся всем не то чтобы малоразговорчивым или неконтактным, как о таких людях принято говорить теперь, но человеком как будто глубокой и загадочной души. По выражению его бледного, как у большинства кабинетных работников, лица никогда нельзя было узнать, принимал ли он сердцем то, что делал, или на все имел какой-то иной, свой, отличный от окружающих взгляд. На письменном столе в его кабинете постоянно лежало несколько томов В. И. Ленина, которые он изучал. Тома были с закладками, он что-то выписывал из них, но никто не слышал, чтобы выписанные цитаты были им употреблены в дело; иногда даже складывалось впечатление, что он изучал тома для того, чтобы прояснить какую-то свою схему жизни. Но упрекнуть его по службе было не в чем, и все относилось к нему с подчеркнутым уважением. Он был, как и Гольбин, осведомлен о записке, которую при всех одобрил, но о которой, уйдя к себе, сказал: «Полумера», как он говорил почти обо всем, что предпринималось теперь. На поездку Лукина в обком

он смотрел как на самое обычное, рядовое дело. Ему не то чтобы неинтересен был успех Лукина; успех этот не соединялся в душе его с тем главным, что занимало его, и потому он был равнодушен; и с высоты своего привычного равнодушия, позволявшего ему удобно устроиться в жизни, он, словно посторонний, наблюдал теперь за тем, в чем приглашен был принять участие.

Но кроме этих противостоящих как будто друг другу Голыбина и Киселева (от чего только выигрывал Лукин, выглядывший на фоне их человеком широким и объективным), внимание всех привлекала еще фигура прокурора Горчевского. В мундире, которого он, казалось, никогда не снимал, он прохаживался позади Голыбина и Киселева, выжидая, когда можно будет начать свой разговор, о целине и сыновьях, писавших ему оттуда, и то и дело косился на незнакомых ему мужчин, родственников Лукина по Илье Никаноровичу, видя в них тот готовый (для себя) материал, за который надо было только взяться, чтобы организовать его.

V

Во всех комнатах ярко горел электрический свет.

Из кухни пахло жареной телятиной, луком и пирогами.

Жена Ильи Никаноровича Марья Алексеевна, раскрасневшаяся от возбуждения, и дочери ее Анна и Катерина в косынках и фартуках, словно они нанялись прислуживать на этом вечере (на что, впрочем, была у них своя причина), стояли в гостиной перед большим накрытым столом. Марье Алексеевне не нравилось, что все было сделано по-Настиному, и в то время как из детской, где собрались женщины, слышался голос Насти, Марья Алексеевна, чувствовавшая себя хозяйкой здесь, оборачивалась на этот голос и неодобрительно покачивала головой. «Только бы хи да ха да языком, как помелом», — думала она о Насте, которую, так же как и дочерей, не умевших выйти замуж, причислила к той «дуростной» современной молодежи, о какой она отзывалась не иначе как: «Глаза б мои не смотрели». Она невольно переносила эту же неприязнь и на Зину — одного поля ягода! — и осуждала ее; и, осуждая, оправдывала тем самым своего племянника, Лукина, которого, казалось ей, она особенно понимала теперь. Далекая от настоящих проблем, которые занимали племянника, уже более полугодом возглавлявшего район, и полагавшая (по опыту жизни с мужем, всегда отстоявшим от нее в своих редакционных делах), что главным смыслом жизни для всякого человека есть семья и что все происходящее вне семьи образуется само собой, но что в семье нужно блюсти лад (что в понимании ее было: сохранять определенные традиции, которых не признавала молодежь), — она думала только о семейных неурядицах Лукина и хотела искренне помочь ему. Она готовилась посыпать соли на рану, которая не успела еще как следует зажить, полагая, что делает доброе дело, и неприязненным взглядом все оборачивалась на дверь в детскую, откуда продолжал доноситься возвышавшийся над всеми звонкий голос Насти.

— Нет, ты придираешься, мам, — сказала одна из дочерей Марьи Алексеевны, Анна, не умевшая, как и сестра, понять настроения матери и этим всегда только раздражавшая ее. — Вечно понаделаем салатов, винегретов, а так — смотри, как красиво! — И она, будто откинув занавеску, заслонявшую все, показала на блюда с помидорами, огурцами и свежими листиками салата вокруг них, что как раз и не нравилось матери. — Ты придираешься, — повернувшись за поддержкой к сестре, повторила она.

Но ни мать, ни сестра не ответили ей. Они старались уловить хоть кусочек той, другой жизни, которая шла в детской и которой, завидуя по разным причинам, не могли позволить себе.

— Есть морской, а это речной, рисовый,— доносился оттуда голос Насти. Она показывала на себе ниточку речного (рисового) жемчуга, которая будто бы, как она утверждала, перешла к ней от матери, тогда как даже Зина, во второй раз лишь видевшая ниточку, сомневалась в этом.— А есть еще розовый. Так к лицу, так освежает,— продолжал голос Насти. Она хотела приобщить мценских женщин к высшей жизни, окружавшей будто бы ее, и втягивала их в тот свой мир соперничества (не менее, впрочем, знакомый и им), в котором привыкла быть. Ей легко было в этом мире, и действительность, беспокоившая людей и вызывавшая разговоры (как между мужчинами в кабинете Лукина), словно никогда не затрагивала ее интересов; о том, как она жила на самом деле, непрестижным казалось говорить ей, и она говорила о жизни воображенной, в какой можно было выгоднее всего подать себя.

— Что вы, что вы,— доносился ее голос.— Теперь все проще...

«То-то и одна со своей простотой, а туда же, учить»,— думала Марья Алексеевна, смотревшая будто только перед собой, на стол с яствами, но продолжавшая прислушиваться к словам Насти.

— Вечно опоздает, ну что ты будешь,— вдруг раздраженно сказала Анне.— Говорила тебе, съезди, теперь бы уж здесь были.— Как будто недовольна была лишь тем, что задерживался ее больной супруг.

Но не только Марья Алексеевна, а большинство гостей чувствовали, что пора было за стол. Но поскольку к столу не приглашали, а надо было чем-то занять себя,— так же как в детской, где верховодила Настя, в кабинете у Лукина мужчины продолжали свой разговор. По молчаливому будто согласию никем не упоминалось ни о зеленолужском эксперименте, ни о записке Лукина; тема эта была новой, по ней не было еще выработано шаблонов, которые можно было бы безбоязненно произносить вслух, и потому говорили и спорили лишь о том, о чем было привычно им говорить и спорить. Одни были сторонниками колхозов-гигантов и доказывали преимущества этого способа ведения хозяйства, другие, соглашаясь с доводами, отстаивавшимися в основном Горчевским (будто сыновья его, работавшие на целине, давали ему на это право) вместе с тем сомневались, что будет лучше, если перепахать устоявшиеся колхозные межи; им казалось, что нынешний деревенский человек, как ни мотала его жизнь из стороны в сторону, все же не готов был еще психологически к подобным масштабам, и потому следует осторожно подходить к этому. Спор, в сущности, был тем распристранным теперь у нас во всех сферах жизни спором, когда хорошему противопоставляется лучшее и не затрагивается главное, от чего зависит все. В то время как Горчевский, для которого одинаковым было (по «причастности» его к делу), если бы даже весь район вдруг объявили одним колхозом с одним руководством и одной центральной усадьбой в Мценске, с горячностью выставлял в пример целину, чего, разумеется, нельзя было делать, как нельзя механически перенести опыт целины на исконно обжитые российские земли; в то время как Голыбин, лишь из чувства противоречия возражая прокурору, старался не столько опровергнуть его теорию, как выставить в смешном виде его самого с этой его теорией; в то время как остальные, разделившись (кроме равнодушного Киселева) на две примыкавшие — одна к Голыбину, другая к Горчевскому — половины, делали спор еще более шумным,— на Лукина с его теперешним обновленным (после записки) взглядом на развитие сельского хозяйства, то есть на решение продовольственной проблемы в стране, спор этот производил удручающее впечатление. «Или они не видят, или не хотят видеть»,— думал он, продолжая вместе с тем улыбаться, как и положено юбиляру и хозяину дома.

— Вы что же хотите? Вы хотите еще большей обезлички, чем у нас есть,— между тем, решительно оборвав Горчевского на середине

речи, заявил Голыбин.— Да, да, вы хотите именно этого,— тут же подтвердил он на возражение прокурора. И хотя Голыбин был уверен в том, что говорил, но все же оглянулся на Лукина, чтобы получить одобрение.— Да, вы хотите обезлички,— наконец в третий раз произнес он эту удачно найденную им фразу, которой он одновременно и обезоруживал противника, и давал понять всем, что он не позволит никому противостоять идеям Лукина.

— Вы применяете недозволенный прием,— не сдавался Горчевский.— Мощному трактору крутиться на пяточке или идти по загну, — да вы понимаете, против чего вы восстаете?

— Где навал, там и нерадивость.

— Ну почему же «навал» и так уж сразу и «нерадивость»?

— Да, где навал, там и нерадивость. Навыворачивают вам глины, пойдй потом на тысячах-то разгляди.

— А что же на десяти?

— Как на ладони.

— Тогда как же с нашим призывом равняться на лучших, на сознательных?

— А куда худших деть? Худшие — это ведь тоже народ.

В это время подъехал Илья Никанорович. Он привез с собой (о чем не договаривались раньше) невестку с сыном, которых давно уже собирався показать Лукину. Невестку сразу же подхватила Настя и повела в детскую знакомить, куда за нею пошagal и муж, боявшийся (по молодой, пробудившейся любви к ней) оставить ее одну. Невестку звали Полиной, сына Ильи Никаноровича — Андреем. Попав под устремленные на них взгляды женщины, они смутились и невольно жались друг к другу, как будто так удобнее было противостоять восторженным восклицаниям и разговорам, сейчас же вспыхнувшим вокруг них. Илья Никанорович же, не задерживаясь, прошел в кабинет, где было накурено, тесно и душно от вспотевших мужчин. Он вошел как раз в разгар препирательства, к которому было привлечено внимание всех, и по наивности, с какой обычно хорошо расположенные люди полагают, что и у других должно быть в эти минуты такое же настроение, и с привычной для себя прямоотой говорить, что думаешь (в противоположность известному правилу: подумай, прежде чем говорить), еще не поздоровавшись, а только подходе к своему уважаемому племяннику, заговорил с ним о его поездке в Орел.

— Не позвонил, а за бортом держишь старика, а за бортом, за бортом... старых-то райончиков,— с шутливостью, насколько позволяло ему его болезненное состояние (он выглядел намного лучше, чем весной, но все в нем еще выдавало перенесенную им тяжелую операцию), начал он, с протянутой для пожатия рукой подходя к Лукину. Он знал, как важны были для Лукина его записка и отношение к ней руководства, и хотел сделать приятное своим напоминанием. В том, что записка, то есть дело, какое затевал его племянник, будет одобрена, Илья Никанорович не сомневался, как не сомневался и в том (о чем знал, разумеется, лишь из слов самого Лукина), что все в райкоме с одобрением относились к замыслу первого; и потому он не сразу почувствовал ту неловкость, в какую поставил себя и племянника этим своим шутливым будто бы разговором. Только когда в нерасторопном сознании своем соединил любопытство, с каким все, стихнув, повернулись к Лукину, с тем, что Лукин, ничего не отвечая, продолжал лишь улыбаться ни о чем не говорившей улыбкой, смысл которой, однако, нетрудно было разгадать, Илья Никанорович тоже вдруг начал улыбаться тою же отвлекающею улыбкой и, тряся руку племянника, оглядываться вокруг.

— За бортом, а, за бортом, и не попишешь, такова жизнь,— не умея остановиться вовремя и перевести разговор, и смущаясь своей попытки сделать это, и еще более неловко оглядываясь вокруг, продолжил Илья Никанорович.

Лукин чувствовал, что он был теперь в том положении, когда он должен был либо сказать правду, либо не говорить ничего. Сказать правду было нельзя потому, что он не хотел прежде времени разочаровывать тех, кто верил и мог помочь ему; умолчать же нельзя было потому, что, он видел, от него ждали ответа; и он выбрал ту всегда прежде противную ему середину, из которой тот, кто хотел услышать от него «да», мог услышать это, а кто был неопределенного взгляда, мог только еще больше утвердиться в своей неопределенности.

— Как надо, все как надо,— сказал он с извиняющейся улыбкой Илье Никаноровичу.

— Мальчики, мальчики,— из гостиной послышался голос Насти.— К столу все.

И в дверях кабинета подтвердить это приглашение появилась Зина со своею строгой прической, в строгом платье, с накинутым на плечи белым шарфом, придававшим ее наряду законченность.

Когда гости расселись за столом (по должностной и родственной значимости, по какой привычно и удобно было расположиться всем), Голыбин, как старший и всегда умевший вовремя взять на себя руководство, при воцарившейся тишине произнес в честь юбиляра запомнившийся всем по красноречию тост, в котором так преподнес Лукина с его деловитостью, человечностью и умением поддерживать новое, что невозможно было после этого тоста не признать в нем личность незаурядную. Но в то время как Голыбин выражал это общее как будто мнение, которое, он знал, не могло быть оспорено никем, и все слушали его будто со вниманием и выражением серьезности и одобрения на лицах,— серьезным у всех было лишь то чувство иронии, каким, не выказывая его, люди обычно отгораживаются от непристойных событий. Лукину было неловко, и он чувствовал, что неловко было как будто всем от голыбинских слов; но он не перебивал, не останавливал, а, опустив голову, лишь время от времени вскидывал взгляд то на говорившего Голыбина, то на равнодушно сидевшего рядом с ним Киселева, то на все пространство стола с гостями, ожидавшимися, когда же наконец разрешат им выпить и приступить к закускам.

— За нашего Ивана Афанасьевича,— уже после того как тост был произнесен и прозвенели поднятые над столом рюмки, громко проговорил Голыбин, обращаясь ко всем, словно прежде сказанного им о Лукине было недостаточно и надо было еще послать что-то вдогон.— За вас, Иван Афанасич,— повернувшись к Лукину, добавил он, чтобы выделить себя, и заученным движением, должным как будто одновременно показать и молодечество и преданность (в данном случае преданность нынешнему руководству, как надо было понимать), запрокинул голову и одним глотком, который комком прокатился по горлу, опорожнил рюмку.— Хороша,— сказал он, смахнув с губ капли.— Хор-роша!— И заглянул в пустую рюмку, прежде чем поставить ее.

Все молча принялись за еду, и с минуту над столом слышна была только работа ножей и вилок. Но по мере того как гости насыщались и лица их розовели от еды, вина и водки (тосты произносились один за другим по заданному Голыбиным тону), чувство неловкости, какое было у Лукина и было, как он видел, у всех, незаметно как бы отступало, и похвалы уже не представлялись похвалами, а преувеличения преувеличениями; всем казалось, что говорили будто не о Лукине, а об успехах района, то есть о тех делах, к которым все сидевшие за столом были так или иначе причастны, и чем выше давались общие оценки этим делам, тем оживленнее становилось между гостями. Все как будто согревались в лучах того солнца, которое, подвыпив, лепили для себя, не задумываясь, насколько оно совпадает с действительным, дающим жизнь, и зажаренная телятина с рассыпчатым картофелем, дымившимся на блюдах, когда его подавали, и предложенные

затем пельмени, когда телятина и картофель были поглощены, и гусь на блюде, начиненный сливами (откуда-то все бралось и, значит, было!), лишь подтверждали правоту того, о чем говорилось. Жизнь представлялась всем прекрасной, будто и в самом деле никогда не стояло перед ними не только тех проблем, решение которых зависело не от них, но и тех, решение которых зависело от них и которые, несмотря на это, оставались нерешенными; то, что в народе воспринималось сдержанно (нынешний успех российских хлеборобов), как фундамент, на котором предстояло еще возвести дом, казалось им завершенным, и в доме этом надо было теперь только размещаться и жить, продолжая точно ту же деятельность (каждый в своей сфере), какую вели все до этого. Заметнее других среди мужской части стола по-прежнему оставался Гольбин. Он снял галстук, расстегнул воротник рубашки, подпиравший круглые складки на его полной шее. Редкие и мокрые у корней волосы его были взъерошены, как они бываюи взъерошены всегда у человека, не умеющего последить за собой, глаза бегали по закускам, и в то время как он сразу по два-три пельменя, насаженных на вилку, клал в свой широкий и по-детски розовый еще как будто рот, от уголков губ его по подбородку соскальзывали лоснившиеся струйки жира.

— Нет, нет и нет,— говорил он, едва успев прожевать и держа уже перед собой на вилке новую порцию вкусных (из говядины со свиной) пельменей.— Я никогда не соглашусь с тем, что мы должны ликвидировать систему уполномоченных. Доверяй и проверяй, так партия учит. Контроль, постоянный и действенный, если, разумеется, мы хотим обеспечить порядок. Правильно я говорю, а? — Он обращался теперь к Горчевскому не как к противнику, а как к единомышленнику, готовому во всем поддержать его.

— В открытые ворота, Федор Игнатиц, в открытые,— отвечал Горчевский, который точно так же был красен, потен и разгорячен.

От Киселева же, как и всегда (даже теперь, когда он был захмелевшим), не слышно было ни одного слова. Он не краснел, а, напротив, бледнел оттого, что пил, и на сухощавом лице его все более вырисовывалось то ироническое, что было состоянием его жизни и что он умел в иных обстоятельствах всегда скрыть от людей. Он как будто сознавал себя передаточным звеном между историей и будущим, но не той историей и не тем будущим, как все понимали это, а иными, известными лишь ему и делавшими его исключительным. «Все вы — только среда, в которой растет стержень жизни,— отчетливее, чем когда-либо, было в его глазах, вдруг начинавших с живостью бегать по лицам сидевших напротив него,— и вы даже понятия не имеете, что такое этот стержень. Да, да, никакого»,— загадочно и безмолвно, одними только своими бегающими глазами продолжал он. Когда Гольбин, которому до всех было дело, обращался к нему: «А ты, Михайлыч, что молчишь?» — ироническое выражение как бы стиралось с лица Киселева, и он поспешнее, чем было в его характере, отвечал:

— Я согласен. Говори, говори, я согласен.

— Ты всегда и во всем согласен, мы это знаем, но все-таки скажи, как ты думаешь? — настаивал Гольбин.

— По поводу?..

— Вторую обедню — нет, не служу.— И он отворачивался от Киселева, и хриповатый голос его опять растворялся в общем веселом гуле застолья.

Говорили все — и мужчины и женщины; все были довольны тем, как разворачивался вечер, и особенно довольна была Марья Алексеевна, хозяйкою топтавшаяся у стола; она, казалось, не могла нарадоваться, глядя на то, как все ели и пили, словно цель подобных застолий в том только и заключалась, чтобы на три дня вперед накормить и напоить гостей. Время от времени она подсаживалась возле мужа, которому по его болезни положено было только диетическое — сок,

минеральная вода и отварное мясо,— но который, несмотря на запрет, растрогавшись словами Голыбина, выпил, закусил и был, как все, красен и весел, просила его быть поосторожнее, подливала в рюмку его сок и любовалась Лукиным, которому воздавались такие почести, не то что Сухогрудову или Воскобойникову, как думала она, вспоминая о тех, других торжествах, на которых ей тоже приходилось бывать. «Смотри, смотри, как все к нему (то есть к Лукину, ее племяннику), а ты готов был затыркать его»,— шептала она мужу, и на простоватом лице ее светилась улыбка, будто не племяннику, а ей или ее мужу оказывались эти почести. Она не вмешивалась в то, как шел вечер. Не направляли его ни Зина, ни Лукин, так как и им казалось, что чем свободнее было гостям и чем оживленнее были их разговоры, возникавшие то вокруг одной, то вокруг другой темы (как вода, с брызгами ударяющая то на одну, то на другую лопасть колеса, которое она призвана вращать), тем удачнее было торжество в их доме.

VI

Лукин (по соображениям престижа, по которым каждый руководитель должен определенным образом блюсти себя) не мог включить в общее веселье, как бывало с ним раньше, когда он еще не возглавлял райком, и оттого чувствовал себя отгороженным от всех и испытывал неловкость от этого непривычного и нового для себя положения. В то время как все вокруг продолжали хвалить его и хвалить дела в районе, к которым он, как первый секретарь райкома, считалось, непременно должен был быть причастен, хотя причастность его к этим делам, он знал, заключалась лишь в том, что он создавал видимость участия, а был занят улаживанием семейных дел; в то время как он еще более точно знал, что только благодаря зеленолужскому эксперименту, вернее, Парфену Калинкину, о котором, словно сговорившись, умалчивали теперь, район оказался на виду и было с чем поехать на торжества в Москву; в то время как он ясно представлял себе все это и по совести должен был бы отказаться от похвал и восстановить истину,— он видел, что восстановить истину было ему нельзя, что с этой своей истиной он сейчас же перестал бы быть тем, кем он был в глазах всех; и он колебался, выжидал и втягивался в ту новую для него трясицу, из которой, он чувствовал, невозможно будет выбраться. Он словно опять поддавался соблазну (как было с Галиной), противостоять которому не хватало сил, и оглядывался на Зину, сидевшую рядом, с которой уже как будто происходило что-то, чего он пока не мог объяснить себе.

По ходу застолья, по речам сослуживцев мужа (она впервые видела их всех вместе), по их разговорам, которым Зина придавала значение, она составила себе то новое, но, в сущности, лишь подтверждавшее ей старое представление о муже, которым она и прежде оправдывала его равнодушие к себе. «Они все там с утра до ночи в суете,— думала она.— Они и сейчас не могут отойти от своих государственных дел». С нее как будто был снят груз сомнений, который тяготил ее, и она чувствовала себя счастливой и не замечала беспокойства мужа, когда тот оборачивался на нее. Иногда Марья Алексеевна вводила ее на кухню или, наклонившись, уточняла с ней, что и когда подать гостям. Иногда Зина сама вставала и шла в детскую к дочерям, которым пора было спать, но которые в бантах и пышных белых платьицах, как они были наряжены к приходу гостей, сосредоточенно играли в своей комнате (игра их была — кукольное застолье, то есть подражание взрослым, во что больше всего любят играть дети). Посмотрев на них от порога счастливыми глазами и разрешив им поиграть еще, она возвращалась к гостям растроганной и счастливой, так что даже Настя, которой, казалось, было не до сестры в этот вечер, удивленно сказала ей на другой день: «Я и не подозревала, что ты так

умеешь. Первая дама, прямо первая дама». На другой день Зина многое еще переберет из того, что произойдет на вечере, но в эти минуты, когда в самый разгар застолья, стесняясь своего счастливого состояния, будто не гостям, а себе положила лучший кусок с блюда, ей не приходило в голову, что она — первая дама в районе. Она не могла даже отдаленно предположить, чтобы те противоестественные человеческим отношениям условности, давно и решительно как будто осужденные, были настолько живучи в людях, что могли проявиться в ее доме; ей было хорошо, и она старалась не думать, отчего ей хорошо, а все силы употребляла на то, чтобы закрепить это счастливое состояние и в себе и в муже.

— Ты доволен? — спрашивала она (не столько для того, чтобы узнать настроение мужа, сколько передать ему свое). — Они все такие хорошие люди, — говорила она.

— Да, да, — отвечал Лукин. — Но ты посмотри, что твоя сестра вытворяет. Она же до слез доведет ее. — Он имел в виду молодую невестку Ильи Никаноровича, которая и в самом деле вот-вот готова была расплакаться оттого, что ее муж, Андрей, разговаривал не с ней, а с Настей, у которой были голые до плеч руки, в ушах сережки и на груди искорками переливалась ниточка жемчуга.

— Нет, ты только посмотри, — через минуту опять говорил он Зине о ее сестре.

Он все более приходил в состояние раздраженности, когда истинная причина, чем он был недоволен, была неустранима — нельзя было запретить хвалить себя, — и он придирался к мелочам, упрекая жену и подавляя ее своим недовольством.

Но независимо от этого угрюмого настроения Лукина все на вечере продолжало развиваться по тем привычным законам веселья, по каким проходят почти все подобные застолья. Кроме Гольбина, взявшего (от мужской половины гостей) на себя роль организатора, от женской эту же роль должна была играть Настя. Несмотря на косые взгляды зятя, несмотря на просьбы Зины держаться поскромнее и на недоброжелательство Марьи Алексеевны, которое Настя чувствовала, она не могла оставаться той Настей, какой была летом, когда приютила у себя Зину с дочерьми (и какую запомнил ее тогда Лукин). То, что происходило тогда, касалось несчастья сестры, но теперь — было только праздное удовольствие, в каком Настя не могла отказать себе; она была теперь той Настей, какую привыкла быть среди своего круга, и ей не то чтобы неважно было, что подумают о ней, но, напротив, хотелось, чтобы ее считали современной женщиной.

— Что мы все сидим и сидим, — вдруг сказала она. — Давайте танцевать. Кто хочет танцевать? — затем, вставая, бросила она всем и через минуту на том пятачке комнаты между столом, стульями и окном, где было свободнее, под магнитофонную музыку уже кружилась в танце с неприличными движениями, особенно с точки зрения Марьи Алексеевны, ко всему подходившей лишь с одною своею меркой: что было с ней, в ее молодые годы — было пристойно, но чего не было с ней, а привносилось теперь — было непристойно и развращало нравы. Насте казалось, чем больше будет показано порочного, тем больше будет по-европейски, больше той, чужой красоты, к которой неведомо отчего сейчас тянутся молодые люди; и эта непривычная для русского глаза «красота», как болезнь, захватившая уже почти все слои общества, — как ни осуждалась сидевшими за столом (в перстнях и серьгах) дамами, которым из-за полноты неприлично было выходить на круг, красота эта сейчас же привлекла всех. Все теперь смотрели только на Настю, и в то время как женщины, неодобрительно переглядываясь, покачивали головами, мужчины, напротив, весело подбадривали танцующую. Но особенно оживились все, когда Гольбин, только что через стол говоривший с Горчевским о бахвальстве, будто бы развещающем общество (словно не он весь нынешний вечер восхва-

лял Лукина),— когда именно этот трясущийся от жира энергичный и смешной Голыбин вышел к Насте и начал в подражание ей топтаться и вздергивать плечами.

— Ну Федор, ай да Игнатич, ну уморил,— послышалось отовсюду.

То, что в столице (как это было на вечере у Лусо) показывалось еще с робостью и, в сущности, было немыслимо среди пожилых людей,— здесь, в Мценске (как и вообще в провинциях, где в стремлении не отстать от моды чаще всего торопятся обогнать ее), не удивляло и не смущало никого. Все столпились возле танцующих. Даже Марья Алексеевна, не выдержав, выглянула на шум из кухни и осталась недовольна, но недовольство ее было так незначительно в сравнении с общим оживлением гостей, что его, кроме Зины, никто не заметил. Все зааплодировали, как только Голыбин и Настя, вспотевшие, красные, с растрепавшейся от прыжков одеждой, закончив плясать, начали пожимать друг другу руки. Настя, счастливая своим успехом, то есть тем, чем она всегда брала, как выражалась, на подобных застольях, забывшая и об Андрее и о сестре, выговорившей ей за него, сейчас же оказалась в кругу женщин; она опять была в центре внимания, как и в начале вечера, без которого, как цветок без корня, Настя обычно сникала и увядала,— внимание это, как высший интерес к жизни, делало ее живой, привлекательной и доступной. Платье на ней, только что казавшееся всем вызывающе укороченным и ярким, теперь, после успеха, смотрелось уже по-иному, его находили особенно модным; Анна и Катерина, дочери Ильи Никаноровича, поглядывали на него с той завистью, будто им не хватало только именно такого платья (как полагают многие, что им не хватает соответствующего наряда, тогда как не хватает обычно той душевной раскрепощенности, от которой преобразается все в человеке). Короткая стрижка Насти, открывавшая шею и уши, туфли на пробковых каблуках и ниточка жемчуга, завидно переливавшаяся на шее,— все представлялось необыкновенным. Между женщинами невольно опять возник разговор о нарядах и модах (будто им и в самом деле больше не о чем поговорить), который был одинаково интересен пожилым, молодым и надолго занял всех.

На стол было выставлено шампанское, расставлялись приборы для десерта и чая. Мужчины разбились на группы, одна из которых, большая, была возле Голыбина и Горчевского, опять затеявших разговор о бахвальстве как о явлении, на чем настаивал Голыбин, наносящим будто бы вред не только экономике, но и науке и культуре, другая — возле Ильи Никаноровича, пустившегося в воспоминания о том, как было на подобных застольях при Сухогрудове, который умел и спросить, то есть поприжать людей, что особенно как будто нравилось Илье Никаноровичу, но и умел дать расслабиться им. Киселев курил возле открытой форточки, а Лукин переходил от группы к группе и прислушивался, о чем говорили гости.

— Так и простудиться недолго,— остановившись возле Киселева, сказал Лукин и затем заговорил с ним о состоянии озимых, что не могло как будто теперь занимать его; но по той потребности очищения, какую испытывал он (и чем он мог отмежеваться от похвал или оправдаться за них), он чувствовал, что надо было заговорить именно об этом, об озимых, которые, он знал, что и Киселев знает: это, с хорошими видами на урожай уходили под снег.

VII

После шампанского с фруктами, чая с пирогом и тостов на посощок, которых было не один и не два, так как никому как будто не хотелось расходиться, уже в двенадцатом часу все встали из-за стола и начали прощаться.

— Слов нет, как все было прекрасно.— Голыбин наклонился и пожал руку Зине.— У вас такая замечательная сестра.— Он взглянул на Настю, стоящую тут же в своем модно укороченном платье, с открытыми руками, потом на жену в шубе, в эту минуту обращенную к нему спиной, и затем опять на Зину, во второй раз пожав руку ей.

В прихожей было тесно от передававшихся полушубков, пальто, шапок, шарфов и шалей. Бессмысленное дело, ради которого все были приглашены сюда,— дело это было счастливо завершено; и хотя, кроме пустой радости, оно ничего не принесло никому (и не могло принести, как всякое праздное дело), но многим казалось, что они еще более сблизилась с первым секретарем райкома, сошлись домами и что оттого прочнее как будто стало их положение в районе.

— Нет, с ним вполне можно работать,— уже на улице сказал Голыбин о Лукине, идя вместе с Киселевым впереди жен.— Жаль только, что его могут быстренько забрать от нас.

— То есть как, есть сведения? — переспросил Киселев, приостанавливаясь.

— Я так полагаю,— ответил Голыбин.

— Полагать можно, но по два человека в год из одного района на повышение не берут.

— А вдруг? — Голыбин тоже приостановился.— И делу польза и человеку карьера. Какая все-таки милая, очаровательная у него супруга,— затем сказал он, сообразуясь уже с иными мыслями, не раз в течение вечера приходившими ему. Его удивляло, как можно было при такой жене, какая была у Лукина, смотреть на сторону. «Во всяком случае, это выше моего понимания»,— говорил он себе. Он хотел поделиться теперь этим с Киселевым, но удержался, вспомнив об усвоенном за годы службы правиле, по которому сотрудники, позволяющие себе говорить, что думают, мало когда продвигаются по службе, но те, кто умеет сказать, чего ждут от них, или по меньшей мере глубокомысленно промолчать (к одним из этих он относил себя, к другим — Киселева, которого побаивался), всегда в чести и достигают цели.— Эй, вы что там замешкались? Пошевеливайтесь,— чтобы выйти из неловкости, в какую поставил себя, тут же крикнул женщинам, которые, отстав, тоже делились впечатлениями и были (по отношению друг к другу) в той же степени искренности, как и мужья, и говорили о том, что было вообще и не затрагивало никого.

Последними, как и положено по-родственному, вышли от Лукиных Кузнецовы. Они тоже, казалось, остались довольны всем, и Марья Алексеевна, под конец даже будто примирившаяся с Настей, по-матерински трогательно обняла ее, затем обняла Зину, не забыв похвалить ее сестру, что было очевидной ложью, прикрываемой улыбкой и вкрадчивостью голоса, и уже им обеим сказала, чтобы ничего не трогали ни на столе, ни на кухне («Да и нельзя сразу после гостей»,— добавила она) и что утром непременно забежит с дочерьми и поможет убрать все. Илья Никанорович хвалил все, но было видно — хотел еще что-то сказать Лукину, но не решался, и Лукин понимал, что именно. «Ну заметил, ну помолчи»,— взглядом же отвечал он старику. Ему не хотелось говорить с Ильей Никаноровичем, и он, не дождавшись, пока тот оденется, попрощался с ним и ушел в кабинет, чтобы побыть наедине, обдумать свое положение.

Но едва только он устроился в кресле, как вошли Зина с Настей, освободившиеся от гостей. Они были веселы, особенно Настя, все еще как будто упоенная успехом. Как девочка, наперед знающая: что бы она ни сотворила, все будет прощено ей,— она плюхнулась на диван, не заботясь, как прикрылись платьем ее обтянутые капроном ноги, и с тем веселым сожалением, соответствовавшим, как ей казалось, минуте, заговорила о гитаре, которую, выезжая сюда, подумала еще взять и не взяла почему-то. У нее было настроение спеть; спеть какую-нибудь из во множестве сочиняемых сейчас для молодежи песен, при-

влекательность которых заключена в неопределенности душевных устремлений — куда-то в море, куда-то в небо — и о которых известный общественный деятель, обращаясь к сочинителям, сказал, что они поступают дурно и что их надо привлекать за духовное ограбление. Но Насте нравились эти песни. В них было как в жизни, в которой она постоянно чего-то искала, хотела, и не находила, и не понимала, чего хочет. Она попробовала спеть без гитары, но не получилось, и, посидев еще с минуту и поняв, что сестре с мужем необходимо побыть одним, встала и направилась к выходу.

— Да, ты вот человек мудрый и правильный, скажи мне, как получается: как женихов, так много, а как замуж, так не за кого? — уже от порога, повернувшись к Лукину, спросила она.

— А ты где их ищешь?

— А где их искать?

— В деревню бы тебя, в колхоз.

— Я согласна, но чтобы там — за Голыбина или, как вот Зина, за тебя. А что, я согласна, — подтвердила она, словно и в самом деле что-то серьезное могло выйти из этого. — Эх, господи, да были бы они в деревне, их теперь и там нет. Их нигде нет. Теперь другие, а других мне не надо. Спокойной ночи. — И было слышно, как она шла по гостинной, раздвигая стулья и тарактя ими.

— У кого что, а у нее одно на уме, — с усмешкою проговорил Лукин. — Как бы замуж.

— Ты несправедлив к ней, — возразила Зина. — Ты вообще не в духе сегодня.

Она встала и тоже хотела уйти, но Лукин задержал ее.

— погоди, — сказал он, взяв ее руку.

Но он не сразу нашелся, что сказать Зине, чтобы оправдаться перед ней.

— Извини, — наконец проговорил он, все еще держа ее руку. — Извини, я не хотел. Да и не в ней дело.

— А в ком?

— Ты понимаешь, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что они не в силах осознать себя в движении. — «Они» для Лукина были Голыбин, Киселев, Горчевский, хвалившие его. — Или они не понимают, или притворяются, я не знаю. Ты садись, — сказал он, отпуская руку Зины. — Садись, и я рядом, — добавил он, поднимаясь, и присаживаясь к ней на диван, и не сбиваясь с того доверительного тона, каким начал говорить.

То, что он взялся объяснить ей и что (из боязни, что она не поймет) представлялось ему труднообъяснимым, было на самом деле слепым максимализмом, на который давно уже указывалось в печати как на препятствие в развитии общества. Для Голыбина и Горчевского, привыкших все, что ни скажет начальство, принимать за истину, невозможно было подумать о записке Лукина иначе чем они подумали, то есть невозможно было не признать изложенное в ней успешно завершившимся делом. Они словно бы могли жить, только когда чувствовали себя в согласии с начальством, как бы это начальство ни ошибалось, и они хотели приобщить к этому Лукина, еще не зараженного подобным пороком. «В то время как все пока лишь в пути, — думал он и о чем говорил теперь Зине, — и еще неизвестно, чем обернется (как только он переставал поддаваться самообману, он ясно видел, что то, что предлагалось им, далеко выходило за рамки общепринятого принципа хозяйствования), и мне нужны помощники, на которых я мог бы положиться, — помощники эти хлопают в ладоши и готовы подбрасывать вверх шапки». Он высказывал это Зине, которая не совсем понимала, о чем речь; но она чувствовала, что он был искренен, и внимание ее было сосредоточено именно на этой его искренности, о многом говорившей ей.

В гостиной все так же ярко горел электрический свет, и на небранном столе стояли бутылки из-под шампанского, рюмки, чайные приборы, желтая апельсиновая кожура на тарелках и нетронутые куски пирога. Свет горел и на кухне, где тоже было все заставлено грязной посудой, невымытыми кастрюлями, ножами, вилками, ложками, пустыми бутылками; недоеденные салаты, мясо, колбаса, рыба — все это, частью сваленное в ведро, частью остававшееся еще на тарелках с размазанным и подсыхающим соусом, наполняло определенным, как всякие объедки, запахом квартиры. В детской, разбросав ручонки, спали девочки, так наигравшиеся за вечер, что Зина почти уже сонными раздевала их. Словом, всюду по комнатам видны были следы торжества и веселья, и лишь в кабинете еще сохранялся строгий стиль жизни, какого всегда придерживались хозяева дома. Лукин продолжал говорить Зине о том, что занимало его и уже не относилось к вечеру, и вместе с тем как высказывал ей это свое недовольство и сомнение, он как будто освобождался от тяжести и, освобождаясь, успокаивался и все яснее смотрел на жену, которой важно было не только, что ладилось или не ладилось у него по службе (в конце концов, там всегда все образуется), а важно было его отношение к ней; она чувствовала это переменившееся отношение, и в душе ее тоже словно оттаивало что-то.

— Ну если даже не примут твое предложение,— сказала она с той женской рассудительностью, против которой трудно бывает обычно возражать.— Что же случится? Ничего, все как шло, так и будет идти.

— Я тоже думаю,— подтвердил Лукин.— Но я-то хочу другого.

VII

Старый Сухогрудов, всегда причислявший себя к народу, но живший лишь интересами службы (интересами государственными, от которых он не отделял интересов своих), хотя и перебрался на зиму, как делал обычно, из Поляновки в Мценск, ближе к райкому, к тому (для него!) центру событий, возле которого, чувствуя исходящие от него волны, он как бы оживал и приободрялся, но здоровье его было так слабо и весь он был так худ и плох, что остававшуюся еще в нем энергию жизни он тратил, чтобы бороться с этой слабостью. Полная, цветущая насколько было возможно в ее возрасте Ксения бежала по врачам и, охая, говорила, что все это случилось с ним после его поездки в Москву на похороны внука. «Как ровно ударило его»,— говорила она точно то же, что и ее дочь Шура, для которой центром вселенной, как и всегда, были ее крикливый, но для нее удивительно смысленный и прелестный Валерик и продолжавший выпивать муж. «Вот как ударило, вот как ударило»,— повторяла она, подбрасывая на руках Валерика, в то время как мать обращалась к ней. Но старика Сухогрудова угнетала не поездка его на похороны внука в Москву. Он чувствовал вокруг себя пустоту и чувствовал то враждебное к себе (за прошлую свою деятельность) отношение народа — не отдельных лиц, не Лукина, не Кузнецова, тоже будто отвернувшегося от него, а именно народа,— и ему страшно было с этой несправедливостью к себе уходить из жизни. Он ложился и вставал с этой мыслью, что не понят, отстранен и осужден всеми. Ему даже казалось иногда, что и Ксения, и падчерица с мужем и внуком тоже были не с ним, а против него и ждали его смерти. Он почти ни с кем не встречался, редко выходил из дому, а когда все же выходил, за ним непременно следовали либо Ксения, либо Шура с мужем, опасавшиеся за него.

За окном лежал снег, в газетах, по радио и в телевизионных новостях сообщалось об успешном завершении года. Ксения и Шура, возвращавшиеся откуда-либо, все чаще приносили с собой как отголосок большой жизни предновогоднее праздничное настроение, но

для Сухогрудова все это было лишь отдаленным, пустым, ничего не говорившим ему звуком; причисляемый статистикой к единому целому, он, в сущности, имел свой и в самом себе замкнутый мир, которым жил и мучился, и даже письмо сына о том, что на 15 декабря назначен суд над Арсением и что было бы хорошо, если бы он тоже приехал на суд,— даже письмо сына не могло оторвать его от этих размышлений. Лишь в редкие минуты просветления, вдруг вспомнив о письме, он шел к Ксении; но в то время как подходил к ней, уже не представлял, зачем шел, и, болезненно морщась, опять закрывался в своем кабинете, где от редкого проветривания густо пахло его стариковским телом.

Когда в квартире Лукина начиналось застолье, в гости к старому Сухогрудову решил пойти приехавший в Мценск председатель зеленолужского колхоза-миллионера Парфен Калинин.

Он приехал в Мценск для того, чтобы переговорить о важном для себя деле, о деле Сошниковых, которым надо было выплатить заработанные ими деньги. На закрепленном за ними поле (как и полагалось по эксперименту) они выполнили тот объем работ, какой прежде на этом же поле выполнялся бригадой, и то, что выплачивалось бригаде, вернее двадцати человекам, должно было быть выплачено четверым. На каждого из Сошниковых приходилось по круглой сумме, и финансисты — и колхозные, и районные, и областного масштаба, куда посылался запрос, — одинаково приходили к выводу, что будто бы руководством хозяйства допущено было нарушение и что, видимо, неправильно были применены нормативы, по которым производилось начисление. Было странно (и нелогично как будто даже с точки зрения государственных интересов), что за работу с лентой законно было платить хотя бы и двадцати человекам, но если ту же работу и с лучшими показателями выполнили четверо, то заработанное оказывалось незаконным, не выплачивалось и вызывало споры, которые Парфен и хотел прояснить с руководством района.

Потолкавшись в коридорах и кабинетах райкома и поняв, что повидаться с Лукиным в этот день не удастся, он собрался было вернуться в Зеленолужское, но подумав, что утром все равно придется приезжать сюда, делать лишний конец по зимней, с гололедом и заносами, дороге, счел лучшим остаться в Мценске и заодно навестить старого Сухогрудова, который, как он слышал, был нездоров и не появлялся на людях. Парфену не то чтобы особенно хотелось пойти к этому когда-то сильному, решительному и благосклонно относившемуся к нему хозяину района, но просто надо было провести время и поговорить за чаем о жизни, о которой многое что накопилось сказать Парфену. Чем больше он руководил хозяйством и общался с людьми, и ниже и выше себя стоящими, тем глубже как будто должен был понимать все; но по тому же, как и в науке, правилу, по которому чем больше делается открытий, тем безграничнее предстает горизонт непознанного, перед Парфеном, чем внимательнее он приглядывался к устоявшемуся будто бы для людей течению колхозной жизни, тем очевиднее, как соль на солдатской гимнастерке при походе, проступали несоответствия, прежде не замечавшиеся за обилием разных других неотложных забот. Мучивший его вопрос с обезличкой земли, вполне, как это казалось Парфену, решавшийся закреплением участков за семейными звеньями, — вопрос этот, вернее, первая же попытка решить его сейчас же натолкнулась на ряд новых проблем, к которым по сложности их неизвестно было даже, как подступиться зеленолужскому председателю. Трудность заключалась в том, что против выплаты Сошниковым заработанных ими денег были не только финансисты; многим в колхозе представлялось странным: рядовой механизатор, ничем не отличавшийся будто и живший тем же, как и все, достатком, вдруг за сезон получал такое

обогащение, что мог не только каждому в семье приобрести по машине, но и обновить дом, все в доме и на себе. Одни смотрели на это с завистью и говорили, что Сошниковым повезло, тайно вынашивали мысль самим поработать так же лето и даже ходили приглядеть поле, какое можно было бы попросить в закрепление; другие, их было большинство, видели (по своим обновленным понятиям) в этом обогащении какой-то будто недобрый знак и к недобрым переменам и следили за тем, как разворачивалась тяжба между руководством колхоза и отцом и сыном Сошниковыми, становясь, в зависимости от хода этой борьбы, то на сторону Сошниковых, то на сторону руководства колхоза; и третьи, группировавшиеся вокруг парткома и особенно остро противостоявшие Калинкину, были не только против выплаты, но и против самого эксперимента с закреплением земли, считая его необоснованным, вредным и подрывающим нравственные устои жизни. То, что звеном Сошниковых затрачено меньше горючего, удобрений, экономней использована техника; то, что высвобождено благодаря им для других нужд определенное количество рабочих рук и более чем в полтора раза сдано зерна государству,— считалось как будто второстепенным, чего можно достичь иным путем, а на передний план выдвигалась проблема нравственная, то есть забота о духовной чистоте общества; и хотя Парфену с его мужицким восприятием казалось, что в подобной постановке вопроса была какая-то фальшь (неувязка, как он, смягчая, старался объяснить парторгу Дорошину), но уловить, в чем эта фальшь состояла, не мог и со щемящим грузом на сердце смотрел, как хорошее дело разваливалось и пропадало. У него не было аргументов — властно, по своему усмотрению решить все; жизнь как будто загнала его в тупик, и он с удивлением оглядывался, ища выхода. Среди зеленолужских колхозников теперь только и было разговору что о Сошниковых. Люди не столько работали, сколько, собираясь, обсуждали проблему — и на бригадных дворах и по вечерам в избах; деревня напоминала растревоженный улей, и Сошниковы, подогреваемые общим интересом, с утра до вечера толклись в правлении колхоза, требовали, негодовали и грозились инстанциями.

Положение это было неестественным и не могло долго оставаться незамеченным. Рано или поздно, но кто-то непременно (и в первую очередь Дорошин, как полагал Парфен) доложит районному руководству, разумеется, со своими соображениями, и надо было опередить подобный ход событий. Хотя в Зеленолужском не было как будто недовольных Парфеном, но он не без основания полагал, что могли найтись и такие, кто готов подлить масла в огонь, чтобы свалить председателя, и получалось, что дело, касавшееся первоначально только семейного звена Сошниковых, обрастало связкою сложных, запутанных и задевавших уже лично Парфена вопросов, что проще было, как теперь думал он, не затевать этого эксперимента, ничего, кроме беспокойства, пока не принесшего ему. Его особенно поражало отношение самих деревенских людей к тому, что несомненно дало бы им (и государству, естественно) выгоду; они не то чтобы не могли понять важности того, что земля, с которой все мы кормимся, должна иметь одни хозяйские руки, но внимание их было так сосредоточено на другом, что они не могли разглядеть этого важного и по известной инерции, как и в прошлые времена, опасались изменить или нарушить что-либо в привычной для них теперь этой жизни. «Что же завидовать тогда венграм, немцам! — думал Парфен, отвечая на давний вопрос, который задавал себе, когда, прошагав с противотанковым ружьем почти до швейцарской границы и насмотревшись на обихожённые деревенские строения — каменные, с черепичными крышами, — смотрел затем на свои бревенчатые, вросшие в землю избы. — Или, может быть, я действительно чего-то не знаю, что знают другие?»

В то время как он подходил к дому Сухогрудова, он старался выделить из общего хода мыслей то, что можно было прояснить у бывшего первого секретаря райкома. «По крайней мере хоть скажет, с чем можно и с чем нельзя идти к Лукину»,— думал Парфен.

IX

Посмотрев по сторонам и поискав глазами веник, чтобы обмести ноги, как это по деревенской его жизни было привычно Парфену, хотя он был теперь не в деревне и ему нечего было обметать с ног,— он затем, сопровождаемый Ксенией, не раз прежде (в Поляновке) принимавшей его и знавшей, как Аким бывал рад его появлению, вошел в светлую (от наполнявшего ее электрического света) гостиную и остановился у порога. В сапогах, в шерстяном вязаном свитере, выдававшем в нем всю его полноту, в грубых суконных брюках, так было удобно ему ходить по морозной деревне, он сразу же почувствовал, что ему тесно в этой с осаженными потолками городской квартире. Тяжело, как по пашне, переставляя ноги, он подошел к стулу, на который Ксения предложила сесть ему, но в то время как он, взявшись ладонью за спинку этого стула, как будто желая проверить прочность его тонких (европейских, новомодных) ножек, собрался было устроиться на нем,— то ли услышавший разговор его с Ксенией, назвавшей его по имени и отчеству, то ли просто почувствовавший, что он пришел в дом, и не ставший дожидаться, пока жена объяснит кто, Сухогрудов, только что прохаживавшийся с углубленным в себя видом по кабинету, открыл дверь и выглянул в гостиную. Он не сразу узнал Парфена. Отстранив рукой Ксению, мешавшую ему увидеть прежнего своего выдвигенца, и не слушая ее, он внимательно посмотрел старческими глазами на повернувшегося к нему и улыбавшегося Парфена и, узнав наконец, неторопливо, молча и сухо, как он делал это, когда возглавлял райком, подошел и пожал руку.

— С чем пожаловал? — затем спросил, не предлагая сесть и не садясь сам.

Для Парфена вопрос был неожиданный и смутил его; для Сухогрудова же, поглощенного воспоминаниями своей жизни, было не только естественно так встретить Парфена, которого он как будто (по смещенности воображения) принимал в райкоме, но и немислимо было встретить иначе. Ему казалось, что он все еще жил в том времени, когда был энергичен, смел и все в районе подчинялось ему.

— Это же Парфен, из Зеленолужского, Парфен,— суетливо начала Ксения, зная за мужем эту забывчивость его.— Парфен, ну Парфен,— пыталась объяснить ему, в то время как он, повернувшись, смотрел на нее.

«Разве я сам не вижу? Вижу»,— было в его недовольных, что ему подсказывают, глазах.

Он был, несмотря на то, что в доме казалось тепло, в меховой безрукавке, надетой на однотонную синюю рубашку с жестким, большим ему и расстегнутым воротом (так, по-домашнему, в темное, любила теперь одеть его Ксения, облегчавшая себе заботы), был в синих, от старого костюма, брюках, которые, чтобы не спадали с усыхающих бедер, носил на подтяжках, и был в подрезанных до половины икр валенках, так как он постоянно теперь жаловался, что мерзнут ноги. Редкие волосы, аккуратно причесанные, казались неживыми и, как плохой парик, облегли неузнаваемо похудевшую (с тех пор как во время весеннего пленума райкома Парфен в последний раз видел его) голову. Он выглядел не то чтобы больным или усталым, он выглядел землистым; как видно, не только тот червь, который истощает душевные силы, поедая его, но и другой, что приводит к физическому распаду материи, хотя и незаметно еще для самого Сухогрудова, да

и для Ксении, приглядевшись к нему. Это сразу же почувствовал Парфен, едва только (при ярком электрическом свете) увидел Сухогрудова. Он обратил внимание не на худобу, не на тяжелые мешки под глазами, какие бывают у старых людей; он обратил внимание на цвет этого лица, на ту желтовато-зеленую синеву, пропитавшую тело, которая бывает признаком надвигающейся смерти. Занятый вопросами жизни, то есть теми своими председательскими, но, в сущности, государственными, народными заботами, из которых складывались для Парфена часы, дни, недели и месяцы и среди которых теперь главным было для него дело Сошниковых (и то, что было вокруг этого дела); занятый, несмотря на свой возраст, будто в запасе у него было еще достаточно времени, чтобы развернуться и во всей силе показать себя, то есть сделать то важное для деревни (закрепить землю), что одно только и могло, как он считал, соединить разорванную связь человека с землей,— он словно вдруг столкнулся с тем результатом (известным всем, но над которым люди предпочитают не задумываться), каким неизбежно заканчиваются всякие человеческие страсти. Сухогрудов для Парфена был не просто больной, отмеченный смертью старик, вызвавший сочувствие и жалость; это стояла эпоха, заключенная в немощном теле, та живая история, которую Парфен знал, как сказал бы о нем профессор Лусо, в лицах; эта история, то есть то, что было для Парфена в лицах, что было пленумами, собраниями активов, посевными, уборочными, в разной степени полными или голодными трудоднями или щедрыми, как теперь, денежными авансами,— история эта, связывавшаяся в душе Калинкина с самыми трудными годами его председательской деятельности, живо и в объеме встала перед ним. «Сколько суеты, усилий, сколько прижима, величия и слов»,— если и не этим выражением, то смыслом, заключенным в нем, прочертилась простая и страшная в сознании его мысль. Он достал платок и, все еще улыбаясь первоначальной будто бы улыбкой, с какой он повернулся к Сухогрудову, хотя улыбка эта уже не была улыбкой, а выглядела лишь соединением растерянности и жалости, принялся вытирать пот, обильно и ни с чего будто проступивший на лбу, щеках и шее.

— Присаживайся, ну как же, знаю, Парфен,— одновременно и отвечая Ксении, и обращаясь к своему по прежним временам любимчику, зеленолужскому председателю, проговорил Сухогрудов.— Как твоя «елочка», как «силосные, освоил? — спросил затем, повторив те вопросы, какие задавал Парфену весной на пленуме райкома (и о чем, разумеется, не помнил). Сооружение дорогостоящих «елочек» для дойки коров, которые впоследствии оказались пригодными только под склады, и силосных траншей, в которых ежегодно затем, пока не приспособились к ним, закисала и пропадала половина кормов, было для Сухогрудова тем важным партийным (по тем временам) делом, которому он придавал особое значение. Дело это завершалось в районе уже без него, и он с беспокойством полагал, что без него оно не могло благополучно завершиться.

— «Елочки»... Так это же когда было,— сказал Парфен, разведя для верности руки.— Другим живем, Акимыч, другим.

— Другим?! А, да-да,— подтвердил Сухогрудов, словно понял, что давно уже не возглавляет райком, снят и живет только воображенными делами.— Да-да,— еще раз подтвердил он, волнуясь и то убирая с колен на подлокотники кресла сухие вздрагивавшие руки, то опять с подлокотников опуская на колени их. И от этого будто волнения, что он впервые не знал, куда деть их, или от проясненности, неожиданно теперь нахлынувшей на него, в нем что-то переменялось, какие-то еще оставшиеся силы поднялись и возбуждали его. Лицо его не то чтобы изменилось в цвете, но будто тень одухотворенности (как бывало с ним всегда прежде, когда он с заинтересованностью вникал в какое-либо дело) легла на него. Он сцепил все еще вздраги-

вавшие руки и, выпрямившись, с этой прямой осанкой, словно навстречу ветру, готов был вступить в разговор с зеленолужским председателем.

— Ну, так какие дела привели тебя ко мне? — чуть выждав, спросил он изменившимся и располагавшим к себе тоном. — Если думаешь, что я еще чего-то могу, — он болезненно усмехнулся тонкими, без кровинки, сжатыми губами, — то глубоко ошибаешься. Я могу разве только, — он посмотрел в сторону Ксении, — распорядиться насчет ужина или чая. — Губы его опять сомкнулись в усмешке над собой, над своим положением обойденного, обиженного, но не смирившегося с этой обидой человека, но более — над теми, кто, отстранив его, Сухогрудова, все-таки (как подтверждало появление Парфена) не могли обойтись без него. Мысль пробуждала в нем прежде несвойственное ему, желчное ликование: «Что, ко мне?! Не можете без меня?!» — которое было необходимо ему как отдушина в теперешней жизни. Ему не приходило и не могло прийти в голову, что Парфен или кто-то еще мог просто зайти навестить его; он был настолько далек от этих человеческих отношений, что просто не воспринимал их. — Ужинал? Нет? — с этой проснувшейся в нем энергией жизни снова начал он. — Выпить — нет, не могу, а за чаем компанию составляю. Ну-ка, — сказал он Ксении. — А какие обеды ты закатывал у себя в Зеленолужском, а, помнишь?

— Какие обеды, Акимыч?

— Ну-ну, было время. Так с чем пожаловал? — опять спросил он, когда Ксения, оставив их, пошла накрыть стол.

Х

Парфен несколько раз взглянул на Сухогрудова, прежде чем решился рассказать ему о своем деле.

— Ты понимаешь, волнуется народ, — сказал он, делая в конце своего рассказа упор на слове «понимаешь», как будто смысл всего заключался не в том, что люди в хозяйстве по-разному восприняли эксперимент с закреплением земли за семейным звеном Сошниковых, а в чем-то ином, что было будто бы вполне ясным, но чего как раз и недопонимали всегда в его рассказе. — Нужна середина, а на нее Сошниковы не согласны.

— Усреднить — не выход, — заметил Сухогрудов, внимательно выслушавший Парфена. — Усреднять мы умеем, усредняли да и будем усреднять. Долго еще усреднять будем. — Он на минуту снова занялся своими руками, которые, как только он расцеплял их, сейчас же оказывались лишними, и надо было куда-то убирать их. — Но дело не в этом. Вы думаете, что с людьми можно заигрывать? Заигрывать с народом? Они вам еще покажут, эти Сошниковы. С народом заигрывать нельзя, вы хотите с зажженной спичкой пройти по разлитому бензину, а я ведь говорил, я предупреждал вас, — сказал Сухогрудов, следивший (по районной прессе) за проводившимся в зеленолужском колхозе экспериментом. Отношение его к этому начинанию было — то ревностное отношение ко всему новому, что теперь без его участия проводилось в районе, в стране, в партии. Новое это, он чувствовал, было — для блага народа, было — тем послаблением, о каком он втайне всегда думал, что его надо было дать, и, по логике вещей, он должен был бы радоваться переменам; но послабление, то есть благо, выдавалось не через него, не из его рук, которые он не знал, куда деть, и это, что не через него, что именно теперь, когда можно было дать послабление, его словно в насмешку оттеснили и не вспоминали о нем, вызывало обиду: и на тех, кто оттеснил, и на то, что эти оттеснившие делали. «Оступятся, еще оступятся», — думал он, с молчаливой желчностью следя за событиями, как будто общая жизнь людей с их повседневными заботами и стремлением к добру и счастью

была не жизнью, а противоборством между ним и всеми остальными, то есть между тем, что было — он, Сухогрудов, со своим пониманием и практикой, и тем, что было — Воскобойниковы и Лукины, сменившие его и собиравшие теперь славу и почести. — Вы нарушили преемственность в работе, а жизнь — штука суровая, и она не прощает оплошностей, — после привычной для человека его значимости паузы, какую он всегда прежде любил выдержать в разговоре, особенно если разговор касался основы основ жизни, произнес Сухогрудов. — А как обком реагирует на вашу затею? — оживляясь еще более, поинтересовался он.

— Этого я не знаю, — ответил Парфен.

Точно так же, как человек свыкается с сумраком или ярким светом в помещении, куда вводят его, Парфен, присмотревшись к Сухогрудову и разговорившись с ним, не замечал теперь той обреченности, которая поразила его в первую минуту встречи; для него важным было найти истину в деле, которое занимало его, и он старался как можно лучше понять бывшего хозяина района, несомненно знавшего многое, что было скрыто, как думал Парфен, от общего взгляда.

— Да и не дошло, я полагаю, до обкома, — добавил он.

— До обкома всегда и все доходит. Если не знаешь, так узнаешь, — поправил его Сухогрудов с той горьковатой усмешкой, которая должна была напомнить зеленолужскому председателю, что у него не было теперь той широкой спины, то есть его, Сухогрудова, за кем можно было чувствовать уверенным себя. — Да, да, узнаете, — подтвердил он, вкладывая уже иной смысл в свои слова, понятные самому и непонятные Парфену.

— Но земля не может оставаться обезличенной, если мы хотим, чтобы она рожала. Ей нужен хозяин, — хмуро (и тоже будто не по существу) возразил Парфен.

— Хозяин у нее есть.

— Кто?

— Народ.

— Народ, что ж, народ — это народ, — сказал Парфен, невольно подчиняясь тому внутреннему протесту, какой всегда жил в нем по отношению к начальству (и, может быть, даже сильнее к Сухогрудову, умевшему поддержать, приласкать, но еще более умевшему взять круто). — Народ, известно, хозяин всему: и воде, и лесам, и небу. А если плуг, к примеру, без хозяина, как спашут на нем, так и бросят в борозде: ржавей, пропадай, никому до него дела.

— Народ воспитывать надо, на то и поставлен ты, — перебил его Сухогрудов, что для Парфена было — подмазыванием колес, в то время как должна (в человеке) действовать постоянная сила, организующая его в его работе, а для бывшего секретаря райкома — смыслом его партийной деятельности с народом, которую проводили до него, проводил он и должны проводить, как он полагал, те, кто стал теперь во главе дела.

Парфен хотел что-то возразить Сухогрудову, но Ксения позвала их к столу, и они, поднявшись, пошли в просторную и чистую, как любила содержать все у себя в квартире Ксения, кухню. Парфена, как гостя, усадили во главе стола; с одной стороны от него, ближе к двери, сел Сухогрудов, с другой, ближе к плите, буфету и навесным полкам с посудой разного образца и калибра, Ксения. Она была в мягком и просторном (даже для ее габаритов) халате с засученными почти до локтей рукавами и полными, белыми и мягкими руками разливала чай, подкладывая на тарелку Парфену то ломтики пористого российского сыра, который был тогда еще новинкой, то квадратные и толсто нарезанные куски столичной колбасы, тогда производившейся еще в достатке. Из-под шалевого воротника халата проглядывали ее белая пухлая шея и грудь, высоко поднимавшаяся, когда она, видя, что муж не притрагивается ни к чему, вздыхала. Она не прислушива-

лась к разговору мужчин; в привычном мире ее домашних забот, в колесяе ее жизни, она чувствовала, опять выпадала спица, и это беспокоило ее; спицей был ее теперешний муж, столь же привычный для нее в доме, как и шкатулки, ковры, вазы, статуэтки, с которых она каждый день вытирала пыль (и с которых точно так же вытирала пыль при первом своем муже); но в то время как шкатулки, вазы, статуэтки, ковры неизменно оставались на своих местах, муж, всегда прежде бывший первым предметом в этом ее обиходе, худел, высыхал, таял на ее глазах, и никаким смахиванием пыли нельзя было поправить дела.

— Ты бы хоть поел что-нибудь, с утра ведь,— наконец сказала она, произнеся это тем тоном, будто болезнь мужа происходила от его равнодушия к пище и к себе и она за это была недовольна им.

В восьмом часу, как обычно, пришла Шура со своим Валериком, окрепшим, как она считала, за лето на ноги. Ксения пошла встретить ее, и пока женщины, поцеловавшись, обменивались в коридоре новостями, пока Шура своим шумным радостным голосом пересказывала, что начал уже вытворять ее Валерик, проявлявший самостоятельность и удивлявший этой самостоятельностью мать, и пока Ксения, полагая, что она говорит шепотом (который был слышен Парфену на кухне), сообщала дочери, что с отчимом ее все по-прежнему, не лучше, не хуже, и что в доме гость (она опять громко назвала Парфена по имени и отчеству),— со стариком Сухогрудовым случилось то страшное, что надолго затем запомнилось Парфену.

Как только, пересиливая себя, Сухогрудов принялся жевать сыр, поданный ему Ксенией, лицо его опять переменялось, сделалось мертвенно-синим, его начало рвать, сухо, с конвульсиями, как при отравлениях. Он задержался, захрипел, на губах появилась слизь. Парфен, громыхнув стулом, кинулся поддержать его, чтобы не упал, и вбежавшие на шум женщины, подхватив под мышки сухонькое и обмякшее, как свернутое одеяло, то, что когда-то было хозяйном района, потащили к туалету, охая, взрча и переставляя ему ноги. Зрелище так поразило Парфена (прежде всего своей человеческой беспомощностью), что, вместо того чтобы помочь хозяйкам, он только растерянно стоял посередине кухни. Его поразило еще (потом, когда он вспоминал об этой последней своей с Сухогрудовым встрече) поведение мальчика, оставленного Шурой возле него. Мальчик, которому не было еще и двух лет, в теплых брючках и валенках, во фланелевой рубашке и вязанке поверх нее, с непричесанными после шапки волосами и раскрасневшимися с мороза щечками, так спокойно смотрел на происходившее, как будто то, что мать и бабушка делали с дедом, было условием, которое надо переждать и после которого они начнут заниматься им. «Ни даже намека на испуг»,— позднее уже думал Парфен, мысленно восстанавливая картину. Но в эти минуты, когда Ксения и Шура возились в туалете, откуда доносились кашель и неприятные звуки рвоты, Парфен продолжал лишь, как и маленький Валерик возле него, прислушиваться и выжидать, чем закончится дело.

Сухогрудова, все так же держа его под мышки, увели в спальню и уложили в постель; и как только он успокоился, Ксения и Шура вернулись на кухню.

— Вы уж извините,— сказала Ксения, успевшая переменить на себе испачканный халат и выглядевшая теперь постаревшей и растерявшей будто всю свою домашнюю привлекательность.— Раньше бывало раз, два в неделю, а теперь каждый день, каждый день. Господи, какое мучение,— относя это последнее не столько к мужу, сколько к себе, проговорила она.

— Зачем же вы его держите дома, его надо в больницу,— заметил Парфен.

— Не хочет,— спокойно возразила Ксения.— Укладывали, лежал. Не хочет. Да и какая ему теперь больница. У него рак, он только не знает этого.

— Мама?! — воскликнула Шура, впервые услышавшая от матери, чем на самом деле был болен ее отчим.

— Что «мама»? Мне давно и прямо сказали, но я только не хотела тебя волновать.

— Как же ты так могла? — и Шура потянула к себе Валерика, будто та страшная болезнь, косящая (в этом веке!) людей, о которой большинство человечества из боязни ее старается не упоминать, могла каким-то образом перейти на ее сына.

Ксения тщательно и с мылом перемыла посуду, из которой пил и ел Сухогрудов, надломленные ломтики сыра вывалила в помойное ведро и вытерла клеенку на столе, чтобы можно было, не брезгуя, присесть дочери с внуком, и только после этого вновь принялась разливать чай и угощать гостя. Шуру она несколько раз послала посмотреть на мужа, который или спал, или был в забытьи, и вместе с тем как Шура, возвращаясь, говорила, что с ним все спокойно, Ксения все с большей доверительностью, с какой она только и могла говорить теперь о муже, говорила о том, как в Москве на похоронах племянника «ровно что-то ударило его» и он сделался плох, заболел и что она уже измучилась с ним и не знает, как быть и к кому пойти.

— Да, да, надо что-то предпринимать,— согласный с нею, отвечал ей Парфен. И с этим «надо», заслонившим в нем те свои заботы, с которыми он приехал в район, он почти в двенадцать ночи вышел от Сухогрудовых.

XI

Весь следующий день Парфен провел в хлопотах по устройству Сухогрудова в обкомовскую больницу, на своем «газике» отвозил его в Орел и не смог попасть к Лукину, к которому (в этот же день) ходоками пришли Сошниковы, чтобы настоять на решении своего дела.

Они пришли после обеда, когда Лукин просматривал письма, среди которых было и письмо от Галины, просившей его приехать в Москву на суд над Арсением, назначенный на середину декабря. Письмо это было неприятно Лукину теми событиями, о которых оно напомнило, и под впечатлением этих воспоминаний и вчерашнего вечера у себя, на котором он обнаружил, что у него, в сущности, нет настоящих помощников, способных поддержать в начинании (и с не выветрившимся еще осадком от разговора в обкоме, где ему, когда он передавал записку, хотя и не сказали как будто ни да, ни нет, но все же дали понять, что вряд ли смогут поддержать),— под впечатлением этих личных и служебных забот, всецело занимавших его, он и принял пришедших к нему Сошниковых.

Он пригласил сестр за стол, за которым обычно заседали члены бюро райкома, и сам сел напротив них. Но еще прежде чем это произошло и начался тот длинный и бессмысленный по конечному своему результату разговор, в котором Сошниковы, считавшие себя правыми, не хотели уступить, а Лукин, не имевший возможности ничего сделать для них и в самом начале встречи избравший тон защиты, от которого затем невозможно было уже отказаться, просил лишь не горячиться и не делать глупостей, чтобы не сожалеть о них,— еще прежде чем это произошло, он, несмотря на весь свой запутанный (после письма Галины) ход мыслей, успел внимательно посмотреть и к Сошникову-отцу и к Сошникову-сыну, которых помнил еще по встрече в Зеленолужском на хлебном поле и о которых имел определенное мнение. У Лукина была дурная, как он сам говорил о ней, привычка, из-за которой он, принимая посетителя, прислушивался более не к их словам, а к интонации, с какой

слова эти произносились, и присматривался к общему виду — выражению лица, одежде, жестам, — по которому определял, для чего и с какой мерой искренности приходили к нему; и по этой своей дурной привычке, едва Сошниковы переступили порог, так изучающе-пристально посмотрел на них, что не только Сошникову-младшему, но и Сошникову-старшему, как они позднее признавались друг другу, стало неловко и захотелось выйти из кабинета. Но Лукин не заметил этой их неловкости, а по общему взгляду сейчас же почувствовал, что это были как будто совсем другие люди, чем те Сошниковы — комбайнеры, которых он видел на поле. Те были в потных рубашках, загорелые, обветренные и пропитанные особенной с хлебных полей пылью, которая не воспринимается как пыль и не портит человека; те, у комбайнов, на фоне валков и копен, те Сошниковы были словно подсвечены радостью труда и жизни, исходившей от них, а эти, которых он видел теперь, отличались не только тем, что были в костюмах, светлых рубашках и галстуках (как, впрочем, одеваются теперь почти все деревенские люди), но прежде всего тем, что вместо радости в их глазах и на их лицах было отражено какое-то будто застарелое недоброжелательство к Лукину, которое они пришли высказать.

«Ну вот, и здесь, видимо, виноват райком, — подумал он, пожимая им руки. — Нет чтобы разобраться на месте, так сюда. Чуть что, все сюда». Он знал из доклада помощника, что они пришли по делу эксперимента; но разговор, о чем Лукин тоже знал, должен был пойти не по существу вопроса, то есть не о том, какие перспективы для сельского хозяйства открывались экспериментом, а о личном, то есть о выгодах (от эксперимента), которые должны были получить и не получили Сошниковы; и эта смещенность разговора от интересов общегосударственных к интересам личным, что для Лукина, привыкшего измерять все категорией народа, имело свое определение, а для Сошниковых, для которых понятие «народ» звучало лишь как нечто общее, но что кроме этого общего есть еще свой дом и своя семья, должная жить в достатке, — смещенность эта и недоброжелательство, замеченное Лукиным, вызвали странное ощущение, будто Сошниковы были причастны не к эксперименту, а к записке, которую он отвез в обком. Они как будто пришли подтвердить те опасения, о которых, настораживая, говорили ему еще на Старой площади и затем вчера, в обкоме, и в которые он не то чтобы не верил, но не представлял, чтобы прошлое могло пробудиться в народе. «Не тот теперь мужик, давно уже не тот», — было главным убеждением его. Но убеждение это (относительно Сошниковых) начало давать трещину, и то, что было уязвимым и что он старательно обходил в записке, стало обнажено проступать перед ним. «Может быть, я преувеличиваю», — подумал он, в то время как Сошниковы усаживались за столом. Ему не хотелось верить в то, что открывалось ему, и он старался заглянуть им в глаза, чтобы найти опровержение; но вместо опровержения лишь сильнее убеждался, что первое впечатление было верно, и с оттенком недоброжелательности приготовился выслушать их.

ХП

Но вместо обстоятельного рассказа, приготовленного Сошниковыми, они смогли только (в обстановке недоброжелательства, в каком непроизвольно будто бы оказались) путано изложить дело, обвинив всех и представив ягнятами себя, во что поверить было невозможно, и Лукин, как и должно ему, ответил лишь, что постарается разобраться во всем. Но Сошниковых, особенно Сошникова-старшего, который, как бы не доверяя сыну, весь разговор брал на себя, не устраивало это. Дело их, тянувшееся третий месяц, нуждалось не в

разбирательстве, как они считали, а в применении закона и власти, и на этом-то и настаивал Сошников-старший.

Он сидел перед Лукиным, побагровевший от недовольства, что опять все откладывалось; для него это было равнозначно отказу.

— Это обман, — говорил он, глядя на Лукина отчужденно-прищуренными глазами, оборачиваясь за поддержкой на сына и опять глядя на Лукина. — Сколько же можно мордовать людей?

— Разберемся, я же говорю, разберемся, — в который раз ответил ему Лукин.

— Разберемся, разберемся... Да можно ли так с народом? — начал опять Сошников-старший с той строгостью, словно знал, что возразит ему Лукин (Лукин же хотел только сказать, что нельзя делать подобные обобщения и ссылаться на народ, когда речь идет о частном и конкретном случае). — Мы добросовестно выполнили все, что от нас требовалось, — между тем продолжал старший Сошников. — Горючее сэкономии? — Он повернулся на сына. — Сэкономии. Трактора, инвентарь, комбайны... да что говорить, работали, как дома, как на своем участке, ни с выходными, ни с праздниками не считались, а с нами, как с какими-то, извините, жуликами. По какому закону? — наступательно продолжал он. — Мы ведь можем так, а можем и иначе, мест много, податься есть куда.

— Вы забыли, что вы в райкоме, — не выдержав, раздраженно заметил Лукин. — Если вы пришли предъявить райкому ультиматум, то...

— Мы хотим только, чтобы нам выплатили честно заработанное нами.

— Так дайте срок разобраться с вашим делом. Оставьте заявление, и я вам обещаю.

— Обещаниями мы сыты вот так, выше некуда. — И Сошников-старший жестом показал, как он был сыт обещаниями. Затем он передал Лукину сложенное вчетверо заявление, которое во время разговора держал в руках, и, бросив сыну: «Пошли!» — молча и не прощаясь направился к выходу. Но у двери остановился и, обернувшись, резко проговорил: — Пока нам не заплатят, палец о палец не ударим. Не то время, чтобы задарма работать. Пошли, — опять сказал он сыну, и Лукин только в растерянности смотрел, как за ними захлопнулась дверь.

Некоторое время Лукин продолжал сидеть, глядя на дверь, за которой скрылись Сошниковы, потом встал и принялся ходить по кабинету. «Нетерпение какое, а? Скажите, какое нетерпение, — повторял он, думая о Сошниковых. — Но и зачем было тянуть, почему не решить сразу: да так да, а нет так нет». Что относилось уже к финансистам, которые только казалось, что не решили вопроса, тогда как давно и определенным образом решили его.

Самым неприятным для Лукина было то, что он, как маятник (в этом вопросе с Сошниковыми), перекидывался то на одну, то на другую сторону и не находил середины, которая устроила бы всех и не обязывала бы никого ни к чему. То он как будто понимал Сошниковых, становился на их сторону, и тогда все жесткости Сошникова-отца представлялись объяснимыми и простительными, то вдруг, как только вспоминал последние слова, сказанные им от порога будто с угрозой, что «палец о палец не ударим» и что «податься есть куда», все в нем поднималось против Сошниковых. Ему казалось, что они предъявляли ультиматум не ему, даже не райкому, а всей советской власти; точно такой же ультиматум, какой предъявляла молодой Советской республике крепкие, как они именовали себя, мужики, которые, желая повернуть историю в свое русло, грозились сгноить хлеб и не дать его республике. Лукин не знал, как на самом деле происходили те разговоры и что служило истинною причиною их; но по многочисленным литературным и иным источникам,

по которым он (как, впрочем, и все мы) изучал историю, он вполне (и с долей преувеличения) представлял тех деревенских ходоков; и хотя между теми, о которых он подумал, и Сошниковыми не было внешнего сходства — эти выглядели городскими интеллигентами по сравнению с теми, — но по духу, он чувствовал, что-то будто объединяло их. «Да, суть одна», — думал он, повторяя ту же ошибку, что и Сошниковы, которых он только что упрекал за неверное употребление слова «народ». Но то, что непозволительно было Сошниковым, Лукин не замечал за собой и все более как бы смещался в область общих вопросов.

Может быть, если бы не зеленолужский эксперимент, и не идея, которую (в связи именно с экспериментом) вынашивал Лукин и затем изложил в записке, и не причастность Сошниковых к этому эксперименту, то есть к сути идеи — о посемейном, вернее, семейно-звеньевом закреплении земли; если бы не обращение к истории вопроса и не исследование, которое Лукин провел, составляя записку, разговор с Сошниковым не произвел бы на него такого впечатления и не было бы ни этих мыслей о духе собственности, еще не изжитом будто бы в народе, ни параллелей между прошлым, по источникам дошедшим до нас, и настоящим, в котором еще надо иметь терпение разобраться; случай с Сошниковыми остался бы лишь тем обычным, рядовым случаем, о котором можно помнить, а можно и не помнить. Но Лукину казалось, что будто вся имевшая государственное значение работа его ставилась теперь под сомнение, и в то время как он продолжал ходить по кабинету, в то время как под ногами его продолжал поскрипывать новый, недавно выложенный паркет, одна мысль занимала его: как отделить Сошниковых от сути вопроса, то есть от всего того, что из-за них, если дело дойдет до обкома, будет загублено на корню. Он не видел, как сделать это, и мысленно упрекал Парфена, который не сумел подобрать для такого дела других, лучших людей, или начинал думать о финансистах, с которыми предстояло говорить ему и которые, он знал, если упрутся во что, то их трудно сдвинуть («Как будто нельзя найти компромисс», — полагал он), или опять возвращался к записке, отвезенной им в обком. «Да, да, толкуем о продовольственной проблеме страны и средствах решения ее», — говорил он, что было теперь излюбленным выражением его, — только не о том одном несомненном средстве, которое, наверное, изменило бы все». И в воображении его ясно, как на бумаге, возникала вся выстроенная им — не столько по результатам эксперимента, сколько по теоретическим изысканиям — схема тех производственных отношений, в которых нуждалась теперь деревня. Положение о взаимосвязывающих и взаимоисключающих силах — плюс, минус, положительный, отрицательный заряды, как в природе, — положение это еще более теперь представлялось обоснованным ему, и поведение Сошниковых, главное, их прилежание на закрепленном поле, чего исключить было нельзя, только сильнее подтверждали Лукину наличие той второй силы, называемой «интересом в обработке земли», то есть тех нравственных пружин, которые по недоразумению были в свое время выброшены из общего механизма труда и жизни и которым Лукин, как это казалось ему, нашел верную и приемлемую замену. «Как они за свое, а? — думал он, оборачиваясь на дверь, будто Сошниковы были еще здесь. — Эту их энергию да на общие бы цели».

Но когда после этого хождения по кабинету и телефонного звонка из обкома (хотя и не по записке, но все же — из обкома) Лукин сел за стол, чтобы заняться делами, дожидавшимися его, под руку ему опять попало письмо Галины, и он почувствовал, что еще тяжелее, чем государственный, беспокоил его вопрос личный, его отношения с бывшей женой (и с семьей, которую не хотелось обманывать).

«Как раз теперь, именно теперь», — неприятно подумал он, отложив письмо и продолжая коситься на него.

Для Лукина лучше было бы, как он думал, не появляться на суде и не встречаться с Галиной. Но ему предстояла поездка в Москву, и он невольно, словно это диктовалось обстоятельствами, стал приурочивать ее к середине декабря, то есть как раз к тому времени, на которое был назначен, как сообщала Галина, суд над Арсением.

XIII

Всю эту осень Николай Николаевич Кошелев занимался необычным для себя благотворительным, как он называл его, делом — помогал Ольге Дорогомилиной обживаться в Москве. Сумевшая, когда понадобилось, так подойти к нему, что он не мог ни в чем отказать (разумеется, как родственнице, жене брата), она с помощью его связей обменяла полученную ею и мужем квартиру на большую и в центре и затем принялась (через него же) доставать мебель и другие необходимые для устройства квартиры дефицитные вещи. Возле подъезда ее дома по утрам часто можно было видеть теперь бежевый «Москвич» Николая Николаевича. Со словами: «Ну, куда сегодня?» — он открывал ей дверцу машины и вез туда, куда она просила, тратя на нее служебное время. Но он не жалел, что тратил время; напротив, он делал это с охотой. Он обнаружил, во-первых, что помогать родственнице приятно и что занятие это приносит точно такое же удовлетворение, какое приносили хлопоты для себя. Во-вторых, он в действии увидел те свои связи, о которых прежде только догадывался, и ему приятно было перед родственницей выказывать эту свою значимость. И в-третьих, что было особенно важным, он словно открыл в Ольге совсем другую женщину, чем прежде со слов брата представлял. «Деловая, энергичная», — думал он, удивляясь брату и упрекая его за его слепоту. Ольга была моложе Лоры и одевалась в согласии со своим вкусом, и Николай Николаевич, привыкший к домашнему облику жены, увидел в Ольге то современное, что сейчас же привлекло его. «Нет, нет, ты просто ее не знаешь», — убежденно говорил он теперь брату, когда случалось им остаться вдвоем. Семен, довольный такою оценкой, улыбался; улыбался и Николай Николаевич, находивший в этом покровительстве над женой брата новый для себя смысл жизни; и только Лора (по своей устоявшейся домашности) не хотела понимать его и не разделяла его восторгов.

— Разве у Николая нет других забот, — жаловалась она старикам, отцу и матери, которые, слушая ее и кивая ей, в сущности, не понимали ее. Они так привыкли к тому, что зять их был человеком глубоко порядочным — все в дом, в семью! — и был кормильцем их; так привыкли всегда только восхищаться им, что им невозможно было расстаться с этой оценкой. Им хотелось дожить век в той спокойной радости, в какой они пребывали, и они инстинктивно оберегали себя. — Так оседлать, так оседлать, — между тем (в очередной раз) продолжала Лора.

Она внимательнее теперь присматривалась к мужу, когда он позднее обычного возвращался домой и особенно когда говорил: «У них задержался», — что означало для него, что заезжал к брату, а для нее, что заезжал к Ольге; и она безошибочно угадывала причину его веселого возбуждения.

— Ты бы за брошюру сел, — говорила она, чтобы не дать ему ничего сказать о Дорогомилиных, о которых она не хотела слышать. — Ты забываешь, что Матвей уже взрослый, студент. — Что должно было о многом напомнить мужу.

— Но что делать, что делать! — весело восклицал Николай Николаевич, воспринимая слова жены совсем не в том значении, в каком она произносила их. — Я и сам вижу, что пора, но ведь и не так-

то просто засесть. Сколько я переписал их? И на каждую столько сил, на каждую — столько материала. Нет, они таки молодцы, молодцы.— И он опять растроганно улыбался, переводя разговор на брата.

Он теперь не только не работал над брошюрой, от публикации которой зависело благополучие его семьи, но и на службе позволял себе многое откладывать на потом и к поручениям жены относился так, словно их можно было не выполнять вовсе. Ему достаточно было, что он как никогда чувствовал себя всеобъемлюще добрым, и по этому своему чувству доброты, доставлявшему удовлетворение, он не колеблясь, как только Ольга попросила его об этом, отдал ей ковры, которые еще с лета (и по поручению Лоры) доставал для себя.

— Как отдал? — переспросила Лора, когда он сообщил ей об этом. — Ты все ей готов отдать, я вижу. — Она весь день не разговаривала с ним, а вечером, когда надо было ехать к Дорогомилиным, сказала, что не может поехать к ней, и Николай Николаевич отправился к брату один, чтобы не нарушить обещания.

У Дорогомилиных в этот вечер был важный гость — кинокритик Казанцев, приехавший из Пензы навестить их. Он уже осмотрел комнаты и, высказав Ольге и Вере Николаевне похвалы, которые считал нужным сказать им и которые были долгом вежливости, привычно сидел в будто специально для него привезенном павловском кресле, в котором всегда так любил устроиться у Дорогомилиных в Пензе, и из глубины этого кресла маленькими бесцветными глазами смотрел перед собой. Рука его лежала на пианино, гладкую поверхность которого обычно нравилось ощущать ему, и весь он, казалось, состоял из достоинства, привезенного им из провинции в Москву. Рядом, на стуле, сидела Вера Николаевна в своем всегдашнем, делавшем ее классной дамой длинным шерстяном платье. Морщинистая шея ее была прикрыта белым шарфом, на груди виднелось дорогое кольцо, пальцы были отяжелены печатками и перстнями; переезд в Москву так благотворно подействовал на нее, что она казалась помолодевшей и была в этот вечер особенно оживлена. На нее нахлынули воспоминания, и она говорила, что Москва теперь не та, что все в ней (несмотря на появившиеся новые проспекты и здания) обмельчало и что, главное, не было тех людей, задававших тон в искусстве, которых она знала и слава которых гремела.

— Не понимаю, почему так носятся с ним,— говорила она, называя имя композитора, которого рекомендовали ей чуть ли не звездой года, но который произвел на нее совсем иное, чем она ожидала, впечатление.— Или этот...— И она называла артиста, считавшегося как будто ведущим в своем театре, но одетого вне театра так, словно ему и третьих ролей не дают.— Кто же будет считаться с ним,— заключала Вера Николаевна.

Она перебрала еще ряд имен литераторов и художников, которые через дочь и остававшихся еще в живых прежних знакомых были представлены ей, и все они были не те, с кем бы хотелось встретиться ей.

— Да, Россия устала,— с той своеобразной пронизательностью, с какою он умел, как он думал, подойти к любому явлению, вторил ей Казанцев.— Устала Россия.— Как будто Россией был он сам со всей своей старостью, которая проглядывала в складках кожи на лице и на шее, в худобе рук, в одежде. Костюм, когда-то бывший впору ему, был велик и свисал с плеч; велик был воротничок рубашки, велики были манжеты на рукавах; но кроме того, все было еще и старомодно и усиливало общее впечатление.— Устала от войн, от окраин, от бесконечных стараний,— говорил он, глубококомысленно перечисляя то, что можно было отнести к «усталости России».

Евдокия, которую как члена семьи Дорогомилины захватили с собой из Пензы, была на кухне, готовила ужин. Ей сказали, что будут гости и что надо постараться, и она с полудня еще начала суетиться

в новой кухне, где много было красного цвета. На новой плите и в новой посуде, ей казалось, не все получалось у нее, и она, встревоженная и раскрасневшаяся, то и дело приходила за советом к Ольге.

— Нет, ты несносна сегодня,— наконец сказала ей Ольга.— Как получится, так и получится. Пожалуйста, сама.

Положив ногу на ногу, то есть одно оголенное (в капроне) колено на другое, так как она была в укороченной и казавшейся ей здесь, в Москве, еще более модной, чем в Пензе, кожаной (под кожу) юбке, блестящей на ней, Ольга сидела вместе с мужем в кабинете, обставленном дорогой, инкрустированной арабской мебелью, только-только тогда начавшей появляться в Москве. Кресло, в котором она сидела, и диван, на котором, откинувшись на спинку его и разбросав перед собой руки, покоился ее муж (без пяти минут министр, как Семен любил теперь в шутку, правда, сказать о себе), были обиты голубым с красно-желтыми цветами шелком. Шелк в тех местах, где он соприкасался с деревом, был прихвачен маленькими бронзовыми головками львов, и бронзовые пластинки с такими же головками видны были на ножках. От письменного стола и книжного шкафа с широкими распахивающимися дверцами, как и от дивана и кресел, пахло сандаловым деревом, и непривычный для московских квартир запах этот — запах Востока с его мечетями, негой, ленью и роскошью,— как и общий вид кабинета, создавал как бы особую атмосферу жизни. Здесь все было новым, сверкало чистотой, цветом и располагало к отдыху; и как ни казалось Семену излишеством то, что приобретала и делала Ольга, но в глубине души он был доволен ею, и доволен был особенно теперь, когда готовился принять брата.

Ольга с негустыми, свободно спадавшими на плечи волосами и заостренным (в рамках этих волос) личиком была почти не видна в кресле, так как голубой свитер, что был на ней, сливался с обивкой. Семен же в приличествовавшем его положению костюме, в светлой рубашке и галстуке, освежавшем красноватым цветом его лицо, был, напротив, весь на виду, долговязый и сутулый. Он вел с женой поучительный разговор, который не то чтобы был нужен, но доставлял ему удовлетворение; и он тем охотнее говорил с ней, чем меньше она возражала ему.

В середине их разговора, когда они оба были согласны, что жизнь московская — это совсем не то, что жизнь в Пензе, над входной дверью раздался звонок, и Семен, поднявшись, пошел встретить приехавших Кошелевых.

— Как! Один?! — через минуту послышался в коридоре его удивленный возглас.— А Лора?

— Загрипповала.

— А мы так ждали ее,— принимая из рук брата дубленку, шарф и ондатровую шапку, сказал Семен.

В прихожей их встретила Ольга. Она сейчас же поняла (по виду Николая Николаевича и по тому, что он пришел без жены), что того торжественного, к чему она готовилась, не будет, и высказала свое сожаление по поводу Лоры, не сумевшей приехать на вечер.

— Да, да, но... я же тебе говорил,— как бы между прочим, заметил Семен.— Надо тебе самой съездить и пригласить ее.

— Что вы! — воскликнул Николай Николаевич.— Она действительно нездорова.— И принялся целовать покрытую перстнями руку Ольги, как он делал всякий раз, приходя сюда.

Между тем Николаем Николаевичем, который был прост в семье и любил, надев стоптанные сандалии, выйти к стожкам сена и пофилософствовать о правде и смысле жизни (и каким чаще всего видел его Семен Дорогомилин), и этим, интеллигентствующим, каким он бывал на службе и особенно на приемах, где только на словах читится деревенское происхождение, но где человек оценивается по иным и

прежде осуждавшимся признакам,— между тем и этим Николаем Николаевичем, целующим руку Ольге, было так много различия, что казалось Семену удивительным, как могло сочетаться это в одном лице. Ложным ли было то, чему еще так недавно завидовал в брате Семен,— его почти деревенскому укладу жизни, или это, что открывалось теперь, было неясно; не умея как следует понять Николая, но стоя (по образу жизни, навязанному Ольгой) ближе к тому, что называлось интеллигентностью, Семен колебался теперь в своем прежнем восхищавшем его чувстве к брату. «У него свое, у меня свое»,— думал он, стараясь уравнять свою и его семейные жизни и любуясь Ольгой, которая представлялась ему в эти минуты обаятельнейшей женщиной и хозяйкой.

Николай Николаевич все еще не отпускал ее руку.

— Что бы вы ни говорили,— произносил он, увлеченно глядя на нее,— а наша сырая, промозглая Москва явно пошла вам на пользу. И он приложил губами теперь уже к перстням и печаткам, сиявшим на ее изящных пальцах.

XIV

Несмотря на то, что Николай Николаевич, не раз бывавший здесь казалось, знал, что и как было устроено в обмененной при его содействии квартире Дорогомилиных (он видел уже и ореховую румынскую спальню, называвшуюся спальней Людовика XV, которая особенно смотрелась на фоне темно-шоколадного цвета обоев, и арабский кабинет с его роскошными креслами и диваном); несмотря на то, что не только эти гарнитуры, но и многое другое, наполнявшее дорогомиллинскую квартиру, было известно ему (как, к примеру, злополучные ковры, на одном из которых, разостланном в прихожей, он стоял теперь), потребность показать ему квартиру в законченном виде была такой у Ольги и Семена, как если бы их родственник, известный в Москве адвокат Кошелев, впервые появился у них. К его приходу на окнах были повешены шторы — в тон обоям, на стенах размещены картины — в соответствии с мебелью и назначением комнат; было найдено место и тем двум (под красное дерево) тумбам, с которыми старая Вера Николаевна из-за того лишь, что они напоминали ей греческие колонны, не захотела расстаться, и поставлены на них статуэтки из старинного гарднеровского фарфора. Все это готовилось и оформлялось не столько для Николая Николаевича, как для Лоры, которую Ольга собиралась поразить своим уровнем жизни; и хотя Лора не пришла и поражать было некого, но отказать себе в удовольствии, к которому мысленно была уже готова, она не могла, и как только Николай Николаевич отпустил ее руку, с улыбкой, делавшей ее, как она полагала, истинною москвичкой, проговорила:

— Хотели бы вы посмотреть на ваши труды и оценить их?

— Труды? Мои?! Ах да, ну какие мои труды,— поняв, о чем говорили ему, смущенно возразил Николай Николаевич.— Я с удовольствием полюбуюсь на... ваши труды.

— Ваши,— поправила его Ольга, на шаг отступая перед ним, чтобы не загоразживать общего вида прихожей, с которой по ее замыслу как раз и должен был начаться осмотр квартиры.

Прихожая была оборудована по образцу пензенской, в тех же вишневых тонах, с тем же овальным, в черной бронзовой оправе зеркалом на стене и бронзовыми, с хрусталиками-каплями бра по бокам, с теми же, старинной работы, книжными шкапами, остекленные дверцы которых разбросанно отражали свет матовых миньонов, и лишь ковер под ногами был не китайский (тот, китайский, лежал в кабинете и как нельзя лучше подходил к шелковой обивке дивана и кресел),— ковер под ногами был другой, близкий к цвету обоев, был с мелким ворсом и мелкими по этому ворсу рисунками, придававшими

ми ему европейский вид. Было ли это лучше или было хуже, Николай Николаевич не мог оценить, потому что он не знал пензенского варианта прихожей; ему казалось, что и с этим ковром, при котором все сливалось в одном цвете, было необыкновенно красиво; красиво не вообще, не отвлеченно, а в сравнении с тем, как было у него дома, где тоже можно было устроить подобную прихожую, но где подобной прихожей не было, а была только — обычная, как будто по-городскому, но с крестьянским вкусом, как это он чувствовал теперь, убранная изба. «Простенькая мебель, простенькие занавески, кружевные салфеточки на комод и швейная машинка, выставленная как напоказ в переднем углу, — вот все, что сумела она, — думал он о своей жене. — А разве у нас не было средств? Разве все это так уж невозможно достать?»

Тот мир вещей, какой окружал Николая Николаевича дома, невольно связывался теперь в сознании его с умением и вкусами жены, как мир вещей в дорогомиллинской квартире — с умением и вкусами Ольги, стоявшей перед ним. В юбке, какую даже на мгновение немислимо было представить на Лоре; в свитере, на который спадали прямые распущенные волосы, — так Лора ни за что не посмела бы выйти к гостям; с весело будто выглядывавшим из-под распущенных волос личиком, с перстнями, сережками и браслетом с крохотными часами в нем, Ольга представлялась Николаю Николаевичу тем обаятельным существом, той женщиной, с которой он совсем по-иному смог бы устроить свою жизнь. Он в эти минуты так завидовал брату (принимая видимость жизни за самое жизнь), как летом Семен завидовал, когда гостил у них. «И он еще позволял себе быть недовольным ею?» — опять, в какой уж раз, подумал он о брате, не только не находя ничего предосудительного в этом чувстве зависти к нему и в симпатии к Ольге, но, напротив, досаду на жену из-за того, что она отказалась пойти с ним и не стала слушать его объяснений. «Что же она хочет от меня? — спрашивал себя Николай Николаевич, в то время как Ольга, выключив верхний свет и оставив включенными только бра и создав (этой приглушенностью света) обстановку интимности, присматривалась к нему и мужу. — Она хочет, чтобы я завязал глаза и ни на что не смотрел. Но я не могу, я смотрю, вижу и сравниваю», — продолжал он. Занятый этою своей мыслью, поглощавшей его, он, в сущности, не видел и не воспринимал того, что старалась показать ему Ольга; но он одобрительно кивал ей на вопросительные взгляды ее и привычно и естественно как будто улыбался ей.

Как и задумано было, из прихожей Николая Николаевича провели в кабинет, из которого была открыта дверь в спальню (и все поочередно заглянули в эту открытую дверь); потом было предложено ему осмотреть комнату Веры Николаевны, примечательной особенностью которой было то, как пояснила Ольга, что в ней все стояло, как в комнате матери в Пензе. Николай Николаевич и здесь продолжал расточать похвалы Ольге.

— И ты еще можешь на что-то жаловаться? Побойся бога, Семен, бога побойся, — вместе с тем говорил он брату, оборачиваясь к нему.

В коридоре, разделявшем комнаты, они остановились перед стеллажами, заполненными книгами, и Ольга с удовольствием показала издания тех зарубежных авторов, которые были в переводах ее и в переводах матери. Затем, так как в гостиную можно было попасть только через прихожую, все вновь оказались в ней.

— Да, забываю спросить тебя, — сказал Николай Николаевич, когда Ольга, извинившись, что хочет на минуту покинуть их, пошла на кухню к Евдокии и двоюродные братья остались вдвоем. — Как у тебя дела по службе? Ты доволен?

— Как тебе сказать, — уклончиво ответил Семен. — По крайней мере, планы грандиозные, затеваем с размахом.

— И хорошо,— сейчас же подхватил Николай Николаевич, любивший и сам все начинать с размахом, как он взялся было за дело Арсения (и заканчивать той усредненностью, как в своих брошюрах, на какую не надо было тратить усилий). — А как там, наверху, отношение к тебе, как ты укореняешься в нашей служилой матушке Москве?

— Доверие есть, а что еще?

— Это главное.

— Я тоже так думаю,— подтвердил Семен, которому хотелось не так, не накоротке, поговорить с братом о своей работе.

В это время к ним подошла вернувшаяся из кухни Ольга.

— В гостиную, прошу, прошу,— весело проговорила она, беря Николая Николаевича и мужа под руки.

Гостиная была предметом особой любви, внимания и гордости Ольги. В ней она собиралась принимать своих новых московских друзей, выбор которых ей еще предстояло сделать, и она хотела теперь проследить за впечатлением, какое гостиная в законченном виде произведет на Николая Николаевича. Как и в прихожей, кабинете и спальне, в этой самой просторной во всей квартире комнате, в которой уже не раз бывал Николай Николаевич (и в которой Вера Николаевна и Казанцев продолжали вести свой умный, об усталости России, разговор), было приготовлено то, что должно было удивить его; новинкою этой была накануне только приобретенная пальма, поставленная рядом с белым пианино и павловским креслом. Как будто вдруг что-то южное, солнечное появилось в гостиной и освежило все своим веселым зеленым светом. Ольга отказалась от большого круглого стола, как это было у нее в Пензе, и вместо него поставила журнальные столики, которые можно было легко, в зависимости от количества гостей, передвигать, а вместо стульев с прямыми и тонкими ножками, которые приличны были там, поставлены были полукресла, обитые темным бархатом. И полукресла эти с бархатною обивкой, по мнению Веры Николаевны, знавшей толк в вещах, как раз и придавали всему дворцовое благородство, которого так добивалась Ольга.

Пропустив теперь вперед Николая Николаевича и мужа и войдя вслед за ними в гостиную, и включив бра, висевшие на стене под картинами (подсвеченные таким образом, они сейчас же должны были броситься в глаза), и пройдя под этими бра и картинами к матери, поднявшейся навстречу ей (и навстречу Николаю Николаевичу и зятю, которого Вера Николаевна, сделавшись москвичкой, боготворила), Ольга встала возле матери таким образом, чтобы удобнее было представить одного гостя другому, как она любила делать в пензенской гостиной.

XV

Казанцев, названный Ольгою писателем (ей нужно было дать понять Николаю Николаевичу, что незначительных людей не бывает в ее гостиной), был в такой степени убежден, что он фигура в современном литературном мире, что невозможно было по виду его не согласиться с этим. Он, казалось, высказывал истины не только когда включался в разговор, но и когда молчал (что, впрочем, он делал чаще, чем говорил, потому что так поступали, как он думал, все умные люди). Хотя в Москве он был принят все теми же Верой Николаевной и Ольгой, усилиями которых как раз и был раздут весь его авторитет, но он чувствовал себя поднявшимся на ступень выше, чем он был в Пензе; и он особенно теперь старался перед Верой Николаевной и Ольгой оправдать это свое возвышение. Он не встал, когда Кошелев, наклонившись, протянул ему руку, а лишь неохотно подал свою, скользнув на него вопросительно холодным взглядом.

«Ну и что, что вы адвокат, и даже известный, как тут мне сказали про вас, но это еще ни о чем не говорит» — было в этом его взгляде, и Николай Николаевич, привыкший по своему положению к общению иного рода, смущенно оглянулся на Семена и Ольгу, не зная, как держаться с этим их гостем-писателем.

У Казанцева, приехавшего в Москву будто затем, чтобы навестить, как он сказал, Дорогомилиных, имелись между тем и другие планы, которые он надеялся осуществить в столице. Его давно привлекала возможность заработать на многосерийных телевизионных фильмах, и он хотел, используя для этого связи Веры Николаевны и Ольги, предложить себя в качестве сценариста. То, что он никогда не писал сценарии, было не важно; он писал статьи и рецензии на кинофильмы и потому, как он полагал, имел самое прямое отношение к киноискусству; кроме того, он чувствовал в себе способность сочинить сценарий, и этого, казалось ему, было вполне достаточно, чтобы претендовать на то, на что он претендовал. С Верой Николаевной он не успел еще поговорить об этом. Днем, когда он заходил, она была занята послеобеденным сном, и ее не решились разбудить. Но с Ольгой у него уже состоялся разговор относительно этого дела, и ему показалось теперь, что она не случайно назвала его так. Перед писателем всегда легче открывается дверь, чем перед кинокритиком. «А почему бы и не писатель?» — подумал он, как если бы сценарий, который он собирался сочинить, не выбрав еще ни темы, ни романа для этого, был уже завершен, принят к производству и та настоящая известность, какой он всегда жаждал, пришла к нему. Как и Николай Николаевич, он тоже взглянул на Ольгу, и холодное выражение морщинистого лица его стало еще холоднее; он словно оберегал в своей душе что-то бесценно важное — для судьбы страны, народа! — что он призван был исполнить, и выражение значимости так убедительно отражалось на нем, что в это нельзя было не поверить.

«Да, да, но что я читал его?» — было тем вопросом, который Николай Николаевич, смотревший на Казанцева, сейчас же задал себе.

Покопавшись в памяти и не найдя ничего, что напомнило бы ему имя этого писателя, но и не считая возможным усомниться в той характеристике Казанцева, какую дала ему Ольга, Николай Николаевич, чтобы выйти из затруднения достойно, решил заговорить о литературе, давая понять этим, что и он как автор брошюр тоже в некотором роде имеет отношение к писательскому клану.

— Сейчас все говорят о литературной новости. Слышали? — с манерой человека, долго вращавшегося в определенном обществе и сделавшего для себя привычкой тот сенсационный тон, каким говорят о подобных новостях, спросил он, вскинув глаза на Ольгу и тут же на Казанцева, которому, он чувствовал, надо было чем-то угодить, чтобы расположить к себе. Хорошенькое дело — издать рукописный журнал. Рукописный, только подумать! Как будто это детские шалости, нет, вы слышали? — повторил он, готовый возмутиться, если возмутятся все, и готовый на ироническую усмешку (над составителями ли, то есть участниками этой детской шалости, или над теми, кто со строгостью, известной ему, пресекал эту шалость), если общее мнение будет неопределенно-снисходительным, как оно было у коллег-адвокатов, которым он утром рассказал о журнале.

Журнал этот, «выпущенный» под славянофильским названием то ли «Луч», то ли «Светоч», был обнаружен у студентов исторического факультета одного из вузов столицы, точнее, у студентов того самого факультета, где деканом был доктор исторических наук профессор Лусо. И хотя авторами и составителями журнала были не студенты, а сочинители, наподобие Тимонина, жаждущие славы, и явление это нельзя было отнести к разряду студенческих шалостей, но для Николая Николаевича, узнавшего обо всем лишь из характеристики, присланной парткомом факультета на Арсения, которому и это ста-

вилось в вину,— для Николая Николаевича все представлялось более взорством, чем серьезным делом. «На кого-то же надо свалить, и они решили свалить на него. Они просто хотят засудить этого беднягу»,— как адвокату, взявшемуся защитить Арсения, было ясно Николаю Николаевичу. Но это конкретное, что было ясно ему, он чувствовал, было бы мелко и неинтересно Казанцеву и Ольге, и потому он старался придать своему рассказу интригующий и обобщенный характер.

— Вы слышали? — в третий раз спросил он, глядя на Казанцева и Ольгу.

— Нет. Но это должно быть интересно. Расскажите,— попросила Ольга, радостно ощущая в душе преимущество московской литературной жизни перед провинциальной Пензой.

Казанцев, понимавший, что вся значительность его заключена в его молчании, лишь холодно приподнял сухое старческое лицо на Николая Николаевича, невольно как бы говоря этим: «А что вы хотели? К этому давно все шло». Вера Николаевна подалась вперед, вытянув и открыв (из-под белого шарфа) свою морщинистую шею, и лишь Дорогомилин, который, несмотря на все теперешнее его сближение с женой, по-прежнему был убежден, что всякий разговор об искусстве есть только бессмысленная трата времени, покачал головой и произнес:

— Как мы умеем всегда поймать муху и вылепить из нее слона. Студенты, молодежь, от сытости, от силы, от энергии, которую деть некуда.

— Может быть, так, а может быть, и не так,— возразил Николай Николаевич.

— Вы интригуете,— заметила Ольга, втайне почувствовавшая, что она будто прикоснулась к тому пульсу московской жизни, который как раз и хотелось нащупать ей.— Расскажите.— И она так посмотрела на деверя, что отказать ей было нельзя.

— Я только одного не могу понять,— заключил Николай Николаевич, пересказав все известное ему о рукописном журнале, как оно изложено было в характеристике профессора Лусо на Арсения (он не стал упоминать лишь о самой этой характеристике, так как ему казалось, что если к литературному разговору присоединить адвокатские дела, то что-то важное исчезнет из этого разговора).— Я не могу понять только,— подчеркнуто повторил он,— для чего все это нужно составителям, авторам, что они хотят, чего добиваются. Разве у нас мало настоящих, нормальных изданий?

— Искусство всегда стремилось и будет стремиться к свободе,— сказала Ольга с привычной убежденностью, что говорит истину, и повернулась к мужу, чтобы предупредить его возражение.

Но взгляд ее для Семена уже не имел значения.

— Ти-ти-ти,— протянул он, выражая несогласие, как он всегда в Пензе выражал его, но только теперь в иной, новой манере, подражая тому заместителю министра, к которому чаще всего ходил на доклады и расположением которого пользовался.— Ти-ти-ти,— продолжил он, помахав указательным пальцем сначала на брата, потом на Казанцева, потом на Ольгу, болезненно морщившуюся от этого его «ти-ти-ти».

То, что было конкретно, было связано с приложением усилий и действительно влияло на ход жизни (какой и была работа ее мужа), всегда представлялось Ольге тем непрестижным, чем должны заниматься привыкшие не к умственному, а к физическому труду люди (и которых, по ее мнению, было большинство, то есть та основная масса, которая именуется народом); то, что было абстрактно, было рассуждениями, позволявшими не на основании фактов или потребностей жизни, а на основании только своих домыслов судить и оценивать все (как это и было в ее пензенской гостиной), напротив,

казалось ей единственно престижным и достойным людей ее положения, и она с грустью смотрела теперь на мужа, который не понимал этого (что было так просто). Надежды ее на то, что он переменится в Москве, она видела, не оправдались, и она с ужасом думала, что ей, так же как и в Пензе, придется отгораживать своих друзей от него.

XVI

Когда перешли в столовую — после непременных восторгов, что стол прекрасен, и выражений признательности хозяйке, сумевшей так все приготовить и подать (что относилось к Евдокии, ухаживавшей теперь за всеми), — разговор опять сместился к новости, о которой, Ольге казалось, не все было рассказано деверем. Ее интересовало, кто был составителем и кто автором этого журнала; были ли среди этих имен значительные, которых она знала или могла бы, как она втайне подумала, уже теперь зачислить в список своих новых московских друзей. («Вот была бы удача!» — восклицала она, искавшая себе именно такой славы, руководительницы направления); нельзя ли было достать для нее экземпляр этого уникального, как она назвала его, издания, и если нельзя достать целиком, то хотя бы частично, то есть то, что, по мнению деверя, представляло наибольший интерес. Она полагала, что Николай Николаевич знаком был со всем содержанием журнала, и назвала его счастливым, несмотря на робкое уже «ти-ти-ти» мужа, которому она, в то время как переходили из гостиной в столовую, успела желчно шепнуть, чтобы он не портил ей вечера. И Семен всякий раз, когда ему хотелось теперь произнести свое «ти-ти-ти», оборачивался к жене и несмело и с робостью вступал в разговор.

— Вы хотите скрыть от нас то, что для нас является воздухом и без чего мы не можем жить. Нет, нет, вы хотите скрыть, — настоятельно говорила Ольга, в то время как Николай Николаевич, не знавший, что ответить ей на ее требование, разводил над столом руками, каждую секунду рискуя опрокинуть стоявший перед ним дорогой фужер из мозерского хрустала с массивною серебряною окантовкой, который был семейной ценностью. Вера Николаевна, сидевшая напротив Николая Николаевича, со страхом следила за его руками.

— Но что же мне скрывать? — так как ему действительно скрывать было нечего, отвечал Николай Николаевич. — Я бы все сделал для вас, вы знаете, если бы это было в моих силах. Могу сказать только: ничего значительного, так, поверху, поверху.

— Значительное всегда там, где мы хотим видеть его.

— Не думаю.

— Но в большинстве случаев.

— К сожалению, у меня противоположная точка зрения, — наконец решительно заявил Николай Николаевич, для которого подтверждением его слов было дело Арсения, сначала привлекавшее своей видимой значительностью, затем разочаровавшее его. Он был убежден, что не по лени и не по неумению соединить социальное и нравственное, что надо было сделать, чтобы разобратся с Арсением, он охладил к его делу, но что по самой своей сути дело Арсения было пустым. «И они полагают, что он мог идеологически влиять на кого-то», — с усмешкою подумал Николай Николаевич во время разговора с Ольгой.

Несколько раз все же порывался вступить в разговор Семен, которому хотелось поговорить о деле, то есть о планах (в масштабе страны) по строительству птицекомбинатов, которые он разрабатывал и благодаря которым, если они будут осуществлены, во многом решится продовольственная проблема. Проблема эта в семьях, подобных дорогомиллинской, всегда и все имевшей на столе, еще не ощу-

щалась, и, по утверждениям Ольги, любившей сказать: «Мне только о колбасе и думать», было исключено, чтобы вдруг перестали производиться нужные ей продукты, но люди, занимавшиеся сельским хозяйством страны и прилагавшие усилие, чтобы проблема эта меньше ощущалась в народе,— люди эти, к которым причислял себя и Семен Дорогомилин, когда приходил на службу, не могли не видеть опасности и не думать о ней. «В небо смотрим, а под ноги некому взглянуть. Под ногами-то что, под ногами»,— возмущенно поднималось в нем, в то время как он все более и более прислушивался теперь к бессмысленному, как ему представлялось, спору между его женой и его братом, тому спору, в котором сам Семен по совершенной будто некомпетентности своей, но более из принципа, как он полагал, не мог принять участия. Ольге же, напротив, казалось, что муж ее опять со своими курятниками хочет влезть в интеллектуальный разговор, и она с таким подчеркнутым ехидством произносила слово «курятники», что не только Семену, но и Николаю Николаевичу становилось неловко за брата, и он принимался защищать его.

— Нет, нет, и не вмешивайтесь, в вас говорит кровь,— отвечала ему на это Ольга.— Вы сказали о Князеве, но ведь он, кажется, композитор,— вновь переводила она разговор на свое, что хотелось выяснить ей.

Князев был упомянут Николаем Николаевичем как один из составителей (возможно даже, один из главных составителей) журнала.

— Но он, насколько мне известно, и поэт, и прозаик, и публицист,— говорил Николай Николаевич, не помнивший уже, когда и от кого слышал об этом; и он считал долгом теперь убедить в этом Ольгу.

Казанцев с заткнутою за воротник салфеткою (не для того, чтобы он боялся обкапаться жиром, а для соблюдения этикета, всегда так нравившегося Вере Николаевне, которой он особенно хотел угодить) во время обеда не проронил ни слова. Он только ел и холодным старческим взглядом посматривал на всех с тем высокомерным видом, будто все, что происходило и будет происходить вокруг него, он знал наперед и был обо всем определенно мнения. Мнения, в сущности, у него не было; но то, что он лучше всего умел — просидеть молча вечер,— он выполнял теперь с тем старанием, с каким никогда не делал этого в Пензе; и благодаря этому старанию и в самом деле производил на Николая Николаевича впечатление умного, степенного и рассудительного человека. «Но Семен-то, Семен-то каков»,— думал Николай Николаевич о брате, впервые видя его таким. Он смотрел на брата не столько с удивлением, сколько с недоумением и тем огорчительным чувством, словно прежде обманывался в нем. Прежде — он видел в нем человека партийного, умевшего ясно посмотреть на все; теперь же — словно что-то подменили в брате, и он не то чтобы не хотел, но как будто стеснялся сказать о своем.

«Кого он боится?» — спрашивал себя Николай Николаевич, наблюдавший за ним.

Хорошо знавший, что суждение о человеке по первому впечатлению часто ложно, Николай Николаевич, в сущности, повторял сейчас обычную для людей своего круга ошибку. Он отдавал предпочтение Казанцеву, который был пуст, глуп, но умел создать вокруг себя ореол значимости, и не узнавал брата; поведение брата наталкивало его на важную мысль о том, как в связи с переменной обстоятельностью способны изменяться люди. «Да, да,— думал он,— как быстро, оказывается, обстоятельства могут переменить человека». Что более должно было относиться к нему самому, чем к брату, но что применительно к себе показалось бы, разумеется, нелепостью.

В то время как дома ожидала жена, то есть то неприятное, что надо было улаживать ему и что тем сильнее осложнялось, чем долъ-

ше он оставался в этот вечер у брата; в то время как на письменном столе его лежала папка с материалами по делу Арсения, которого он взялся защитить и судьба которого теперь зависела от него (как будет подготовлена и проведена защита, особенно в связи с новыми обстоятельствами, то есть характеристикой Лусо на Арсения); в то время как это, требовавшее от него внимания, ожидало его и дома и на службе и было тем важным, к чему он должен был приложить руки и что принесло бы ему удовлетворение, как всякое сделанное для людей полезное дело,— после ужина с индейкой и красным вином, которого он не пил, и разговора, не имевшего (по определению Семена) никакого смысла, Николай Николаевич продолжал, когда все опять переместились в гостиную, восхищаться Ольгой и Казанцевым и осуждать брата, которого он не понимал.

XVII

Профессор Лусо, на факультете которого у студентов был обнаружен рукописный журнал, вновь был обеспокоен своим положением. Ни в разговоре с ректором, ни в беседе с заведующим отделом соответствующего министерства, куда были приглашены и ректор и члены парткома вместе с Лусо, не было как будто сказано, что его хотят отстранить от должности; но он уловил (из этих разговоров и бесед), что им были недовольны, и та простая мысль, что нужно кого-то определить в виновные,— мысль эта (вернее, тот всегдашний ход действий, который был хорошо известен Лусо), что на сей раз выбор может пасть на него, потрясла профессора. От него готовилась отвернуться та его Москва, которая всегда была щитом ему и в которой он со многими был связан взаимными услугами. Друзья его, позволявшие где нужно и не нужно выражать недовольство жизнью, в которой они, впрочем, были обеспечены всем, теперь, когда обнаружился этот злополучный журнал (плод их определенной деятельности), спешили отмежеваться от него. Им не хотелось терять то, что они имели, и Лусо знал (из своих жизненных наблюдений), как жестоки бывали эти люди, когда дело касалось их интересов. То, что они разрешали себе говорить о народе и жизни, они не могли позволить другим; и хотя возмущены они были теперь не столько тем, что было помещено в журнале, то есть пропагандой чуждых взглядов, сколько тем, что составители и авторы этого «издания» посмели не спросясь перешагнуть порог дозволенного, за который нельзя и опасно переступать (и за которым сейчас же очевидной становилась их деятельность), но об этом своем возмущении они предпочитали не распространяться и выжидали, на кого бы наброситься, чтобы обелиться самим. «Им нужна мишень, вот что им нужно,— воскликнул Лусо, поговоривший с Кудасовым.— Так вот вам мишень». И он указал на Арсения, бывшего все еще под следствием и потому представлявшего удобную для этого кандидатуру. «Как же, он, он курировал тот курс, на котором был найден журнал»,— как будто даже удивленно стал повторять всем Лусо, направляя общественное недовольство, и вслед за ним все в институте опять заговорили об Арсении. Ему вспомнили и развод с Галиной, и женитьбу на молодой Наташе, и убийство приемного сына, подававшееся теперь так, что Арсению не оставалось ничего для оправдания. Но более всего ставилось ему в вину уважение к нему студентов; считали, что он заигрывал со студентами и разжигал в них нездоровые интересы.

— Знаете, как это называется?— говорили об Арсении.— Это называется — плодить хунвейбинство.— И вокруг него как бы само собой начало складываться то общественное мнение, которого ждал и за которым следил Лусо.

Поскольку для него важным было не выяснение истины, кто были авторы и составители журнала (это были те, вне института, люди,

с которых ни по служебной, ни по партийной, ни по каким иным будто линиям нельзя было спросить ничего), а надо было в своем коллективе найти лицо, которое можно было бы призвать к порядку (что и требовалось для отчетности),— как только Лусо почувствовал, что общественное мнение, направлявшееся им, созрело, он предложил собрать партком, а затем, после парткома, вынести обсуждение вопроса на общее собрание преподавателей факультета.

— Мы должны осудить подобное явление,— сказал он своим коллегам, профессорам и доцентам, с кем перед парткомом и общим собранием счел нужным побеседовать и кто был намечен им в выступающие.— Сегодня позволит себе один, завтра другой, а потом? Нет, вы понимаете, к чему это ведет?— глядя на всех открытыми и ясными глазами, словно и на душе у него было столь же определенно и ясно, продолжал он.

Затем почти слово в слово повторил это и на парткоме и на общем собрании, выступив не в конце, не в заключение, как делал всегда и как считалось удобным для руководителя, а вначале, чтобы задать тон; в первые минуты после выступления он еще волновался, но с каждым новым по списку оратором, появлявшимся у стола, все более успокаивался и входил в свое обычное состояние уверенности, с каким давно и привычно ему было восседать в президиумах. Ему даже показалось, как только он внимательнее стал прислушиваться к выступающим, что будто бы обсуждалось не ЧП на факультете, а персональное дело Арсения. Все приписанное ему, что без труда, как опасался Лусо, могло быть опровергнуто на собрании, подтверждалось такими неопровержимыми будто подробностями, что даже Игорю Константиновичу становилось не по себе, и он начинал верить в действительную виновность Арсения. Выходившие к столу вспоминали, когда, где и что, обличавшее теперь Арсения, говорилось им. В их памяти живы были и те события, о которых как будто и не должны были знать в институте — о расхождениях во взглядах Арсения с отчимом своей бывшей жены («А отчим-то — первый секретарь райкома», — уточнялось ими), — но о которых, оказывалось, знали даже больше, чем, видимо, знал сам виновный. Его упрекали и в том, что он принимал у себя на дому студентов. «Дипломные, курсовые... Знаем мы эти дипломные и курсовые!» — бросалось в зал, и то, что должно было как будто лишь с лучшей стороны характеризовать Арсения как преподавателя, осуждалось. «А ведь и в самом деле, — думал Лусо. — Ведь там все было бесконтрольно». Бритая голова его в голубоватых прожилках была суха, он был спокоен и лишь время от времени поглядывал в зал, откуда смотрели на него столь же безразлично-спокойные лица его коллег — доцентов и кандидатов.

Только дважды (в середине собрания) в зале возникало оживление: когда вышел к столу президиума Карнаухов, считавшийся другом Арсения, и когда вслед за ним попросил слово Мещеряков, который тоже (несмотря на полую непримиримость с Карнауховым) причислял себя к друзьям попавшего теперь в беду доцента.

Карнаухов со своею тонкою линией носа и такими же тонкими линиями черных бакенбард, делавших его лицо особенно интеллигентным; будто бы народными выражениями и манерою вести разговор, что должно было сказать всем о его крестьянском происхождении, как модно теперь подавать себя; со своей привычкой рубить правду, как бы ни была она неприятна, то есть произносить ложь с искренней убежденностью в правоте ее («Я так думаю, хотите или не хотите, но я же всегда говорю только то, что думаю»), приносившей ему расположение, — Карнаухов со всей этой рафинированной якобы интеллигентностью, за которой трудноразличима была мужиковатая простота лица его, как только от стола президиума повернулся к залу, сейчас же заговорил резко, напористо, как позволял

себе говорить, только когда приходилось отстаивать ему свои «почвенные» взгляды перед взглядами западников. Он не отрицал, что Арсений был его другом; но подававшаяся теперь залу правда как раз в том и заключалась, что Карнаухов ставил выше дружбы идеологическую непримиримость. «Есть вещи, которые измеряются иными, чем только личные, мерками», — говорил он, словно у самого никогда даже в мыслях не возникало недовольства жизнью. Это будто не у него на даче собирались те (из разных сфер общественной деятельности) единомышленники, которым хотелось ни мало ни много как пересмотреть историю и по-своему расставить акценты в ней, особенно в ближайшей, и будто это не он дважды уже приглашался к рязанскому, с улицы Горького, оракулу, вещавшему на своих дружеских и окрашенных в определенный тон коктейлях о некоей будто «потере христианской изначальности в нравственной основе русской души» и о благодати будто бы, которая сойдет на русских людей, если все они «соберутся в центре России и покаются перед окраинами». Карнаухову казалось, что злом было не то, в чем участвовал он и что, по известному выражению Кудасова, было «нетавровой приманкой, способной развалить державу», а то, что позволял себе Арсений, находившийся теперь в следственном изоляторе и дожидавшийся суда. Карнаухову надо было, чтобы на него не упала тень, и он, довольный впечатлением, произведенным на слушавших его, чуть заметно поклонился президиуму и под взглядами притихших коллег направился к своему месту.

«Я не могу присоединиться к тому, что антиобщественно, — было в его выражении и осанке. — То, что исповедую я, чисто и благородно в отличие от того, чему поклоняются другие». И особенно это выражение было заметно в нем, когда в проходе между стульями он столкнулся с выходящим к столу президиума Мещеряковым. Посторонившись перед всегдашним своим оппонентом, Карнаухов усмехнулся в спину ему, и затем эта скептическая усмешка уже не сходила с его лица во все время выступления Мещерякова.

Еще более как будто пополневший после отпуска — моря и солнца, бездельного отлеживания на пляжах, после того, как его записка к Арсению, содержавшая неприятные для него мысли, была в результате энергичных действий жены возвращена ему, — с этой душевной успокоенностью и с не сошедшим еще как будто загаром, едва только он очутился у стола президиума, как сейчас же бросил свое привычное: «Буду краток» — и заговорил, к удивлению всех, не о существе вопроса, а о некоей своей новой трактовке понятий «народ» и «нужды народа», к которой он пришел после знакомства с картинами и биографией Мити Гаврилова. Мещеряков не помнил, как звали Митю, и потому не назвал его имени, а говорил только о чувстве, какое испытал тогда, во время осмотра выставки; он, в сущности не замечая того, начал смыкаться с Карнауховым в том вопросе, по которому всегда прежде расходился с ним, и в зале недобуменно прокатывалось: «Что он говорит, нет, вы только послушайте, что он говорит!» Его впервые без аплодисментов отпустили с трибуны, но он настолько был возбужден своей смелостью, что не замечал тишины; он как будто уже держал в руках ту бумажку с адресом Мити, которую с тех пор, как сунул в карман пиджака, ни разу не доставал еще (и которая, впрочем, давно уже была выброшена Надеждой Аркадьевной в мусорное ведро), и взволнованно говорил себе: «Сегодня же, сейчас же поехать к нему; там, там надо искать истину всему».

XVIII

Жалко, конечно, Иванцова, теперь все на человека можно свалить, — это мнение сейчас же после собрания начали высказывать многие.

Пока шли речи, они молчали; когда принималась резолюция — тоже молчали; но когда слова их нельзя уже приложить к протоколу — заговорили, словно совершившееся было против их воли. Их позиция была не просто позицией недовольных (что само по себе должно было уже выделить их), но как будто они и в самом деле имели самостоятельное мнение. Кому-то действительно было неловко, кто-то, как поденщик, хорошо знавший, что за лишнюю работу не платят, молча спешил удалиться; между женщинами слышалось уже — о длине юбок, о шарфах, шапках и меховых с молниями сапожках, которых негде было достать. Но тех, кто заботился о престиже факультета и не отделял личное от общественного, не могло не насторожить и не удивить решение — создать общественную комиссию по контролю за лекциями, — которое было принято по предложению и настоянию Лусо.

— Зачем подозревать всех? — возмутились они. — Это, по существу, недоверие коллективу.

— Видимо, так надо, — рассуждали другие.

— Кому?

— Как кому? С них (то есть с руководителей факультета) тоже есть спрос.

— Но как же так, — обращаясь уже прямо к Лусо, сказал один из тех пожилых (с тридцатилетним почти стажем) преподавателей, кому особенно, как видно, не хотелось отдавать в чьи-то руки свои истрепанные, пожелтевшие и выцветшие от времени страницы лекций. — Столько лет — никто ничего не спрашивал, а теперь — это что же?

— А ваше предложение? — спросил Лусо, ударяя на слове «ваше».

— Мое? Нет. Я только, понимаете...

— Понимаю. Пусть ваше самолюбие останется спокойным, начнем с меня. Общественный контроль, это общественный! — И Лусо, подзвав к себе только что избранного и не успевшего еще покинуть зал председателя комиссии, решительно и чтобы слышали все объявил ему, что предлагает начать проверку с себя, то есть с декана, и готов завтра же представить комиссии тексты и тезисы своих лекций (по тому курсу истории, которым занимался он).

Но одно дело — выставить себя справедливым и другое — выполнить. Всегда придерживавшийся мнения, что «у всех у нас рыльце в пушку», и знавший, что тексты и тезисы его лекций были точно в таком же (а не в лучшем, разумеется) состоянии, как они были у большинства на факультете, Лусо уже в ту минуту, когда объявлял председателю комиссии о своем решении, почувствовал, что усложняет себе жизнь. «Дернул же черт меня за язык», — думал он затем, когда возвращался домой. Вместо привычного отдыха он должен был теперь засесть за лекции, чтобы привести их в порядок.

Наскоро поужинав, как он поступал всякий раз, когда бывал раздражен или недоволен чем-либо, и наотрез отказавшись говорить с двоюродной племянницей Лией, пришедшей за кого-то просить, он удалился в кабинет и, закрывшись в нем и разложив на письменном столе то, что надлежало просмотреть, решил сначала (по привычке) пройтись по кабинету. Ему доставлял удовольствие сам этот процесс прохаживания. Мягкий под ногами ковер, мягкий, ненавязчивый свет люстры, каминной теплотой растекавшийся по креслам, шкафам, стеклам и корешкам книг, бездумное, сладостное расслабление души вызывали в нем какое-то будто особое и с годами все более ценившееся им чувство значительности жизни. Прохаживаясь, он как бы со стороны наблюдал себя. То время (в молодости), когда он с наивной доверительностью полагал, что заниматься наукой это труд, бесконечный, упорный, истощающий мозг и тело, — время тех наивных представлений было позади, и он знал теперь, что достаточно лишь раз и как следует заучить выработанную предшественниками схему закономерностей и связей, как схема эта, словно трафарет, прикладываемый к сте-

не, будет надежно и вечно служить цели. Этот графарет, то есть лекции, много лет назад сочиненные им (если признавать за сочинение то, что переносится из одних книг в другие, или — в тетради, как это было сделано Игорем Константиновичем) и затем, после пятьдесят третьего — пятьдесят шестого годов пополненные открывшимися для науки новыми и важными положениями, — лекции эти, этот графарет, должный беспокоить Лусо, в сущности, не занимал его. Что-то убежден в них, что-то добавится, но общая схема закономерностей и связей останется; ее нельзя изменить, как немыслимо изменить тот образ жизни (или стиль, как склонны многие говорить теперь), к которому и нравственно и физически все давно приросло в сознании профессора. Ему сейчас приятно было думать, что ту петлю несправедливости, какую только что готовились накинуть на него, он сам и красивым жестом набросил на н и х. Что ему было до Арсения? Этот маленький, тщедушный доцент обречен. «Мерой больше, мерой меньше, разве это изменит дело?» Но Москва, та, е г о Москва, которая собиралась отвернуться от него, — Москва как бы лежала теперь у его ног, и он, как Наполеон, готов был продиктовать ей свои условия. «Думать надо, думать, на кого поднимать руку», — с усмешкой, так как ее не от кого было скрывать, повторял он, продолжая прохаживаться по кабинету.

С каждым новым витком этих своих мыслей он обретал не просто уверенность (уверенности было сейчас недостаточно Лусо), но как будто короновался на негласно ведущее место в привычной ему с в о е й Москве, которое прежде, до него, пока он обосновывался и укреплялся в ней, занимали другие, но которое и по возрасту, и по положению, и по умению сообразоваться с обстановкой должно было теперь принадлежать ему. «Нет, они еще не знают», — думал он, вспоминая Зеркальный зал в ресторане «Прага», где проходили кудасовские торжества и где он, как доктор наук и профессор, был представлен самым высшим кругам дипломатического корпуса. Ему неважно было, что все эти отставные и действующие дипломаты, никогда раньше не знавшие его, сейчас же после знакомства забыли о нем; он был среди них, видел их манеры, слушал их речи; блеск их туалетов (особенно туалетов дам), отраженный в зеркалах, их деятельность, и со той доли которой не представлял себе Лусо, их соприкосновение с тем иным (западным!) миром, отзвуки которого (особенно отзвуки французского) так старался уловить профессор, — все имело для него значение. Он был благодарен Кудасову, дружбой с которым так дорожил всегда; и особенно был благодарен за тот совет, который получил от него по ЧП с рукописным журналом. Лусо пришел тогда к нему напуганный, а выходил с расправленными плечами и с тем скрытым чувством торжества, что еще покажет, на что способен, которое теперь, как зелень на обочинах по весне, распушало и грелось в его душе. Тогда — все было еще только ожиданием успеха; но теперь — ожидание было уже превращено в успех; мишень выставлена, и есть от чего быть довольным собой. «А историю дипломатии мы все-таки напишем. При его-то обширнейших знаниях (что точнее было бы — связях), при его-то уме», — рассудительно думал Лусо, помня о соглашении Кудасова на этот совместный труд и с удовольствием переносясь в то время, когда труд будет завершен и можно будет претендовать на звание академика (что было заветной мечтой Лусо).

За дверь, когда он подходил к ней, слышен был разговор женщин. Лия уже в шубке и шапке, стоявшая в прихожей, все еще никак не могла наговориться с женой Лусо Ниной Максимовной. Хотя у них достаточно было времени переговорить обо всем, пока они допивали чай и сидели в гостиной, но, видимо, как и для всех женщин на свете, времени этого не хватило, и они, забыв, что давно пора им проститься и разойтись, продолжали решать важные для них дела. Всегда знавшая благодаря обширным знакомствам тысячи новостей, которые боль-

шей частью оказывались лишь слухами, кем-то и для чего-то пускавшимися по Москве, и бывали как раз той «клубничкой», то есть теми выпадавшими будто из общего потока жизни событиями, к которым модно было теперь иметь интерес,— Лия никак не могла досказать о том, как на днях слушала приобретающего славу куплетиста. Она была в восторге, что ей удалось послушать его, и старалась передать этот свой восторг Нине Максимовне. «Так высмеял, так высмеял»,— говорила она, в то время как Лусо, остановившийся в очередной раз у двери и наклонившийся к ней, вслушивался в ее голос. Он не мог понять всего, о чем говорила Лия, но по отдельным словам сейчас же догадался, о ком речь.

«Женщины, женщины,— отходя и покачивая головой, произнес он. Он всегда относился снисходительно к подобного рода женским разговорам (разговорам, вернее, своих домашних женщин).— Что с них взять? Глупы и безответны. Им только — вынь да положь, а не положи — и муж не муж, и советская власть не власть». Он и теперь снисходительно, про себя, усмехнулся этому их разговору. «Глупы, да-да, глупы»,— подумал он, вновь принимаясь ходить по кабинету и вновь невольно останавливаясь и прислушиваясь к голосам жены и племянницы. Он как будто дожидался, когда голоса эти смолкнут и можно будет сесть за работу, и неприятно поморщился, когда услышал, как Лия, воскликнув: «Ах, ключи не взяла, а Гриша задержится сегодня»,— сняла шубку и вместе с Ниной Максимовной вернулась в гостиную.

ХІХ

Спустя четверть часа после того, как Игорь Константинович, человек вполне русский, с русской открытой душой, как он, следуя моде, любил теперь сказать о себе, перестал слышать женщин за дверью, он в том же благодушном, в каком только что прохаживался по кабинету, настроении сел за стол и хотел было приняться за дело, но телефонные звонки, следовавшие один за другим, помешали ему. Он недовольно снимал трубку, слушал, отвечал и когда, наконец, окончив разговоры, пододвинул к себе рукопись, на душе было так неспокойно, что он долгое время не мог вникнуть в смысл текста, который принимался читать.

Первым позвонил ему доцент Карнауков.

Карнауков хотел лишь, как он выразился, напомнить декану о своем мнении относительно собрания (словно это было важно сделать), что оно прошло исключительно и что, насколько известно ему, так считает большинство в коллективе. «Я со многими говорил»,— подтвердил он, знавший, как угодить руководству. Но затем после этой очевидной, по крайней мере для Лусо, лести, должной расположить декана, Карнауков для чего-то стал пересказывать содержание своего на собрании выступления и, пересказывая, уже как будто не от себя выдвигал обвинения против бывшего друга, а только поддерживал принципиальную и верную позицию профессора. «Вы правы, как же с вами не согласиться, я целиком и полностью разделяю вашу точку зрения»,— говорил он, словно сам был за кругом, в котором происходило действие, и с охотой уступал первенство уважаемому декану. Слыть покровителем или потакателем либеральствующих коллег, что означало одно и то же (каким и слыл Лусо на факультете и благодаря чему был на хорошем у всех счету), было хотя и чревато неприятностями по службе, но все же было модно и поощрялось в общественном мнении; но прослыть консерватором, ортодоксом, союзником Карнаухова, то есть уступить в этом общественном мнении было еще страшнее для профессора, чем лишиться должности, и потому в сознании Игоря Константиновича, пока он слушал доцента Карнаухова, воз-

никло новое беспокойство. Потерять уважение коллег означало потерять доверие той его Москвы, кормившей и поддерживавшей его, в которой, он чувствовал, имел право даже главенствовать теперь; и он еще более багровел и покрывался потом, не находя, как ответить доценту.

Но не успел он успокоиться от этого разговора, как позвонил Мещеряков, который тоже — сначала будто только хотел передать общее о собрании мнение. «Мы тут перебросились между собой», — заявил он, хотя он ни с кем не «перебрасывался» мнением, а только поделился впечатлениями с женой, которая и настояла на этом звонке и затем, как контролер, стояла и направляла разговор.

Цель звонка Мещерякова была — отказаться от своей речи. Речь его на собрании, по заключению жены, могла сильно навредить ему. «Какие Мити, какие Гавриловы? — разведа, как для объятия, руки, воскликнула она. — Твои одногодки уже академики, членкоры, а ты все еще в кандидатах. И будешь, и не выдержишь тебе со своими дурацкими Митями, которые ничего не прибавят тебе. Ты посмотри, как другие, посмотри!» И хотя Мещеряков не мог вполне согласиться с рассуждениями жены, но чувствовал, что в словах ее все же было что-то истинное, к чему надлежало прислушаться; и он, прислушавшись, как бы исправлялся теперь перед Лусо. Он повторял, в сущности, те же фразы, что и Карнаухов: «...согласен с вами, разделяю вашу точку зрения», которые производили на Игоря Константиновича определенное действие. Профессору казалось, что в общественном мнении о нем (может быть, даже не только в институте, но и выше) что-то переменялось за эти часы, пока он был дома, и что его опять хотят поставить под обстрел. «Они, значит, в стороне, присоединившиеся, а я с дубинкой?!» — уже положив трубку, но продолжая коситься на нее, думал он.

Третий звонок, заставивший вздрогнуть Игоря Константиновича, был от секретаря парткома.

Секретарь парткома, отвозивший протокол собрания и резолюцию в районный комитет партии и имевший там основательную, с руководством, беседу, решил, что надо немедленно рассказать обо всем декану факультета.

— Там считают, — сказал он, — что наших мер недостаточно и что нужно составить общий план повышения уровня идеологической работы. По-моему, они хотят направить к нам свою комиссию для проверки.

— Свою? — переспросил Лусо, сразу же усмотревший недоверие к себе. Он переложил телефонную трубку из одной руки в другую, отыскивая ей удобное положение и выигрывая время для ответа. — Что ж, пусть направляют, — затем сказал с той искусственной бодростью, которая, будь разговор не по телефону, сейчас же бы выдала его. — Мы готовы. Мы ко всему готовы, — уже без бодрости и для себя добавил он и через минуту снова возбужденно прошаживался по кабинету.

Затруднения, в какие он попадал раньше, бывали либо давлением справа, либо давлением слева, и он обычно легко находил им противодействие. Он то объявлял себя французом, имевшим будто бы отношение еще к той, наполеоновской Франции, что само по себе уже о многом должно было сказать, то скромно и только там, где следовало, давал понять, что он не только по рождению русский, но что — из самых что ни на есть коренных, деревенских, бывших (по матери) дворовых, и это срабатывало, ему верили, вихорь проносился, и жизнь Игоря Константиновича с неизменным и положенным будто ему благополучием — и домашним, и по службе, и в общественном мнении, чем он особенно дорожил, — жизнь его, не нарушаясь, текла в означенных уютных берегах. Он старался примкнуть к той стороне (пра-

вой или левой, не имело значения), которая напирала, и, растворяясь в ней, не испытывал от нее давления. Но к какой стороне было примкнуть теперь, когда, к какой бы он ни примкнул, он одинаково должен был потерять — либо в общественном мнении, либо во мнении начальства о нем? Общественное мнение было — те преподаватели и доценты, с которыми он работал; начальство — те верха, в которых он привык быть принятым и от расположения или нерасположения которых зависело, будут или не будут открыты перед ним двери к общественной деятельности. «Ловко же, ловко, — придавливая ногой с пятки на стопу, словно желая нащупать твердую под ворсом ковра основу пола, повторял Лусо, морщась и не скрывая своего недовольства, и стараясь мысленно нащупать то нравственное мерило, которое удержало бы его теперь на площадке. — Сначала аплодисменты, а потом: вон он, вон, что святее самого папы!» Как было с хорошо известным ему профессором Пантелеймоном Игнатьевичем, который еще вчера как будто имел и пост, и положение, а сегодня уже не имел ничего. И все из-за «святее святых», из-за этого ярлыка, приклеенного ему, из-за которого стал так непопулярен, что вынужден был подать в отставку и разводить тюльпаны на даче, мучаясь одиночеством. «А ведь не глуп был, нет», — думал Лусо, весь съеживаясь от возможности для себя подобной судьбы. Презрение тех, с кем он заседал на общественных форумах, людей несомненно заслуженных, вроде Кудасова, как о нем думал Лусо, наконец, просто недоверие коллег на факультете было не то чтобы страшным, но было неприемлемым для профессора. Этим подрывалась основа его жизни; та основа, которая у сотен других не подвергалась даже сомнению. В то время как он мог теперь потерять все, те другие, жившие по тем же, что и он, нормам, с теми же взглядами, привычками, желаниями и достатком, — те другие будут благоденствовать, словно бы то, что делал он, было почетным, а то, что они, — достоинством. «Ловко же, ловко», — продолжал он, впервые ощутив на себе действие жерновов, которые прежде, когда ими перемальвались другие (как это неизменно бывает в обществах, подобных обществу Карнауховых, Тимониных, Мещеряковых), было естественным, даже необходимым, но приложенные к себе вызывали протест и возмущение.

Лусо беспокоило еще одно обстоятельство, которому он не находил объяснения. Работников покладистых (к которым он причислял себя) начальство обычно не баловало; в лучшем случае им могли пожать в кабинете руку. Но с теми, кому аплодировали в залах, не понимая, чего они хотят, но чувствуя в них модное свободомыслие, — с этими не только считались наверху, но их выдвигали, награждали (для того будто бы, чтобы показать, как хороша советская власть и что несправедливо и сестноно противостоят ей), и это-то и было непонятно. «С ними возятся, их поощряют, но будут ли так же возиться со мной?» — и теперь и не раз прежде задавал себе этот вопрос Лусо. Он не был уверен, что с ним будут возиться, и потому — постоянно метался между тем, что было принципиальными убеждениями и благодаря чему он удерживался на своем посту, и тем, что называлось быть современным, то есть противостоят некоторым явлениям современной жизни, которым модно было (среди определенного ряда интеллигенции) противостоят и благодаря чему слыть человеком прогрессивных взглядов.

«Нет, ваш капкан не для меня, нет», — как будто в мире не было никаких других проблем, кроме личных, произносил Лусо, ходивший по кабинету. Он искал, как миновать возникшую опасность, и тот челочный метод, когда с одними он говорил одно, а с другими — другое, который всегда прежде выручал его, вдруг, как нечто новое, открылся ему. Он с минуту постоял в задумчивости, соображая и собираясь с мыслями, затем решительно подошел к столу и взялся за дело. Он принялся исправлять в своих лекциях то, что (по теперешнему его по-

ниманию) должно было обезопасить их. Вместо слова «правда», которое прочитывалось им теперь как резкое и двусмысленное, он аккуратно вписывал наверху: «истина» (что звучало мягче и было обтекаемее); вместо «народ» появлялись «люди»; правке подвергалось все, что несовременно и могло быть не так понято. Он не знал только, что делать с цитатами. Лусо раздраженно перечитывал их, пытался сокращать, сглаживать, потом восстанавливал и снова сокращал, чувствуя, как спина мокнет под рубашкой от этой работы, и на попытку войти к нему сначала жены и Лии, хотевшей все же поговорить с ним о своем протезе, а затем племянника Тимонина закричал: «Я занят!» — и, пройдя к двери, защелкнул ее.

XX

К концу 1966 года противоборство направлений в искусстве, привычно именуемое противоборством между почвенниками и западниками, заметно усилилось, особенно среди так называемой околотворческой интеллигенции. И почвенники и западники все более прибегали к одному и тому же недозволённому приему, когда для утверждения своих положений пускались в оборот понятия «народ», «корни народной жизни», «благо для народа» и т. д. и т. п., в силу чего как раз и создавалось ложное впечатление значительности целей, какие будто бы выдвигали перед собой оба эти направления. То, что делалось ими для себя, объявлялось — для народа; и этот обман точно так же, как он всегда принимался за истинные намерения, принимался большинством и теперь. За суетой и гулом спорщиков, за их статейной перепалкой, возбуждавшей определенный (и нездоровый) интерес к себе, было почти невозможно разглядеть истинные затруднения, которые преодолевались народом.

Мнение о том, что «он всегда умеет только оскандалиться в обществе», о котором почти тут же забывали, высказав его, было для Александра Стоцветова его общественным, как ярлык, лицом, по которому в определенных московских кругах, где он не был принят, а кругов таких было достаточно, судили о нем. Его упрекали не за высказывания о характере и нуждах народа, к которому он принадлежал, а русском народе говорили теперь все, и говорили как будто правильно, в словах его не могли найти корысти, какую он непременно должен был преследовать и, не веря в его бескорыстие, говорили, что он либо озлобленный и потому опасный тип, либо делец, наживающий себе таким образом политический багаж (что звучало достовернее и отталкивало многих). Привыкшие из всего, к чему бы ни прикасались, делать выгоду и хорошо усвоившие, что чем больше правильных мыслей произносить, тем надежнее будут прикрыты истинные намерения, — деятели из подобных московских кругов искренне полагали, что за бескорыстием Стоцветова непременно стоит какая-то еще большая, чем они получали, корысть, и, втайне завидуя ему, считали хитрым, увертливым.

Но несмотря на этот общий как будто заговор против него и, может быть, в силу того, что о многом не было известно Александру, он продолжал жить той привычной для себя нормальной жизнью, в которой были и радости и огорчения, была цель, то есть книги, над которыми он работал с тем большим увлечением, чем труднее они давались ему, и были заботы по дому, в котором надо было поддерживать порядок и на который зарабатывать, так как на брата, Станислава, ездившего по заграницам, надеяться было нельзя; в общем, он жил той жизнью, которая требовала от него самых разносторонних усилий, он постоянно был в деятельности, был по-своему добр и не только к тому, что находил справедливым, но ко всему, что, он видел, делалось не по злему умыслу. У него был свой круг друзей и знакомых,

которые верили ему и которым верил он. Но он никогда не позволял себе пользоваться чьим-либо дружеским расположением. Сталкиваясь с трудностями (в основном в издательстве, где вернее всего действовал — и не только против него — общий заговор), он не спорил и не ходил с просьбами; он вновь садился за письменный стол и, не изменяя своим убеждениям, старался сделать так, чтобы во второй раз не могли возвратить рукопись. Главным же его недостатком, как считали многие, доброжелательно наблюдавшие за ним, было то, что он не примыкал ни к одной группе, которые набирали силу; группы эти, как ему казалось, были делом придуманным и ни с какой стороны не нужным народу. «Почему мы, небольшая кучка людей, присваиваем право диктовать миллионам и миллионам, как им жить? — рассуждал он, с привычной для него упрощенностью и прямоотой подходя к делу. — Мы поучаем народ, как ему поступить в том или ином случае, и не замечаем даже, что тем самым выказываем недоверие ему. Но чего же тогда стоят наши слова о народной мудрости? То, что рождается суетой, неприменимо к жизни. Да, да, и к народу не имеет никакого отношения», — утверждал он, и первым, кто не соглашался с ним, был его брат Станислав.

— Если ты думаешь, что открываешь что-то новое, то ты глубоко ошибаешься, — говорил он Александру (в те короткие недели, когда бывал в Москве). — Подобный максимализм известен.

— А поучать — не максимализм? И по какому праву?

— Хотя бы по праву сведущего.

— Но не по праву естества, как надо бы. Одному пришло в голову, а миллионы — расхлебывай?! И не возражай, не возражай, есть факты истории, — продолжал свое Александр.

— Я не знаю, что бы сказал отец на этот твой максимализм.

— Отец?.. Отца не трогай, у него была своя эпоха. — На что трудно было возразить Станиславу.

Стоцветовы — два брата и сестра Анна, которая была старше их, — росли без отца. Отец их, крупный для своего времени специалист в оборонной промышленности, не раз бывавший у Сталина, в сорок втором, в самом расцвете сил, погиб в авиационной катастрофе. Мать умерла спустя несколько лет от рака, и заботу по воспитанию оставшихся сирот взял брат отца Михаил Евгеньевич. Во время войны он командовал дивизией, потом корпусом, а затем, после сорок пятого, был переведен в генеральный штаб и должен был обосноваться в Москве. Не имевший своих детей и чтобы не потерять квартиру брата, какую по теперешним нормам невозможно было бы получить даже ему, генералу и работнику генштаба, он перебрался с женой к племянникам и племяннице, и тот уровень жизни, тот достаток, в каком жили Стоцветовы до гибели отца, постепенно и незаметно был восстановлен. Они получили образование, затем Михаил Евгеньевич, благодаря своим связям и прошлым связям брата, сумел достойно пристроить их на работе. Анна со своим медицинским дипломом возглавляла отдел в министерстве здравоохранения, Станислав искал нефть и газ в Индии и разрабатывал теорию о так называемом естественном восстановлении энергетических ресурсов Земли (законченную и привезенную им наконец в Москву), Александр был литератором, писал и издавал книги. Все были определены, были при деле, и Михаил Евгеньевич с Инной Ивановной, женщиной заботливой и доброй, были довольны племянниками и племянницей. Ему казалось (по той внешней стороне жизни, по какой он судил о них), что они были счастливы; это было плодом его усилий, и потому, глядя на них, он тоже чувствовал себя счастливым, исполнившим долг человеком. Он старался сохранить в квартире брата все так, как было в ней до войны, не заменял ни потемневших от времени бронзовых

люстр и бра с хрусталиками, ни книжных шкафов, диванов и кресел; в гостиной с тремя обращенными на Кремль окнами висели на тех же местах копии знаменитых картин в багетных рамах, у стены, под ними, стоял большой концертный рояль. Он открывался только, когда сходились гости. Инна Ивановна со своею прямой спиной и высокой шеей, и непременно в темном, садилась за рояль, из-под приподнятой крышки лились звуки и наполняли гостиную. О чем они говорили Михаилу Евгеньевичу, в генеральском мундире и с орденскою планкою в половину груди задумчиво покоившемуся в кресле? Что заставляло замирать других, тоже в мундирах и с планками (и их генеральских жен), сидевших в гостиной? Искусство ли игры Инны Ивановны, или музыка, в которой каждый мог найти что-то близкое? Иногда Инна Ивановна исполняла фронтвые мелодии, но чаще всего играла старинные романсы, которые в давнее время имели, видимо, одно значение, но совсем по-иному воспринимались теперь. Самая обыкновенная человеческая тоска по тем ушедшим временам, когда так прекрасно будто бы и так празднично жили люди,— эта-то неприкрытая тоска как раз и затрагивала душу Михаила Евгеньевича и придавала как бы особую интеллигентность его гостиной.

Вся огромная квартира Стоцветовых четко делилась на две половины, одну из которых, лучшую, с кабинетом и спальней, занимал Михаил Евгеньевич с женой. Когда его не стало (он похоронен был по своим заслугам на Новодевичьем), половину эту дважды отводили Станиславу, когда он женился в первый и во второй раз. Но теперь ее вновь занимала неузнаваемо постаревшая с тех лет и не столько жившая, сколько уже доживавшая свой век Инна Ивановна. У Станислава и Анны были свои комнаты, дверьми выходившие в длинный, сумрачный, постоянно оклеивавшийся темными обоями коридор, у Александра — своя, выходившая в гостиную и служившая ему и спальней и кабинетом. С утра он сидел над рукописями, потом отправлялся в редакции, а вечера любил проводить дома, в том обществе, которое по традиции уже будто продолжало собираться у них. Когда Станислав находился за границей, общество бывало малочисленным и состояло в основном из поклонников Анны, только ухаживавших, но не делавших предложения ей, и друзей Александра; но как только возвращался из поездок Станислав (как было теперь), все в доме словно ожидало и наполнялось новым смыслом. Приходили ученые, менялись темы разговоров; спорили уже не столько об искусстве, сколько о жизни, затрагивая, что особенно нравилось Александру, самые, казалось, глубинные ее течения, от которых (хотя и не принято думать так) как раз и зависит состояние общества. В такие вечера поднималась крышка рояля, но не Инна Ивановна со своими морщинистыми и в желтых, старушечьих пятнах руках склонялась над ним; за рояль садились незнакомые ей молодые люди и, размашисто ударяя по клавишам, извлекали из него совсем иные, не всегда сочетавшиеся между собой звуки, называемые современной музыкой. В звуках этих не было как будто ни тоски о прошлом, ни радости о настоящем и будущем; но это лишенное корней и кроны и непонятно для чего и зачем существующее не только не вызывало протеста, как этого хотелось Инне Ивановне, а напротив, восторженно как будто одобрялось всеми. Все были веселы, Инне Ивановне казалось, что происходило какое-то будто второе (на ее веку) отречение от ценностей, отречение еще более решительное и страшное, когда будто бы предавались забвению лучшие человеческие черты — честность, совесть, благородство. Она поднималась со своего кресла и уходила к себе. Ей больно было видеть эту перемену, как и то, что все в доме ветшало, приходило в упадок. Как ни старалась домработница, приходившая дважды в неделю, держать в чистоте всю эту огромную, забитую старыми вещами квартиру, но старания сводились только к вытертому по центру столу; на картинах, статуэтках, люстрах — на всем лежала застаревшая,

взявшаяся уже коростой грязь; и грязь эта, о многом говорившая Инне Ивановне, совсем как будто не замечалась ее племянниками и племянницами, как не замечалось и общее обветшание квартиры, словно им было безразлично, как было у них вчера и как будет завтра. То, что было на них,— было красиво, модно; то, что было вокруг них,— было будто ничьим, как то поле за приусадебным участком, на которое у нынешнего мужика как будто не хватает рук.

XXI

В согласии со своим убеждением — «одному пришло в голову, а миллионы — расхлебывай» — Александр усиленно в этот год работал над темой, которая не то чтобы была запретной в литературе (в литературе запретных тем нет, а есть только известные уже, которыми все пользуются и которые оттого считаются модными, и неизвестные, ожидающие еще только своего открывателя, чтобы затем тоже стать модными и приносить авторам доход и славу), но находилась как бы в тени, в забвении. Тема эта была — борьба советских бойцов, попавших в первые месяцы войны в окружение и плен. Известно, что, ссылаясь на формальную причину, что Советским Союзом не была в свое время подписана международная конвенция о военнопленных, немцы направляли наших солдат, попадавших в плен, не в лагеря для военнопленных, как поступали с такими же пленными французами или поляками, а в концентрационные лагеря. Разумеется, с идеологией ненависти ко всему, что не подходило под их расовую теорию, они сделали бы точно то же и без формального повода. Принять всерьез подобную оговорку Александр не мог и, чтобы разобраться в этом сложном для себя вопросе, обратился, во-первых, к документам войны (о первом периоде ее) и, во-вторых, к тем архивным материалам, которые должны были приоткрыть ему истинные мотивы, почему советская сторона в тридцатые годы отказалась поставить под конвенцией свою подпись. Несколько недель не разгибаясь он работал в архивах, затем ездил к ветеранам войны — очевидцам событий в Горький и во Владимир, беседы с которыми подробнейшим образом записал, оставалось только созвониться с известным дипломатом Кудасовым, с которым, как с человеком знающим (по интересующему Александра вопросу), советовали встретиться ему.

Кудасов, занятый бесчисленным количеством дел, как он ответил по телефону Александру, все же после настоятельных просьб согласился принять его. Разговор был доброжелательный, длился около четырех часов, и Александр остался доволен встречей. Веселый, весь наполненный теми высокими мыслями, с какими собирался теперь засесть за свою новую работу, он в десятом часу вечера вернулся домой. В гостиной, как всегда, былолюдно. К Станиславу пришли его друзья, к Анне — ее, но еще прежде, чем Александр успел обозреть это во многом уже надоевшее ему общество, он обратил внимание на новое лицо — молодую круглолицую особу, которую брат, представляя, назвал Наташей и которая сразу же понравилась Александру. Привыкший видеть в своем доме только молодых женщин — знакомых сестры и брата, — которых он презирал за неестественность и желание показать себя благороднее и чище, чем они были на самом деле, он как бы столкнулся с той доверительной простотой и непосредственностью (более, может быть, воображенной им), какую он увидел в Наташе. Ни ее платье, понравившееся всем на вечере у Лусо, ни золотые сережки с рубинами, так шедшие к платью и освежавшие, что она знала, ее, ни прическа, открывавшая шею и уши, на которые так любил смотреть Арсений и которые как будто и в самом деле были как украшение к ее милой и круглой головке, — ничего из этого внешнего, из чего, как полагают женщины (и полагала Наташа) складыва-

ется впечатление о них, не запомнилось Александру так, как запомнилось живое выражение Наташиного лица. Он прошел в свою комнату, чтобы переодеться, и все те минуты, пока приводил себя в порядок, продолжал видеть Наташино лицо. «Откуда это чудо здесь?» — не столько задавал, сколько чувствовал он в себе этот вопрос и то и дело оборачивался на дверь, как если бы она была открыта и он мог увидеть гостиную и Наташу в ней. «Нет, это какое-то необыкновенное везение, — наконец решил он, соединив в себе несоединимое для других, что занимало его теперь (разговор с Кудасовым, представлявшийся несомненной удачей и, как дополнение к этой удаче, приятная неожиданность в доме). — Кто она? Если ее привел Стасик, то его надо поздравить. Он откопал суший клад». И с этими мыслями о незнакомой ему молодой особе Александр вновь появился в гостиной.

У Стоцветовых в этот вечер главной фигурой, ради которой, собственно, и было собрано общество и приглашена Наташа, был композитор Николай Эдуардович Ворсиков. Он должен был играть новые сочинения и уже открывал крышку рояля, когда Александр, посмотрев по общему направлению взглядов, увидел его. «Ну, сейчас запрыгает», — подумал он, как обычно думал об этом композиторе, приходившем в дом будто для Анны, но больше потому, что здесь слушали его музыку. Он проповедовал естественность жизни, тогда как для Александра вся эта естественность по Ворсикову, к которой тот призывал, представлялась естественностью прыгающего воробья. «Скок туда, скок сюда! Да здравствует свобода!» — иронически восклицал он всякий раз, слушая Ворсикова. Как для любого разумного человека, для Александра, знавшего, что для поддержания жизни необходимо не бессмысленное порхание, не призрачные (и красивые!) рассуждения на тему о свободе, а труд, повседневный и кропотливый (что, впрочем, он не сомневался, знал и Ворсиков), — для Александра было загадкой, каким образом то, что он полагал фальшью, не замечалось и не воспринималось другими. Посмотрев еще раз и внимательнее на композитора и затем на всех, кто готовился слушать его, и найдя среди этих всех Наташу, которую он искал глазами, он направился к ней и позади ее кресла прислонился к стене (в той позе, в какой он всегда слушал Ворсикова).

В это время в комнату вошли двое молодых людей, одного из которых, светловолосого, в грубом вязаном свитере не со своего будто плеча, надетого поверх рубашки и галстука, Александр хорошо знал. Это был Мордовцев, одноклассник и друг Станислава. Они когда-то вместе учились в институте, но Мордовцев затем перешел на журналистику и до сих пор подвизался в ней. Второго (из вошедших), одетого так, что сразу же можно было понять, к какому кругу принадлежал он, Александр видел впервые. Может быть, молодой человек не вызвал бы у Александра интереса (мало ли подобного рода «гениев» расхаживает по Москве!), но по тому общему вниманию, какое было проявлено к вошедшим, особенно к этому худощавому, с угрюмым, неприветливым лицом незнакомцу, по волнению, сейчас же охватившему всех как бывает только при появлении знаменитости, наконец, по словно застывшим рукам Ворсикова Александр понял, что главной фигурой вечера был вовсе не Аннушкин жених со своими новыми сочинениями, как это вначале показалось ему, а именно шедший теперь за Мордовцевым через всю комнату к креслам молодой человек, знавший, как было видно, цену внимания к себе, которым он пренебрегал.

«А этот кто?» — сейчас же подумал Александр, невольно почувствовавший, что его теперешнее приподнятое настроение — от встречи с Кудасовым и от знакомства с Наташей, позади которой он стоял, словно наткнулось на что-то. Он ощутил ту необъяснимую пока еще неприязнь к этому угрюмому молодому человеку, которая сразу же и безотчетно охватила его. Было ли это от предубежденности, с какою Александр смотрел на молодых людей, которые, не сделав еще ничего

путного в литературе, как Тимонин, уже пользовались в ней известностью и славой, развращавшей их, или просто от того, что не понравился ему высокомерно-пренебрежительный вид незнакомца и то, как тот прошел, не взглянув ни на кого и даже не подумав извиниться за свою, мало сказать, бестактность, заставившую всех смотреть и ждать, или, может, что-то еще заставило Александра почувствовать в нем своего противника, но так ли, иначе ли, Александру было неприятно, он опустил голову, чтобы не видеть, как незнакомец этот усаживался в кресле.

Это был Князев, тот самый поэт, прозаик и публицист, о котором упоминалось на вечере у Дорогомилыных. Насколько было правдой то, что он был одним из главных инициаторов составления и выпуска рукописного журнала, наделавшего, как это представлялось некоторым, столько шума, что будто Везувий (в литературном, разумеется, плане) был перенесен в Москву и начал извержение, никто толком не знал; но слух, всюду опережавший Князева, делал свое дело, и, еще вчера никому не известный, он вдруг стал знаменитостью, на которую, чтобы только увидеть, готова была сбегаться почти вся Москва. Что сочинил сам Князев, работавший как будто в трех жанрах, было неважно; он составил рукописный журнал, то есть дерзнул на нечто такое, о чем другие не могли даже помыслить, и это-то и вызывало удивление. И хотя рукописи, отобранные им для своего «издания», были сомнительные, малохудожественные, растянутые и скучные, которые, будь они напечатаны в обычной прессе, просто бы не читались, теперь они выдавались за шедевры, кем-то и для чего-то будто бы прятанные от народа. Те, кому удалось почитать эти шедевры, говорили о безвкусице и безнравственности их авторов и, в основном, сходились на том, что «молодые люди» просто захотели, неважно каким способом, прославиться; но некоторые, более серьезные, высказывали опасение, что дело не в безвкусице, а что это — пробный камень, брошенный по чьей-то указке в спокойную воду, и что за этим пробным может последовать нечто более серьезное! Но так как среди гостей Стоцветовых не было никого, кто хоть отдаленно был бы знаком с содержанием князевского журнала, а знали о нем лишь по дошедшим преувеличенным слухам, то им представлялось, что в нем была не вседозволенность, отвергнутая уже человечеством, а будто бы давно зревшая в творческой интеллигенции правда смогла наконец пробиться сквозь толщу придуманного ими же консерватизма, с которым теперь боролись все и всюду. Из-за незнания настоящих проблем, к решению которых прикладывались усилия народа, эта готовая рукоплескать любимому кумиру публика воспринимала деяния Князева как нечто истинное, должное принести обновление.

Александр тоже не раз слышал об этом рукописном журнале и о его составителе, но, никогда не видевший Князева, даже отдаленно не мог предположить, чтобы составитель тот оказался здесь. «Какой неприятный», — успел только подумать он, как Ворсиков ударил по клавишам, и незнакомая музыка наполнила комнату.

XXII

То, что играл Ворсиков, как он потом объяснял свое сочинение, было — пробуждение утра; то, о чем думал Александр, не столько слушавший музыку, сколько смотревший на Ворсикова, на его короткие и пухлые пальцы, прыгавшие по клавишам, было — охватывавшее его беспокойство от близости Наташи. Близость ее волновала его так, будто он встретил судьбу. Но он не мог поверить в это; ему все еще представлялось, что судьбой его было открытие (для книги), какое он сделал у Кудасова, и о каком (по свежему впечатлению) готов был теперь же рассказать всем. Ему хотелось обратить на себя внимание го-

стей, и прежде всего внимание Наташи, и он чувствовал, что если начнет рассказывать подробности об усилиях нашей дипломатии в первые месяцы войны (о подписании конвенции), то цель его — привлечь внимание Наташи к себе — будет вполне достижимой. Ему казалось, что то, что наполняло его, было не просто значительнее музыкального сочинения Ворсикова, но что — сама мысль о подобном сравнении представлялась кощунственной. «К чему он зовет? К созерцательности? — думал он о Ворсикове и опять вскидывал взгляд на короткие и пухлые пальцы композитора. — К созерцательности, за которую не раз уже и жестоко расплачивалось общество?» Он обращался будто к Ворсикову, но, в сущности, не только к нему, и ему не терпелось вступить в спор за эти общие интересы, которые он считал себя призванным защищать.

— Видимо, я не все понимаю в музыке, — сказал он, выдвигаясь из своего укрытия и направляясь в обход кресла Наташи к центру, когда после аплодисментов Ворсикову и первых шумных возгласов одобрения начал вступать в силу тот бескостный об искусстве разговор, в котором обычно каждый почему-то стремится высказать не то, что думает на самом деле, а лишь подтвердить известные, выдаваемые за свои, истины. — Может быть, все действительно прекрасно и ни у кого нет никаких пожеланий, — повторил он, продолжая выдвигаться и чувствуя, как все смотрят на него и ждут, что он скажет.

Слава, что он будто «умеет всегда только оскандалиться в обществе», какая вне дома жила о нем, из-за которой большинство сторонилось его, — слава эта держалась и среди приятелей и гостей дома. «Ну-ка, ну-ка», — было теперь одинаково выражено на лицах, кто смотрел на него; и так как им важна была не суть вопроса, а лишь внешняя сторона его, все разделились на две заинтересованные стороны: одних волновало, как Александр прижмет Ворсикова, других — каким образом довольный, обласканный аплодисментами композитор сумеет выйти из положения. Но Александр, повернувшись к Наташе, и увидев, что она смотрит на него, и мгновенно поняв, что впечатление ее о нем будет зависеть от того, как он поведет себя, — подойдя к Ворсикову, он лишь улыбнулся и, удивляя всех своей сдержанностью, проговорил:

— Извини, я не собираюсь осуждать твою музыку. Дело в другом. Дело в принципе, — добавил он, отворачиваясь от композитора и открывая всем свое молодое, красивое и умное лицо. — А принцип в том, что красота — это фальшь. Разумеется, красота в том значении, в каком нас приучили понимать ее. Это обман, на который, не ведая того, поддаются люди, и ничто так разрушительно не действует на общество, как этот обман, — сказал он, полагая, что сказанное им так же ясно всем, как и ему, и не требует пояснений. Истинной красотой он считал не то, что было подражанием жизни (на чем, собственно, и основывается искусство), но то, что было действительностью, было — нравственными и физическими усилиями народа; ему казалось, что всякое богатство есть насмешка над обществом, поскольку богатством этим могут пользоваться только избранные, и прямотельность выражением этой насмешки он называл ту деятельность литераторов, художников, композиторов, артистов, которые (величайший обман искусства!) призывают других жить совсем не так, как живут сами. К разряду подобной красоты он относил и те бесчисленные, на протяжении столетий, обещания блага народам, которые, как подтверждает история, никогда и никем не выполнялись, и этот социальный обман, казалось Александру, утверждало искусство.

— Насколько я понял вас, — в то время как никто уже не ожидал от композитора, что он вступит в спор (и в то время как Александр, стоявший спиной к нему, казалось, тоже будто забыл о нем, так как полагал, что мысли о красоте и фальши, произнесенные им, были сло-

вами вообще и ни в чем будто не затрагивали Ворсикова), проговорил Николай Эдуардович, небрежно вытирая платочком вспотевшие лоб и шею.— Насколько я понял вас,— повторил он,— вы считаете искусство украшением жизни.— И, не давая ничего возразить торопливо повернувшемуся к нему Александру, продолжил: — А всякое украшение, по-вашему, есть излишество, которое нецелесообразно, дорого стоит...— Он на секунду смолк, чтобы дать возможность не только Александру, но всем почувствовать эту фразу.— Дорого стоит, и потому его надо убрать, ликвидировать, как всякое излишество?

— Да, если хотите,— подтвердил Александр.

— Но понимаете ли вы,— противопоставляя простоватому тону Александра эту свою природную будто интеллигентность, с какою он вел разговор (и не столько сутью, сколько этой интеллигентностью обретая сторонников), снова начал Ворсиков,— что вы лишаете человечество возможности самопознания, самовыражения.

— Самопознание и самовыражение для человечества есть труд,— сказал Александр с уверенностью, что то, что он говорит, нельзя опровергнуть.

— В таком случае позвольте спросить вас, почему же вы сами занимаетесь не тем трудом, который перевозносите, а этим, да-да, этим, от которого хотите избавить человечество, как от фальши?

Не ожидавший, что разговор так обернется для него, и почувствовавший, что как будто ему наносился удар ниже пояса, что было несправедливо и не по правилам, как он полагал (как полагают обычно люди, не считающие нужным замечать дурное за собой, но сейчас же замечающие все дурное за другими),— Александр сначала с удивлением посмотрел на Ворсикова, затем бледное лицо его еще сильнее побледнело, и он, забыв, что должен произвести впечатление на Наташу и что ради нее, собственно, и было затеяно им все, непримиримо вызывающе бросил Николаю Эдуардовичу:

— Я занимаюсь исследованием жизни и ставлю перед собой практические цели, а не цели украшательства.

— Саша, Саша, Эдуард! Зачем крайности? — сказал Станислав, поднимаясь и подходя к ним и более улыбкой, чем словами, говоря им, чтобы они не спорили о том, о чем не нужно и бессмысленно спорить. «Два мнения, так было и так будет»,— было в улыбке его.

— Какие крайности? — Александр был недоволен вмешательством брата.

— Самые обыкновенные,— подтвердил Станислав и, примирительно добавив: — Ну ладно, хватит, хватит, прекрати,— весело повернул его по направлению кресел, откуда тот пришел (и где сидела Наташа), и, подтолкнув его туда, попросил Ворсикова сыграть что-нибудь, чтобы можно было потанцевать всем.

Николай Эдуардович, почувствовавший победителем себя, охотно сел за рояль, пухлые пальцы его вновь побежали по клавишам, и через минуту, разбившись на пары, все уже топталось в просторной гостиной. Кресла и стулья были сдвинуты к стенам, и Александр, как и эти кресла и стулья, тоже прижатый к стене, с мрачным удивлением смотрел на происходившее. Ему странно было сознавать, что вопрос, о котором он начал было говорить и который был важен для всех,— вопроса этого словно не существовало вовсе; важнее, чем этот вопрос, была праздность, которой сейчас же и с упоением предались все и которой, разумеется, предаваться всегда легче, чем размышлять. «Раздавила, оглянулись и помчались дальше,— подумал он, относя это раздал и ли не к себе, а к тому, что было важно узнать всем.— Так чего же мы хотим от других?» — заключил он. Лица танцующих представлялись ему одинаковыми: ни желаний, ни интереса, ни сомнений; все ими достигнуто, все познано; и по этому новому как будто для себя

впечатлению Александр подумал, что все эти приходившие к сестре и брату люди были совсем не теми, за кого они выдавали себя. Не теми не по званиям и должностям, занимавшимся ими, не по одежде, как они (каждый на свой лад) умели нарядить и подать себя, не по манере держаться и не по улыбкам, смысл которых всегда сводился лишь к тому, чтобы ничего не сказать собеседнику, и, наконец, не по значительности и умению в нужный момент вызвать интерес к себе,— нет, не по этим выставленным напоказ признакам, по которым можно только однозначно судить, а по другим, какие Александр, почувствовав в них теперь, не мог еще вполне объяснить себе. «Так можно растоптать все, и топчем и мчимся дальше, заставляя народ расплачиваться за леность нашего ума»,— снова подумал он. Он заметил, что Наташа танцевала не со Станиславом, и это удивило его; но еще больше удивило, что она как будто была теперь как все, с тем же, как у всех, бессмысленно-счастливым выражением. От неуверенности, что он увидел ее такой, и желая найти в ней те, другие признаки, по которым в первые минуты знакомства он назвал ее чудом, он еще и еще раз взглянул на нее и, сказав себе затем, что, возможно, тех, других признаков никогда и не было в ней, опустил голову; и пока переживал это свое разочарование и обдумывал, как поступить, вдруг ощутил на плече чью-то руку и обернулся.

«Чем обязан?» — невольно, взглядом, спросил он, увидев перед собой Князева.

Почувствовав по выражению плоского лица Князева, как оно теперь показалось Александру, что тот подошел не со злыми, а с добрыми будто целями, уже мягче, но так же безмолвно повторил: «Чем обязан?»

— Во-первых, хочу представиться,— произнес Князев, давно искавший, как он заявил тут же, случая познакомиться с известным Стоцетовым.

Назвав себя и те несколько своих поэтических книжек, которые были то ли уже изданы им, то ли еще только написаны, что трудно было понять из его слов, он затем предложил Александру пройти к окну, где было подальше от танцующих и потише и где можно было поговорить о том важном, как подчеркнуто заметил он, уловивший, чем можно было расположить к себе Александра (о красоте, фальши и возможностях самовыражения для человека и человечества), в чем он, Князев, был вполне солидарен с молодым Стоцетовым.

— Вы реалист, и вы даже не всегда понимаете, какой вы реалист,— сказал он, стараясь, несмотря на тесноту, идти рядом с Александром (за стульями, которые тот отодвигал от стены).— Поверьте, мне нет нужды высказывать вам похвалы, но вы, пожалуй, единственный сегодня, кто по-настоящему пытается работать в литературе. Да, да,— на удивленный взгляд приостановившегося Александра подтвердил он.

XXIII

Князев был той подымавшейся теперь на волне преобразований (то есть ожидания обновлений, какое ощущалось в народе, и на что было основание) силой, которая прежде считалась подавленной, стертой, уничтоженной в самой основе, но которая, как показало время, переодевшись во всякого рода защитную одежду, выжидала, когда можно будет ей вновь появиться на исторической арене. В то время как почвенники и западники, спорившие о направлениях в искусстве (направлениях жизни, как это казалось им), спорили только для того, чтобы жить за счет этих споров, то есть в то время как их целью было — благо для себя с помощью рассуждений о благе

для народа, и они представляли собой лишь разряд трутней (в прошлом придворных, как назвал их великий художник); в то время как люди, подобные Тимонину, Никитину или Казанцеву, не имевшие даже этих «убеждений» и примыкавшие то к почвенникам, когда те набирали силу, то к западникам, когда выдвигались вперед эти, и жившие, в сущности, по тому же закону — благо для себя за счет рассуждений о благе для народа, были вредны лишь праздностью, растлевавшей тех, кто соприкасался с ними; в то время как ничего не желавший для себя Александр Стоцветов, признававший только труд как единственную основу жизни и только оголенную, то есть очищенную от интересов личностей и подчиненную интересам обществу правду, стоял будто особняком, как и Митя Гаврилов, взваливший воз человеческих «пороков» на себя, чтобы исправить их, — Князев в противоположность трутням, которые, как накипь, всегда выбрасываются на поверхность кипящей жизнью, — Князев (кроме того, что он тоже был за благо для себя) чувствовал себя представителем определенного и, по существу, неистребимого слоя людей, для которых высшим идеалом естества и справедливости был и остается (не по тексту, которого они, может быть, даже не читали, а по сути своей) так называемый республиканский, наполеоновский кодекс о «неприкосновенности собственности», на котором основана вся так называемая демократия современного западного мира:

«...право собственности является главной основой гражданской свободы»...

«...право собственности является основным правом, на котором покоятся все общественные учреждения»...

«...собственники — самая прочная опора безопасности и спокойствия государства»... И т. д. и т. п.

Представители этого буржуазного (по-книжному), мироедского (по простонародию) слоя людей, по-своему расторопных, предприимчивых, бойких во всяком деле, которое может хоть как-то принести им доход, никогда не поднимавшиеся до высот власти, но бывшие каждый в своем закутке — деревне, городе, столице, где кто промышлял — и всеильными самодержцами и благодетелями, кормящими будто бы народ и готовыми даже иногда поделиться со всеми, когда бывали принуждены к этому обстоятельствами: «Что же, не чужеземцы какие!» — представители этого именно слоя людей, ближе всех будто бы стоявшие к народу, но более почитавшие себя народом, чем сам народ, вновь теперь, по прошествии времени, как васильки на пшеничном поле, поднимали головы, привлекая своей яркой красотой тех, кто не был связан с трудом (в данном случае не только крестьянским) и не знал, что васильки эти, воспетые во многих песнях, есть не украшение, а сорняк на хлебном поле. Представители этого слоя людей, старавшиеся проникнуть в государственный организм под видом деловых, способных и незаменимых (им как нельзя кстати пришелся тезис о деловом человеке), прикрывались понятиями свободы личности как свободы предпринимательства, как беспрепятственной возможности подгрести под себя все (скажет, к примеру, дед внуку: «Эко удивил — «Москвич»! На собственных самолетах летали бы, не будь у нас руки связанными», — и все, и запало в душу). Было среди них и то новое поколение утонченных, иногда даже с партийными билетами дельцов, которые не по наследству, а по благоприобретению пропитаны этим же духом обогащения; и они, представители этого слоя, так ли, иначе ли приобщившиеся к «кодексу о собственности», имели уже определенное (особенно в сфере снабжения) влияние на общее состояние жизни. Они думали уже о свободе действий. Накопившись количественно, они словно почувствовали, что как раз теперь, в преддверии намечавшихся преобразований, настал их час, и чтобы подготовить почву, распространяли мнение, что было бы неплохо кое-что в сфере обслуживания (кое-что для начала) передать

в частные руки. Открыть, к примеру, частные булочные, частные кафе, частные рестораны. Довод, приводившийся при этом, был прост: и для народа лучше, и государству легче, инициативные люди из-под земли все достанут, а что касается наживы, то какая тут нажива, если промышленный сектор все равно остается в руках государства. Слухи подкреплялись то тем, что будто предложение подобное уже внесено в правительство, то еще более веским, что будто большинство в правительстве за и что дело только во времени. Но время шло, слухи не подтверждались и угасали, оставаясь лишь предметом для разговоров в самих тех кругах, из которых они исходили, и оттуда же, из тех кругов, обращено было внимание на литературу как на одно из средств формирования общественного мнения.

«Они глупы,— говорили о литераторах.— Спорят, а о чем? Делят воздух, который разделить нельзя, и рвутся на пьедестал, который еще не поставлен для них и на который, как они думают, взойдет тот, кто более достоин течению жизни. Да они просто модно соревнуются в этом своем противостоянии и уже этим полезны делу!» Было обращено внимание на те так называемые нравственные искания, которые велись этими литераторами, когда все, что было в прошлом, объявлялось достойным, а настоящее (разумеется, бралось все пока лишь в нравственном плане) — не только чем-то не тем, привнесенным, но будто бы в корне противоречившим самим основам народной жизни. Пересматривалась, в сущности, история, которую стремились теперь подать так, словно не было раньше ни бедных, ни богатых, ни крепостничества, ни барства, а существовало лишь некое национальное единство, национальное братство, благодаря которому и творились культура и характер народа. «Русские люди всегда оставались прежде всего русскими людьми,— говорили они, что было столь же привлекательно, сколь и вредно, потому что предлагалось не на основе взаимной солидарности трудовых людей, а на основе некоей национальной идеи строить общество и общественные отношения; и эта формула бесклассовости, подаваемая как равенство всех у стартовой черты жизни (а кто кого затем обгонит или столкнет с дорожки, это уж как придется),— формула эта не только была приемлема для так называемых младо- (или нео-) инициативных людей, но по негласной договоренности (по крайней мере, всякий наблюдавший за этим явлением мог прийти к такого рода мыслям) было положено всюду поддерживать ее. Князев был представителем этого слоя серьезно бравшихся за дело младо- (или нео-) инициативных людей, у которых цель «для себя» так смыкалась с фразой «для народа», что многим казалось, что в их деятельности было что-то настоящее и привлекательное. К Князеву тем сильнее возникал интерес, чем больше слухов распространялось о нем. Но интерес этот проявлялся, в сущности, только к его деятельности, и мало кто знал о настоящей жизни этого обычно выглядевшего угрюмым молодым человеком. Чем он занимался еще кроме того, что числился поэтом, прозаиком и публицистом (и на что, разумеется, трудно было вести тот образ жизни, какой он вел), было туманно. Имел ли семью или жил у родственников, опекавших его (холостяком, по тому принципу, что всякая семья есть только обуза для деятельности),— было как бы за занавесью, а то, что предназначалось для всех, было словно бы на освещенных подмостках, на которых все и отовсюду могли рассматривать его. Он приходил всегда в свежем, наглаженном, из чего друзья заключали, что там, за занавесью, то есть в семейном быту, все у Князева было благополучно. Костюмы спортивного покроя, которые он носил, свитера, рубашки и шарфики вместо галстуков (вокруг шеи под расстегнутыми воротниками) — все не только отдавало, но словно бы дышало тем щегольством, позволить которое мог себе только человек с определенным достатком.

В этот вечер у Стоцветовых Князев был в замшевой куртке с молниями, в светлых, в еле заметную клетку узких брюках, спортивно

подчеркивавших его худую, костистую и крепкую фигуру, а из-под распахнутого воротника бежевой (из Гонконга) рубашки привычно выглядывал шелковый шарф, концы которого были спрятаны на груди под рубашкой.

XXIV

Они остановились так, что Александр оказался спиной к окну, Князев — спиной к танцующим, люстре и свету. Лицо Князева было затенено, и он был в преимущественном перед молодым Стоцветовым положении. Ему не нужно было следить за выражением своего лица, в то время как Александр со всеми своими душевными движениями был как бы оголен перед собеседником и в продолжение разговора постоянно чувствовал это. Он не понимал, от чего происходила неловкость, и полагал, когда из-за плеча Князева видел среди танцующих раскрасневшуюся и счастливую головку Наташи, что это из-за того, что он думает о ней, так неуютно и неловко ему.

— Вы знаете, я не привык вокруг да около, — сказал Князев (в самом начале разговора, как только, примерившись взглядом к Александру, понял, как надо говорить с ним). — Ваша позиция в литературе...

— Жизненная позиция, — резко, почти с раздражением прервал его молодой Стоцветов, решивший сразу же дать понять Князеву, что привык в разговорах называть вещи своими именами.

— Ваша позиция в литературе, — между тем, пропустив как бы мимо себя этот выпад Александра и в меру спокойным и заинтересованным тоном, как он только что начал, продолжил Князев, в свою очередь давая понять, что не привык, когда его перебивают, и что прежде, чем перебивать, следует дослушать. — Позиция ваша многих отталкивает, но многих и привлекает. Не уполномочен говорить за всех, но есть мнение, что сегодня единственный, кто мог бы возглавить определенное, вы понимаете, о чем я говорю, направление в русской литературе, это вы. За вами, именно за вами пойдут. Нет, нет, пока не возражайте. Не торопитесь, во всяком случае, возражать. — Князев поднял руку. — Для каждого из нас только дважды бьет колокол. Один раз — к славе, второй — к могиле. Второй все мы рано или поздно слышим, а первый, он, в сущности, беззвучен, его можно уловить лишь по чувству времени, по социальной наблюдательности. Так вот, мне кажется, сегодня бьет ваш колокол, и как бы не пропустить вам его удары.

— Колокол, удары... Вы что, серьезно? — спросил Александр. — Труд, я признаю труд. И вообще, — с усмешкой добавил он (той привычной для него усмешкою, какою он защищался от всякого рода неприятных и колких выпадов против него), — это не разговор. Какое направление, какую поддержку вы можете обещать: «Вече» или как там, «Светоч», — извините, не читал.

— «Луч».

— Да, именно, «Вече».

— Я бы не стал говорить с вами, если бы речь шла только об этом. «Вече» — это баловство, в которое, впрочем, по глупости втянули и меня. Просто нам хотелось, чтобы нас заметили, о нас заговорили, вот и все. Но есть вещи гораздо важнее, чем рукописный журнал, с которым, — что-то похожее на усмешку (как и на лице Александра) появилось на лице Князева, — связывают мое имя. Есть русский народ, судьба русского народа, судьба русской литературы, наконец, всей нашей культуры, если хотите, разве вас, как писателя русского, не трогают эти вопросы? — сказал Князев, хорошо знавший, что сказанное им было всего лишь высокими словами, произносившимися не раз и не два в

прошлом (и, главным образом, теми и для того, чтобы сыграть затем на этих национальных струнах свою и для себя партию). Но он также хорошо знал, что на волне почвенничества, то есть нынешнего — в литературе — направления, которое набирало силу, за этими высокими словами о русском народе подразумевались будто бы определенные откровения, которые стыдно, неловко и невозможно было не признать русскому человеку.

— В каком смысле? — спросил Александр, морщась от того, что шум музыки и танцующих мешали ему.

— В самом прямом.

— То есть?

Князев вместо ответа несколько мгновений внимательно смотрел на Александра: действительно ли тот не понимает или притворяется, что не понимает, о чем речь? Затем, чуть повернувшись, будто на танцующих, так, что лицо почти все осветилось горевшей люстрой, вновь и нескрываемо усмехнулся неприятной и надолго запомнившейся Александру усмешкой, которую иначе чем упрек в национальном отступничестве нельзя было истолковать. «Вы кто, русский ли вы человек? — было прежде всего в этой усмешке. — Если русский, то что же я буду вам разжевывать, как ребенку, то, что очевидно сегодня всем русским людям?» Князев прямо говорил этой своей усмешкой, что то, что принято между русскими людьми понимать с полуслова, униЗИтельно разъяснять ему. «Шутить можно чем угодно, но только не э т и м», — было еще в этой его усмешке, которая (по ходу мыслей) менялась и становилась злее на его плоском, каким оно продолжало казаться Александру, и освещенном теперь лице.

Может быть, минуту, может быть, полторы длилась эта возникшая в их разговоре пауза. Но для Александра, не нашедшегося сразу что ответить, минута эта имела совсем иное во времени протяжение. Он успел ухватить в мыслях десятки событий, связанных так ли, иначе ли с понятиями «русский народ» и «русская национальная культура». Споры, которые (более даже подспудно, чем обнаженно) велись теперь между почвенниками и западниками и в которых Александр находил лишь, что они не нужны, бессмысленны и только затрудняют общее поступательное движение, — споры те давней, коренной сути предстали перед ним. Почвенники прошлого обращались к народной (деревенской, как было по тому времени) культуре, чтобы обратить внимание на бедственное положение крестьян, на крепостничество, с целью изменить эту несправедливость; в песнях, хороводах, свадебных и иных обрядах они находили отражение того образа жизни, который призывали изменить. Почвенники нынешние, положившие признать народным только то, что сохранила и донесла до нас деревня, совершенно по-иному смотрели теперь на ту же народную культуру. Песни, танцы, элементы свадебных и иных обрядов времен крепостничества исполнялись ими с такой залихватской удалью, так красочно и привлекательно (шло будто соревнование между постановщиками, кто лучше, то есть с большей фальшью представит прошлое), что выходило, что прежняя и тягостная по описаниям классиков жизнь народа вовсе не была тягостной, если она смогла породить такое веселое, жизнерадостное искусство; выходило, если придерживаться общепринятого положения, что искусство неотделимо от жизни и есть отражение (или выражение, что, впрочем, почти одно и то же) ее, что нынешние почвенники тоже стояли за перемену жизни, но уже — за возврат к прошлому. «Наши корни в деревне, — говорили они, — и все, чем мы гордимся (крепостническое или не крепостническое, это не важно), вышло из нее. Мы живем старым багажом, а что дала нам деревня сегодня, в наше столетие? Что сейчас можно считать народным?» — продолжали они, и поскольку ответить на эти вопросы действительно было не просто, то даже у людей убежденных начинали

иногда возникать сомнения, а не выплеснули ли и в самом деле вместе с водой ребенка. Веривший только в труд как основу жизни и в силы народа, которому не надо только мешать и он сумеет выбрать для себя оптимальный вариант жизни, Александр тоже бывал в смятении, когда задавал себе эти вопросы (хотя и не признавался никому в своих смятениях). Ему тоже, как и почвенникам, как всякому русскому (как это теперь принято было считать), казалось, что нынешняя культура не имела того народного начала, какое она имела в прошлом, что преобразованная деревня не дала ничего нового, кроме разве лишь обновленных текстов частушек, и что все (еще в большей степени, чем когда бы то ни было) привносится в нее людьми так называемого культурного фронта, а проще — навязывается, насаждается в ней. «Все от Ворсиковых, Тимониных, Куркиных, а что же народ? Что выработано им из его теперешних коридоров жизни?» — было вопросом и для Александра, и потому он не мог, не покрывив перед совестью, резко и прямолинейно ответить Князеву.

— Если и губит нас что, так это разобщенность, — вдруг, словно смахнув с лица усмешку и повернувшись к Александру, произнес Князев. — Бей свой своего, чтобы чужой духу боялся, вот, с позволения сказать, наш лозунг жизни. И бьем, десятилетиями, столетиями, а потом ропщем, что в загоне. Разве вас не волнует это? — спросил он, еще более переменяясь в лице, так как то, что говорил теперь, было не просто словами, а тем действительным, что не могло, он знал, не волновать и Александра. — Или хотя бы взять историю, — продолжил Князев. — Так ли она прояснена для нас, как все на самом деле происходило в жизни? — что было намеком на распространявшееся уже тогда (может быть, даже самим Князевым или подобными ему) мнение, что будто бы неизвестно еще, от чего вымирало Поволжье в двадцать первом году; что будто бы все еще темным в истории пятном остаются так называемые кулацкие мятежи, и так ли уж мятежи те были кулацкими или, может быть, были мужицким протестом, с которым не захотели посчитаться; что будто бы и коллективизация тоже проходила по-иному, более насильственно, чем по учебникам подают ее. Князев (из тех соображений, что говорить намеками всегда лучше, потому что в любую минуту можно повернуть разговор в другую сторону) знал, что Александр понимает его. Он знал также, что среди интеллигенции (этого рода интеллигенции, для которой всегда важно противостоять чему-то) было не то чтобы модно или популярно выдвигать тезис о пересмотре истории, но сам этот тезис возводился в своего рода некое мерило честности, которое Князев как раз и прикладывал теперь к Александру, глядя на него иронически пронизывающе, словно спрашивал: «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, так ли ты с народом и за народ, как афишируешь»

XXV

— Эй, вы что уединились? Игорь Ильич (так звали Князева), Александр, что не танцуете? — отвлекая их от разговора и мыслей, крикнул Мордовцев, давно кружившийся со своею, в коротенькой юбке, партнершей возле них.

Подведя партнершу к Князеву, он освободил ее так, словно предлагал взять (что, впрочем, было просьбой самой партнерши, хотевшей, как она сказала, потанцевать со знаменитостью), и Князев, сейчас же по взгляду на Мордовцева и на партнершу, желание которой было все на ее лице, поняв, что могло выйти из этого знакомства, — небрежным будто, но элегантно в этой своей небрежности движением взял ее за талию и, прижав к себе, повел в центр круга.

Но, удаляясь (в танце), успел все же бросить Александру:

— Колокол бьет, не забудь, бьет! Мы еще вернемся к нашему разговору.

— О чем он? — машинально спросил Мордовцев, которому было все равно, о чем спросить. — Фу, пойдю покурю, — добавил он собравшемуся было ответить Александру и направился в коридор, куда, как заведено было у Стоцветовых, выходил каждый, кому для бодрости ли, для успокоения ли требовалось выкурить очередную сигарету.

По количеству встреч, разговоров, впечатлений и дел, по количеству забот по дому и по издательству, где он спорил с редактором, не соглашаясь править страницы, относящиеся к истории, настоящему и будущему народа, и где через этого редактора, он чувствовал, хотели определенные и неприятные ему люди надавить на него, из-за постоянного беспокойства за сестру, за которую становилось обидно, что Ворсиков так долго не делает ей предложения, и за Станислава, к научному открытию которого готовы были присоединиться уже не один, а сразу несколько соавторов, — только по количеству этих интересов, впечатлений, разговоров, не всегда оправданных делом, но всякий раз продиктованных обстоятельствами, перестройкой настроения, мыслей и чувств, Александр должен был выглядеть усталым или рассеянным. Но он лишь с минуту задумчиво смотрел перед собой, подыскивая, что ответить Князеву. То, из непроященного в истории, что брался прояснить Александр, было лишь малоисследованными и не описанными еще в литературе событиями, ожидавшими своего часа; было — не исправлением неких будто неточностей или неверных трактовок, а именно прояснением, то есть выявлением причин тех страданий, которых якобы можно было бы избежать. Непроясненность же по Князеву была непроясненностью иного рода. Им брались под сомнение события, давно и вполне будто исследованные и учеными и литераторами, и результаты этих исследований не просто предлагалось пересмотреть, а пересмотреть под определенным, Князева, углом зрения, и с готовой уже для этого угла зрения своей оценкой. «Мы говорим о разном, вот в чем суть», — наконец произнес Александр и, поняв, что весь смысл спора вполне вмещается в эту фразу, принялся искать глазами среди танцующих Князева, будто на расстоянии, взглядом, можно было передать тому эти слова. Но когда разглядел художавую, в замшевой куртке с молниями фигуру поэта, разглядел его плоское, обращенное к партнерше лицо, уже не отдельные детали разговора, с чем согласиться и против чего возразить, а общее значение этой встречи занимало Александра. Было ли хорошо, что Князев столь откровенно заговорил с ним, или это было плохо; и что вообще могло означать его предложение? «Либо что-то переменилось в их отношениях ко мне, — решил Александр, подумав о литераторах, которые, он знал, стояли за Князевым, — либо я чем-то стал устраивать их?»

Но выяснять это ему не хотелось; в конце концов, его похвалили; он, в сущности, получил признание тех, кто раньше не признавал его. «Значит, все же — ко мне?! Так, так, ко мне, значит», — проговорил он, задерживаясь уже на этом, что соответствовало его теперешнему, после встречи с Кудасовым и знакомства с Наташей, настроению. Мысли его незаметно вновь переключились на нее. Он отыскал ее среди танцующих и направился туда, где можно было быть ближе к ней. Его захватывал тот маленький, как он всегда сам говорил о нем, мир личных интересов, страстей и желаний, который, впрочем, был столь же неохватен и велик, как и мир общечеловеческих исканий и заблуждений; и как бы ни противопоставлялось человечество (с его глобальными интересами) личности (с ее мелочными будто бы запросами), как бы ни возвышалось первое и ни принижалось второе, соотносившееся с первым, как капля с океаном, но и этот океан челове-

ческих судеб в определенные минуты жизни вдруг начинает представляться каплей в сравнении с личным, что заботит нас. Александр был далек еще от этого состояния увлеченности; он лишь выходил как бы на середину моста, переброшенного между двумя берегами, и чувство освобожденности от того, от чего удалялся, и новизны другого, к чему шел, возбуждало его. «Надо же, все сразу, в один день!» — удивленно думал он, то обращая мысленно к Кудасову, то к минуте, когда брат представлял ему Наташу, то к разговору с Князевым, в котором, как это казалось теперь Александру, были только похвалы и предложение, лестное ему.

Ворсииков играл долго, не столько для танцующих, сколько для Анны, смотревшей на него, и будь Александр повнимательнее, он заметил бы, что между его сестрой и нелюбимым им Николаем Эдуардовичем если еще не произошло, то вот-вот должно было произойти объяснение. Если бы Александр мог теперь всмотреться в то, что происходило вокруг него, то он увидел бы не только Наташу с партнером, известным (и тоже не уважавшимся Александром) другом дома, и не только то, что все будто были увлечены лишь этим бессмысленным занятием — шарканьем ног; он заметил бы, что большинство, как и он, лишь только со стороны казались необремененными ничем. Цель пришедшего на вечер ученого секретаря одного из московских НИИ состояла в том, чтобы уговорить, наконец, Станислава на соавторство. Ученый секретарь этот был как будто только посредником между своим руководством и Станиславом, но тайной мыслью его было — самому, с помощью посредничества, присоединиться к соавторству, и мысль эта заставляла его постоянно быть возле Станислава и льстить ему. Если бы Александр со своим всегдашним скептическим настроением осмотрелся вокруг, он давно бы заметил озабоченность брата и подошел бы к нему и поговорил с ним. Он заметил бы еще, что в доме вообще к чему-то готовились и что еще Инна Ивановна, открывавшая ему дверь, и домработница, выглянувшая из кухни на него (она редко оставалась на вечер), тоже были чем-то взволнованы. Но мысли его были заняты своим, он думал о Наташе и видел только ее с ее движениями, прической, с ее живым, открытым (открытым восприятию добра) лицом.

Вдруг музыка оборвалась, и от рояля послышался громкий голос Ворсиикова:

— Друзья, я хочу сделать заявление. Но прежде — шампанское сюда! — крикнул он, прося подать разлитое уже по бокалам шампанское, которое он еще днем под предлогом сюрприза для Анны привез сюда. Жест его был широк, и было видно, что он был доволен этим своим жестом. — Инна Ивановна! — Он вскинул руки навстречу появившейся в дверях хозяйке дома. — Сюда прошу!

За ней, в глубине коридора, видна была домработница, несшая на подносе бокалы с шампанским.

Пока гости разбирали бокалы с шампанским, а Инна Ивановна в знакомом всем темно-шоколадного цвета платье с отделкой и шарфом того же тона на плечах подходила к роялю, Ворсииков загадочно улыбался, поглядывая то на нее, то на гостей, то на Анну. Затем подошел к Анне и, обняв свободной рукой за плечи и подняв в другой бокал перед собой, проговорил:

— Мы с Анной решили пожениться. Вот, собственно, и все.

На мгновение в гостиной наступила тишина. Потом кто-то крикнул: «Горько!» — хотя это было не к месту, и все шумно кинулись поздравлять Ворсиикова и Анну.

— А вы? — спросил Александр, пододвинувшись к Наташе (в то время как только что танцевавший с ней мужчина, расплескивая шампанское, проталкивался к композитору). — Если хотите, давайте вместе поздравим мою сестру, — предложил он.

Уловив, по выражению ее глаз, что она не возражает, он повел ее (в обход рояля) к сестре и будущему зятю. И когда после поздравлений опять начались танцы, он подал ей руку и до конца вечера уже не отходил от нее. Он снова замечал в ней лишь ту нерастраченную будто непосредственность жизни, которая еще в минуту знакомства с ней поразила его, и был возбужден, весел и улыбался бросавшему на него взгляды Князеву.

XXVI

В то время как у Станислава (на этом вечере) были свои скрытые заботы, занимавшие его, у Александра свои, как, впрочем, свои были и у Князева, и у Ворсикова с Анной, и у других гостей и друзей дома, у Наташи, приглашенной Станиславом лишь для того будто, чтобы послушать новые сочинения талантливого и популярного композитора, как он охарактеризовал Ворсикова (как принято было теперь говорить обо всех творческих людях, и что не считалось ни преувеличением, ни ложью),— у Наташи кроме того, что она старалась присоединиться к общему как будто веселью, шумевшему вокруг, был глубоко запятанный свой мир переживаний. Когда Станислав уговаривал ее, ей казалось, что все будет просто, она только послушает музыку и уйдет, и то приличие, которое накануне суда над мужем особенно хотелось соблюсти ей, будет соблюдено, и ей не в чем будет упрекнуть себя. Отец в этот вечер, она знала, не ждал ее. Лия, с которой договорено было пойти в Политехнический на какого-то не менее, чем это было в Доме журналистов, именитого и модного поэта, вдруг сообщила, что поход отменяется (она не сказала только, что подобрала себе для похода другую и более из своего круга подругу), и Наташе оставалось либо пойти к Любе, либо сидеть дома. Но дома, одной, тягостно было ей. Ее начинали одолевать сомнения, и она пугалась тех новых мыслей о муже, которые приходили ей. Тот светившийся идеал, то есть Арсений, открывший ей прежде неизвестные стороны жизни,— идеал тот был как бы потерян ею, она казалась заблудившеюся, и вместе с тем, как старалась найти в себе прежнее чувство к Арсению, ловила себя на том, что думает не о нем. К предстоящему суду она уже не испытывала интереса. Ей хотелось быть свободной— свободной от обязательств, которые мешали ей по-новому распорядиться собой, и она мучилась от того, что не знала, как поступить ей.

У Стоцветовых, как только она вошла к ним, все сейчас же, она заметила, обратили на нее внимание, и она вновь ощутила себя окруженной тем знакомым уже ей миром достатка и праздности, который казался ей совершенством и для которого она чувствовала рожденной себя. «Как все красиво у них!»—мысленно воскликнула она, бросив взгляд на картины, висевшие на стенах (она не знала, что это были копии известных мастеров), на старинный концертный рояль, занимавший почти треть гостиной, на шторы с подкладкой, касавшиеся бахромой паркета, на бронзовые ручки на дверях и на хрусталь люстр (их было две), висевших по центру потолка напротив окон. За те же несколько минут, пока Станислав от порога, где они остановились, представлял ее, она успела разглядеть, как были одеты женщины, и оценить свое платье, которое, она знала, было модно и шло ей, и, сориентировавшись таким образом и успокоившись, что все на ней не хуже, чем на других, постепенно начала как бы втягиваться в общее течение вечера. Она уже не восторгалась, как на торжествах у Лусо, где все было для нее впервые, что вокруг стояли, сидели и разговаривали именитые люди. Ученый секретарь, раньше других подошедший к ней и Станиславу, чтобы затем увести его и надолго, учтиво поцеловал ей руку, и она только подумала о нем: «Какой приятный человек». Затем подошли Мордовцев с Князе-

вым, и Наташа хорошо запомнила, как Князев внимательно рассматривал ее. Потом возле них стоял Ворсиков. Он тоже поцеловал ей руку, и сделал это так умело, так подчеркнуто уважительно, что заставил улыбнуться ее. Потом Наташа даже не заметила, как Станислав отошел от нее, и она оказалась в окружении молодых женщин, подруг Анны, которым он как бы препоручил ее. «Богини здоровья,— отходя, шепнул он ей об этих подругах Анны.— Хирурги, терапевты, невропатологи». Он преувеличивал. Не все они имели отношение к медицине, хотя и работали многие в одном с Анною министерстве. Но на восприимчивую Наташу сейчас же словно повеяло холодком белых халатов и всей той больничной атмосферой санитарок, сестер и врачей, которая памятна была ей еще по болезни матери; она особенно обратила внимание на худые, тонкие и холодные (с чуть розоватым лаком на ногтях) пальцы Анны, о которых подумала, что они хирургические. Но более, чем пальцы, привлекли Наташу бриллианты, светившиеся, как белые звездочки, в ушах Анны. «Какая прелесть, как они украшают ее!» — не столько даже подумала, как слово взорвалось это в сознании Наташи. Для нее было мечтой иметь бриллиантовые сережки, и она вспомнила, как Арсений (как раз накануне той страшной ночи, когда произошло убийство Юрия) обещал к первой же годовщине свадьбы купить их ей. Воспоминание было так живо, и так живо предстало затем перед Наташей все то, что делало несбыточным теперь это обещание; так ясно открылось ей ее теперешнее ужасное (ужасное своей неопределенностью) положение, что все в ней как будто уменьшилось в объеме, сжалось, губы ее побледнели; не умея справиться с собой, она готова была заплакать от обиды и жалости к себе, и ей нужно было время, чтобы вновь успокоиться и прийти в себя.

От неразговорчивости ли или оттого, что она была угнетена своими заботами, все постепенно отошли от нее, и она заметила, что одна, лишь по громкому, от окна донесшемуся до нее смеху. У окна, в центре круга, кто-то рассказывал веселую историю, и в ту минуту, когда Наташа обернулась, все опять громко рассмеялось. Она хотела подойти к ним, но потом не решилась и села в стоявшее рядом кресло. «Что же он бросил меня?» — подумала она о Станиславе. Поискав его глазами и не найдя в гостиной, невольно вновь принялась вглядываться во все окружавшее ее. То впечатление роскоши, какое произвела на нее обстановка гостиной, вернее, впечатление жизни, увиденной Наташей за этой роскошью,— впечатление то, вернувшись, опять начало как бы захватывать ее. Она смотрела на все так, словно по картинам на стенах, по мебели, шторам, статуэткам и вазам, то есть по этим (отдающим роскошью) предметам можно было представить всю ту духовную глубину жизни, к которой Наташа жаждала приобщиться. Она не видела различия между этим поверхностным, на чем останавливался ее взгляд, и тем скрытым, что было двигательной силой и определяло желания и поступки этих людей. Ей казалось, что у них, у всех этих композиторов, ученых, писателей, было лишь одно это (в праздности) состояние жизни, в каком, впрочем, более пребывала она, чем они, и она невольно приходила к мысли, что не теми усилиями труда, как было с ее родителями, с родителями во всех других простых семьях, достигается положение в обществе, а лишь умением держаться и подать себя. Она старалась найти в себе это умение, и прежде смутно сознававшаяся ею истина, что уже то, что она — женщина, имеет свою ценность, подсказывало ей, как устроиться в жизни. «Арсений... тогда это было хорошо, а теперь?» — спрашивала она себя, и этот прежде пугавший ее вопрос казался настолько естественным, что было странно, как можно было пугаться его. Она, в сущности, думала о том же, о чем и дома, оставаясь одна; но здесь, у Стоцетовых, где она вновь почувствовала, что у нее могло быть иное и лучшее (чем за Арсением) замужество,

она мучилась уже не тем, на что решиться ей; Арсений со своим судом представлялся ей каким-то будто постыдным пятном на ней, которое надо было прятать, и ей хотелось только, чтобы никто не узнал здесь о ее замужестве.

— Н-ну, как вы тут без меня? — подходя к ней и присаживаясь рядом, на соседнее кресло, произнес Станислав, отрывая Наташу от ее мыслей и смущая своим неожиданным появлением.

Он все это время, удалившись вместе с ученым секретарем и «другом» дома в коридор, обговаривал возможности предлагавшегося ему соавторства. Возможности были не вполне определенными; шел, в сущности, торг, тот унижительный для всякого дела (тем более для научного открытия) торг, когда не столько предлагающей услуги стороне, то есть ученому секретарю, давно привыкшему к подобного рода посредничествам, сколько принимающей, то есть Станиславу, не видевшему, как еще можно было пробиться сквозь толщину «заслуженных» и «великих», было нехорошо, скверно и грязно на душе. Но несмотря на эту душевную грязь, портившую ему настроение (что он, естественно, старался скрыть от Наташи), он все же заметил, что с нею будто произошло что-то. Лицо ее, отражавшее лишь ту скрытую от него и непонятную ему борьбу, — лицо ее было каким-то будто другим, похоронившим, полным непосредственности жизни, которую нельзя было не заметить. «Нет, она действительно хороша», — подумал Станислав, с трудом переходя к этому новому состоянию восхищения Наташей.

— А вот и брат, о котором я говорил вам, — воскликнул он, как только увидел вошедшего Александра. — Сейчас я представлю его вам. — И он, поднявшись, пошел за Александром, чтобы привести его и сгладить этим свою неловкость перед Наташей.

XXVII

— У вас милый брат, — сказала Наташа, когда Александр, слегка поклонившись ей, отошел.

Дорогой, когда шли сюда, Станислав рассказывал о нем. Он назвал брата (разумеется, не из родственных чувств, как он тут же заметил) весьма и весьма способным литератором, не умевшим только наладить связи и должным образом, с кем надо, вести себя. «Его губит его взрывной характер. Он совершенно несдержан», — сказал он, в сущности, лишь повторив то известное о брате мнение, что тот будто бы способен «всегда только оскандалиться в обществе». Но Наташе он не показался таким, и она невольно возразила теперь Станиславу.

— Вы наговорили на него, — улыбаясь и обезоруживая этой своей улыбкой Станислава, добавила она.

— Он вам понравился?

— Он — ваш брат, — сейчас же нашлась Наташа.

Она сказала прежде, чем подумала, хорошо ли было то, что сказала, и нужно ли было говорить это; но по удивленному на нее взгляду Станислава поняла, что сказанное было как раз то, что нужно (как принято в подобных обществах, где ценится более не суть, а оригинальность ответов). Хотя никаких обязательств перед Станиславом у Наташи как будто не было, кроме разве того, что пришла с ним, но после этого ответа она почувствовала, что будто от чего-то освободилась, с озорной, веселой и вызывающей смелостью посмотрела на Станислава. «Да, я вот такая, и никто не указ мне», — было в этом ее озорном взгляде. Она еще и еще на вопросы Станислава ответила в том же тоне и была, в сущности (со своею призрачной освобожденностью), похожа на застоявшуюся и выведенную на манеж лошадь, которая, не зная, что ей уготована здесь та же ограниченность, прыдет ушами и рвется в галоп. Наташа, особенно когда

Станислав вновь удалился с ученым секретарем выяснять свои отношения и в гостиной начались танцы, уже не присматривалась ни к обстановке, ни к лицам, ни к нарядам; мир достатка, бывший вокруг нее и только что стеснявший ее, был теперь как будто не вокруг, а в ней, и она всем своим видом, движениями, поворотом головы, улыбкой, одинаково обращенной ко всем подходившим к ней, невольно выдавала это. С ней танцевал Мордовцев, потом еще кто-то и опять Мордовцев, и она только чувствовала, как уверенные, крепкие мужские руки обхватывали ее за талию и направляли молодое, легкое, полное нерастрченных сил тело. Она не то чтобы с покорством, но с какою-то будто подготовленностью к этой мужской силе отдавалась ей и невесомо, почти не касаясь пола, переставляла красивые, все на виду из-под короткой юбки ноги. Она старалась наверстать упущенное и как можно больше захватить удовольствия, смысл которого даже в старости, постигнув все, ни женщины, ни мужчины не могут объяснить себе; и она заметила, что возле нее постоянно Александр, когда после выпитого (за помолвку Ворсикова и Анны) шампанского и танцев все были приглашены на кофе к накрытому в комнате Анны столу.

— Прощу,— сказал ей Александр, пропуская вперед себя.

После яркого света гостиной; после блеска хрустальных люстр, музыки, мелькания лиц, нарядов, золотых цепочек с кулонами и ожерелий из жемчуга на шеях, дорогих (в перстнях и браслетах) камней и золотых часов, напоминающих браслеты, то есть всего того, что было для Наташи выражением той жизни, которой она завидовала и к которой стремилась, в комнате Анны, где горел только торшер с розовым абажуром на фигурной бронзовой ножке и где от этого приглушенного света, от тишины и кресел, обитых розовым бархатом, веяло интимностью, встретил ее как будто совсем иной мир, еще более вызвавший в ней восторженное отношение; и в то время как ее опять и невольно охватила робость перед этой новой красотой и роскошью и она, не зная, как подойти к столу и где сесть, поминутно оглядывалась на руководившего ею Александра, она с удивлением и завистью видела, как непринужденно, свободно и весело держались другие, как они отодвигали стулья и присаживались к столу, как расстилали салфетки на коленях, наполняли тарелки мелкими (по особому заказу) и выглядывшими аппетитно пирожными и торопились подать свои чашечки с блюдцами в конец стола, где Анна разливала кофе. Все это было, казалось Наташе, так мило, так необыкновенно возвышенно и красиво и так говорило ей об уровне жизни Стоццветовых, что все прежде известное ей, то есть мир Лусо, Дружниковых и Карнауховых,— все то меркло перед этим. Ее посадили так, что по одну сторону от нее были Анна и Ворсиков, чувствовавший себя уже хозяином здесь, по другую — Александр, Мордовцев и Князев. Станислав же вместе с ученым секретарем оказались настолько отдалены, что Наташа в этой приглушенности света едва различала его лицо. Она видела только, что он так сосредоточенно разговаривал с ученым секретарем, что как будто не помнил о ней, и это задевало Наташу. «Как он может?» — думала она, в то время как Анна, вся будто светившаяся счастьем, предлагала ей пирожные и кофе и удивлялась, что Наташа не пьет и не ест ничего.

— Мои братья влюблены в вас,— шепнула она удивленно обернувшейся на нее Наташе.— Я так рада,— добавила она.— Вы очаровательны.

Как ни было лестно услышать это Наташе, она смутилась, покраснела, и лишь свет от торшера, падавший на ее лицо, позволил скрыть это смущение. На щеках ее был виден только румянец, выгодно отличавший ее от других сидевших за столом молодых женщин (в том числе и от Анны, давно переросшей возраст невесты), и с этим румянцем, со своей сдержанностью (от боязни уронить себя) Наташа

действительно казалась очаровательной, и Анна лишь высказала общее мнение.

— Вы знаете его? — выбрав минуту, снова шепнула ей Анна, движением тонких, выщипанных в шнурочек бровей указав в сторону Князева. — Знаменитость номер один! — И Наташе было вполне достаточно этого — что «знаменитость», чтобы начать прислушиваться к тому, о чем эта «знаменитость» разговаривала с Александром.

Разобрать всего она не могла, но по отдельным словам, которые были о народе, истории и человечестве, она чувствовала, что говорилось о чем-то значительном, и с восхищением смотрела на Князева и Александра. Они представлялись ей необыкновенными, основательными и благородными. Затем переводила взгляд на Станислава и ученого секретаря, уединенно разговаривающих, и на Анну и Ворсикова.

— Вы тоже пишете о деревне? — помня разговор с Тимониным, спросила она у Александра, желая сделать приятное ему, но только выказывая этим, что не читала его книг.

Хотя Александр издавался не меньше, чем другие подобные ему литераторы, и имел свою, среди читателей, известность, но потому, что имя его не упоминалось в общепризнанной будто и модной писательской обойме, без которой не обходилась теперь ни одна критическая статья, он оказывался как бы за бортом литературного процесса (как, впрочем, по той же причине умолчания за бортом оказывались многие достойные признания). Она была в том же (благодаря этим целенаправленным усилиям критики) невежестве по отношению к современной литературе, в каком находились многие.

— Нет, — ответил Александр, улыбнувшись на ее вопрос. Его занимал спор с Князевым, и он теперь будто и Князеву и Наташе сказал: — Аксаков со своим славянофильством, заметьте, славянофильством, — подчеркнуто добавил он, — дал «Семейную хронику» и «Багрова-внука», а величие русского народа воспел Толстой.

XXVIII

Всякое целое, как говорят философы, состоит из частей, дробящихся в свою очередь до бесконечности. Интересы жизни (помимо видимых, объединявших будто бы всех), которые по отдельности занимали Князева, ученого секретаря, Ворсикова, Станислава, Александра и других, всего лишь минуту назад, казалось, весело танцевавших в гостиной, были не только перенесены со всеми страстями в комнату Анны, но получили как бы усиление в ней. Словно пловец в бассейне, где он лучше других может показать себя, Князев, для которого атмосфера застолья была еще более своей средой, чем атмосфера гостиной, увидев новую для себя возможность достичь цели, не стал упускать ее. Он все настойчивее (через Мордовцева, сидевшего рядом) приступал к Александру с вопросами о русском народе и России, на которые нельзя было не отвечать, и вместо того чтобы поговорить с Наташей, как этого хотелось Александру, он принужден был отвлекаться на Князева. Чувство любви к народу, к которому он принадлежал, к его истории и будущему, требовало, как ему казалось, разъяснения и защиты. Он горячился и в горячах высказывал, в сущности, неопределенные (по классовой принадлежности), но красиво звучащие положения о совестливости, добре, нравственности и национальной будто бы разобщенности, веками разъедающей русских людей, которые как раз и хотел услышать от него Князев. Князеву хотелось ту обычную борьбу направлений, которая то с большей, то с меньшей силой ведется в искусстве и страсти которой в большинстве своем сводятся лишь к интересам личного престижа, достатка и возвышения, подчинить своим (мироедским) интересам борьбы, которую люди его толка, занимавшие некоторые посты, про-

бовали теперь навязать обществу. Различие взглядов на искусство, так называемые почвенничество и западничество, предполагавшие и различие взглядов на жизнь, ему хотелось наполнить иным содержанием и направить в приготовленное им русло, в котором оно было бы управляемо и ударяло (на выходе!) по тем лопастям, по которым хотелось бы Князеву, чтобы оно ударяло. В то время как общие усилия людей, чувствовавших потребность перемен, были направлены на поиски новых форм организации труда, как щекинский метод, получивший, к сожалению, только огласку, а не право на всеобщее внедрение; в то время как в сельском хозяйстве, где потребность перемен была особенно необходимой, и где надо было восстанавливать утраченные нравственные связи человека с землей, говоря проще, чувство хозяина, и где выдвигались самые различные и важные (и тонувшие, к сожалению, в переписках) предложения,— Князев и стоявшие за ним, понимая это общее настроение и подлаживаясь под него, не только не думали о благе для народа, но только не ставили целью поиски нового, как делали это, к примеру, зеленужский председатель Парфен Калинин или секретарь райкома Лукин, предлагавшие закрепить землю за семейными звеньями, но напротив, намеревались, используя это общее в народе настроение, повернуть к старому, осужденному и отброшенному деревней быту, то есть к тем возможностям обогащения для одних, кто изворотливее (тезис этот был теперь снова вытасчен на белый свет и пущен в оборот), и обездоливания других, кто не обладал этим даром изворотливости. Предлагалась в сущности, подновленная князевщина; и хотя она предлагалась пока лишь в узких, наподобие стоцветовского (или дорогомиллинского, или Дружниковых, Карнауковых и Лусо) кружках, хотя все сводилось пока к этим келейным, как теперь между Александром и Князевым, спорам, вызывавшим восхищение только у тех, кому жизнь их (по их достатку и праздности) казалась скучной и неинтересной и кому хотелось (к этой их праздности) прибавить еще славы и почестей, но для Князева, нацеленного на большее, эти келейные разговоры представлялись лишь отправной точкой, и он мысленно потирал теперь руки, глядя на Александра, как тот, горячась, бился в расставленных для него сетях и приманках.

— Но вы не можете не признать,— вместе с тем говорил он Александру (он сидел теперь рядом с ним, на месте Мордовцева),— что обломовское начало в русском человеке это не предмет для осмеяния, а коренная, вытекающая из глубин нашей жизни нравственная основа, и ломать ее это все равно что ломать хребет по той лишь причине, что он будто бы не так изогнут. В нас сидит это — издревле, испокон веку,— говорил он, в то время как по щегольскому виду, по живости, с какою вел спор, по направленности действий не только не напоминал Обломова, но более был похож на Штольца, которого отрицал. Ему, как это можно было предположить, хотелось, чтобы он сам был Штольцем, но чтобы все остальные, то есть народ, пребывали в обломовской безынициативности; и ради этого он готов был и себя называть Обломовым, чтобы только все видели искренность его.— Разве вы не согласны? — повторял Князев.

— Я не за немца Штольца, нет,— отвечал ему Александр, горячась.

— До сих пор народ и душа народа были единым понятием. Штольц есть Штольц, что вы хотите?

— Штольц не в смысле инородного, привнесенного, а в смысле — движения жизни. Предположить, чтобы народ вновь закрыл для себя шлагбаум, это немисливо. Нет, это невозможно, и нам никто не простит этого,— продолжал Александр, горячась. И по мере того, как разгорался спор, затухали все другие за столом разговоры, и Станислав с ученым секретарем, оставив свои объяснения, потянулись к Александру и Князеву.

Комната Анны, как и прежде, была залита приглушенно-розовым (от торшера) светом, но впечатление общей влюбленности, уважительности и доброты, впечатление интимности, сейчас же возникшее у Наташи, едва она в сопровождении Александра вошла сюда,— впечатление это не то чтобы оттеснено было для нее на второй план и заменено этим, между Александром и Князевым, спором (по глобальным проблемам жизни), но было только дополнено чем-то новым и важным, чего она не вполне понимала, но что поднималось до высот государственной значимости и невольно заставляло ее по-иному смотреть на достаток и роскошь в квартире Стоцветовых. Она чувствовала, что эти имевшие государственную значимость вопросы в то же время были и вопросами ее жизни, жизни ее отца, Любы, сотен других простых людей, которых она знала, которых было большинство и с которыми, несмотря на старание отмежеваться от них, она сознавала связанной себя; и она с восхищением смотрела то на Князева, отстаивавшего свое, то на Александра, отстаивавшего свое, которое было ближе и понятней ей и вызывало уважение. Когда она оборачивалась на Анну и Ворсикова, она старалась только найти в них подтверждение своим мыслям и чувствам; и, находя, радовалась, словно те перемены жизни, которых она так хотела для себя, были не желанным, а свершившимся делом. Мир казался ей разделенным лишь на две половины: эту, в которой она была теперь, и ту, что лежала за этим целостным для нее кругом; и желание быть здесь и не возвращаться туда, где были только — ожидание суда, представлявшегося ей теперь ее позором, и неизвестность,— желание это вновь трепетно и болезненно охватывало Наташу. «Какие здесь люди, какое общество, какие возможности... устроить себя»,— думала она, и этот внутренний мир борьбы между тем, что было для нее по совести (то есть тем, что если даже Арсения осудят, она не вправе бросить его), и тем, что означало устроить жизнь (то есть возможность иного и лучшего варианта замужества),— этот внутренний мир борьбы, непонятная для других возбужденность привлекали внимание.

— Нет, она мне нравится, ты присмотришься, как она глубока и воспринимает все,— говорила Анна о ней своему жениху-композитору, в то время как Наташа, слыша эти слова, боялась пошевелиться.

— Сколько можно, боже, сколько же можно? — затем сказала она на споривших брата и Князева.— Пойдемте лучше в гостиную. Может быть, вы тоже составите нам компанию,— обратилась она к Наташе.— Коля нам что-нибудь сыграет и споет.— И, не дожидаясь согласия, подняла Ворсикова и Наташу и, подхватив их под руки, повела в гостиную.

У Ворсикова было всего лишь несколько тех, ни о чем, популярных песен, которые включались в эстрадные концерты, и как только он негромким, хрипловатым, похожим более на шепот (как теперь вообще было принято исполнять песни) баском начал наговаривать под аккомпанемент рояля знакомую Наташе песню, она почувствовала, будто открылся еще один неповторимый мир душевной красоты. Она смотрела на Анну, завидуя по-доброму и ее бриллиантовым сережкам, и ее светлому и прежде не показавшемуся платью, и ее счастью, так торжественно и на виду у всех свершившемуся.

После каждой исполненной песни Анна и Ворсиков сейчас же скидывали глаза на Наташу. Они ждали ее оценки, Наташа видела это; но она так робела перед ними, что не могла произнести того, что они ждали.

— Великолепно, не правда ли? — начинала первой Анна.

— Да, мне очень понравилось,— соглашалась Наташа.

Она вся была во власти музыки и вместе с Анной удивленно повернулась на шум, доносившийся из коридора и мешавший слушать. Там уже одевались, и несколько подруг Анны в сапогах и дубленках вошли в гостиную, чтобы проститься с ней и ее будущим мужем.

— Как, уже?! — воскликнула Анна.

— Милая моя, половина второго, — заметила ей та, что подошла первой.

Сказанное относилось к Анне, но взгляд был брошен на Наташу и словно пробудил ее. «Половина второго!» — ужаснулась она, представив, как сложно будет ей теперь добираться до дома.

XXIX

Наташа уходила почти последней. Уже одетая, в шапке и с сумочкой, накинутой на плечо, она попрощалась с Анной, потом с Александром, задержавшим ее руку и заставившим смутиться и покраснеть ее, и, принужденно улыбнувшись затем, в то время как ей не хотелось делать этого, вышла на улицу. Москва уже спала. Вокруг было пустынно. Падал снег, оседавший на козырьках подъездов, подоконниках и крышах. За домами, на проспекте, видно было, как пробегали машины. Там еще теплилась жизнь, было движение, и Наташа, сопровождаемая Станиславом, невольно направилась туда. Она не стеснялась его, как в прошлый раз, когда он от Дружниковых вызвался проводить ее; ее занимало теперь иное беспокойство, происходившее то будто от того, как ей казалось, что она нехорошо поступила с мужем, который там, один, в камере, ждет суда, то будто от того, что она не могла определить, кому больше понравилась на вечере — старшему или младшему из Стоцветовых, то есть Александру, бывшему внимательнее к ней, или Станиславу, теперь шагавшему рядом, на которого она поворачивалась, чтобы рассеять сомнение.

— Что нужно человеку для жизни? — между тем говорил ей Станислав, отвлекаясь на то, что одетую в перчатку рукою ловил снежинки и сдувал их. — Нужно, чтобы в нем нуждались, чтобы он чувствовал это, и тогда он готов свернуть горы. А если его не признают, бьют, гонят... — Для Наташи было непонятно, к чему ей говорили это, но для самого Станислава было — продолжением тех его своих (по навязанному соавторству) мыслей, в которых заключалось для него оправдание. Ему настолько важно было прийти к определенности, что он не то чтобы не замечал, что идет с молодой и красивой женщиной, нравившейся ему, но он не в силах был преодолеть внутреннего барьера, которым был отгорожен теперь от Наташи. От того, как будет продвинуто его открытие, будут зависеть его карьера ученого и благополучие (возможность работать и жить за границей), без которого он уже не мог представить себя и без которого бессмысленно было думать о женитьбе. «Что я смогу предложить ей?» — сейчас же бы встало перед ним. Хотя из двух возникавших перед ним вариантов — либо признать глупость над собой, либо активно противостоять ей — он выбрал первое, то есть признал над собой глупость и согласился на соавторство, но перспектива (что должно последовать за этим?) оставалась настолько туманной, что он не мог считать дело решенным; и он выказывал перед Наташей свою обстоятельность, которая производила на нее впечатление и волновала ее.

«Боже мой, какой он интересный и глубокий человек», — думала она, невольно краснея от воспоминания, как другой брат, младший, Александр, прощаясь, задержал в своей ее руку.

Александр в эти минуты был в своей комнате и раздумывал, что ему делать: лечь спать (чего ему не хотелось) или сесть за стол и записать те или иные мысли, возникшие еще во время разговора с Кудасовым, которых он не смог записать сразу, но которые представлялись важным для разработки сюжета будущей книги. О Наташе он старался не думать; с нею ушел Станислав, и это о многом сказало ему. Но Князев, с которым он распростился еще прежде, чем с Наташей, все еще вызывал раздражение. «Он полагает, что только он за народ, — мысленно говорил себе теперь Александр, стоя на середине

комнаты и глядя на дверь, за которой, в гостиной, как будто все еще находился Князев.— Нет, шалишь, не то нужно народу, о чем ты думаешь, не то». И в качестве главного аргумента, должного вразумить Князева, Александр готов был выставить замысел своей будущей книги, касавшейся исторической судьбы народа. Он только потому, казалось, и сел за стол, что хотел доказать Князеву свою правоту, и, придвинув блокнот, принялся торопливо, как если бы продолжал спор, записывать (в хронологическом порядке, как все было изложено ему Кудасовым) о причинах, по которым Советский Союз оказался государством, не пожелавшим будто бы (в преддверии войны) присоединиться к международной конвенции о военнопленных.

Относительно Гагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, ратифицированной в свое время царской Россией, у Александра не возникало сомнений. Ему казалось естественным, что молодая Советская республика, отвергнув после октября 1917 года большинство царских договоренностей, отказалась и от участия в Гагской конвенции (хотя никаких официальных постановлений на этот счет не принималось). «Да иначе и не могло быть»,— думал Александр. Объяснимым представлялось ему и второе обстоятельство, когда наше государство не смогло присоединиться к так называемой Женевской (по тому же вопросу) конвенции, которая принималась в 1929 году. Она принималась в рамках Лиги наций, а СССР не входил тогда в нее. «Нас не допускали, нам ставили унижительные условия»,— пояснил Кудасов.

— Вы знаете,— начал он, не желая выглядеть несведущим.— Я помню, была какая-то формальность, мешавшая нам, но дело, мне кажется, не в той формальности¹. Подписать ее было, очевидно, невозможно, так как все мы тогда были сориентированы на другое. Мы полагали, что в любой войне с советской стороны пленных не будет. Советский боец и плен были для нас понятиями несовместимыми.

Объяснение это было так туманно («Что значит «сориентировано» и почему «исключено»?») — думал Александр), что он сперва начал было возражать Кудасову. «Как можно исключать то, что не всегда зависит от мужества простых людей? — задал себе Александр этот ясный вопрос, полагая под словами «не всегда зависело от мужества» складывавшуюся тогда на фронтах общую обстановку, а под словами «простые люди» — тех бойцов, которые, оказавшись в окружении и пробиваясь из него, попадали в плен. — Может быть, было вернее: выжить и победить!» — продолжал он, перемещаясь мысленно в то время, когда происходили события, и ставя себя в положение тех бойцов. «Как могло случиться такое, что мы не подписали Женевскую конвенцию о военнопленных, и что за формальность, о которой упомянул Кудасов?» Александр знал, что мнение вокруг этого вопроса (то мнение, какое формируется определенными людьми с определенной целью и не по достоверным источникам, а по собственным домыслам и измышлениям) было таково, что некоторые склонялись более обвинить себя; но он не мог предположить, чтобы Кудасов придерживался этого же мнения, и старался найти объяснение его высказываниям. Объяснение могло быть только одно, что кто-то должен нести ответственность за случившееся. «Но кто?» — думал он. Ему и в голову не приходило, что ответственными были не отдельные лица и не забывчивость или недальновидность дипломатов и что та сориентированность, о которой упомянул Кудасов, тоже происходила не по вине одного человека; если и можно было обвинить кого-то, то только — волю самого народа. Эта сориентированность, вынесенная из гражданской войны и классовой непримиримости, была тогда для народа как составная часть его духовной жизни; ее не нужно было

¹ Статьей 9 Женевской конвенции 1929 года о военнопленных предписывалось размещать военнопленных в лагерях по расовой принадлежности, что находилось в прямом противоречии со статьей 123 Конституции СССР,

навязывать, как нельзя было отменить или не считаться с ней. Но признать теперь, что народ совершил ошибку, было немыслимо для Александра.

Застав себя на том, что он не пишет, а думает, Александр встал, прошелся по комнате, разминая плечи, и, освободившись таким образом, как от дремоты, от тех мыслей, которые заводили его в тупик, снова сел за стол и принялся записывать вторую половину разговора с Кудасовым, из которой было очевидно, что все теперешние попытки западногерманских немцев обелить себя, то есть представить дело так, будто Советский Союз сам виноват в том, что им, немцам, пришлось так жестоко обращаться с советскими военнопленными, — попытки эти были, мало сказать, бесосновательными. Хорошо известна позиция советской стороны, которую фашисты не захотели (но, видимо, и не могли по своей расовой сущности) принять. Уже через три недели после начала войны, 14 июля 1941 года, шведский посол, представлявший наши интересы в Германии, обратился в Наркоминдел с посланием по вопросу о военнопленных. 17 июля того же года заместитель наркома иностранных дел Лозовский вручил ему ответную записку, в которой говорилось, что СССР признает Гаагскую (1907 год) конвенцию о военнопленных и готов на основах взаимности соблюдать ее.

— Это был серьезный документ, — сказал Кудасов, принимавший некоторое, как он добавил из скромности, участие в составлении записки. — Да и только ли этот один документ? — затем вопросительно проговорил он. — В том же сорок первом, восьмого августа, мы дали циркулярную ноту всем послам и миссиям, где вновь подтвердили свое согласие соблюдать на основах взаимности Гаагскую (седьмого года) конвенцию и затем не раз в течение всей войны напоминали об этом и через прессу и по дипломатическим каналам. Но взаимности, как известно, не было. Бесчеловечность противостоит нашей идеологии, всему нашему общественному строю. А им... нечем обелить себя, разве только подтасовкой фактов, чем, собственно, они и занимаются, — заключил Кудасов.

Но Александра не столько интересовали эти изложенные дипломатом факты, во многом (по разрозненным публикациям) уже известные ему, сколько — подробности тех давних событий, очевидцем и участником которых был Кудасов. Александр старался узнать у дипломата о том, где и кем принимался шведский посол, и что это послал, вручая послание, сказал как лицо официальное, и о чем говорил потом, после протокольной части встречи; было ли доложено о посещении шведского посла Сталину, читал ли Сталин сам это послание и каким образом комментировал его, что говорилось при вручении ответной записки послу в кабинете Лозовского, где молодой, успешно делающий тогда карьеру Кудасов стоял по правую руку от заместителя наркома и, разумеется, видел, как был одет и держался шведский посол и как держался Лозовский. Это нужно было Александру для того, чтобы так же ясно, как он представлял себе концентрационные лагеря, где подвергались самым бесчеловечным истязаниям наши военнопленные (он представлял это по живым рассказам бывших военнопленных из Владимира и Горького), представить усилия, которые принимались в то время в Кремле людьми, облеченными доверием и властью. Он выспрашивал у Кудасова то, что старому дипломату представлялось несущественным, не главным, но что как раз и нужно было Александру для восстановления истинной картины событий. Он торопливо вспоминал теперь этот разговор, записывал, прохаживался по комнате и снова садился за стол и был так увлечен работой, что не слышал, как ушел Ворсиков и когда вернулся Станислав. В гостиной, куда Александр вышел (по привычке, размяться), горел только розовый ночник, оставляемый Инной Ивановной для себя, чтобы не тархтеть по ночам стульями, и на журнальном столике, в кругу света,

падавшего от ночника, беспорядочно лежали рисунки, сделанные кем-то в этот вечер с Наташи и переданные Станиславу. Александр, подойдя, с удивлением принялся рассматривать эти рисунки, на которых лицо Наташи было изображено в самых, казалось, выгодных для нее поворотах. Художник изобразил Наташу не только внешне привлекательной, какой, впрочем, она была на самом деле, но и как бы приоткрыл ее душевный мир, ту чистоту и неиспорченность ее, которые так поразили сперва Станислава, когда он впервые у Дружниковых увидел ее, потом Александра, когда он сегодня встретился с ней. Впечатление от Наташи было настолько сильно, а рисунки, которые держал в руках, так напоминали ему об этом впечатлении, что когда, раздевшись, лег в постель, он думал не о книге, не о разговоре с Кудасовым и не о споре с Князевым, в котором чувствовал правым себя, а о Наташе, занявшей его воображение.

XXX

После вечера у Стоцветовых Наташа еще более переменялась к отцу. Она два дня провела у него, ухаживая за ним и как бы очищаясь этим перед собой, и Сергей Иванович, у которого постепенно налаживалась своя жизнь, без Юлии и матери, был доволен дочерью. «Всегда бы так,— думал он,— а то ведь сначала натворим, потом локти кусаем». К нему возвращалось спокойствие, какое было прежде, когда он жил семьей, и спокойствие это, хотя и казалось, что было будто от изменившегося к нему отношения дочери, но на самом деле происходило от другого, от Никитичны, ухаживавшей за ним.

Окончательно обосновавшись в комнате его матери и уже начав поговаривать о том, чтобы прописаться здесь, Никитична кормила и обстирывала его, убирала в его квартире, в которой расставила все на свой, деревенский лад, чего Сергей Иванович не замечал, и была необходима ему. Как он когда-то просил Юлию подать ему рубашку или галстук, он просил теперь об этом Никитичну, словно не он, а она была хозяйкой и знала, где что лежит в доме. Ему доставляло удовольствие поговорить с ней по утрам, за чаем, о жизни, о которой у Никитичны, несмотря на то что она считалась москвичкой и была родственницей Кирилла Старцева, возглавлявшего районный отдел народного образования (не мог же он не влиять на нее!), были свои представления. Все, по ее понятиям, делилось в мире лишь на доброе и злое, на то, что приносило или могло принести пользу, и на то, что было вредным для людей, а когда Сергей Иванович, со вниманием слушавший ее, начинал спрашивать о том, чего нельзя было объяснить этим простым делением на правое и неправое, Никитична спокойно и уверенно отвечала, что человеку несвойственно знать все. И хотя эти старокрестьянские суждения ее были очевидно наивными и их смешно было принимать всерьез, но для Сергея Ивановича с его затруднениями в жизни они звучали как откровение. Он чувствовал, что в них было что-то, от чего человечество, отказавшись, во многом потеряло; потеряло, по крайней мере, возможность просто, удобно и ясно объяснять жизнь, и он невольно, как заблудившийся к просвету между стволами, устремлялся к этим замелькавшим среди частокола философских понятий знакомым будто и ясным суждениям. Оставшись один, он тянулся к Никитичне и привыкал к ней; и когда она теперь по своим скрытым, о которых он не знал, похоронным делам уходила из дома, начинал волноваться, звонил Кирилу и в Дьяково, чтобы справиться о ней, и благодаря этим звонкам сильнее сдружился с бывшим своим однополчанином. У Старцева же, как и всегда, все шло в гору, он был весел, доволен, особенно общественной деятельностью, которой отдавался с головой, как он говорил, и ему не хватало только, перед кем представлять во всем этом своем успехе; ему не хватало человека, который

бы восторгался им, и Сергей Иванович со своей теперешней тягой к людям и наивностью вполне подходил для этой роли.

— Что губит человечество? Инертность, вот что губит нас,— поучительно любил теперь сказать Старцев Сергею Ивановичу, считая его неудачником и упрекая в том, что тот бессмысленно «все растерял, все, даже руку на каком-то, черт знает, пожаре!».— В жизни надо не просто уметь держаться на поверхности, но плыть. Вокруг не стоячая вода, а сотни течений, если грести, то непременно выгребешь на какое-либо течение, которое вынесет тебя затем на необозримый простор.

В новом, в полоску, костюме, в нейлоновой рубашке и ярком галстучке, по-модному постриженный и надушенный (чего прежде Сергей Иванович не замечал за ним), со всегдашней жизнерадостной улыбкой,— он был как будто лучшим доказательством э т о г о. Он настолько казался погруженным в деятельность, что ему некогда было задуматься над смыслом ее; смысл, как было видно по нему, заключался лишь в том, чтобы плыть и довольствоваться наслаждением простора и свободы движений.

— А по-моему, так жизнь в чем-то и лотерея,— пробовал было (в согласии со своими мыслями) возразить Сергей Иванович.— Кому как повезет.

— Э-э нет,— обрывал его Кирилл.— Мы забываем, что «рождены, чтоб сказку сделать былью». То, чем ты занимаешься, это только высиживание страниц.— Он теперь с еще большим скептицизмом относился к мемуарам Сергея Ивановича, над которыми тот работал.— Оставь это для кого-нибудь, а тебе, я знаю, тебе нужно другое, чтобы душа шевелилась, чтобы, знаешь, как говорится, в руках горело, и я найду для тебя, дай срок, найду... общественной! Всякому человеку нужно свое поле деятельности.— И он снова пускался в те по-школьному назидательные рассуждения, в которых с первых слов ясно, о чем пойдет речь.

Сергей Иванович только добродушно улыбался. Он не хотел ссориться с Кириллом. Да и не все в суждениях его было неверным. И все же после подобных разговоров у Сергея Ивановича оставался осадок, будто он и в самом деле занимался не тем, чем надо. «Да, согласен, ты нашел себя,— говорил он о Старцеве, ударяя на этом н а ш е л с е б я, как принято было теперь говорить и писать о людях, словно только этим сочетанием слов и можно выразить суть человеческих метаний.— Разве у меня не было своего места в жизни? Не было минут душевного торжества?»— спрашивал он. И более, чем когда-либо, чувствовал эти свои пережитые минуты — минуты торжества перед атакой, как было в зимнем подмосковном лесу в сорок первом; как было под Прейсиш-Эйлау, где он со своим батальоном прорывал укрепленную (по высотам) линию «Хейльсберг» и где молодой лейтенант Дорогомилин заставил тогда впервые обратить на себя внимание; как было на Зееловских высотах, а затем в Берлине, при форсировании Тельтов-канала, где каждый сантиметр пространства воды и суши десятикратно пронизывался пулями и осколками и где, несмотря на страх и те нечеловеческие усилия, с какими преодолевалось это пространство, было столько мужества (столько минут торжества над страхом!), что удивительно, что это было. «Да, было! Было! — восклицал Сергей Иванович.— И все это не может уйти, исчезнуть, не оставив следа». Он представлял войну не как художник или писатель, оставивший взгляд на чем-либо одном, должном характеризовать все, а как солдат, в памяти которого лежит вся целостная картина фронтовой жизни со всей ее атмосферой страха, труда, страданий и мужества, с ее неудобствами быта — окопами, землянками, кострами на снегу и ржавой водой из воронок, с ее привалами, маршами, переходами, переправами, паникой отступлений и лихостью атак и торжества затем, после этих атак, на дымящихся развалинах городов, с

километрами окровавленных бинтов, грудями вынутых из тел осколков, отпиленных рук, ног и братских могил на пригорках и у шоссе-ных обочин, то есть теми усилиями, какие прилагались каждым для достижения цели — победы! Все хранилось в душе Сергея Ивановича и должно было жить во всяком прошедшем через войну солдате. «Т е н а ш и интересы жизни, это были святые интересы, — думал он. — Кошунство — отбросить их; это все равно, что, приняв у роженицы младенца, то есть надежду и радость жизни, затем задушить и выбросить его. Нет, Кирилл, нет-нет, люди не способны на это». И в сознании Сергея Ивановича каким-то будто теплом разливалось то свежее и волновавшее еще его впечатление, какое он вынес с торжественной церемонии захоронения останков неизвестного солдата у кремлевской стены. Церемония захоронения говорила ему о многом. «Сколько было людей, и люди плакали. Слезы народа... нет, это не шутки, если народ плачет».

Но как только Сергей Иванович садился за стол, как только начал записывать это, о чем думал, получались лишь напыщенные слова и фразы и исчезало то живое, что составляло (пока он думал) душу этих слов и фраз. Чувства и мысли, казавшиеся яркими, странно мертвели, едва ложились на бумагу, Сергей Иванович раздраженно отодвигал листки и опять начинал думать о Кирилле и возражать ему. «Или я чего-то не понимаю и в жизни переменялось все, или же — не прав он? Но что же переменялось?» — удивленно спрашивал он себя. Он не только не чувствовал этой (к худшему, как недавно еще казалось ему) перемены, которую увидел в Дорогомилине, затем в Старцево, когда, вернувшись от шурина в Москву, зашел к нему, но, напротив, по налажившимся отношениям своим с Наташей, по тому спокойствию, какое испытывал в связи именно с этим примирением, ему казалось, что будто никогда и не прерывалась связь прошлого с настоящим. Он, в сущности, потерял цель, ради которой так решительно брался за мемуары и которая заключалась в том, чтобы восстановить нравственную связь поколений, представлявшуюся разорванной ему; останки неизвестного солдата были захоронены, памятник (народный, как и писал об этом Сергей Иванович в Верховный Совет) был как будто поставлен, и теперь отпадала сама необходимость обращаться к общественности и побуждать ее к деятельности.

XXXI

В то время как Сергей Иванович искал причину неудач в Кирилле и своих разногласиях с ним, причина крылась в другом, более основательном, к чему он боялся подступиться. Причина была в том, что вот-вот должен был начаться суд над Арсением, и по результатам этого суда, о которых трудно было предположить (несмотря на заверения Кошелева, что все обойдется), должны будут произойти перемены и в жизни Сергея Ивановича. Он чувствовал и понимал это; но он только не знал, что будет для него лучше — если осудят Арсения или если оправдают его? С тех пор как он выгнал Арсения из дому, он ни разу не видел его, и многое (в памяти) стерлось, но он постоянно теперь сталкивался с беспокойством Наташи, которое казалось искренним (каким оно и было вначале), и по этому беспокойству ее, по ее рассуждениям невольно складывал для себя в воображении новое представление о своем зяте. Он не мог позволить себе думать о нем иначе, чем дочь, и, сочувствуя ей, переносил сочувствие и на него. «В конце концов, если она счастлива (в чем Сергей Иванович не сомневался, наблюдая за дочерью и выводя все из той внешней оживленности ее, которая, впрочем, происходила совсем от другого), зачем же препятствовать ей? Может, не так он и стар, как тогда показалось, и сын не его, а приемный? Нет, нет, в этом деле, как верно заметил Кирилл, можно таких дров наломать», — говорил себе Сергей Иванович, словно

то, что уже случилось с его семьей (после памятного сватовства), не вполне еще подходило под определение «наломать дров». Он боялся нового взрыва и осложнений. Он видел, что Наташа как будто не нуждалась ни в чем; на ней были наряды и драгоценности, которых он на свою полковничью пенсию никогда бы не смог приобрести ей, и этот недостаток ее, эта возможность «сорить деньгами», как однажды сказала о ней Никитична, производили на Сергея Ивановича впечатление. «Не дуракам же даются, значит, с головой», — решил он, окончательно располагаясь к Арсению и подавляя в себе последнюю неприязнь к нему.

Особо поразила Сергея Ивановича кооперативная трехкомнатная квартира, купленная Арсением как будто для Наташи. Он видел эту квартиру сначала пустой, когда ездил вместе с Наташей получать ключи от смотрителя, потом видел наполовину заставленной мебелью, когда стол, диван, полки и книги, лежавшие у стены на прежней квартире, были перевезены сюда, и видел в третий раз, когда после усилий Любы, помогавшей Наташе главным образом с покупкой гарнитуров, все комнаты были уже обставлены, были повешены шторы, гардины, светильники и даже положен ковер в гостиной, где был уже накрыт стол для Сергея Ивановича и на столе, в хрустальной вазе, стояли белые осенние флоксы.

— Как ты находишь? — первое что сказала Наташа, войдя в гостиную (было это еще до известных торжеств с захоронением останков неизвестного солдата у кремлевской стены и до знакомства со Стоццевыми и вечера у них, после которого многое уже по-иному виделось Наташе). — Понравится е м у? — спросила она, обедая взглядом гостиную и этим же взглядом как бы показывая ее отцу. — Уютно, правда? — И она, поправив лебединым движением рук флоксы в вазе, как делала это Лия Дружникова на празднике у Лусо, пригласила затем отца расположиться по-домашнему в креслах или на диване (с подушкой из художественного салона), которые издавали тот сладковатый запах лака, клея, стружек и синтетической ткани, как пахнет всякая новая мебель, внесенная в квартиру.

Затем она провела отца в спальню, где тоже стояла новая мебель, в кабинет для Арсения со шкапами, письменным столом и журнальным столиком и даже показала кухню, где установлен был чешский, салатного цвета, гарнитур — своего рода тогдашняя новинка, привлекавшая пластикой отделкой. Смысл того, что делала Наташа,водя по комнатам отца, был, в сущности, тот же, что и у Ольги Дорогомилиной, когда та пригласила деверя посмотреть ее квартиру. И Наташе и Ольге одинаково хотелось показать свой недостаток, в центре которого (или — центром которого), им казалось, они были; они одинаково старались внушить (Наташа — отцу, Ольга Дорогомилина — мужу и деверю), что целью их хлопот было только создание уюта, домашнего очага, хранительницей которого испокон веку считается женщина; одинаковой была у них и другая цель (более откровенная у Ольги и упрямая пока даже от самой себя у Наташи) — стремление к праздности жизни, вкус к которой у Ольги был вполне уже определен и только-только еще начинал определяться у Наташи; но, несмотря на все это, родившее их, впечатление у Кошелева, побывавшего у Ольги, и впечатление у Сергея Ивановича, увидевшего в новой и непривычной для него обстановке дочь, были настолько различными, что будто они увидели два противоположных друг другу мира. Для Кошелева, давно вращавшегося в этом праздном, за ширмою дел, мире (за ширмою забот, называемых общественными, которые давно превращены в источник дохода для себя) и знавшего этот мир, то есть этот сорт людей со всеми их слабостями и тягою к накопительству (что он осуждал с высоты своей загородной жизни, приближавшей его, во-первых, к природе, как он полагал, то есть к тем стожкам в лесу, к которым он прогуливался в шортах и стоптанных санда-

лиях, и во-вторых, к труду, то есть писанию брошюр, которым он придавал общественное значение, но которые как раз и являлись для него постоянным и нужным ему источником дохода), для Кошелева, влюбленно (в дополнение ко всему) смотревшего на Ольгу и видевшего в ней лишь образец современной женщины, все показанное ею было только недостававшим примером, которым он мог теперь попрекать жену. Его привлекала не новизна Ольгиного мира, — он бывал на многих приемах и в домах с большим достатком, — но возможность окружить себя этим миром красивых и богатых вещей, от которых, как утверждает эстетика, непременно должен преобразиться и внутренний мир человека; он, несмотря на свою опытность и на то, что хорошо знал, как пагубна праздность, — от простого ли желанья перемен, или лишь из влюбленности в Ольгу (в чем он не признавался себе), был в восторге от ее способностей. Но Сергей Иванович, привыкший в жизни к тому, что блага даются за труд, а не за видимость его, и что то, что легко приобретается, никогда не бывает основательным, был в раздумье, побывав у Наташи. С одной стороны, ему приятно было видеть, что дочь обеспечена. «Да, да, видимо, с головой», — повторял он уже не раз говорившееся им об Арсении. Но с другой — эта же обеспеченность, чрезмерная, как было очевидно ему, настораживала и вызывала беспокойство, словно что-то не то чтобы дурное, но неосновательное, зыбкое крылось под этим. Сергей Иванович словно бы чувствовал, что кроме внешнего, что дочь с гордостью показала ему, было что-то еще, чего он не разглядел, но что как раз и вызывало тревогу, от которой он долго не мог избавиться.

«Люди бы радовались», — пробовал было рассудить он (как посмотрели бы на все в других семьях). Потребность поделиться сомнениями и боязнь оказаться в неловком положении постоянно боролись в нем, особенно когда он бывал у Старцевых. То дурное, что он только подразумевал в непонятной и чрезмерной обеспеченности дочери, ему казалось, было известно другим и только позорило Наташу; но когда он все же решился у Старцевых заговорить о ней, он к удивлению своему увидел не осуждение, а интерес и одобрение в глазах Кирилла и Лены.

— Ну и что ж, что он пока еще под следствием, я уверена, что его освободят, — с той логикой, с какой обычно говорят женщины, полагающие, что в мире нет точнее оценок, чем «мне нравится» или «мне не нравится», какими пользуются они, сказала Лена. С прической а-ля Сенчина, открывавшей лицо и делавшей ее простоватой (и тем понятной и близкой Сергею Ивановичу), с уверенным взглядом на жизнь, совпадавшим со взглядами мужа, который теперь особенно (по общественной линии) был на подъеме, и с желанием покровительства, похожего более на жалость («Дочь ушла, похоронил жену, потерял руку — не дай бог!» — говорила она), она вызывала доверие у Сергея Ивановича. — Пусть тратит. Он (Арсений) придет, а в доме уют, живи, занимайся делом. Нет, я бы на вашем месте только радовалась. Всем обеспечена, все есть, да кто же не хотел бы этого, господи, — говорила она (и во второй и в третий раз, когда разговор заходил об этом).

Никитична, с которой затем и тоже не раз обсуждалось положение Наташи, была еще более категорична, чем жена Кирилла. У нее не возникало сомнений, было ли дурно или не дурно то, что, по ее мнению, было подарком судьбы; «подарок» надо принимать, а не сомневаться в нем, что она и внушала Сергею Ивановичу.

— Другим бы — дай только, — рассудительно говорила она (точно так же, как она говорила о жизни). То, что было для Никитичны «сорить деньгами», в чем она упрекала Наташу, и возможность сорить ими, дававшуюся не каждому, она разделяла на несовместимые понятия. — Сорят не от ума, а имеют счастливые. На нее же посмотреть любо-дорого, — добавляла она.

Она не столько убеждала, как приобщала отставного полковника

к своим житейским мудростям, в конце концов ему тоже начало казаться, что все происшедшее с дочерью было простым и естественным. «Да иного и не могло быть с ней», — думал он, видя за обеспеченностью Наташи возможность Арсения обеспечить семью, то есть ту основательность, которую Сергей Иванович больше всего ценил в людях. Несмотря на свою прежнюю неприязнь к Арсению, еще не угасшую в нем, он, вместе с тем, казалось, был более теперь заинтересован в оправдании зятя, чем была заинтересована в этом Наташа. В то время как приближался день суда и надо было думать, как помочь Арсению, чтобы его оправдали, Сергей Иванович с удивлением замечал, что Наташа не только не вспоминала о муже (что уже само по себе представлялось странным), но постоянно находилась в каком-то том радостном возбуждении, которое не нравилось Сергею Ивановичу. Он не знал о ее знакомстве со Стоцветовыми и вечере, на котором она была у них, как не знал и о ее новых, относительно своего замужества, мыслях; но, не зная этого, чувствовал, что с ней происходило что-то будто нехорошее, связанное с прежними его опасениями за нее. «То ли уверена так, — думал он. — То ли знает что-то». Но когда, спросив у нее, была ли она у адвоката, услышал, что не была и что, по его мнению, не было необходимости быть у него («Что это изменит? Суд есть суд, и на него нельзя повлиять»), Сергей Иванович настолько растерялся, что не нашелся сразу, что ответить дочери. Он только пожал плечами, но про себя решил, что сходить к адвокату все же надо, хотя бы для очищения совести, чтобы было видно, что делалось что-то.

«Так же нельзя, нет, так нельзя», — весь вечер затем про себя повторял он.

XXXII

Четырнадцатого утром, как раз в канун суда над Арсением, Сергей Иванович, надев синий, в полоску, костюм, который не надевал с памятного майского воскресенья, когда вместе с Юлией готовился принять Наташиного жениха, и не сказав (вопреки своему теперешнему правилу) ничего Никитичне, куда и зачем идет, направился к адвокату Кошелеву.

Пройдя и проехав в троллейбусе по морозной Москве к центру и не заметив ни этого мороза, ни заиндевелой красоты улиц, он в десятом часу утра уже сидел в приемной члена Президиума коллегии адвокатов Кошелева и ждал вызова. Николай Николаевич, несмотря на занятость и, главное, на то, что визит не был предварительно согласован, все же решил принять отставного полковника.

— Да, да, знаю, по какому, — сказал он доложившей ему секретарше (хотя с тех пор, как разочаровался в деле Арсения, ни разу не открывал его).

Приемная Кошелева, как все подобного рода приемные, представляла собой небольшую как будто, но довольно просторную и светлую комнату с фикусом у окна, с секретаршей за письменным столом, уставленным телефонами, с круглой деревянной вешалкой в углу у двери и потертой посетителями мебелью — креслом и стульями, расставленными вдоль стены, — которая более чем говорила о количестве народа, бывавшего здесь. Пока Сергей Иванович сидел в неудобном, захватанном пальцами кресле, куда посадила его секретарша (по виду его нового костюма, то есть по бросившейся ей представительности предложив ему это почетное место), перед ним в приемной, как и во всем учреждении, протекала повседневная в разговорах, трениях и увязках служебная жизнь, о которой, если бы нужно было привести пример бесконечности, можно было бы сказать, что это и есть бесконечность. Несколько раз к Кошелеву входили и несколько раз выходили от него какие-то громко разговаривавшие юристы, как определил

Сергей Иванович по долетавшим до него отрывкам фраз. Они говорили о каком-то только что будто завершившемся процессе, на котором произошла несправедливость, и защита, будто бы оказавшаяся не на высоте, не смогла повлиять на исход дела. Говорили об этом так, словно юристов интересовал не результат суда, не совершенная над кем-то несправедливость, которую надо было исправить, а лишь допущенная (тем-то и тем-то при разбирательстве) ошибка, профессионально очевидная им. Разговор их, вернее ошибку, о которой они говорили, и которая, оказывалось, была возможна при разбирательстве, Сергей Иванович невольно переносил на Арсения, и ему становилось неловко и холодно от этого. Он вдруг как бы отключался от окружающего, думая об этом своем деле, а когда возвращался в действительность, в приемной толклись уже другие люди и говорили о другом, к чему он опять начинал прислушиваться.

Он не смотрел на часы и не знал, сколько ждал. Ему представлялось, что ждал долго, хотя прошло чуть больше получаса, как он опустился в кресло, и за эти полчаса в приемной ни на мгновение не прекращалась раз заведенная жизнь, смыслом которой, казалось Сергею Ивановичу, было только движение в кабинет или из кабинета. Жизнь эта прерывалась то телефонными звонками, звонками-вызовами, поднимавшими секретаршу, то неожиданно наступавшей тишиной, когда все будто замирало — и секретарша, и звонки, и люди, находившиеся в приемной, — и Сергей Иванович смотрел только на обитую коричневым дерматином высокую дверь, за которой решалась чья-то судьба и куда он тоже вот-вот должен был войти со своим вопросом. Он как будто боялся чего-то, и чем ближе подвигалось время, когда его должны были пригласить (уже прошли, кто был впереди, и некоторые из тех, кто явился позднее, видимо, по договоренности), тем сильнее охватывала его мелкая и неприятная душевная дрожь. «Словно к маршалу иду», — с усмешкою пробовал говорить он себе, чтобы унять дрожь.

Раньше, когда он приходил по этим же хлопотам к Кошелеву, он не волновался, как теперь. Не волновался, может быть, потому, что все тогда только начиналось и он думал не о том, как будет принят известным адвокатом, а лишь о цели, ради которой шел. Он как бы закладывал тогда фундамент под то здание, в которое еще сам не верил, каким образом оно может быть построено (и будет ли построено вообще — по тому своему прежнему отношению к Арсению); но теперь — он пришел получить ключи от этого здания, представлявшегося (по новому отношению его к зятю) построенным, и этот изменившийся смысл вызывал в нем тревогу. Ему хотелось не просто услышать подтверждения, что Арсения оправдают, которые прежде решительно делал Кошелев, но получить гарантии — теперь же, здесь, в кабинете, — которые бы прояснили все и успокоили его.

Голос секретарши пробудил его.

— Пожалуйста, — сказала она, взглянув на него так, будто с ним произошла какая-то перемена, которую надо было понять ей. — Вас ждут.

— Да, да, благодарю, — ответил Сергей Иванович, вставая.

Оттого, что он сидел проваленно в кресле, костюм его помялся (на что обратила внимание секретарша), одернув его, Сергей Иванович пошел к оставленной для него полуоткрытой двери.

В кабинете было светло, было совершенно противоположно тому настроению, какое ощущалось в приемной. Сквозь морозные стекла окон и легкие, по бокам их, гардины (тоже будто морозного, голубоватого тона), как сквозь натянутые нити шелка, вливались лучи солнца, которое Сергей Иванович не замечал, идя сюда; лучи били теперь ему в лицо, и он (от неожиданности этого брызнувшего на него света) вынужден был приложить ладонь ко лбу, чтобы разглядеть стол и

Кошелева за ним. Кошелев был в выгодном для себя положении, он сидел спиной к окнам (к простенку между окнами, в котором был установлен стол) и с удовольствием пользовался этим своим положением и наблюдал за входившими. Он дал возможность Сергею Ивановичу осмотреться, закрыть дверь, потом предложил ему сесть в одно из кресел перед столом. Затем, чтобы уравнять положение, как он любил делать, особенно когда приходили люди влиятельные либо те, к кому он вдруг ни с чего будто проникался расположением (как теперь к отставному полковнику, перед которым чувствовал себя немного виноватым в том, что, взявшись за дело Арсения, не занимался им), — он поднялся из-за стола и, обойдя его, сел напротив Сергея Ивановича.

— Ну так что, завтра суд, — сказал он бодрым голосом, которым он хотел (с первых же слов) подтвердить свою прежнюю уверенность в деле Арсения. — Волнуемся? Это хорошо. Волноваться надо. Непременно надо, таков человек, если он живет по законам сердца и совести. — Это была стержневая идея, которую он разрабатывал в своей очередной брошюре и невольно решил проверить ее на Сергее Ивановиче.

— Как же не волноваться? — принимая доверительный (глубоко человеческий, как воспринял его Сергей Иванович) тон, начатый Кошелевым, ответил он. — Мы ничего не знаем, к нему не пускают.

— Под следствием, а как вы хотели? Закон, — с улыбкою подтвердил известный адвокат, — он для всех один.

— И для преступников? И для безвинных?

— Произошло убийство, поймите, убийство, — как будто с наслаждением произнес он. — Хороши были бы там, в следствии, если бы не хотели разобраться во всем. Но в вашем деле ошибки не будет, нет, это исключено. — В то же время как мысль об ошибке пришла в голову Сергею Ивановичу (по разговору, слышанному им в приемной), она пришла в голову и Кошелеву, только что занимавшемуся этой ошибкой. — Ваш зять, кажется, так? Да, правильно, зять, он защищался, и если можно в чем-либо обвинить его, то только разве в превышении пределов необходимой обороны, — добавил он строгим, протокольным стилем, на который всегда переходил, когда говорил о деле. — Но и это оспоримо. Над ним был занесен железный ломик, и ломик этот приложен к делу как вещественное доказательство. Ваш зять будет проходить по статье сто пятой Уголовного кодекса РСФСР. — Кошелев, потянувшись, взял со стола Уголовный кодекс и на нужной странице раскрыл его. — Вот, послушайте, что гласит статья. — И он прочитал Сергею Ивановичу: — «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года». — Захлопнув кодекс, но продолжая держать его в руках, он внимательно посмотрел на Сергея Ивановича. — Разумеется, если превышение будет доказано. Но и тогда при определенной расположенности судей, при определенных, точнее сказать, характеристиках от общественных организаций, а таковые в деле, насколько мне известно, есть, — сказал Кошелев, хотя он знал, что в суд были уже направлены иные (за подписью Лусо) характеристики на Арсения, — наказание может быть вынесено условным.

XXXIII

Разговор, в сущности, был закончен, но ни Сергей Иванович, ни Кошелев не поднялись с мест.

Сергей Иванович не то чтобы не был удовлетворен сказанным, но сказанное так не вязалось с его мыслями об Арсении, Наташе и

о себе (что он теперь ждал от жизни), так не вязалось с желанием сейчас же, здесь, в кабинете решить вопрос, с которым пришел, что ему казалось, что изложенное Кошелевым было не завершением, а началом того, о чем должна пойти речь. Руки его, выложенные перед собою на стол (вернее, не руки, а рука и протез в перчатке), неуловимо будто, мелко и быстро подрагивали, особенно протез (по передававшейся от плеча и локтя дрожи), и по этой дрожи было видно, как трудно давался бывшему полковнику этот сегодняшний разговор с адвокатом.

У Кошелева же с его теперешним хорошим расположением духа была иная причина не отпускать Сергея Ивановича. Ему хотелось показать, как он глубоко изучил Арсениево дело, и в голове его уже выстраивался тот ряд доводов, о которых он не мог не рассказать оставшему полковнику.

— Есть, впрочем, одно «но», — неторопливо начал он (как если бы шел по лесу к стожкам и делился с братом наблюдениями жизни). — Есть обстоятельство, способное немало навредить нам.

Из всех подробностей Арсениева дела, прежде известных ему, он хорошо помнил только о термине «роковая сила», вычитанном в дневниках Арсения, и вокруг этого смутившего его тогда термина он и собирался теперь повести разговор. Он, в сущности, готовился прибегнуть к тому простому и широко распространенному в определенных кругах приему, когда разговор о существе дела подменяется общими рассуждениями, в которых как будто есть и конкретное, по существу (чего и ждал от него Сергей Иванович), и то «ни о чем», которым заслонено это «по существу». Подобное правило общения, усвоенное Николаем Николаевичем, не смущало его и представлялось настолько удобным, что он даже не замечал, как словно бы выгребал из-под ног собеседника почву.

Но кроме этой обычной бодрости, с какою он собирался изложить сейчас Сергею Ивановичу свои прошлые (в новом варианте) мысли о «роковой силе»; кроме того, что он все еще был под впечатлением дороги, утра и солнца, словно он не на машине, а на лыжах пробежался по искристому снегу, был у него еще повод к хорошему настроению. После длившейся почти более двух недель напряженности в семье, когда Лора не разговаривала с ним (и он видел, как это тяжело отражалось на детях, и хотел и искал примирения), наконец мир был восстановлен; между ним и женой произошло объяснение, и хотя оно было неприятным и Николай Николаевич, не чувствующий за собой вины, вынужден был все же просить прощения у жены, но дело состоялось, и та всегдашняя основа жизни, то есть дом и семья, которую так привык, живя с Лорой, ощущать Николай Николаевич, была как бы вновь возвращена ему, и он был горд, уверен и весел. И в то время как он начинал теперь свой пространственный разговор с Сергеем Ивановичем, — между фразами, которые он тщательно, казалось, обдумывал, прежде чем произнести их, он вспоминал о Лоре, как она в это утро, накормив его завтраком, разговаривала с ним. Разговор был — обычный житейский разговор о продуктах: молоке, хлебе, масле, которые она наказывала ему купить на обратном пути из Москвы (и непременно на Кутузовском, где хлеб был как бы иным, лучшей выпечки), но это житейское, что всегда только отягощало Николая Николаевича, теперь было для него благом, говорившим о восстановленных с женой отношениях. С него как будто был снят груз, и он со своим здорового цвета лицом, с не сходящей с губ улыбкой и всем своим настроением уверенности как будто бежал налегке перед озабоченно и грузно шагавшим по жизни Сергеем Ивановичем.

— Вы, разумеется, читали его дневники, — все так же неторопливо, как был им начат разговор, продолжал Кошелев, не замечая начальственной снисходительности, с какою произносил слова, и еще

более не замечая (за этой снисходительностью), как Сергей Иванович, никогда раньше не слышавший о дневниках, смотрел на него.— Он ведь постоянно с чем-то боролся, с какою-то, извините, силой, подавлявшей его, и в показаниях следствию так и заявил, что убил зло. Не человека, не своего приемного сына, а зло, которое давно собирался уничтожить,— удивленно, как о чем-то стоявшем выше человеческого понимания, произнес Николай Николаевич.— Если ваш зять это же повторит завтра на процессе, то у суда может сложиться впечатление о преднамеренном, то есть умышленном убийстве, убийстве с целью, а за подобное преступление...— Он полистал кодекс, все еще находившийся у него в руках, и прочитал, что говорилось в нем об умышленном убийстве.— Но я не собираюсь запугивать вас, нет, поймите правильно,— тут же произнес он, кладя на стол кодекс и отодвигая его, словно отмежевываясь от сказанного.

«Они будут иметь дело со мной»,— насмешливо, глазами, добавил он, давая понять Сергею Ивановичу, что и на этот случай у него, известного адвоката, приготовлено, чем защитить Арсения.

В сущности же, Николай Николаевич не был готов к защите и надеялся только на свой опыт (по известному изречению: ввязаться, а там дело покажет), который ни разу еще как будто не подводил его. Он был так убежден, что «дело покажет» и что «само» найдется, что противопоставить обвинению, если возникнет необходимость, что ему казалось излишним даже говорить об этом.

— Все подчинено общим законам, хотя и не всякое дело приложимо к ним,— как будто беря из того ряда мыслей, что был выстроен им, следующую, проговорил он.— Дело вашего зятя — это дело особенное. Не уголовное, а нравственное. Да, да, нравственное,— подтвердил он.— И ключ к разгадке его лежит в идее «роковой силы».— Он входил во вкус разговора и не замечал, что Сергей Иванович, впервые слышавший об этой некоей «силе», не понимал его.— Если бы мы имели дело с мистикой,— это одно. Но мы имеем дело не с мистикой, а с каким-то другим явлением, но каким? Давайте попробуем разобраться.— И он привычно для себя и чуть менее, может быть, привычно для Сергея Ивановича, которого тоже не обошло общее пристрастие к разбирательству глобальных проблем (которых в одиночестве никто не в силах решить), принялся рассуждать о тех общегосударственных явлениях, которые нехорошо будто бы влияли на нравственную основу человеческой жизни.

Он говорил о том, о чем не раз писал в своих нравственно-педагогических брошюрах (и писал в новой, только что начатой им) и о чем модно было в тот год писать и говорить,— об утраченной будто бы народом нравственности, что в Сергее Ивановиче, если бы он не был озадачен своим, сейчас же соединилось бы с его размышлениями о Семене Дорогомилине (и частично о Кирилле), но он был озадачен с воим, что привело его к Кошелеву, и лишь недоуменно смотрел на адвоката, стараясь и не в силах понять его.

Когда Николай Николаевич (в редкие для себя минуты) оставался один на один не с этими привычными — для брошюр — мыслями, которые были приемлемы уже потому, что повторялись всеми, а с иными, которые он не решался вставлять в сочинения, но которые как раз, может быть, и принесли бы ему успех, он ясно как будто начинал понимать, что за всей разворачивавшейся в печати шумихой о нравственности стояли какие-то совсем другие и важные проблемы жизни, о которых у авторов статей и брошюр (как, впрочем, и у него самого) не хватало то ли умения, то ли смелости сказать открыто. «В деревнях заколачиваются избы, люди покидают деревни, но вместо того, чтоб найти действительную причину, что стоит за этим, мы говорим и пишем о нравственности, бросаемся искать истоки ее и т. д. и т. п. и в итоге только сильнее запутываем дело,— приходило ему на ум как откровение и удивляло его.— Где надо говорить об организации

труда, о системе взаимоотношений в хозяйственном механизме или о стержневом вопросе заинтересованности (одинаково и министра, и рабочего), мы опять начинаем искать исчезнувшую будто бы куда-то нравственность и спорами о ней направляем общественное мнение на ложный путь». Подобные простые и ясные мысли приходили ему и по другим сферам государственной деятельности, и он пытался даже записывать их; но и записи и сами эти мысли, важные для движения жизни, куда-то затем будто исчезали, терялись, блекли (из-за своей подозрительной, может быть, простоты в соседстве с научной нагроможденностью истин, заслонивших небо и землю), и все возвращалось на привычный круг, где все в сознании людей, как и в сознании Николая Николаевича, было разложено по определенным местам, названо определенными именами, окрашено определенным цветом, и никто не смел ни переставить (в этом кругу) что-либо с одного на другое место, как бы ни диктовалось это потребностями, ни изменить цвета или названия, не рискуя при этом оказаться непонятым, то есть не рискуя лишиться достигнутого положения и достатка. По этой же отработанной схеме, по которой Николай Николаевич всякий раз возвращался на круг, как только вставал вопрос о его престиже и достатке, он невольно действовал теперь и в Арсениевом деле, переводя простое и ясное в сферу усложненных и запутанных истин. Не умея разобраться в социальном и еще менее умея соединить социальное и нравственное, что только одно могло дать настоящие результаты, он по шаблону сводил теперь все к чистой нравственности и рассуждениями о ней, в сущности, заслонял то действительное, что стояло за делом Арсения.

— Вопрос о нравственности есть вопрос о воспитании,— говорил он, еще более отдаляясь от существа дела.— А какое у него было воспитание? Никакого. Если что и успел передать ему отец, так только страх к жизни, и страх этот затем во всем руководил им. Страх заставил его взяться за ломик. Страх,— повторил он.— А это сила слепая и безрассудная.

(Продолжение следует)



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



НОВЫЕ СТИХИ

Фрагмент

Когда по белой ленте тротуара
Ты каблучком и узкою подошвой
Отстукиваешь точки и тире
И, торопясь исчезнуть за углом,
Мне оставляешь — взгляду, задыханью ---
Письмо следов, чернеющих на белом,
Такую городскую телеграмму,
Какой никто еще не получал,

Слетают галки на твои следы,
Отпугивая робкую голубку...
Я тротуар сворачиваю в трубку
И уношу в окрестные сады.
На них кудрявится рассветный иней.
Я нахожу далекую скамью,
Где яблони подобьем райских скиний
Покоят душу детскую мою.
Там разворачиваю, расстилаю
Похищенный глазами тротуар...

Читая, понимаю: ты не знаешь,
Как быть со мной, когда растает снег...
Когда ты, появляясь, исчезаешь,
Мне кажется, что ты не человек,
А больше и загадочней...

Под веком
Снежинка расплзается в пятно.
Молю, мечта моя, будь человеком,
Пришли мне настоящее письмо.

Лето

Благословенно лето,
Благословенно в целом.
Летом весна и осень
Заняты общим делом.

Препоручась деревьям
И голубым колосьям,
Дарит весна доверьем
Близящуюся осень.

Лето — часы их встречи,
В листьях таимой, в стебле.
Пятнами ходит ветер,
Всходы легко колебля.

Лес зеленеет кроной.
Нива зерном желтеет.
В час predetermined
Поле позолотеет.

Позолотеет роща,
Зазеленеет озимь.
Хлебом и свадьбой встретит
Стекла на лужах осень.

Благословенно лето,
Благословенно в целом.
Летом весна и осень
Заняты общим делом.

Оптимистика

Любомуру Левчеву.

...Мысль о смерти...
Если это мысль, то мысль о жизни.
Ветка за окном запахла горько.
Вот пойдя попробуй увяжи с ней
Мысль о смерти. Не поймет нисколько.
У меня есть, в общем, три могилы.
Не моих. Своих. Я в них частично.
Ветка напряглась от вешней силы.
Ветка эта мне не безразлична.

Как прозрачна синяя погода!
Синий цвет зеленым набухает.
Мысль о смерти не дает прохода...
Пусть на мне природа отдыхает.
Я уж обойдусь без этой мысли
Хоть сегодня, потому что надо
Деньги на субботник перечислить,
Да и с этой веткой нету слада.
Хоть ушел, растаял холод жуткий,
То — тепла ей, то ей дождик брызни.

Мысль о смерти — это вам не шутки.
Мысль о смерти — это мысль о жизни.



Мне будет вечно сниться дождь
И шум листвы у изголовья
Каких-то баснословных рощ
Бесчасья или безвековья.

Мне будет вечно сниться путь,
Скрывающийся за холмами,
Которым позабыл шагнуть,
Как снится детский сон о маме.

Мне будет вечно сниться дождь
С почти расплывшейся страницы
И то, как ты меня зовешь
И я встаю, мне будет сниться.

Там будут ветки ходуном
Ходить, мешая солнцу с тенью...
И тоже станут чьим-то сном...
Но будет в песне — воскресенье!

Потомок, выстой под окном,
Домучься до стихотворенья.



ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

★

НЕБО

Повесть

1

В начале сентября в транспортном авиаотряде произошло чрезвычайное происшествие: Иван Михайлович Бакшеев, нарушив инструкцию, сел на закрытый аэродром. А случилось это так. В конце дня поступило срочное задание вывезти в Тугелькан вахтовую бригаду. Бакшеев хотел вылетать, но неожиданно Тугелькан дал плохую погоду. Синоптики недоумевали, развернув свои метеорологические карты: по всем данным в Тугелькане не должно быть низкой облачности. И тут-то Бакшеев вспомнил странную особенность: как только подойдут выходные дни, так Тугелькан начинает мудрить—то закроется по полосе, то вдруг дает плохую погоду. Выходные себе делают, не раз мелькала у него догадка. Но как проверить?

Взяв с собой бригаду, Бакшеев вылетел с разведкой погоды.

Вышли на Тугелькан—видимость отличная, сверху все как на ладони: река, вдоль берега серая укатанная посадочная полоса, зеленый домик аэровокзала. Минут через десять после посадки примчался на мотоцикле начальник аэропорта Семен Кириллович Потапихин.

— Вы по какому такому праву сюда сели?—еще не доезжая, закричал он.—Аэропорт закрыт, кто вам дал разрешение?

— Я тебе сейчас покажу разрешение,—побелев, ответил Бакшеев.—Я тебя сейчас так отделаю, что у тебя даже в ливень ясно будет.

Потапихин бегом на вышку и дал радиogramмы в два адреса: одну Ротову, другую в инспекцию, чтоб уж наверняка. Дошлый был начальник.

А тут еще беда: на взлете из-под переднего колеса выскочил камешек и попал прямо на винт, а от него—в борт. Прилетел Бакшеев в Иркутск с дыркой в фюзеляже. Дырку залатали—минутное дело, а вот телеграмму в инспекцию куда не денешь.

— Нет, вы нам скажите, когда прекратите ломать самолеты?—все более и более раздражаясь, спрашивал его на послеполетном разборе командир отряда Анатолий Алексеевич Ротов.—Я вас спрашиваю—когда?

Тихо в классе, все ждут, чем же закончится очередная стычка бывшего пилота-инструктора с командиром отряда.

Молчит Иван Михайлович, и не потому, что нечего ему сказать,—в самый неподходящий момент к сердцу подкатила тупая боль. Краем уха он слушал Ротова и в то же время следил за шевелящимся внутри комком.

«Уволюсь,—мелькало у него в голове,—напишу рапорт и уйду в другой отряд. Хватит, надоело. Что это он со мной как с пацаном? Для пользы дела надо было бы выставить сюда и Потапихина».

— Анатолий Алексеевич, мне кажется, вы здесь несколько подгустили краски,— растягивая слова, проговорил Бакшеев.— Самолетов я не ломал. А насчет самовольной посадки.. Ну сел. Должен же был кто-то его за руку схватить.

— Но не так, как это сделали вы.

— А как же? Подскажите! — совсем некстати улыбнулся Бакшеев.

— Хорошо. Я поделюсь опытом.— В голосе Ротова снова зазвонели металлические нотки.— Я отучу вас самовольничать. Пилотское на стол!

Бакшеев вдруг почувствовал, что не может вдохнуть полной грудью: боль, которая до сих пор дежурила около сердца, закупирила горло. Он сделал попытку продохнуть ее, вытолкнуть из груди, но она метнулась навстречу, и он едва не потерял сознание. Обливаясь липким потом, Бакшеев стоял, боясь пошевелиться, точно через соломинку всасывая воздух.

Через несколько секунд боль начала подтаивать. Бакшеев постоял еще немного, прислушиваясь к себе, затем глубоко, для контроля, вдохнул и, чувствуя, что самое страшное позади, улыбнувшись, сунул Ротову под нос кукиш.

— А вот это видел? — с ехидством спросил он.— Вас, таких скорых до чужих свидетельств много, а оно у меня одно.

До сих пор Бакшеев сдерживал себя. Разнос шел хотя и обидный, но профессиональный, и он по привычке отбрехивался как мог, не переступал черты, полагая, что и Ротов, человек неглупый, не переступит ее. Так нет же, не хватило терпения.

Ротов опешил, затем закричал, что с этого дня не видеть Бакшееву самолета как собственных ушей, что он сгноит его на земле. Но дело в конце концов закончилось тем, что Бакшеева на месяц отстранили от полетов.

«Может, и к лучшему,— подумал Бакшеев,— не дай бог прижмет сердце в воздухе».

Неудачным выдался для него этот год, ну точно мешок развязался. В начале года ушла жена. И, как это часто бывает, семейные неприятности потащили за собой неприятности по работе: однажды у него в полете разгерметизировалась кабина, потом ни с того ни с сего при заходе на посадку в Якутске не выпустились шасси, а вскоре произошел конфликт со вторым пилотом Григорием Фонаревым, после чего Бакшеева сняли с инструкторов.

Бакшеев уже решил, что годовую норму своих неприятностей выполнил, все, что должно было случиться, случилось, так нет же, оказывается, было припасено еще.

Ничто не проходит без следа — сердце, с которым он всю жизнь был в ладах, дало сбой, и он не на шутку испугался. Отыскивая причину, Бакшеев вспомнил, что накануне вечером зашел к своему другу, списанному летчику Петру Короедову, и они распили с ним бутылку коньяку. «От этого,— решил он,— надо отдохнуть. Возьму-ка я отпуск и махну в деревню к матери».

Съездить в деревню ему не удалось — в отряд пришло пополнение, и Ротов, остыв, попросил повременить с отпуском.

2

На распределении Василию Ершову предложили остаться работать в училище, он же просился на Северный Кавказ, но все карты спутал Витька Падуков.

— На кой тебе сдался этот Кавказ? — шептал он Ершову.— Будешь там вечным вторым пилотом. Великое дело — курортников возить: базар — вокзал. Разве это работа? Поехали к нам. Штаны не успеешь сносить — командиром станешь. А там, глядишь, и на лайнер

попадешь. И по всему Союзу. Главное, чтоб командир хороший попался, от него все зависит.

В общем, уговорил. Махнул Ершов рукой на Северный Кавказ и покатил в Восточную Сибирь.

Сразу же после приезда их заставили сдать зачеты, выдали форму, и на этом все застопорилось. То ли приехали не вовремя, то ли произошел перебор летчиков, но сажать их в кабины самолетов почему-то не торопились. Послonyaвшись без дела по аэропорту и почувствовав, что до них нет никому дела, парни загудели. Брали такси — и в город. Но очень скоро такси стало не по карману. Покрутившись немного, Ершов дал родителям телеграмму: срочно высылайте деньги на ремонт самолета. Но безобидная вроде шутка вышла ему боком. Дома решили, что произошло что-то серьезное, и на другой день в Иркутск прилетела мать. Пришлось объяснять, для чего ему нужны деньги...

— И в кого ты такой уродился, — расплакалась она. — Денег попросить по-человечески и то не смог. Я думала, в училище ума набрался, а ты...

— Ну перестань, — морщился Ершов. — Начну летать, рассчитаюсь.

— Да не о том я, — качала головой мать. — Знаю, опять что-нибудь натворишь.

И как в воду глядела. Вместо кабины самолета угодил он в колхоз. Знакомясь с молодыми летчиками, Ротов приказал показать носки. По форме должны быть черные, а у Василия Ершова в тот день оказались красные. Не долго думая отошел он в сторонку, быстренько снял носки и сунул их в карман. Будь что будет, решил Ершов и, когда дошла до него очередь, задрал штанину.

— Что это такое? — оторопев, спросил Ротов.

— А я всегда так хожу, — улыбнувшись, сказал Ершов, — так ноги не потеют.

Казалось, Ротова сейчас хватит удар, лицо у него побелело, потом покраснело.

— У кого еще ноги потеют? — громко спросил он.

Вопрос повис в воздухе, по старой курсантской привычке летчики стояли молча и смотрели в пол.

— Хорошо, — громко протянул Ротов. — Ершова до полетов не допускаю. Поедет в колхоз. Поработает там месяц-другой, потом решим, что с ним делать. — Ротов сделал паузу. — В авиации мелочей нет, к летчикам у народа особое отношение. В нас хотят видеть свою мечту, а вы по ней босыми ногами...

Ершов готов был провалиться сквозь землю.

Расстроенным вышел он от Ротова и поехал в общежитие. Троллейбус, царапая провода, катил мимо леса, мимо зеленых тополей все дальше и дальше от аэропорта. Он смотрел на серые, чужие дома, и хотелось ему собрать чемодан и уехать домой. И тут же с какой-то тоскливой обреченностью понял: нет туда дороги, нельзя ему, как и этому троллейбусу, на котором он ехал в общежитие, дать задний ход, повернуть назад.

Вообще-то ему до сих пор везло. В училище попал с первого захода, хотя было десять человек на место. Затем угодил в первый экспериментальный выпуск с переучиванием на «Ан-26». Обычно летчики начинают с «Ан-2», пока до «Ан-26» доберутся — половину волос растеряют.

А здесь все застопорилось. Вместо полетов — одни неприятности. Не так мечтал он начать работу в авиации.

В колхозе Ершов пробыл до середины сентября. Вернувшись в отряд, угодил на техучебу, потом начались зачеты. Словом, все пошло наперекосяк, не так, как у Витьки Падукова. Тот уже налетал двести часов и ходил, поглядывая свысока.

Так прошло еще полмесяца.

Наконец Ротов вызвал Ершова к себе в кабинет.

— Ну, как сельские харчи? — спросил он. — Не надоели? А то, может, продлить командировку?

— Вам виднее, — хмуро ответил Ершов. — Если считаете, что я там нужнее, сегодня же напишу рапорт о переводе в колхоз.

— Обиделся, значит. Не на меня, на себя обижайся. Запомни: театр начинается с вешалки, а летчик — с формы. Кто нарушает ее, тот и в полетах безобразничает. Вы сюда работать приехали, а не шутки шутить. Сегодня без носков, завтра на вылет опоздаешь, а там, глядишь, еще что-нибудь выкинешь.

— Что мне теперь, застрелиться? — воскликнул Ершов. — Знаю, виноват, больше такое не повторится.

Ротов достал из стола серую папку, полистал ее.

— Кстати, за что у тебя в училище был первый выговор? — неожиданно спросил он.

— За самопроизвольный выстрел в карауле, — схитрил Ершов, пытаюсь понять, что там еще записано в его личном деле.

— Вот как? — подняв брови, спросил Ротов. — Нельзя ли поподробнее.

— Дело, значит, было так, — медленно проговорил Ершов. — Назначили меня в караул. В двенадцати километрах от города приводную радиостанцию строили. Мы ее охраняли. Перед караулом инструктора дали, войну вспомнили, обрисовали международное положение. Напугали, в общем... Вечером привезли на объект, дали ружья, лять патронов, и стал я вокруг здания ходить. С одной стороны кустарник, с другой — заросшая лощина... Осень, быстро темнеет. Одна лампочка на столбе болтается, я под нею туда-сюда, гуда-сюда. Тут меня осенило: я же весь на виду, захотят снять, а я как на ладони. Я за ящики. Присел на доски, оттуда все хорошо видно: и освещенную часть, и ту, что в темноте. И тут же слышу: зашуршало что-то в кустах. «Ползут», — думаю. Зарядил ружье, взвел курок и не дышу. Тишина, только сердце бухает. И вдруг сзади как кто-то бросится мне на плечи! У меня волосы дыбом, оглянулся, и тут щеку мне будто огнем обожгло. Я с испугу дернул курок. Ружье бабахнуло. Тревога, конечно. А оказалось, это наша собака. Надоело ей спать в караулке, вот и разыскала меня в засаде, на радостях лизать бросилась...

— Занятно, занятно, — барабанил пальцами по столу, проговорил Ротов. — Посажу-ка я тебя летать с Бакшеевым.

— Это скоро? — быстро спросил Ершов. — Надоело пол топтать, пора и за дело.

— Похвально, что летать стремишься, — прищурился Ротов. — Не хотел я сажать вас вместе, но ничего, посмотрим, что получится. Как только Бакшеев выйдет на работу, так сразу и начнете. Но предупреждаю заранее, — Ротов погрозил пальцем, — будешь нарушать дисциплину — отберу пилотское свидетельство, напишу досрочную аттестацию, пойдешь самолеты обметать.

«Все-таки вырвал я себе командира, — довольно подумал Ершов. — Теперь важнейшая задача — наладить контакт с ним. Особенно в моем положении. А то и взаправду спишут на землю. Жалуйся потом дяде. Самолеты обметать! Как бы не так».

Витька Падуков, узнав, что Ершову дали Бакшеева, схватился за голову.

— Иди и откажись, — сказал он. — Пропадешь ты с ним.

— Так уж и пропаду, — нахмурился Ершов.

— Пропадешь, пропадешь, — махнул рукой Падуков. — Характер у него не дай бог! С начальством не ладит, а с начальством воевать что по лезвию ходить: солнышко высоко, Москва далеко, а колхоз рядом. Ты, наверное, уже понял.

Ершову почему-то стало смешно.

— Чего ты смеешься? — взорвался Падуков. — Не веришь, да? Ты вон сходи посмотри, на доске приказ висит. Твоему командиру там строгий выговор. Но это еще не все. Бакшеев недавно второго пилота Гришку Фонарева из кабины выгнал. Взял за шиворот — и в дверь. А у Гришки батя в управлении работает. А Бакшеев начихал, выгнал, и все. Такого в отряде еще не случалось. Гришка жалобу в министерство написал. Прилетали разбираться. Понял, какого командира тебе подсунули? Но ты сам виноват, сам себе все испортил.

— Спасибо, утешил.

— Да ты не огорчайся, — уже сочувствующим голосом проговорил Падуков. — Другим наоборот Бакшеев нравится. Говорят, его только понять надо.

— Поживем — увидим, — ответил Ершов. — Сам знаешь, не мы выбираем.

Падуков тем не менее посеял у Ершова в душе тревогу. За что Бакшеев выгнал из кабины Фонарева? Если за дело, то полбеды, а может, просто нашла на него блажь, может, встал не с той ноги?

Ершов знал: на него первое время будут смотреть глазами Бакшеева. Мнение Бакшеева о нем как о летчике — а оно будет обязательно высказано вслух — самое важное. При случае на него будут ссылаться. Это вроде ярлыка, который придется носить долго.

3

После разговора с Падуковым Ершов еще неделю ходил по отряду — Бакшеев не появлялся. Наконец ему надоело караулить Бакшеева, надоело встречать и провожать друзей в полет, и он снова зашел к Ротову.

— Вот что, съезди к нему домой, — побарабанив пальцами по столу, сказал Ротов. — Узнай, что он тянет. Я вас тут в командировку послать думаю.

В штурманской Ершов спросил у Падукова, не знает ли он, где живет Бакшеев.

— Михалыч в старых домах на Ушаковке живет. Ты вот что, — Падуков понизил голос, — зайди в магазин и возьми коньяку.

— Да ты что!

— Вот чудак человек! Насколько я знаю, он этот напиток уважает. Тем более он сейчас в трансе — с женой разошелся...

От аэропорта Ершов спустился к Ушаковке. Отыскать дом Бакшеева было непросто. Добрый час ходил он по кривым улочкам. Было холодно, дул ветер, вдоль заборов качалась высохшая полынь, на деревьях трепыхались редкие, чудом уцелевшие листья. Свинцовая пустота неба изредка напоминала о себе гулом высоко летящего самолета да реденьким осенним дождем.

Прикрываясь от дождя воротником куртки, Ершов вполуха ловил самолетный гул, удивляясь про себя, кто и куда летает в такую погоду. Впереди по дороге замаячила фигура мужчины. Шел он, что стреноженный конь, нервно, то убыстряя, то замедляя ход. На голове чуть держалась выцветшая форменная фуражка, и Ершов приободрился: «Свой брат, уж он-то наверняка подскажет, как найти Бакшеева».

— Вы, случаем, не знаете, где живет Иван Михайлович Бакшеев? — догнав мужчину, спросил Ершов.

Мужчина резко остановился, фуражка качнулась и поползла на лицо, но он успел перехватить ее и усадил на прежнее место.

— Кто такой? — повернувшись всем телом к Ершову, спросил он. — Почему я тебя не знаю?

— Какая разница — кто? — улыбнувшись, ответил Ершов. — Мне Бакшеев нужен.

— Бакшеев всем нужен. Но ты кто такой? Неужели тебя не научили: прежде чем задавать вопросы, нужно представиться. Вот я, например, Петр Сергеевич Короедов — пилот первого класса. А ты кто? Скажешь — проведу к Ивану Михайловичу, не скажешь — пеняй на себя.

В это время сзади хлопнула калитка и на дорогу вышла женщина. Короедов схватил Ершова за рукав и потащил в переулок.

— В воздухе противник, — приглушенно зашептал он. — Давай, парень, прибавим газу. И вираж покруче. А то не видать нам Ивана как своих ушей.

— Ты это куда, Петечка? — ласково протянула женщина. — Я тебя жду, жду, а ты мимо дома норовишь проскочить.

— Жена-сатана, — пробормотал Короедов, — уследила-таки. Вот всегда так: соберешься друга проведать, а тебя приконтрят.

— Вы не знаете, как пройти к Бакшееву? — спросил Ершов у женщины, больше не надеясь на пилота первого класса.

Некоторое время она молча смотрела на Ершова.

— Маша, он правду говорит, — залепетал Короедов. — Ивана на работу вызывают. Нас вот послали за ним.

Но она так глянула на него, что он осекся.

— Спуститесь к речке и выйдете к огородам. Там, увидите, на крыше пропеллер крутится. Это его дом.

Ершов поблагодарил женщину и пошел вниз к реке. Дорога, не доходя до воды, забралась на бугор и раздвоилась. Ершов остановился, не зная, куда идти дальше. Дома походили один на другой: все сложены из бруса, покрыты шифером. Какой же из них Бакшеева? Если бы он зашел с лицевой стороны, все было бы проще, в кармане у Ершова лежал адрес. Но попробуй угадай со стороны огородов.

«Надо искать пропеллер», — вспомнил он слова женщины.

Пошарив по крышам глазами, заметил над одной прозрачный диск вращающегося винта. Приглядевшись, понял, что это молотит воздух хвостовой винт от вертолета. От винта к настилу, где был закреплен покрашенный в черный цвет топливный бак, шел привод. «Вон в чем дело, винт воду в бак качает!» Подойдя к дому, Ершов отыскал калитку, повернул щеколду. «Есть собака или нет?» — гадал он, ступая во двор.

— Собаки нет, иди смело, — неожиданно услышал он глухой голос.

Ершов вздрогнул и остановился. На крыльце, расставив ноги, стоял высокий, широколицый, заросший густой щетиной мужчина лет сорока. На нем была синяя, выгоревшая на солнце демисезонная куртка и такие же синие, с карманами на коленях, хлопчатобумажные брюки. Смотрел он исподлобья, и, может быть, от этого его темные, наполовину прикрытые бровями глаза казались обрезанными.

— Ну, ну, смелее, — сказал мужчина. — Я не кусаюсь.

— Вы Бакшеев?

— Попал точно. Небось Ротов послал?

— Он, он! — с необъяснимой поспешностью ответил Ершов. — Спрашивает, когда вы на работу выйдете. Я с вами вместо Фонарева летать буду. Заблудился я тут, хорошо, женщину встретил.

— Летчику блуждать не следует, — сказал Бакшеев. — Начинаящий летчик должен со своего чердака узнавать соседний двор, а двор командира — тем более. Ну да ладно, на первый раз прощаю, шел без проводки. Заходи в дом.

Первое, что бросалось в глаза в доме Бакшеева, так это огромная полетная карта. Она занимала полстены, точно такую же видел Ершов в аэропорту в штурманской комнате. Рядом с картой на тонком ремешке висел планшет, левее, на подоконнике, стояли авиационные часы, а снаружи, за стеклом, торчал самолетный термометр. После того, как ушла жена, Бакшеев жил вдвоем с дочерью. Вообще-то го-

началу он остался один, жена забрала и дочь. Но через полгода дочь вернулась к отцу. В свое время в аэропорту было много разговоров на эту тему.

— Вот что, не в службу, а в дружбу, пока магазин не закрыт, слетай, возьми бутылку,— Бакшеев, как бы извиняясь, развел руками,— приятель должен прийти. Сам хотел сходить, да тут у соседки несчастье — трубу прорвало, дома, кроме ребятешек, никого.

— А я уже взял, есть у меня,— сказал Ершов, подивившись пронизательности Падукова.

— Ох и летчики пошли,— с какой-то неприятной интонацией протянул Бакшеев.— Надоумили или сам догадался?

Ершов увидел темные холодные глаза, и ему показалось, что в него целятся из двустволки.

— Да что вы! У меня случайно, давно уже в портфеле ношу,— начал выкручиваться он.— Вот я и подумал, чего бежать в магазин, когда есть.

— Ну ладно, коли так,— смиловившись Бакшеев.

Едва Ершов выставил на стол бутылку, как на улице хлопнула калитка, запели на крыльце ступеньки и в дом влетела девушка, быстрыми глазами оглядела незнакомого летчика, улыбнулась, затем взгляд прыгнул на стол, на бутылку, и улыбка погасла. Молча повернувшись к вешалке, она стала снимать плащ.

— Танюша, познакомься,— проговорил Бакшеев.— Это второй пилот.

— Василий Ершов,— представился летчик.

— Очень приятно,— ответила Таня.— Ты мне, папа, что обещал? Сам за сердце хватаешься, а все туда же.

— Сердце не от нее болит,— нахмурился Бакшеев.

Он вышел в сени, принес велосипедную камеру, отрезал кусок, аккуратно свернул его, сунул в карман.

— Ты посиди,— обратился он к Ершову,— я сейчас вернусь, поговорим.

Проводив взглядом отца, Таня ушла к себе в комнату и минут через пять появилась снова, переодетая в спортивный костюм.

— А вы что стоите? Садитесь,— уже мягче сказала она.

— Ничего, постой,— ответил Ершов.

Некоторое время она молча смотрела на него, видимо, решала, как поступить: казнить или миловать?

— Значит, вы будете с отцом летать?

— С вашего позволения, начнем,— улыбнулся он.

— Так не начинают, так заканчивают,— она кивнула на бутылку.— Или у вас врожденная склонность к алкоголю?

Разговор принял нежелательный оборот, и Ершов решил его не поддерживать. Некоторое время Таня стояла, облокотившись на спинку стула и смотрела в окно.

— Послушайте, Вася, а вы знаете десять летних заповедей? — неожиданно спросила она.— Отец говорит: без них лучше не подниматься в воздух.

Ершов удивленно посмотрел на нее.

— Неужели отец не спросил? — продолжала пытаться Таня.— Странно. Обычно он с этого начинает. Первая: — Таня загнула палец, — держи фонарь в чистоте. На посадке можешь не увидеть землю. Вторая: не шуруй ногами — не дрова возишь. Третья: кто хозяин высоты, тот хозяин боя. Четвертая: увидел точку в небе — считай, самолет противника.

— Какой противник? Сейчас же не война,— улыбнувшись, перебил Ершов.

— Ничего. Полетаете с отцом — поймете. У него всегда война, всегда боевые действия.

— Ну, это вы зря.

— Не перебивайте. Я еще не все сказала.— Таня на секунду задумалась.— А волшебное слово из двадцати букв знаете?

— Нет,— признался он.

— Тогда совсем пропали. Слово это «предусмотрительность». У отца это — главная заповедь. Он хочет все предусмотреть, а у него обычно все наоборот получается.

Ершов скосил глаза на дверь, где на листе бумаги красным фломастером было крупно написано:

«Уходя проверь:

1. Выключен ли свет, утюг и другие электроприборы.
2. Закрыт ли кран.
3. Есть ли мелочь на автобус.
4. Лежит ли в кармане ключ от квартиры.
5. Открыта ли форточка для кота Васьки».

Пункт пятый был приписан чернилами — видимо, постаралась дочь.

«Настоящая контрольная карта, как в самолете!» — подумал Ершов.

Вскоре пришел Бакшеев. Он долго не входил в дом, громыхал в сенях железками.

— Папа, я на тренировку пойду, после седьмого — соревнования, — сказала Таня, едва Бакшеев переступил порог.

— Валяй, — коротко разрешил он.

— Может, вам чай поставить? — Таня покосилась на бутылку.

— Иди, иди, пить не буду, — перехватив ее взгляд, проговорил Бакшеев. — Что-то мне нездоровится.

— Может, тебе врача вызвать? — забеспокоилась Таня.

— Зачем? Я думаю, пройдет, вот только начну летать. Пройдет. Засиделся — все от этого.

4

Проводив Таню, Бакшеев некоторое время с ног до головы оглядывал Ершова. Каждый год в отряд приходило пополнение, и Бакшеев как инструктор обычно первым проверял их в деле. Проверял теоретическую подготовку молодых летчиков, проводил аэродромную тренировку. Но если раньше приходили в основном с «Ан-2», уже понюхавшие воздуху, этот был с экспериментального выпуска. По своему опыту он знал: с такими надо было начинать все сначала, с азов.

Разглядывая своего нового второго пилота, Бакшеев пытался понять, что за человек перед ним.

— Откуда такой красивый будешь? — спросил наконец.

— Из Самары.

— Откуда, откуда?

— Из Куйбышева.

— А-а, так и говори. Мать с отцом есть?

— Есть. Отец на заводе работает, мать — учительница. Если хотите, я вам сейчас всю биографию расскажу.

— А ты не ершись, Ершов, не ершись, — улыбнулся Бакшеев. — Должен же я знать, кто ты есть и с чем тебя съест. Ведь ты моей правой рукой будешь. Какой же я командир, если не буду знать своей руки, а?

Ершов промолчал. «Этот зажмет — не вздохнешь, — подумал он. — Прав Падуков».

— Значит, так, — деловым голосом начал Бакшеев, — на вылет приходишь за полтора часа. Перво-наперво следуешь на стартовый. Упаси боже прийти после этого, — Бакшеев кивнул на бутылку. — По глупости попадают. Вот, скажем, пригласят тебя на день рождения или свадьбу. Ну а какая свадьба без этого дела? А тебе лететь. Все,

конечно, уговаривают: мол, сто граммов, чего с них будет. Ты, конечно, отказываешься, но сам-то про себя думаешь: а действительно, что будет мне, молодому, здоровому, со ста граммов? Ничего. И в конце концов сдаешься. Пропускаешь через организм эти сто или двести, а утром — готов. У нас на стартовом знаешь какие кадры сидят? Будь здоров! Бабка, например, одна чего стоит. Легендарная бабка. Ей сам министр золотые часы вручал... Петька Короедов классный был летчик, но любил накануне вылета заложить. Сейчас на складе работает...

Бакшеев огорченно вздохнул, будто не того летчика, а его, Бакшеева, сняли на землю.

«Не зря он все это мне говорит, — думал Ершов. — Все из-за бутылки. Дернул же меня черт взять ее. А Витьке не мешало бы морду начистить, друг называется».

— Дальше идешь на метеостанцию — погоду узнаешь, — донесся до него голос Бакшеева. — Там такая полная сидит. Этой обязательно нужно отправить посылку в Усть-Кут. Дочь у нее там работает. Запомни: возьмешь раз, потом не отвяжешься, будешь всю жизнь возить. Хотя это дело хозяйское. Иногда можно и взять, тут ничего особенного нет. После этого идешь в штурманскую. Кабинет ответственный. Могут проверить, знаешь ли ты инструкции, схемы, режимы полетов — все, что им там взбрдет в голову... Ты как себя чувствуешь? Все изучил? — Бакшеев вопросительно глянул на Ершова.

— Хоть сейчас проверьте! — воскликнул Ершов.

— Это хорошо. Только не торопись, — поморщившись, сказал Бакшеев. — Не люблю торопливых. Я слышал, ты уже попал под колпак Ротову. Еще один прокол — и все. В нашем деле репутация — вещь материальная. Так вот, если в штурманской сидит мордастый — тот рыбац. Чуть что, ты ему про рыбалку разговор заводи, он тебе и бортжурналы новые достанет, и план полета поможет рассчитать. А рыбинспекцию ругнешь, так лучшим другом будешь. Недавно его оштрафовали, вот уже два месяца успокоиться не может. В другую смену чернявый, небольшого роста. С тем нужно о спорте или об автомобилях. Но он опять же может заставить тебя потом по магазину бегать. У него вечная беда с запчастями. Радиобюро обходи стороной. Там одни невесты сидят. Не успеешь оглянуться — оженят.

— Не оженят, пока не собираюсь, — улыбнулся Ершов. — Ра- но еще.

— Правильно, — одобрил Бакшеев. — Только в авиации знаешь как говорят? Не оставляй налет на конец месяца, торможение на конец полосы, а любовь на старость. Уразумел?

— Уразумел, — ответил Ершов.

— Ну так вот. После звонишь в центральную диспетчерскую службу. В аэропорту это место приютом называют, там списанные пилоты сидят. Мои корешки. Публика особенная, с ними держи ухо востро. Они тебе могут самолет без двигателей подsunуть. Бывало и такое. Короли воздуха! А короли к чему привыкли? Чтoб все работали на них, ну там диспетчера, техники, наземные службы. А когда сами в диспетчера попадают, то по инерции, мысленно, конечно, продолжают летать. Где уж тут до земной суеты! Пенсия в кармане, оклад идет, а на остальное — начихать. — Бакшеев на секунду замолк. Видимо, ему хотелось добавить еще что-то, но сдержался. — Завтра у тебя свободный день. Приди в аэропорт пораньше и к кому-нибудь из вторых пилотов пристройся. Куда он, туда и ты, как нитка за иголкой. Посмотри что и как. Все службы постарайся обойти и не просто обойти, а так, минут двадцать посиди, посмотри чтoб весь механизм аэропорта изнутри увидеть и понять, от чего чтo зависит. А все от людей зависит. Особенно обрати внимание на грузовой склад. Один раз, еще на «Ан-2», они мне на целых полторы тонны самолет перегрузили, а я vareжку раскрыл, доверился. Ка

мы взлетели, сам не пойму. Диспетчеру вкатили выговор, чего с него возьмешь, а меня — долбить лед на перроне. Понял? В маленьких аэропортах другая беда. Прилетишь — некому разгружать. Приходится самому. Что поделаешь: то погода подпирает, то светлого времени в обрез. До тебя Фонарев со мной летал. Так он мне раз заявил: мол, мне не положено разгружать, на это есть грузовая служба, им за это деньги платят, а я летчик и должен летать. Пришлось выгнать. — Бакшеев пощупал Ершова темными, глубоко запрятанными глазами. — Смотри, если я тебя не устраиваю, можешь пойти и сказать Ротову, что не хочу, мол, с ним летать.

— Да нет, что вы! — воскликнул Ершов. — Как вы, так и я.

— Ну тогда, кажется, все, — помедлив секунду, сказал Бакшеев. — Работа как работа. Полюбишь ее — и она полюбит тебя. Да, чуть не забыл: всегда имей с собой нож, плоскогубцы, отвертку, спички, бельевую веревку. Нигде это не записано, но я всегда требую. Если на память не надеешься, то в книжку запиши. Мишка Мордовин, так тот все в записную книжку заносил.

Бакшеев ушел в другую комнату и принес будильник.

— Вот возьми, пусть он пока у тебя побудет.

— Зачем он мне?

— Возьми, возьми. У него звон особый, командирский, мертвого поднимет. Вечером на него глянешь — обо мне вспомнишь и не проспичь. — Бакшеев хитровато прищурился. — Заработаешь — новый купишь, мой принесешь обратно. А пока что возьми. Проспичь раз — прощу, проспичь второй раз — заставлю спать в самолете. Знаю я вас, холостых. Прогуляете, а потом дрыхнете без задних ног.

— Иван Михайлович, когда летать начнем? — спросил Ершов. — Ротов сказал, что как только вы на работу выйдете, так он нас сразу на тренировку поставит.

— Чего он торопится?

— В командировку послать хочет.

Хлопнула калитка, Бакшеев приподнял бровь, скосил глаза на окно.

— Кто бы это мог быть? — медленно проговорил он. — Должно быть, Татьяна вернулась.

Он ошибся. Пришла жена. Ершов понял это по взгляду Бакшеева, в котором промелькнули удивление и растерянность. Она мельком посмотрела на Ершова, собрала зонт и замерла в нерешительности, видимо, решая про себя, раздеться ей или остаться как пришла.

— Иван, нам нужно с тобой поговорить, — сказала она.

— По-моему, мы уже все сказали друг другу, даже перебор получился, — ответил Бакшеев.

Он достал с буфета сигареты, спички, отошел к окну, стал смотреть во двор.

— Ты знаешь, зачем я пришла?

Ершов увидел, как дрогнула рука Бакшеева и взгляд его — отрешенный, обращенный куда-то в пространство и будто бы не принадлежащий хозяину — мгновенно вернулся и настороженно застыл. Ершов понял: все существо Бакшеева обратилось в слух.

— Я пришла за дочерью, — сказала жена.

— Я ее не держу, ты же знаешь, — не поворачивая головы, ответил Бакшеев.

— Нет, держишь, держишь! — выкрикнула она.

— Не маленькая, сама решит, с кем жить.

Бакшеев пустил кольцо дыма и, прищурившись, следил за ним.

— Я не могу разговаривать при посторонних, — заявила жена.

— Не можешь — не разговаривай. Не я к тебе пришел, ты ко мне!

Ершов вскочил со стула, смущенно проговорил:

— Я побегу, Иван Михайлович, в отряде встретимся.

Он вышел на крыльцо. Дождь шел и шел себе, равнодушный ко всему на свете, но Ершов почему-то обрадовался и дождю и тому, что окна запотели и его не увидят из дома.

«Вроде бы мужик ничего,— поднимаясь в гору по скользкой размокшей дороге, думал он.— А мне-то расписали!»

Ершов стал припоминать, что ему говорил Бакшеев — куда пойти, за что взяться,— и показалось, что знает он его давно.

5

Жена ушла вскоре после Ершова. На крыльце раскрыла зонт и, не оглядываясь, сошла вниз, в темноту, под шуршащий дождь. Скрипнула калитка, и почти одновременно, прошив темный забор и висевшую над ним серебристую сеть дождя фарами, к дому подъехала машина. «Вот как,— усмехнулся про себя Бакшеев,— а я-то подумал, не пойти ли проводить?»

Приглушенно хлопнула дверца машины, взревел мотор, и через несколько секунд Иван остался наедине с дождем. Он постоял еще немного, вернулся в дом и стал готовить ужин. Вот-вот должна была прийти дочь. Он почистил картошку, покрошил ее соломкой. Так же мелко нарезал сало,— Таня любила, когда он готовил это свое фирменное блюдо,— и стал ждать. Едва хлопнет калитка, он поставит сковороду на плиту, и через пятнадцать минут все будет в самый раз.

Раньше, когда дома было все хорошо, он не раз так же ждал Лиду. Она преподавала в вечерней школе и частенько возвращалась поздно. Вспоминая свою первую встречу с ней, он с удивлением высчитал, что Тане сейчас почти столько лет, сколько было Лидии, когда он впервые увидел ее. А познакомились они на ее свадьбе. В Бодайбо. Застряли там по погоде. А тут свадьба у Володьки Проявина. Силком Володька затасил его, и, как оказалось, на свою голову.

Невеста только что закончила десятый класс. Увидел ее Бакшеев, и будто током ударило: любовь с первого взгляда. И какой-то черт в него вселился: пел, на гитаре играл, на руках ходил — невеста глаз с него не сводила. Во время танца он ей вроде бы шутя: «Полетели со мной!» Она: «Полетели». Утром на самолет — и через три часа в Иркутске. А следом — скандал. Вызвали Ивана в партком, вкатили выговор, и на этом все закончилось. Проявин перевелся дальше на север. Там в конце концов его сняли с летной работы. Подробностей Иван не знал, но говорили, будто бы спился.

За пятнадцать лет, прошедших с тех пор, встретил его Иван всего раз. Прилетели как-то в конце декабря ночью в Мирный, холодно, мороз за пятьдесят, ветер. Пока ходили в диспетчерскую, их разгрузили, заправили. Обрато предстояло лететь порожняком. Бакшеев на всякий случай позвонил на склад — может, чего-нибудь найдут. Есть, ответили, есть покойник, до Усть-Кута. Бакшеев подумал и сказал: «Грузите».

Пришли на самолет, в грузовой кабине деревянный ящик. Его даже привязывать не стали, ничего, мол, с ним не сделается. Механик доложил: самолет к полету готов. Закрылись они в пилотской кабине, запустили двигатели и — в воздух.

Тепло в кабине после мороза, летчиков в сон потянуло. И вдруг слышат шаги в грузовой кабине, мягкие такие, осторожные. Летчики между собой переглянулись. Тихо. Почудилось, решили, но через минуту опять слышат: запрыгало, застучало и к пилотской кабине — скрип-скрип. Возле самой двери шаги затихли. Потом, смотря, ручка дернулась. И снова тишина. Самокрутов к топору потянулся, он в кабине на всякий аварийный случай под сиденьем штурмана лежал. Бакшеев ему шепотом: «Погоди». Набрался духу и резко распахнул дверь. И чуть не обмер: перед ним человек во всем черном, рубашка белая. Стоит и обмороженными глазами смотрит.

— Ты откуда взялся? — крикнул Бакшеев.

— Не узнал? — едва разжимая губы, удивительно знакомым голосом проговорил человек. — Это я, Проявин.

Оказывается, пока они были в диспетчерской, а Самокрутов вызывал техников, Проявин забрался к ним в самолет и спрятался в туалете. Перед этим он просился к другим пилотам, но его не взяли. А билет купить не на что, вот и решил улететь тайком.

— Что же ты не подошел по-человечески? — сказал Бакшеев. — Взяли бы.

— Скажи, какой добрый, — не глядя буркнул Проявин. — Может, ты меня к себе в экипаж возьмешь, мы с тобой вроде родня?

Промолчал тогда Бакшеев. Как ни крути, а жила в нем вина перед Володькой Проявиным. Жила...

Воспоминания прервала дочь. Она влетела в дом возбужденная и от самого порога начала рассказывать новости.

«Как они похожи, — с каким-то ревнивым чувством подумал Бакшеев. — Неужели Лида права: закончит Таня школу и уйдет от меня? И останусь я один». Больше всего он боялся остаться один. Он помнил то чувство опустошенности и стыда, охватившее его, когда, вернувшись домой после командировки, он застал полупустой дом и записку на столе.

— А где твой новый второй пилот? — неожиданно спросила Таня.

— Ушел готовиться к полетам. Ты же у него зачет не приняла, вот он и решил подтянуться.

— Перестань, папа, смеяться. — Таня дернула плечами. — Он еще такой молоденький, как наши мальчишки в классе. А хочет взрослым казаться.

— Мой руки и за стол, — скомандовал Бакшеев. — Кормить буду. Лови момент, дня через три сама будешь готовить.

— Что, в командировку посылают?

— Посылают.

Бакшеев замолчал. Впервые в жизни ему не хотелось уезжать из дома. Раньше он не отказывался, более того, ругался, если посылали кого-то другого. Но сейчас... Конечно, можно было бы зайти к Ротову, поговорить и договориться, но, поразмыслив немного, Бакшеев решил не делать этого. В одном экипаже — Ротов командиром, Бакшеев вторым — вместе падали на голец Окунь и пухли там с голоду. И после той аварии будто кошка пробежала между ними. Сойдутся — пыль коромыслом, как на последнем разборе.

Нескладно, конечно, все получилось. Не имел он права совать при полном зале кукиш под нос командиру.

Уж что-что, а свое дело Ротов знал. Знал, с какого края подойти к летчику. Единственно чего он не знал, так это меры. Петр Короедов, встретив Бакшеева, частенько вопрошал: «Можно ли по одной путевке отдохнуть всему отряду?» И сам же отвечал, улыбаясь: «Можно, если по ней отправить Ротова».

6

После нескольких тренировочных полетов их отправили работать в Усть-Кут, возить грузы в северные поселки. Честно говоря, Ершов хоть и облазил, как советовал Бакшеев, весь аэропорт, но все равно смутно представлял, что это такое — производственные полеты. Те тренировочные полеты, которые они делали над аэродромом, были не в счет.

Над Усть-Кутом свирепствовал циклон, после консультации у синоптиков Ершов подумал, что Бакшеев откажется лететь и они пойдут спать в профилакторий, но тот позвонил на склад Короедову и попросил побыстрее загрузить самолет. Через полчаса по селектору раздался голос Короедова:

— Ну где там Бакшеев? Все готово! Пусть подписывает задание. Груз привязан, самолет заправлен.

Бакшеев подписал задание, и они поехали на дальнюю стоянку. Едва вышли из автобуса, как откуда-то сзади вынырнул Короедов, быстро оглядел всех, подошел к Бакшееву.

— А ты, Иван, оказывается, резинщик,— покашливая, сказал он.— Раньше, помнится, попроворнее был. Учти, тебя вне очереди загрузил, самолетов-то полный вокзал.

— Петя, я и так, как только ты дал команду ехать — тут как тут,— оправдываясь, загудел Бакшеев.— Конечно, я учту, первая стопка тебе.

— Вот это разговор.— Короедов похлопал Бакшеева по спине.— Пока я здесь, тебе всегда зеленая улица.

— Петя, к тебе просьба,— Бакшеев скосил на Ершова глаза.— Будет время, заскочи ко мне, Татьяна одна осталась. Попроведай. Я бы не полетел в эту командировку, да неохота начальству глаза мозолить. И ребят обкатать надо. Пусть настоящую работу понюхают, а то на базе разболтаются. Видишь, какую мне команду собрали. Кроме Самокрутова, все новобранцы.

И на самом деле, экипаж у Бакшеева подобрался молодежный. Лишь бортмеханику Самокрутову было за пятьдесят. Раньше он занимал должность старшего бортмеханика, но весной его перевели в рядовые. Чтоб хоть как-то дотянуть до пенсии, он попросился к Бакшееву.

— Что это ты его к себе взял? — оглянувшись по сторонам и убедившись, что Самокрутова нет рядом, спросил Короедов.— Он же тебя под статью подведет, увидишь.

— На то и щука в море, чтоб карась не дремал,— засмеялся Бакшеев.— Кто-то должен с ним летать. Человеку до пенсии полгода осталось.

— Дело, конечно, хозяйское,— прищурившись, сказал Короедов,— но я бы на твоём месте отказался от него. Что ты думаешь, его зря со старших бортмехаников Ротов попер?

— Это не наше дело,— остановил его Бакшеев.

— Ну тогда ладно, давай вылетай, мне других загружать надо.— И Короедов зашагал к соседнему самолету.

— А я его знаю,— сказал Ершов, проводив Короедова взглядом.— Когда я к вам шел, он мне по дороге встретился, представился пилотом первого класса.

— Он не соврал. Короедов — списанный на землю пилот первого класса. Я уже как-то тебе говорил: летчик он был милостью божьей. В авиации для него секретов не было. Однако же вот самолеты загружает. Грузчиками командует.

Перелет в Усть-Кут прошел для Ершова как во сне, хотя внешне все было знакомо: кабина, приборы, гул моторов, но все почему-то казалось новым, более того, враждебным. Он еще не научился соединять себя и мир, который существовал в кабине и вне ее, в одно целое, и это отсутствие слитности мешало ему, он боялся ошибиться и сделать что-нибудь не так. Летели они в облаках ночью, по лобовому стеклу время от времени пробегали огненные змейки. Ершов пытался понять, откуда они берутся, и лишь после того как бортмеханик включил фары и высветил мириады несущихся навстречу тонких нитей, которые они прошивали насквозь, он догадался, что за бортом идет снег, а на стекле пляшет статическое электричество. Эти полчаса часа он просидел в кабине как мешок с песком. Случись что серьезное, он, пожалуй, мало бы чем смог помочь командиру. Конечно, кое-что он пытался сделать, да все влетело в неурядицу. Бакшеев тыкал его как котенка и к концу полета до того замордовал, что Ершов совсем перестал соображать.

Наконец из тьмы сквозь снежную круговерть проступили посадочные огни, колеса чиркнули о бетон, налетел шум снятых с упора винтов. Долго ползли к вокзалу по рулежной дорожке против тугого напора снега и ветра, ориентируясь по огням, едва угадывавшимся сквозь пляшущий снег.

Ершов вылез из самолета и поплелся за Бакшеевым в незнакомый аэропорт, к незнакомым людям. Изредка Бакшеев оглядывался, что-то кричал, но из-за ветра нельзя было понять что. У Ершова было ощущение, будто попал он на край света.

В диспетчерской Бакшеева окружили усть-кутские летчики, еще какой-то незнакомый авиационный народ. Они о чем-то спрашивали его, смеялись. И Бакшеев смеялся и что-то отвечал. Ершов уловил: уважение, которым пользовался Бакшеев, распространяется и на него. То обстоятельство, что он второй пилот Бакшеева, подняло его в собственных глазах. Ершов приободрился и уже веселее смотрел вокруг.

Поселили их в трехэтажной холодной гостинице, которая обмороженной стороной смотрела в заснеженную тайгу, а другой, с наполовину заледенелыми окнами,— на столовую. Разглядывая аэропорт сквозь чистое ото льда стекло, Ершов видел кружащие по перрону снегоуборочные машины, чуть дальше — стеклянный зонтик диспетчерской, а за ним — сплошной снежный полог, срывающийся в темноту. Ему казалось, что там, за снегом, ничего нет, что и в самом деле это край света, хотя на карте, которую расстелил на столе Бакшеев, вокруг Усть-Кута значилась твердая земля с поселками и городами.

— Завтра с утра полетим в Мирный,— сказал Бакшеев, ткнув пальцем в карту.— Со связью там плоховато, местность безориентирная. Так что прошу готовиться как следует. Что непонятно — обращайтесь ко мне.

— Выходит, полетаем здесь, а потом хоть на Луну,— оторвавшись от окна, заметил Ершов.

— Ты пока что по земле научись ходить.— Бакшеев усмехнулся и стал проверять, что взяли летчики с собой в командировку, вплоть до мыла и зубных щеток. Увидев в портфеле Ершова бельевую веревку, улыбнулся: — Вот теперь вижу, готов...

Ночью Ершов долго не мог уснуть. Среди ночи не выдержал, встал, оделся и вышел из гостиницы. Ветер стих. Низко, навалившись на кончики антенн, лежало серое северное небо. Чудилось: оно принюхивается, присматривается к нему, желая понять, свой он или чужой, надолго ли пожаловал в эти края. Сколько прошло времени, Ершов не заметил. Но вот где-то внизу, за вокзалом, деловито затыкал мотор, и тотчас, словно по команде, в диспетчерской вспыхнул свет.

Ершов вернулся в гостиницу. Пора было готовиться к полету.

И пошли летные денечки.

Вставали рано. Глухим утробным голосом поднимал их бакшеевский будильник. А следом за ним подавал голос и сам хозяин:

— Пятнадцать минут на туалет, потом в столовую. Соберемся у врача,— громко командовал он.

Ершова удивляла кажущаяся нелогичность поступков командира. Кроме них в Усть-Куте работало еще несколько экипажей. Если дают команду загружать до Якутска, то Бакшеев велит искать груз до Нижне-Ангарска или Бодайбо, хотя ясно, что рейс в Якутск выгоднее, расстояние до него в три раза дальше, а значит, и заработок больше.

— Полетаете с мое — поймете,— говорил Бакшеев.— Все от обстановки зависит. Улетишь в Якутск, а там топливо не подвезли —

раз, погода дрянь — два. Здесь как в шахматах — порой пешка ферзя стоит, хотя он и дальше бьет.

По вечерам Бакшеев ставил на плитку чайник, доставал из тумбочки печенье.

— Давайте присаживайтесь, — приглашал он. — Поговорим.

Летчики садились за стол, зная: сейчас последует разбор полетов, где каждому достанется на орехи. Обычно первым командир принимался за бортоператора Аркадия Пнева.

— Аркаша, — негромко говорил он, — ты чего это утром на метеостанции делал?

— Анализировал погоду, товарищ командир, — быстро отвечал Пнев, — чтоб знать, куда грузить самолет.

— Аркаша, я тебя прошу, не делай больше этого. Когда начинает анализировать погоду бортоператор — жди беды: или перегрузят самолет, или улетит без сопроводительных документов.

Радиста Бакшеев пропускал из тактических соображений. Делать замечания Макаревичу — все равно что тревожить осиное гнездо. Штурмана Вторушина он чаще всего хвалил, подчеркивая, что без штурмана они бы пропали, заблудились, сели бы не на тот аэродром.

— Вы ведь в полете что делаете? — незлобиво ворчал он. — Спи-те. А он ведет самолет. Я бы на вашем месте ползарплаты отдавал ему. Хороший штурман летит впереди самолета, — подняв палец, продолжал он, — мысль у него опережает действия. Средний — летит в в самолете, ну а плохой — сзади. — После этих слов Бакшеев хитровато косил глазами на Ершова. — А о втором пилоте нужно говорить особо...

Первые дни Бакшеев не трогал Ершова. «Приглядывайся, запоминай», — советовал он. Ершов приглядывался, запоминал, да не то, что надо. И как-то после полета Бакшеев сказал:

— Хватит. Вася, пассажиром сидеть, пора и за дело. Сделаем так: разделим обязанности — я лечу в одну сторону, ты в другую.

Первый свой полет Ершов закончил грубой посадкой, от которой у Самокрутова лязгнули зубы. Бакшеев промолчал. Но и в другой раз повторилось то же.

— Командир ты может быть, железный, но пожалей меня, я хочу до пенсии долетать, — взмолился Самокрутов, — не давай ему сажать самолет.

— Я не дам, другой не даст, где же он научится? — миролюбиво ответил Бакшеев. — Пусть осваивает.

Тогда Ершов стал на посадке боковым зрением следить за Бакшеевым. Не мог тот сидеть спокойно, когда что-то шло не так. По движению губ, взмаху ресниц, внезапному жесту командира Ершов угадывал, что нужно сделать в следующую секунду. Фактически не вмешиваясь в управление, Бакшеев вел самолет. Первым об этом догадался Самокрутов.

— И чего ты глазами на командира косишь? На чужом горбу хочешь в рай попасть? Не пойдет. Ты посмотри, командир, что ерш самарский творит! По губам тебя читает.

— Что вы сочиняете? — обиделся Ершов. — Я сам лечу, скажи, Иван Михайлович!

— Хорошо, проверим, — подумав немного, сказал Бакшеев.

В следующем полете он вдруг объявил, что командир, то есть он, выведен из строя, и, сложив руки на груди, закрыл глаза. Точно живое существо, самолет тут же показал норы: рванулся в сторону, и Ершов не сразу укротил его. А посадка и вовсе не удалась. Ершов поздно начал выбирать штурвал, самолет ткнулся колесами в бетон и дал «козла». Бакшеев вмешался немедленно и посадил машину.

— Виноват, не получилось, — бросил Ершов, ни на кого не глядя. — Но я уже понял, все понял, в следующий раз посажу.

— Куда? В тюрьму? — поинтересовался Самокрутов. — Пожалуй, рано.

— Да, — рассмеялся Бакшеев, — я и не знал, что могу заменить всю приборную доску. Так дело не пойдет. Ну ладно, мы груз возим, груз он ведь не жалуется. А если пассажиров? Да они тебя после такой посадки побьют. Вот, я помню, в Киренске случай был. Приложил самолет летчик, а у пассажира инфаркт.

— Турнуть бы его из экипажа, вот тогда бы он поплясал, — неожиданно зло сказал Самокрутов.

— Турнуть, говоришь? — Бакшеев приподнял бровь. Он уловил: еще немного, и в экипаже начнется разлад. А этого допускать было нельзя. Огонь надо тушить, когда он еще не разгорелся, иначе будет поздно. — За что же выгонять? Выгнать никогда не поздно, да и не трудно. А вот научить...

Свободными у экипажа оказывались те вечера, когда Бакшеев писал письма Тане. Тут ему требовалось полное одиночество. Он доставал школьную тетрадь, вырывал листки и чинил карандаш. Летчики молча переглядывались и начинали собираться.

— Я вам мешаю? — Бакшеев приподнимал голову и смотрел далекими глазами.

— Нет, что вы! — отвечал Ершов. — Мы пойдем телевизор посмотрим.

— Ты, Вася, посиди со мной, — просил он.

Сам не зная почему, но Бакшеев с каждым днем все сильнее и сильнее привязывался к Ершову. Сколько через его руки прошло молодых летчиков? Он уже сбился со счета. Разные были ребята — и плохие и хорошие, каждого он чему-то учил. Чему-то учился у них сам, многие из них теперь уже летают самостоятельно. А сколько ему оставалось? Он чувствовал — немного. И теперь на каждого нового второго пилота он смотрел как на последнего своего подопечного.

— Вот, никогда не писал писем, не думал, что такая это трудная работа, — поглядывая на раскрытую тетрадь, вздыхал Бакшеев. — Вот здесь все распухло от разных мыслей, — он стучал пальцем по голове. — Как ты думаешь, уйдет она от меня?

— Кто? — спрашивал Ершов.

— Кто, кто... Дочь. Таня.

— Да разве от такого отца уходят? Ты это, Иван Михайлович, выбрось из головы. Она тебя любит, сам видел.

— Уходят, брат, уходят. — Бакшеев тяжело вздыхал. — Раньше я тоже думал: что мое, то мое, никуда не денется. У других может деться, а у меня — нет. И, честное слово, было отчего. Молодой, здоровый, удачливый. Казалось, весь мир для меня: жена — красавица, дочка... И вдруг — все, как мыльный пузырь, лопнуло. — Бакшеев замолчал. Опершись на руку, сидел он неподвижно и смотрел в одну точку печально и виновато. — Видать, на чужом несчастье счастья не построишь, — вздохнув, добавил он. — Сошлись грешно, разошлись смешно! Сейчас бы я, конечно, все по-другому начал, да поздно. Какая у нас, летчиков, личная жизнь? Да нет ее. Обвенчались со штурвалом, и так до конца, пока не спишут на землю. Какую женщину такая жизнь устроит — при живом муже быть соломенной вдовой?

Восстанавливая в памяти всю свою совместную жизнь с Лидией, Бакшеев пришел к выводу, что все началось, пожалуй, с аварии на гольце Окунь. Его тогда сняли с летной работы и перевели на заправку. Лидию как будто подменили. «Неужели она любила меня за форму?» — задавал он потом себе тысячу раз один и тот же вопрос. Сейчас-то он понимал: нельзя было оставлять ее одну надолго. Он колесил по командировкам, приезжал домой, привозил подарки. И лишь позже он вдруг поймал себя на том, что подарками он как бы хотел загладить вину перед ней. А был ли он виноват перед ней?

И была ли она виновата перед ним? Вороша старое, он вдруг понял, что всегда боялся потерять ее, теперь-то он знал отчего: взял не свое, взял легко, кто мог дать гарантию, что таким же образом не воспользуется другой?

У них с Лидой вечно не совпадали отпуска. Она доставала путевки на себя и на дочь и уезжала на Байкал в дом отдыха. Как-то Бакшеев решил навестить их. «Лучше бы я не ездил»,— думал он позже.

Бросившись ему на шею, Таня попросила забрать ее домой. «Мама укладывает меня спать, а сама уходит»,— подрагивая губами, сказала она.

Иван почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он молча гладил головенку дочери и не знал что сказать. Вскоре пришла жена — ласковая, внимательная, и Бакшеев дрогнул. «Что это я вижу только плохое? — подумал он.— Да не могла она». Он схватился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.

Отпуск у жены закончился, она приехала домой, и вроде бы все шло по-прежнему.

А спустя год Лидия ушла от него...

— Иван Михайлович, что же тогда произошло, почему упал самолет? — спросил Ершов, чтобы отвлечь командира от печальных мыслей.

— Обыкновенно,— махнул рукой Бакшеев.— Срезали маршрут и в облаках столкнулись с горой. Ветер еще нам помог, снес в сторону гольца. Я тебе его показывал — когда из Киренска в Маму идешь, он справа остается. Ну а если ветерок с севера покрепче да когда земли не видно, так он как магнит к себе притягивает.

Ершов вспомнил самый высокий и самый близкий к трассе гонец. Ребром он вспучивал тайгу, выставив наружу острые каменистые клыки, издали и впрямь напоминая окуня.

— В марте дело было,— продолжал Бакшеев.— Молодой я тогда был, доверчивый. На Ротова как на бога смотрел. Мне бы тогда его одернуть, может, и не было бы аварии. Вот и влипли. Хорошо, на заснеженный склон упали, это и спасло. Ротов стукнулся головой о приборную доску и потерял сознание. Крепко досталось и нам со штурманом. Но больше всех Сашке Зарубину — не лицо, а кровавая маска. Хорошо, что самолет не загорелся, а то бы конец. Первую ночь мы просидели в самолете. Холодно было: наружу выскочишь — ветер с ног сшибает. Утром решили спуститься пониже к деревьям. Вначале перетянул Ротова, потом Зарубина — силой-то меня бог не обидел. Штурман сам дополз, он меньше других пострадал. Соорудили мы с ним палатку, развели костер. Просидели неделю, снег не утихает. А тут еще напасть: со штурманом что-то неладное твориться стало. Выйдет из палатки, сядет спиной к дереву и сидит. Мороз, а он сидит, не двигается. Стали мы его с Сашкой силком в палатку загонять. Через несколько дней уже еле-еле ходили, сил совсем не оставалось. Даже костер и то кое-как поддерживали. Продукты на исходе — банка сгущенки да немного галет. И вот ночью штурман выгатачил у меня ракетницу, забрал продукты и сбежал. Часа через два я проснулся, хватать — нет ракетницы. Далеко он к тому времени ушел, но следы на снегу остались. Стал я его нагонять, да возле ключа в наледь провалился. Одежда коробом. Злость меня взяла, ну, ду-маю, догоню — горло перерву.

— Ну и что, догнал?

— Догнал. Штурман тоже из сил выбился, волком на меня оглядывается, рукой снег хватает, в рот сует. Понял я, умом он тронулся. Вся злость прошла — спасать человека надо. Метров десять осталось, и тут он в меня из ракетницы. Будто кувалдой по голове. Очнулся, лежу на снегу, шапка рядом валяется. Она-то мне жизнь и спасла. Кое-как до палатки дополз. Ротов, когда узнал, что ушел штурман,

выматерился: «Его здесь надо было прихлопнуть. Свихнулся, говоришь, а продукты прихватить не забыл». И тут зазвенело, зашумело у меня в голове, свалился я у костра. Сколько так пролежал — не помню. Чувствую, Саша Зарубин голову мне приподнимает и мороженые ягоды в рот сует. «Откуда?» — спрашиваю. «Да здесь по склону насобирал», — отвечает. — Вон и командира накормил». Пожевал я немного ягод, вроде легче стало. А к вечеру мы уже вдвоем с ним пошли. Разгребешь снег, а там, как капельки крови, брусника. Через три дня нас нашли. Петька Короедов разыскал. И штурмана разыскали. Посадили в вертолет, он в угол забился, голова ниже колен, постанывает. Жалко мне его стало, подошел я к нему, а он испуганно так на меня вздернул глаза, наверное, думал, бить буду. Я ему руку на плечо положил, говорю: «Перестань убиваться, с кем не бывает». Так он, ты знаешь, затрясся и заплакал. Он ноги обморозил, и у него гангрена начиналась. Говорят, отняли их. Потом началось расследование. И тут Ротов повел дело так, будто штурман во всем виноват. По его вине, мол, отклонились от трассы и столкнулись с горой. Противно мне стало. Уж коли виноват, так будь мужиком! А валить на больного — это надо потерять всякую совесть. Он ведь и так наказан. Так я ему при всех и сказал.

Бакшеев замолчал, отчужденно уставился в окно.

— Значит, развел вас голец с Ротовым? — спросил Ершов.

— Кто это говорит? — очнулся Бакшеев.

— Да так, болтают.

— А ты их меньше слушай, — нахмурился Бакшеев. — Вот ты представь: все идет хорошо. Ты летчик, все вокруг тебя крутится, и вдруг происходит такое, к чему ты не готов. Каждый самолет сделан с запасом прочности, и у человека он есть. Легче всего осудить другого, но будет ли от этого польза? Ответственность — тяжелая штука. Вот станешь командиром, поймешь. Ведь речь уже не только о собственной жизни. Жить всем хочется. Как тут судить другого? Ты вот тогда обиделся, наверное, из-за носков. А ведь он правильно сделал, хоть и жестоко. Ты себя одного в порядок привести не смог, а он должен сотни человек в порядке держать. Но не каждый это понимает.

7

— А к вам гостя пожаловала, — выглянув в оконце, сказала дежурная. — Я ей ключ отдала.

Бакшеев недоуменно поглядел на дежурную. Гостей, да тем более в Усть-Куте, он никак не ждал. Через минуту все прояснилось. Возле окна сидела Таня и листала журнал. На ней был серый пуховый свитер, джинсы. В ногах, возле столика, лежала спортивная сумка. Таня настороженно вскинула на Бакшеева глаза, жалобно улыбнулась, но не встала, не соскочила, не бросилась навстречу, а осталась сидеть на кровати.

— Что случилось? — спросил Бакшеев.

— Ничего. — Таня секунду помедлила. — Соскучилась, вот и прилетела. Меня Короедов в грузовой самолет посадил. Летчики хорошие попались, они тебя знают. Я в кабине долетела. А здесь сижу, сижу, дожждаться вас не могу.

— Понятно, — протянул Бакшеев. Он подошел к вешалке, снял куртку, вытащил из кармана расческу, причесался.

— Ну рассказывай, что там еще у тебя? — Не спуская с дочери глаз, Бакшеев подошел к столу, присел на табуретку. — Ты что это, голубушка, уроки взялась пропускать?

— Всего один день, завтра воскресенье, я отпросилась...

— Что это у тебя с ногой? — перебил Бакшеев, поймав взглядом белую полоску бинта, выглянувшую у Тани из-под носка.

— Ой, папа, да ты не беспокойся.— Таня села на кровать.— Ничего страшного, маленькая трещинка, но все уже проходит. После праздников мне к врачу. Заживет.

— Как трещинка, откуда?— всполошился Бакшеев.

— Так и знала, будешь волноваться.— Таня поморщилась.— Я тебе забыла сказать, я в парашютный кружок записалась. В конце октября у нас были первые прыжки. Вот я и приземлилась неудачно.

— Этого еще не хватало!— воскликнул Бакшеев.— А ну покажи.

Таня осторожно вытянула из-под столика ногу и задрала штанину. На голеностопе лежал гипс. Таня покрутила ногой, видимо, хотела показать, что ничего страшного нет, но против воли скривилась.

— Зачем тебе этот кружок понадобился?— раздраженно спросил Бакшеев.

— Папа, я, между прочим, за этим и прилетела,— сказала Таня.— Я хочу в летное поступать.

— Ну да!— выдохнул Бакшеев.— Я тебе сколько раз говорил, чтоб и думать не смела, еще что! Правильно говорят: нет ума — счи-тай, калека.

— Ну ты же сам говорил, что я на тебя похожа,— глядя на отца, сказала Таня.

Бакшеев как-то сразу обмяк, точно налетел на стенку. Некоторое время он молча шевелил губами, смотрел на дочь, затем снова забушевал:

— Оказывается, от тебя много чего можно ожидать! А тот старый пень, он-то почему мне не позвонил? Я же его просил: зайти, попроведай, чуть что — позвони. Тебе же лежать дома надо, а он взял да в самолет запишал. Вот удружил так удружил! Видно, совсем глаза залил.

— Папа, я дядю Петю долго-долго упрашивала. Пассажиров-то перед праздником полный вокзал. Мне дома надоело одной сидеть... Да, забыла сказать, мамка приходила, дядя Петя как раз у нас был. Мамка говорит, чтоб я его больше не пускала.

— Что она, одна приходила?— поинтересовался Бакшеев.

— Одна.— Таня внимательно посмотрела на отца.— Два раза ночевала. А потом я к тебе улетела.

— Ну ладно,— подумав немножко, сказал Бакшеев.— Командировка скоро закончится, домой полетим. Там и разберемся, куда тебе поступать — в летное или на курсы кройки и шитья. Хватит в доме и одного летчика.

Бакшеев еще долго ворчал на дочь. Но хоть и хмурился и делал вид, что недоволен Таниным приездом, Ершов был уверен: он рад, что она здесь, в Усть-Куте, рядом с ним.

— Вася, а как ты живешь?— спросила она вечером по пути в столовую.— Все получается?

— Получается,— улыбнулся он.— Скоро Михалыч меня ведущим летчиком сделает.

— Папа сделает,— подтвердила Таня.— Если собрать всех, кто с ним летал, половина аэропорта наберется.— Таня неожиданно замолкла и, помедлив немного, добавила: — Он бы мог давно уйти на большие самолеты, да не захотел. На больших можно летать только по одним и тем же линиям, а на вашем можно сесть на любом аэродроме.

— А тебе бы хотелось, чтоб он летал на больших самолетах?— спросил он.

— Не знаю,— пожав плечами, ответила Таня.— Мне бы хотелось, чтобы он почаще бывал дома. Ты знаешь, мне его всегда немного жалко. У нас на улице, случись что, все к нам идут: одному кран починить, другому билет на самолет взять. Он ведь никому не отказывает. Я заметила: никому нет дела — здоров он или болен, отдыхал или

нет,— выручай, Иван Михайлович. А ведь он же летчик, а не кассир или сантехник.

— А какая разница: летчик он или сантехник? Это хорошо, что идут. Хуже, если было бы все наоборот.

— Может, ты и прав,— подумав немного, согласилась Таня.— Я не против, пусть ходят, только бутылки не носят. Отцу пить совсем нельзя, сердце у него стало побаливать.

«Конечно, на большие самолеты с большим сердцем хода нет»,— подумал Ершов.

За полетами незаметно подошла весна. Теперь уже все взлеты и посадки делал Бакшеев. Раскисшие полосы даже для него, опытного пилота, таили опасность, хотя при надобности и Ершов уже мог заменить командира. С конца марта стали летать по ночам, стараясь попасть на северные аэродромы пораньше, пока нет солнца, пока держатся прихваченные заморозками полосы.

В тот свой последний полет они задержались с вылетом, упустили время и в Бодайбо попали в самую распутицу. Взяв груз, полетели в Усть-Кут. Минут через двадцать к ним на связь вышел Тугелькан и потребовал совершить посадку у них.

— У нас горючего в обрез, только-только до Усть-Кута,— ответил Бакшеев.

— Посадка у нас. Указание командира отряда. Заправкой обеспечим,— распорядился тугельканский диспетчер.— У нас пассажиров полный вокзал.

— У нас груз на борту,— ответил Бакшеев.— Мы сейчас в Бодайбо едва-едва взлетели, раскисло все.

— Груз снимем и заправку обеспечим.

— Что ж, придется садиться,— поморщился Бакшеев.— Если побыстрому, то успеем, а если протянем, то сидеть нам до морковкина заговенья. И откуда только у них керосин взялся? Володька Проявин, видно, расстарался.

При посадке в Тугелькане, когда колеса катились уже по полосе, самолет угодил в ледяное крошево, грязная вода взметнулась навстречу, окатила лобовое стекло, и Бакшеев на миг потерял землю из виду. Стараясь удержать самолет на полосе, не высочить за боковые фонари, он плавно нажал на тормоза. Машину затрясло, приборная доска качнулась, Бакшеев грудью навалился на штурвал и совсем рядом, в круглых стеклах приборов увидел свои налитые кровью глаза, и в тот же миг доска отшатнулась на свое место. «Слава богу, все обошлось,— подумал он.— Хорошо, что потеряли скорость, а то могли бы и шасси сломать». Бакшеев открыл форточку, выглянул наружу. В кабину ворвался тугой, спрессованный гул моторов.

Бакшеев протер рукой лобовое стекло, расчистил для обзора оконце и прибавил газ. Самолет медленно тронулся. Из-под винтов веером полетели брызги, мелкий лед.

Через несколько секунд самолет выполз на твердую землю и, набирая ход, покатил к вокзалу. И только тут Бакшеев заметил, что скверик перед вокзалом забит пассажирами. Они стояли за заборчиком тесно, один к одному, как в автобусе.

— Пассажиров-то!— присвистнул Ершов.— Полпоселка собралось.

— Сюда неделю не летали,— ответил Бакшеев.— Погоды не было, вот и скопились. Ты сходи возьми у диспетчера радиограмму Ротова. На всякий случай подколем ее к заданию.

На улице было тепло и сыро, с крыш домов поднимался легкий парок, солнце, висевшее над заснеженной горой, пробивало насквозь голые деревья. Во всю мощь горланили петухи, возле столовой в огромной луже ребятня пускала кораблики.

— Ну как там у вас, будет похолодание?— на всякий случай спросил Бакшеев у радистки, которая принимала погоду.— Может, подмерзнет полоса? А утром взлетим пораньше.

— Нет, не замерзнет. Усть-Кут, Братск и Киренск даже ночью плюсовые температуры дают. И все это сюда, к нам идет,— ответила радистка.

Взяв у начальника аэропорта машину, Бакшеев поехал на полосу. Тысячи маленьких солнц светили с полосы. Хрусткий ноздреватый лед податливо мялся под колесами машины. Напротив поселка влетел в лужу и чуть не застрял. Вода прибывала прямо на глазах, она уже почти перегородила полосу. «Взлетать, и как можно быстрее»,— решил Бакшеев.

Сразу же после заправки взяли пассажиров и взлетели. Мелькнул берег, самолет втиснулся в узкое ущелье и, набирая скорость, полез вверх. Где-то на уровне макушек гольцов, когда казалось, что они выползли наконец из каменного корыта, внезапно встал мотор.

— Отказ двигателя,— заорал Самокрутов.

— Вижу,— выдохнул Бакшеев.— Попробуем запустить.

Было еще несколько минут борьбы, когда, теряя высоту, с зафлюгерованным винтом отказавшего двигателя, они выполнили круг над Тугельканом. Натужно и во всю мощь ревел второй, «здоровый», двигатель, но ему одному не хватало сил, самолет тянуло к земле, будто кто-то давил на него сверху.

Земля не была страшной, она стала подробной. И Бакшеев видел, что ровного, пригодного для посадки места нет. Внизу, едва не цепляя макушками самолет, проносились деревья. Мелькнули и тут же пропали каменистая осыпь, приткнутые к берегу баржи, занесенные снегом валуны. Сбоку вынырнули крыши домов, заборы, линия электропередачи. Уже рядом с землей правым крылом срезали черный дегтярный дым из длинной металлической трубы, которая находилась на краю поселка рядом с аэродромом. Бакшеев отчетливо разглядел приваренные скобы-ступени, идущие к земле. Дальше он делал все автоматически, так, как привык это делать раньше: подвел самолет к земле и на нужной высоте выровнял его. Посадку он не ощутил, увидел только, как упруго, словно из брандспойта, ударила в лобовое стекло вода.

— Вот это посадочка. Класс!— воскликнул Ершов, когда самолет остановился на полосе.— Можно теперь в пиджаках дырки прокалывать.

— Не думаю,— угрюмо ответил Бакшеев и, отстегнув привязные ремни, медленно вылез из своего командирского кресла. Закрыв глаза, он постоял в кабине, помял рукой грудь, улыбнулся какой-то непривычно слабой улыбкой и, открыв дверь, вышел к пассажирам, что-то сказал им. Пассажиры рассмеялись. Через минуту Бакшеев вернулся обратно.

— Ты отстой сливал?— тихо спросил он Самокрутова.— Похоже, что в двигатели вода попала.

— Сливал, конечно, сливал,— быстро проговорил Самокрутов.— Вон ребята могут подтвердить. Вася, подтверди!

— Сливал, сливал,— мотнул Ершов головой.— Я к Проявину до мной бежал за банкой для отстоя.

Только через полмесяца, после того как подсохла полоса в Тугелькане, попали они в Иркутск, прямо на отрядный разбор.

Все свободные от полетов летчики собрались в техклассе, гадая, кого же признают виновником этой вынужденной посадки.

— Где вы были, когда бортмеханик заправлял самолет?— спросил Ротов, когда Бакшеев закончил свой рассказ о злополучном полете.

— Осматривал полосу,— ответил Бакшеев.

— Кто может подтвердить, что Самокрутов сливал отстой?

— Я видел,— поднявшись, сказал Ершов.— Самокрутов сливал при мне.

— Почему же бортмеханик не потребовал контрольного анализа топлива?— неожиданно спросил Ротов.

Бакшеев ответил не сразу, он понял: Ротов нащупал промах Самокрутова, а следовательно, и его промах. Но задавая этот вопрос, Ротов не мог не знать: контрольный анализ топлива производится в случае, если у экипажа есть сомнение в качестве топлива. У Самокрутова такого сомнения не появилось, а вот Ротов посчитал, что бортмеханик должен был сделать анализ топлива.

— Я же вам говорил, и вот сейчас Ершов подтвердил: бортмеханик слил отстой,— медленно ответил Бакшеев,— следов воды в топливе не было. Контрольный анализ сделать не успели, да и кто его в таких условиях делает? Задержись мы на тридцать минут, могли бы и не взлететь.

— Вот и сидели бы там,— сказал Ротов.— А теперь неизвестно, чем все это кончится. Так хорошо начали год, ни одной предпосылки — и вот на тебе! Но ничего, придется с вас спросить. По всей строгости спросить. Особенно с бортмеханика.

— Надо бы не только с нас три шкуры драть,— хмуро заметил Бакшеев.— А то садиться нельзя, полоса размокла, а нас сажают. Экипаж, мол, выкрутится.

— Не беспокойтесь, каждый ответит за свое,— перебил его Ротов.— Их тоже накажут.

— Посмотрим,— усмехнулся Бакшеев,— только я вот уже двадцать лет на эти аэродромы летаю и не помню, чтоб хоть раз кого-то наказали.

Неожиданно он понял, что роет под Володьку Проявина. Накажут, конечно, и начальника аэропорта, но больше всего Володьку. Это же по его вине оказалась в бочке с керосином вода.

— Почему же вы, опытный командир, зная, что аэродром не пригоден, сели в Тугелькане?

— Товарищ командир, вы как будто не знаете: мне дали указание произвести посадку и вывезти пассажиров.

— Хорошо. Тогда давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны,— подумав немного, сказал Ротов.— Скажем, у вас неисправный парашют, а вам дают команду прыгать. Вы прыгнете? Конечно, нет. Вы сначала убедитесь в исправности парашюта, а уж потом выполните команду.

— Правильно,— заметил Бакшеев.— Но возьмем другой случай. Я уверен, что парашют исправен. Прыгаю. А он возьми и не раскройся. Заело. Непредвиденный случай.

— Вас на то и посадили в самолет, чтоб не было непредвиденных случаев,— обрезал Ротов. Потом добавил:— И не защищайте бортмеханика. Виноват, пусть получит свое, а вы — свое. А коли вы не в состоянии принять грамотное решение и как требуется организовать работу экипажа, держать не станем. Вечно у вас что-нибудь случается. То на закрытый аэродром садитесь, то водой заправляетесь.

Бакшеев, сдерживая ярость, молчал. Он понял: защиту построил неубедительно, на эмоциях. Нужны факты, а они против экипажа.

Десятки людей готовят машину к полету, а все замыкается на летчике. За свою жизнь Бакшеев знал немало случаев, когда летчики скрывали свои и чужие промахи, тянули на базовый аэродром на неисправном самолете: только бы не сидеть на периферии, только бы не писать объяснительные. Уж кто-кто, а они-то знали предел, когда можно лететь, а когда нет. Но Бакшеев никогда не предполагал, что попадется на такой мякине.

Тугельканская бочка с керосином была резервной, из нее давно не заправлялись. Если бы не спешка, он бы обязательно потребовал

контрольный анализ топлива, но он этого не сделал, не выполнил ту самую заповедь из двадцати букв, которую поклялся выполнять еще на гольце Окунь. Поторопился. Но восстанавливая в памяти тот промежуток времени между посадкой и взлетом, он вдруг понял, что не хотел встречаться с Проявиным. И сейчас, когда концы вышли на него, он пуще всего боялся, что Ротов ненароком вспомнит Проявина и вновь истолкует его слова не так.

— Насколько я понимаю, экипаж обвиняют в том, что своими действиями он угрожал безопасности полета.— Бакшеев поморщился, слова вышли казенные, не его, но он уже понял: защищаться нужно тем же оружием, с которым Ротов наседали на него. Теми же словами, которыми пишутся инструкции и наставления.

— Дошло,— усмехнулся Ротов.— Давно бы надо.

— Я еще раз повторяю: так мы ничего не добьемся, если будем переливать из пустого в порожнее,— продолжал Бакшеев.— Благополучное завершение полета зависит не только от летчиков, но и от наземных служб. Так давайте соберемся вместе и решим, что бы мы хотели от них, а они — от нас.

— Оторвем людей от работы, потому что Бакшееву так хочется,— заметил Ротов.— Покороче...

— А это как раз к делу: в Тугелькане нет хозяина. Потапихин, когда ему нужно, закрывает аэродром — то для очистки полосы, то преднамеренно дает плохую погоду, и все ему сходит.

— Вы давайте по существу,— перебил его Ротов.— Отвечайте за свои действия, а Потапихин ответит за свои.

— Отвечать нужно вместе, потому что одно вытекает из другого,— стоял на своем Бакшеев.— Почему в Тугелькане каждую весну выходит из строя полоса? Потому что зимой ее вовремя не чистят. А почему не чистят? Не работает снегоуборочная машина. Объяснения дают разные: нет шофера, нечем платить. А откуда они, деньги, появятся? Я подсчитал: в период распутицы только в Тугелькан за месяц было отменено тридцать рейсов. А в год их сколько набегает? Вот они, живые деньги, на них можно такую полосу отгрести — закачаешься! Почему мы сами себя обкрадываем? Почему мы бьем там, где, может, и бить не нужно? Я здесь не снимаю вины с экипажа. Проморгали. Но если бы бочка была чистой, если бы в ней не было воды, то нам не пришлось бы здесь оправдываться. Лучшие умы создавали самолет, а мы калечим его на дрянных прадедовских аэродромах.

— Ну ладно, хватит,— вновь перебил его Ротов.— Вы умнее всех, вы все понимаете... Начальник управления знает о сложном положении на местных воздушных линиях и делает все зависящее от него. Недавно принято постановление об улучшении работы северных аэропортов.

— Постановление хорошее,— медленно произнес Бакшеев,— но сколько их уже было.

— Товарищ командир, разрешите,— раздался голос Ершова.

— Я вас слушаю,— недоуменно проговорил Ротов.— Добавить что-то хотите?

— Вы тут сказали, что зря посадили меня летать с Бакшеевым,— заикаясь от волнения, начал Ершов.— А я считаю, что мне повезло.

— Сядьте,— остановил его Ротов.— Тоже мне адвокат нашелся. Вот, уважаемый Иван Михайлович, чему вы учите летчиков. Сами нарушаете и других за собой тянете.

После разбора Бакшеева окружили летчики.

— Зря ты так, Иван,— сказал Мордовин.— Ну что ты доказал? Все останется как было. Себе только хуже сделал. Сказал бы: виноват. Ну в крайнем случае сняли бы бортмеханика на полгода, потом, глядишь, стихло все, восстановился бы.

— Значит, нужно как курица — голову под крыло? — раздраженно спросил Бакшеев. — Командир я или кто? Это мой экипаж, и я должен его защищать. Но дело не в этом. Проще простого наказать летчика, куда он денется. У нас ведь как? Нам всыпали и — до следующего случая. А каким он будет, следующий, не знаем.

— Ты все правильно сказал. Тяжело работать стало, — поддакнул Мордовин. — Все на нас переложили. Грязные аэродромы — летчики виноваты; отказывает матчасть — они же; заправился с водой — опять с экипажа стружку гонят. Что поделаешь — кто везет, тот и отвечает. А кто в стороне, что с него спросишь...

— Почему ты мне все это здесь говоришь? — сверкнув глазами, прервал его Бакшеев. — Что там молчал?

— Попробуй скажи, — невесело протянул Мордовин. — Я не враг самому себе...

— Тогда о чем речь? — Иван помолчал и уже спокойно продолжил: — Ничего. Не уволят. Самолет цел, люди живы. Но нервы попортят. Я не понимаю, что происходит. Возможно, я устарел и ни черта не понимаю. Основная задача разбора полетов: найти ошибку, проанализировать ее и научить других, чтоб впредь не повторилось. Уйду, уйду из авиации к чертовой матери.

— Ты это серьезно?

— Я когда-нибудь шутил?

— Ну Иван, ну даешь! — качнул головой Мордовин. — Только я бы на твоём месте потерпел еще. Дотянуть бы до пенсии, тогда бы оно спокойнее было.

— Думаешь, тогда собственное мнение появится? — засмеялся Бакшеев. — Не появится. Не жди.

А через день Бакшеев угодил в больницу. Для всех это было неожиданным — такой с виду здоровяк, и на тебе.

Экипаж полным составом, за исключением Самокрутова, каждый день навещался к нему. Самокрутову было некогда. Сразу же после разбора он начал оформлять пенсию, бегал подписывал какие-то бумаги, считал налет часов. Бакшеев был рад своим, он выходил в коридор, по очереди здоровался со всеми. В короткой, не по росту полосатой пижаме он стал казаться толще и ниже ростом.

— Ну как там? — спрашивал он. — Не нападают?

— Состав преступления не обнаружено, — улыбаясь отвечал Ершов. — Не зря копыя ломали, вмешалась инспекция. Создали комиссию для проверки северных аэродромов. Так что все нормально. Самокрутов ушел на пенсию, устроился в центральную диспетчерскую, там, где списанные пилоты сидят.

— Значит, не обнаружено, — задумчиво произнес Бакшеев. — Только, Вася, все равно не нормально...

И Ершов понял, что командир судил себя много строже, чем Ротов и любые инспекции и комиссии...

— Ну а у тебя, Михалыч, как дела? — спрашивал Ершов.

— Да как тебе сказать, вроде полегче стало, — отвечал Бакшеев. — Вы лучше ко мне вечером заходите. Начальство по домам разойдется, а с медсестрой я договорюсь. Они тут после вас меня ругают — дисциплину нарушаю.

Через неделю после рейса Ершов забежал к нему, как он и просил, вечером. Ершов подивился перемене, происшедшей с Бакшеевым: из него точно воздух выпустили, как из волейбольной камеры, лицо осунулось, пожелтело, и взгляд — он как-то безвольно прокатился по Ершову и, вильнув в сторону, тревожно замер.

— Дали тебе командира, нет? — вяло поинтересовался Бакшеев. — Вторушин с Макаревичем приходили, говорят, опять сидишь.

— Дали, — ответил Ершов. — Плохо, ребят разбросали по разным экипажам. Привык я к ним. Да еще новый командир летать не дает.

— Это не страшно, — псмолчав немного, сказал Бакшеев. — Ты

летать будешь. — И горько добавил: — А я вот, кажется, отлетался. Кардиограмму сняли. Никуда, говорят, кардиограмма не годится. Спишут... А чем я заниматься буду?

— Да что ты, Иван Михайлович, раньше времени паникуешь? — как мог бодро сказал Ершов. — Еще полетаем.

— Нет, Вася, теперь, пожалуй, все. Чувствую, отлетался. Вот раньше, знаешь, меня снимали на землю, но все по-другому было. Оставалась надежда. Верилось, что все равно выкарабкаюсь, восстановлюсь. А сейчас меня отсюда не выпустят. Кому охота брать на себя ответственность? Ты представь: вдруг со мной в воздухе что случится? — Бакшеев помолчал немного. — Куда я пойду? Диспетчером — учиться надо. На тренажер — там своих полно... Я вот Володьку Проявина вспоминаю, как он зайцем ко мне в самолет залез. Теперь-то я понимаю его, он не стал бы прятаться, если бы списанным не был. Он бы разыскал меня и говорил бы на равных, как летчик с летчиком.

Бакшеев неожиданно запнулся. В последнее время он все чаще и чаще вспоминал Проявина. И каждый раз приходил к одной и той же мысли: все, что произошло с ним в Тугелькане, произошло не случайно, видно, так оно рано или поздно и должно было случиться. Это ведь по его вине попал Проявин в Тугелькан.

— Когда стоишь на пороге и дальше пустота, тогда только доходить начинает, — грустно сказал Бакшеев. — Ты представь, сколько на свете людей мечтало бы попасть на твое место!

Ершов пожал плечами. Не задумывался он как-то об этом.

— Не знаешь. А я знаю. Почти каждый здоровый парень мечтает. Люди во сне летают. Заметь, не плавают, а летают. Раз в жизни повезло, крепко повезло — когда я в авиацию попал. Знаешь, вот больше двадцати лет прошло, а все как вчера. Пацаном я часами мог сидеть на крыше дома и ждать, пока высоко, чуть видно, самолет пролетит. Мать все сгоняла на землю. А еще была у меня такая забава. Пойду в лес, заберусь на березу, за макушку уцеплюсь — и вниз. Метров пятнадцать-двадцать летишь по воздуху, березка гибкая, как на парашюте спускаешься. — Слабая улыбка тронула губы Бакшеева. — Как-то мастерил крылья, привязал их к рукам, разбежался по крыше — хлесть в огород! Целил в кучу картофельной ботвы, а до нее было вон как до того окна, — Бакшеев показал глазами в конец коридора. — Почти перемахнул двор, а над забором завис, руки не выдержали тела, и свалился вниз. Тут, конечно, мать крик подняла, отец с ремнем. Но не ударил. Посмотрел на меня как на малахольного и даже ругаться не стал. — Бакшеев на секунду замолчал. — Семья у нас большая была, семь человек. Когда отец шофером работал, еще ничего, сводили концы с концами. А потом после аварии у него шоферские права отобрали. С тех пор стал он летать с места на место: и грузчиком работал, и уборные чистил. А потом по леспромхозам ездить стал. Уедет — и два-три месяца ни слуху ни духу. Чего только мать ни делала, чтоб дома удержать. Куда там! Однажды соседка научила ее: возьми, говорит, сороку, свари из нее суп и накорми его, никуда больше уезжать не будет. Где уж ту сороку мать разыскала, не знаю, но сварила отцу суп. Отец пришел, похлебал...

— Помогло? — удивился Ершов.

— Помогло. — Бакшеев усмехнулся. — Ушел, только его и видели... Вот сейчас я тебе это вроде бы со смехом говорю, а тогда стыдно было. Сейчас моя Танька нос дерет — отец летчик! А представь, каково мне тогда? Попал в училище — на седьмом небе. А закончил, так и вовсе — иду по улице, ног под собой не чувю, весь я такой казенный, новый, все на мне блестит — глазам больно. Старики, которые раньше меня за уши драли, с завалинок приподнимаются, кепки снимают. Для них я как Гагарин. Молодец, говорят, добился своего.

Когда вспоминают, кто из нашего села в люди вышел, то меня первым называют. В училище-то я с третьего захода попал. Первый раз не пропустила мандатная комиссия, второй раз баллов не добрал. Надо мной уже смеяться стали: тонка, мол, кишка. Да не на того напали. Настырный был. Лоб разобью, а докажу. — Бакшеев грустно рассмеялся.

— А верно, что у тебя инструктором военный летчик был? — спросил Ершов.

— Точно. Откуда знаешь? — удивленно приподнял брови Бакшеев.

— Таня рассказывала.

— А-а-а,— протянул Бакшеев. — Верно, инструктор был военный. — Голос Бакшеева неожиданно потеплел. — Боевой мужик, семнадцать самолетов сбил. Хозяин высоты и боя — так мы его про себя называли. Много он мне дал. Первое время я даже его походе подражал. «Иван,— любил говорить он,— жизнь для тебя только начинается. Бери все хорошее и отсекай все плохое, как у дерева сухие ветки. От этого оно только лучше расти будет». Многое уже забылось, а вот эти слова помню. — Бакшеев вздохнул. — А сейчас сам как засохшая ветка.

— Напрасно ты, Михалыч, такое говоришь,— заметил Ершов. — Сорок лет — и засохшая ветка. Придумал тоже.

— Эх, Вася, Вася. Один на долгую жизнь рассчитан, другой быстро разряжается. Ну как бы это тебе сказать... Аккумулятор у него быстро садится. Вот и у меня. Хотел бы я запуститься и лететь дальше, а сил нет, не тянет мой аккумулятор.

Перед самым уходом, когда уже попрощались, Бакшеев тронул Ершова за рукав.

— Вот что, Вася, заскочи ко мне домой. Электробритва у меня перегорела, дома в шкафу безопасная лежит, притащи. Татьяна должна была принести, да нет что-то.

— Хорошо, сейчас съезжу.

Минут через пятнадцать Ершов вышел из троллейбуса и через березовую рощу пошел под гору. Он уже привык к этой дороге. После командировки в Усть-Кут бывал у Бакшеевых почти каждый день. Чтоб не чувствовать себя одиноким в чужом городе, нужен хотя бы один человек, к которому можно прийти в любой момент и знать наверняка, что тот тебе рад. Вот таким человеком стал для него Бакшеев. Был, правда, еще Витька Падуков, но его Ершов не любил за длинный язык. В отряде среди летчиков ходило мнение: если хочешь, чтоб о чем-то узнал весь аэропорт, скажи об этом Падукову. Недавно тот отозвал Ершова в сторону и, пряча усмешку, заявил: «Правду говорят, будто ты в зятя к Бакшееву метишь?» Вечно этот Падуков видел то, чего видеть не следовало. Хотя, конечно, на эту деревянную — полудеревенскую, полугородскую — улицу тянуло Ершова еще и потому, что здесь жила Таня.

В доме у Бакшеевых совсем неожиданно для себя Ершов застал Петра Короедова. Он сидел на кухне, положив на колени старую каракулевую шапку с кокардой, и что-то говорил бывшей жене Ивана Михайловича Лидии Васильевне. Она стояла вполборота к нему и смотрела в окно. Только сейчас Ершов разглядел ее как следует. На вид ей было лет тридцать, и если бы Ершов не знал, что Таня ее дочь, можно было бы сказать, что они сестры.

«Из-за такой можно было потерять голову», — подумал Ершов, вспомнив рассказ Бакшеева о той свадьбе в Бодайбо.

— Ой, Вася, молодец, что зашел, — появившись из комнаты, воскликнула Таня. — Давно ты у нас не был.

Ершов пробормотал что-то невнятное и смутился — когда шел сюда, был почему-то уверен, что Таня одна.

Выручила Лидия Васильевна.

— Ну что же вы стоите,— улыбнувшись, сказала она. — Проходите. Таня, принеси стул. Разве так встречают кавалера?

— Мама, это не кавалер, это Вася, он с папой летал,— вспыхнув, проговорила Таня. — Вася, познакомься, это моя мама.

— Мы вообще-то уже виделись,— сказал Ершов. — Я к вам на минутку. Иван Михайлович бритву просит, безопасную.

— Подожди, я сейчас, я быстро,— виновато воскликнула Таня. — Я уже собралась, да вот мама пришла. — Она запнулась на полуслове, посмотрела на мать.

— Сегодня поздно, больница закрылась,— сказал Ершов. — Лучше завтра, с утра.

Он сказал и тут же пожалел: сам, своим языком, испортил себе вечер. Сейчас бы они пошли в больницу вдвоем.

— Как там Иван Михайлович себя чувствует? — неожиданно спросила Лидия Васильевна, задумчиво глядя на Ершова. — Это серьезно?

— А вы бы зашли к нему,— сказал Ершов. — Мне кажется, он был бы рад.

— И я ей говорю,— поддакнул молчавший до сих пор Короедов. — Ведь не чужие, пятнадцать лет прожили вместе.

— Давайте, Петр Сергеевич, закроем эту тему,— устало сказала Лидия Васильевна. — Он мне всю жизнь искалечил, а вы — «зашли бы»...

— Брось ты, Лида. «Иskalечил!» Когда Иван тебя из Бодайбо привез, у вас все хорошо было, даже завидки брали, честное слово. Не пойму, что случилось.

— А что случилось? То и случилось. Что я с ним видела? Вот эти четыре стены да карты на них... То в командировке, то на переселении. У других праздники, а у меня — одно и то же: собрать чемодан, отправить в командировку и ждать... А жизнь-то идет. И что в итоге он имел? Деньги? Да такие, как и у всех. Люди на производстве не меньше зарабатывают, зато дома, с семьей. А у нас что? Жизнь как у цыган, казенные гостиницы, обмундирование и то казенное. Ничего своего. Вон и она,— Лидия Васильевна кивнула на дочь,— в авиацию собралась. В ее возрасте романтика притягивает. Потому и к отцу от меня сбежала... — Лидия Васильевна с горечью говорила уже только дочери. — А ведь растила я тебя, можно сказать, одна, без отца. Ты вспомни: все вдвоем и вдвоем, месяцами, да что там — годами...

— Нет,— горячо прервала Таня,— мы жили не одни, мы ждали... И в авиацию я все равно пойду, ты мне не запретишь. — Таня замолчала, глядя на мать исподлобья такими же синими глазами.

— Ну хорошо, иди, иди, я тебя не держу,— примирительно сказала мать. — Свихнулись вы оба.

Короедов поднялся со стула,— по-старомодному раскланялся, нахлобучил шапку, при этом заученным профессиональным движением проверил, на месте ли кокарда.

— Ну ладно, пошел я,— сказал он.— Тут у вас без бутылки не разберешься.

Следом за ним, попрощавшись, вышел Ершов. Было уже темно, но воздух был свеж, звонок. Под ногами мялась уже прихваченная сверху коркой оттаявшая за день земля. Выйдя на дорогу, Короедов достал папиросы и, поглядывая на Ершова темными блестящими глазами, закурил.

— Видел ее? — Короедов кивнул головой на дом Бакшеева. — Бесится баба, то сюда, то туда, а дело сделано. И ему плохо, и ей плохо. Всем плохо. Я думаю, Иван сам виноват. Такую бабу надо было все время около себя держать, а он ей доверял. Помню, у нас в отряде вечера были. Наши летчики хоть и знали, что она замужем, все равно вокруг нее гужом. Я Ивану: смотри,— а он только улыбался.

Вот и доулыбался. Колька Тюкавкин увел. Он у нас инженером работал. Молодой, смазливый. Иван, когда узнал, поздно было. Вот так: сначала Проявин, потом Иван, теперь — Тюкавкин. Проявин после того, как Иван Лидку увез, сказал мне: «Попомни, Петя, и от него она уйдет. Порода у нее такая». Прав оказался.

Короедов замолчал. Молчал и Ершов. Он знал, что Проявин, Короедов и Бакшеев заканчивали одно училище и по распределению попали сюда, в Восточную Сибирь. Бакшеев с Короедовым остались в Иркутске, а Проявин уехал в Бодайбо. Короедов уже несколько лет не летал, но тем не менее дружба с Бакшеевым у них не прерывалась. А вот с Проявиным... Ершов вспомнил, как не любил летать в Тугелькан Бакшеев. Поначалу он думал, что причиной тому начальник аэропорта Потапихин, но заметив, как старательно обходил Бакшеев в своих воспоминаниях фамилию Проявина, у Ершова мелькнула догадка: с ним Иван Михайлович встреч избегал.

— Как там у Ивана настроение? — спросил Короедов. — Не хандрит?

— Как вам сказать? Побаивается, что спишут. Электрокардиограмма не идет.

— Это его посадка доконала, — убежденно проговорил Короедов. — Раньше за такую посадку ему как минимум золотые часы бы дали. Сейчас — выговор. Бакшеев — летчик милостью божьей, все это знают, но характер у него... Сколько уж его били, так нет, неимется. Другой бы прилачился, приноровился и, глядишь, был бы сейчас — ого-го! Ведь это он все эти маленькие аэропорты открывал. Садился без связи, подбирал с воздуха площадку и садился... Раньше без всяких там прогнозов и связи можно было спокойнее и быстрее рейс сделать, а сейчас посадили народу, каждому зарплату платят. Прежде чем вылететь, вон сколько условий надо: чтоб была техническая годность аэродрома, чтоб погода соответствовала, чтоб связь была, чтоб диспетчер не запил, чтоб грузчики вышли на работу. Да мало ли что еще надо? А Ротов, вместо того чтоб помочь, нажать на кого следует, жмет на своих. У них с Бакшеевым из-за этого постоянно стычки. Вот возьми: приходят в авиацию молодые летчики и попадают, например, к Ротову. И начинает он им мозги вправлять: то нельзя, другое нельзя. Ему кажется, что весь мир должен жить по инструкции. Раз по рукам ударят, другой — глядишь, человек своей тени бояться начинает, отвыкает мыслить и действовать самостоятельно. Ну а сложись в воздухе нестандартная ситуация? Прежде чем поймут что к чему, много дров наломают. Хорошо, если к нормальному командиру попадут. — Короедов помолчал. — Что это мы тут на сухую лямсы точим? Пойдем ко мне, посидим, поговорим, — предложил он. — У меня бутылочка припрятана.

— Лететь мне завтра, — ответил Ершов.

— И что за летчики пошли? — зевнул Короедов и, сунув Ершову руку, ссутулившись, пошел к своему дому.

Медленно тянется в больнице время. Нутром Бакшеев чувствовал: спишут. Но как и всякий живой человек, не терял надежды. «Не может такого быть, чтобы вот так, сразу, признали негодным, — размышлял он. — Если начнут в сорок лет списывать, что же тогда получится? Для государства сплошной убыток. Подготовить летчика — огромных денег стоит. Об этом они, поди, тоже думают».

Когда приходили с обходом врачи, он пытался разузнать что-нибудь о себе, но они, будто сговорившись, разводили руками: «Ваше дело у главврача Максима Ефимовича Зелинского. Он и решит».

— А где он? — спрашивал Бакшеев.

— Болеет.

«Врачи и те болеют, а что остается нам, простым смертным?» — думал Бакшеев.

Через неделю он узнал, что наконец-то главврач вышел на работу, и с нетерпением стал ждать очередного обхода.

Зелинский вошел в палату неожиданно. Не останавливаясь у порога, он что-то спросил у сопровождающих его врачей, подошел к Бакшееву.

— Как вы себя чувствуете?

— Как тот поп, которому вот-вот дадут в лоб,— пошутил Бакшеев. — Хорошо себя чувствую, вон даже прибавил в весе.

Зелинский попросил снять тенниску, стал слушать. Иван тоже стал тревожно прислушиваться к себе, пытаясь проникнуть в себя самого. Но все было как и прежде — чувствовал он себя неплохо, та режущая боль, которая полоснула его в Тугелькане, ушла, забылась, как забылись и все прежние боли.

— Максим Ефимович, вы мне скажите,— совсем неожиданно Бакшеев уловил в своем голосе просительную интонацию,— вы мне прямо скажите, сяду я за штурвал или нет?

Зелинский глянул куда-то мимо Бакшеева, снял очки, достал носовой платок и стал протирать стекла.

Бакшеев молча ждал. «Спишет,— подумал он,— и не дрогнет».

Зелинский наконец вновь надел очки и только после этого глянул на Бакшеева.

— Ничего я вам пока сказать не могу. Соберем комиссию — решим. А сейчас пока лежите и отдыхайте. Вот посмотрю я на некоторых пилотов — хорошие ребята, а к своему здоровью отношение, мягко говоря, наплевательское. Губят сами себя. Ходили бы в спортзал или по улице прогуливались. Нет, сидят, курят, в преферанс играют. В выходной — пиво пьют. Так самый здоровый организм можно за год угробить.

Попрощавшись, Зелинский вышел из палаты. Следом за ним ро-ем, точно бабочки-капустницы, выпорхнули сопровождающие его врачи.

«Спишут,— подумал Бакшеев, проводив Зелинского взглядом. — Подпишут бумаги — и топай, Ваня, на все четыре стороны». Но разве он виноват, что электрокардиограмма дала сбой? И как же так, на любой другой работе — пожалуйста, вкальвай, никто тебе слова не скажет. А в воздух — шиш!

Да, хорошо, все понятно, все правильно, рассуждал он. Человек, ответственный за жизнь других, должен быть здоровым, это же воздух, туда не вызовешь «скорую». Но, с другой стороны, списанный на землю летчик теряет все, а, скажем, больной Зелинский может до конца дней своих заведовать поликлиникой. Выходит, единственной ценностью, которой он обладал, было его здоровье. Не опыт, не мастерство, а самое обыкновенное здоровье. А берег ли он его? Не щадил себя, как и не щадил его. Но разве не учила его жизнь предусмотрительности? Разве он не знал, что профессия летчика требует жесткого отбора? Знал, но попался, на чем попадают многие, полагая: любая неприятность, беда, несчастье могут произойти с кем угодно, только не с ним.

В середине апреля Бакшеева списали на землю.

Разругавшись в пух и прах с местными врачами, он забрал документы и поехал в Москву, но там решение врачебной комиссии подтвердили. Вернулся он тихий и присмиривший.

— Все, Вася, свободен! — сказал он Ершову в аэропорту. — Теперь могу делать все, что душе угодно. Захотел на рыбалку — пожалуйста, приехали гости — гуляй, никто тебе ничего не скажет. К врачу ходить не надо, зачеты, самолеты — все к чертовой бабушке. В общем, приземлился.

Он глянул на Ершова остановившимся взглядом, от которого тому стало не по себе.

— Ну что ты, Михалыч! — воскликнул Ершов. — Живут же люди без самолетов.

— Конечно, жить можно, — вздохнул Бакшеев. — Вот только если бы еще это убрать, — он ткнул пальцем в небо и, ссутулившись, пошел к автобусной остановке.

С той поры Бакшеев перестал появляться в аэропорту. Днями сидел дома, читал книги и лежал на диване. Иногда в комнату заглядывала Таня. Она смотрела на него встревоженными глазами. Он вспомнил: точно таким же взглядом встретил его после Москвы Ершов.

«Ну чего вы все на меня так смотрите! — хотелось крикнуть ему. — Я здоров!» Но он не кричал. Одевался и выходил на улицу. Присаживался на крыльцо, смотрел на крышу, на остановившийся винт, который до прошлой осени исправно молотил воздух. Установил его Иван давно, когда еще летал в малой авиации. Тяжело было таскать в гору воду с Ушаковки, и Бакшеев закрепил на мачте винт, от него к бензонасосу провел гибкий привод, и пошла вода по трубам прямо в огорода на весь околоток.

Сидел Иван, смотрел на свое хозяйство. Не мешало бы взяться за ремонт, но не поднимались руки. Как-то захотел занести ведро с водой в дом, но Таня подскочила, отобрала его: «Папочка, я сама. Тебе нельзя носить тяжелое».

«Дожил, — подумал Бакшеев. — То нельзя, другое нельзя, а что же можно?» Сдерживая закипающее раздражение, он поднялся с крыльца и ушел к себе в комнату.

Через некоторое время Таня принесла ему поесть.

— Что, у меня ног нет? — хмуро сказал он, покосившись на тарелку в руках дочери. — Я же не в больнице. Унеси.

Ходуном заходила тарелка в Таниных руках, задержались, расползлись губы. Бакшеев соскочил с кровати, обхватил ее.

— Танюха, доченька, прости, прости меня, дурака... Не хотел я тебя обидеть!

— Ничего, ничего, папа, — глотая слезы, бормотала Таня. — Это я так, я ведь хотела как лучше.

— Пойми хоть ты — здоров я! Ошиблись врачи, — закричал он. — Через год я снова в Москву поеду. Я им покажу. Всем докажу. Ну а не получится — новую жизнь начнем. А?

Всклипывая, Таня кивала головой.

После этого случая Бакшеев ожил, стал чаще заговаривать с дочерью, пробовал шутить. Занялся ремонтом. Первым делом выровнял забор, застелил досками ограду: доски легли одна к одной, ни про света, ни трещинки. Разогнавшись, принялся за погреб. Прямо за сениями в огороде вырыл яму — четыре на четыре. И на этом дело застопорилось. Зарядили дожди на целую неделю, яму затопило, а когда вода стала спадать, обвалились края. Вместе с ними, едва не придавив Бакшеева, поползла у сений задняя стенка. Едва успел укрепить ее подпорками. В неудаче с погребом он увидел для себя дурной знак. Еще раз подтвердилось, что взялся за дело, не продумав все до конца. Начал копать в низине, там, где после дождей собиралась вода. Уж это-то он должен был предусмотреть. А так — вся работа насмарку.

Посидел Иван над ямой, обругал себя последними словами.

«А зачем, собственно, мне погреб? — подумал он. — Проживу и без него».

Впервые в своей жизни он согласился с этим доводом. Была правда, слабая попытка закончить начатое. Но хватило ее лишь на то, чтобы закопать яму. На этом его хозяйственный пыл угас.

Прикидывая, куда бы ему устроиться, Бакшеев все чаще оставался на работе диспетчера. Однажды, совсем случайно, ему уже приходилось заводить на посадку самолет. В Усть-Куте это было. На запасной аэродром пришел самолет. Погода была, как говорится, на пределе. Мокрый снег и сильный боковой ветер. Три раза самолет заходил на посадку и все неудачно, не мог попасть на полосу. В аэропорту подняли тревогу, вызвали пожарные машины и «скорую». Тем временем летчики готовились к последнему заходу — кончалось горючее. И тут совершенно случайно на вышку поднялся Бакшеев. «Спросите, кто командир», — попросил он диспетчера. «Мордовин», — ответил тот. Он взял микрофон у диспетчера, глянул на стекло, к которому лип мокрый снег. «Миша, с тобой разговаривает Бакшеев. Отдай управление второму пилоту, пусть на посадку заходит он, а ты контролируй, но не мешай».

Он мгновенно представил, что произошло там, в кабине самолета. Мордовин с первого захода не попал на полосу. Ушел на второй и снова не попал. Хочет как лучше, а получается наоборот. «Разрядился», — уж он-то знал Мордовина как пять пальцев. Все так и случилось. Второй пилот зашел на посадку как надо. Не потому, что лучше командира летал. При заходе в плохую погоду почти вся нагрузка ложится на командира. Плюс ответственность. А второй сидит свеженький.

«Но в диспетчеры мне дорога заказана так же, как и в воздух. Там тоже здоровье нужно». Ну, а командовать «кашей», как в аэропорту называют машину, развозящую питание по самолетам, Иван считал унизительным. Когда ему в отделе кадров предложили пойти диспетчером в цех питания, он отказался: «Вы мне еще фартук шейте». Идти на поклон к Ротову Иван не хотел, мучила обида. Слышал он, будто бы Ротов, узнав, что его списали на землю, сказал: «Сам виноват, сам себя загнал. Это передо мной можно было выкобениваться, пусть на земле попробует. Там его быстро на место поставят».

Бакшеев понимал: своей болезнью он как бы подтвердил правоту Ротова, и это бесило его. «Ничего, мы еще посмотрим, — неизвестно кому грозил он. — Руки, ноги есть, голова на месте. Проживу и без самолетов». Но когда к нему домой приходили летчики, Бакшеев оживал, особенно рад он был Ершову. Нравилось ему смотреть на этого здорового веселого парня, слушать, как он похоже — и словом и интонацией — копирует Ротова, как, размахивая руками, показывает свои заходы на посадку.

«Вот она, молодость, — думал он. — Все еще впереди, ни одного облачка над головой. Сердце как часы, ноги быстры, пружинисты. Что-то не получилось — ничего, в другой раз получится, время есть».

А давно ли он сам был таким?

Но еще больше приходу Ершова радовалась Таня. Она быстро накрывала на стол, заваривала чай и то и дело просила Ершова рассказать еще что-нибудь про полеты.

— Самая что ни на есть паршивая работа, — подтрунивал над дочерью Бакшеев. — Один звон, а не видно, где он.

— Скажешь тоже! — восклицала Таня. — Я даже во сне вижу, что сижу в кабине самолета.

— А я тебе говорю: девчонок туда не берут! — повышал голос Бакшеев. — Не женское это занятие.

— Ну а Раскова, Гризодубова, Савицкая?

Бакшеев начинал возмущенно сопеть, ему хотелось сказать, что все это противоестественно, женщина должна рожать, растить детей, а не парить в небесах.

— Иван Михайлович, ты мне объясни, — влезал в разговор Ершов. — Я многое с вами понял. Но скажите, зачем вы мне советовали возить бельевую веревку?

— Хо-о! — неожиданно громко смеялся Бакшеев. — И не поймешь. Где тебе понять, голова другим занята. Из предусмотрительности. — Бакшеев откашлялся в кулак, лицо его разгладилось, просветело, и на миг он стал тем Бакшеевым, которого Ершов привык видеть раньше. — Прилетели мы как-то на «Ан-2» в Омолой. Подходит ко мне знакомый охотник Николай Шепиленко. «Выручай,— говорит,— Михалыч. Я тут переезжать собрался. Все перевез, поросята остались. Жалко бросать». Ну, я ему: веди, говорю, отвезу. А сам в магазин ушел, купить мне что-то надо было. Прихожу, в самолете два кабана пудов по восемь каждый. Лежат вдоль борта, похрюкивают. Прощел я в кабину, запустил двигатель. Взлетели и на Казачинск пошли. Но едва мы вошли в облака, свиньи взбесились, вскочили на ноги и давай по самолету бегать. Что тут началось! Самолет то в пике войдет, то чуть ли не на лопатки ложится. Рев стоит, визг, ничего понять нельзя. Ну, думаю, конец, упадем. Молодец Шепиленко, догадался: открыл входную дверь — кабаны в нее, как в бездну, провалились. Визг стоял на всю тайгу. А все потому, что веревки не оказалось, мы бы их связали и довели в целости и сохранности.

В начале июня Бакшеев поехал на лодочную станцию, где, как говорил Мордовин, требовался сторож. Походил Иван среди лодок, понравилось ему. Место тихое, спокойное, с одной стороны двухметровый забор, вдоль берега лодки, а за ними скользящая гладь Ангары. И работа легкая — сторожить с девяти вечера до девяти утра. С вечера обойдет Иван свое хозяйство, проверит, все ли в порядке, потом сядет на бережок и смотрит на воду. Неслышно скользит мимо река, спешит, будто по расписанию, далеко на север. Иногда чуть-чуть прибует, иногда убудет, но всегда в одном, неизвестно кем заданном ей направлении. И лишь уткнувшись в океан, прекращает свой бег: некуда ей двигаться дальше, как сейчас некуда двигаться и Ивану. Бывал он в тех краях, на берегу океана, летали по договору с полярниками. Шестнадцать лет прошло с тех пор, и кажется Ивану, что всего этого и не было вовсе. «А может, и правда, приснилось? — думал он, поглядывая на реку. — Может, это было совсем с другим человеком?»

Да нет же, нет, было.

После того как он увез Лиду из Бодайбо, экипаж Ротова отправили в командировку возить грузы для ленинградской геофизической экспедиции. Рейсы были разными, но в основном вдоль Ледовитого океана. Базировались они в Хатанге. Лида осталась дома, в Иркутске. Не хотелось ему расставаться с молодой женой, но что поделаешь: работа. И каково же было его удивление, когда в одном из рейсов в Жиганске к нему, едва он ступил на землю, бросилась Лида.

Уже потом он спрашивал ее, почему она решила искать его именно в Жиганске и что бы она стала делать, если бы в тот день они не сели там, а улетели в другую сторону. «Но вы же сели,— смеясь ответила она,— значит, я все рассчитала правильно». Кто там распоряжается судьбой — неизвестно, но весь свой расчет, как выяснилось, она построила на телеграмме, в которой он перед этим поздравил ее с днем рождения, послав телеграмму из Жиганска.

Конечно, он был рад встрече, но его она поставила в трудное положение — через полчаса им предстояло вылететь в Хатангу, а Ротов отказывался взять ее с собой.

«Если она у тебя чокнутая, то я тут ни при чем,— раздраженно говорил он. — Мне хватит за вас и одного выговора. Как я ее возьму, кем? Зайцем? Ну уж извините. А вдруг кто проверит?»

Иван подумал: Ротов отыгрывается за те неприятности, которые принес он ему после злополучной свадьбы в Бодайбо. Тогда Иван решил купить билет и отправить Лиду в Хатангу на рейсовом само-

лете. Но Ротов сходил к заказчикам, и они взяли Лиду сопровождающей груз. Через час уже были в воздухе. Лида сидела на мешках и счастливыми глазами смотрела на Ивана.

Та командировка запомнилась ему на всю жизнь, и он потом всегда с нежностью вспоминал то лето.

Они летали каждый день. Вечером Лида встречала его около самолета. На ночь, если это можно было назвать ночью — солнце не заходило круглые сутки, — они уходили за поселок. Устроить в гостиницу Лиду не удалось, не было мест, а дежурная в пилотской не хотела верить, что Лида его жена, и наотрез отказалась поместить их вместе. В ту пору они еще были не зарегистрированы. Бакшеев на время устроил Лиду к девчонкам в общежитие, а ночевали они за поселком, в палатке, которую Бакшеев взял у геологов.

Вдоль деревянных домов были проложены высокие, похожие на мостики деревянные тротуары. Иван объяснял Лиде, что тротуары сделаны специально так высоко, чтобы зимой их не заносило снегом. Лида удивленно вертела по сторонам головой — все так интересно, необычно. Она любила все необычное. Улицы в те поздние часы были безлюдны, лишь кое-где на мягких ногах, точно боясь потревожить тишину, как тени, бродили собаки.

И хотя в палатке их донимали комары, здесь они были одни. Он так и запомнил то время: много солнца, серый с проплешинами мох, неяркие полярные цветы, серый брезент палатки и ласковые глаза Лиды.

Утром они возвращались в гостиницу. Иван шел на стартовый пункт, а Лида досыпать к девчонкам в общежитие. В полете он клевал носом, Ротов, который до поры до времени смотрел на его походы за поселок сквозь пальцы, потребовал, чтобы он отправил Лиду домой. Но Лида уезжать отказывалась. Она говорила, что будет сидеть в общежитии и не высовывать из него носа, но на другой день все повторялось. Она поджидала его уже не у самолета, а при выходе из аэропорта, и они снова шли за поселок. Ротов грозился дать радиogramму в Иркутск, чтоб ему прислали другого второго пилота. Но не давал.

«Ну хоть бы дождь пошел», — думал Иван в полете, стараясь перебороть монотонный гул моторов. Он понимал: нужна пауза, нужен отдых, но полеты могли быть прекращены или из-за непогоды, или по какой-нибудь неисправности самолета.

Но небо оставалось чистым, двигатели работали исправно, аэропорты принимали и выпускали, и работе не видно было конца. Лида улетела в начале августа, и, как назло, сразу же испортилась погода, зарядили дожди.

Все, что было у них позже, все четырнадцать лет их жизни Бакшеев обходил стороной, старался не прикасаться к ним, а вот те первые дни стояли перед глазами... Он знал: иногда Лида приходит к нему домой, к Тане, но ему удавалось избегать встреч, не хотелось, чтобы она увидела его вот такого — списанного на землю, сторожа с лодочной станции.

«А интересно, помнит ли она то лето, — думал он, — помнит ли ту палатку, с которой, собственно, и началась наша жизнь?»

Однажды после дежурства Иван сел в автобус и, только заплатив за проезд, понял, что автобус идет в Лисиху, туда, где работала Лида. Он даже не мог дать себе отчет, почему едет туда и зачем. Очутившись в Лисихе, он вспомнил: Лида уехала в отпуск, Таня говорила ему, но он забыл. Иван постоял на улице, не зная, что делать дальше. Мимо него, укрывшись зонтами, шли люди. Иван хмуро смотрел по сторонам, опасаясь, что кто-нибудь узнает его и догадается, зачем он приехал сюда, но никто его не окликнул.

Очень скоро Бакшеев вновь заскучал. Было бы еще ничего, но прямо над ним заходили на посадку самолеты. Бакшеев поднимал голову, указательным пальцем сдвигал на затылок форменную фуражку, пытаясь достать глазами номер самолета. «Сорок седьмой», — отпуская самолет, определял он. И тут же вспоминал, что как-то на этой машине он возле Олекминска обогнал Василия Колодина. В Якутске тот набросился на него с кулаками, уверенный, что Бакшеев шел на повышенном режиме...

«Я вот помню, что летал на ней, а интересно, помнит ли она меня?» — размышлял он. Странное дело, он уже не раз ловил себя на мысли, что все то, что придумано человеком и может двигаться, а тем более летать, должно помнить и понимать, кто в нем сидит или сидел.

Постепенно звук моторов стихал, пропадал, и Бакшеев успокаивался, но несколько минут спустя небо вновь напоминало о себе.

Через месяц Бакшеев уволился с лодочной станции, хотя увольнять его не хотели. Особенно огорчились, узнав, что Иван увольняется, владельцы личных автомашин. Вот уж кому он угодил так угодил. Как-то Бакшеев предложил оборудовать на месте свалки, находившейся рядом с лодочной станцией, стоянку для автомашин. Начальник лодочной станции почесал лоб, посмотрел на Ивана, на свалку и, не мудрствуя лукаво, все переложил на Бакшеева: кто предлагает, тот и выполняет. Иван нанял бульдозер — и через день стоянка была готова. Там же он оборудовал пожарный щит, сколотил ящик для песка — точь-в-точь как на самолетной стоянке. Мужики на радостях пообещали выбрать его на следующий год в начальство, а он поблагодарил их и написал заявление об уходе — рыба ищет, где глубже, а Иван решил уйти подальше, чтоб не видеть и не слышать самолеты.

Подвернулась работа сантехника в жэке. Работа, как он говорил, не бей лежачего, сутки дежуришь — двое свободен. В подвале многоквартирного дома у сантехников был свой «кабинет», посреди которого стоял стол, два стула, а вверху у самого потолка светило наполовину прикрытое фанерным листом узенькое окно. Неба отсюда видно не было — закрывал соседний дом. С утра Бакшеев обходил квартиры: менял краны, батареи, трубы, чистил канализацию, словом, делал все то, что и положено делать сантехнику. По давно заведенному порядку ему совали на чай, Иван отказывался, стыдил, но потом стал брать, утешая себя тем, что не возьмет он — возьмет другой.

В один из своих обычных обходов Бакшеев поднялся из подвала на девятый этаж и позвонил в квартиру, из которой поступила заявка на ремонт батареи. Дверь открылась сама, едва он нажал звонок. Он очутился в прихожей, где никого не было. Оглянувшись, Бакшеев заметил в углу, возле самого пола, электромотор, от которого к дверям шла тяга. Дверь открывалась и закрывалась автоматически.

— Есть тут кто живой? — спросил громко Бакшеев.

— Проходите, я сейчас освобожусь, — раздался из соседней комнаты мужской голос.

В тот же миг там что-то загремело. Бакшеев заглянул в комнату. Посреди нее, в окружении досок, кусков фанеры, ящичков, бутылок с клеем, спиной к двери сидел седой мужчина и торопливо сдвигал ящички к стене, освобождая проход. Чего-то не хватало в нем, Бакшеев не мог понять — чего. И только через секунду до него дошло: мужчина был без ног.

— Да вы не беспокойтесь, я только батарею осмотрю и уйду, — торопливо сказал Бакшеев. Он пробрался к окну, осмотрел батарею. Батарея была в полном порядке. Тут он уловил знакомый запах. Бакшеев втянул в себя воздух. — Эмолит? — коротко спросил он у мужчины.

— Точно, он,— подтвердил мужчина, поглядывая на Ивана светло-голубыми, как у ребенка, глазами. — Перкаль на него хорошо ложится. Вот на лодку натягиваю,— мужчина кивнул на сигарообразную, поблескивавшую лаком посудину, которая лежала на подпорках вдоль стены.

Неожиданно Бакшеев почувствовал, что где-то он уже видел эти глаза. Попытался вспомнить где, но не смог.

— А как же вы ее на улицу вытаскиваете? — спросил он, окинув взглядом лодку, занимавшую собой полкомнаты.

— Через окно.

— Как через окно? — удивился Бакшеев.

— Обыкновенно. Открываю створки — и на веревках.

Мужчина глянул на него, и тут до Бакшеева дошло: это же штурман Заикин, который стрелял в него из ракетницы на гольце Окунь.

«Так вот ты где, штурман», — подумал Бакшеев. Так, значит, это о нем он слышал на лодочной станции. В основном хвалили сделанные им лодки. Были они одна лучше другой: легкие, ходкие, устойчивые и, что особенно важно, сухие, совсем не протекавшие. Рассказывали, будто бы однажды смастерил Заикин планер и хотел на нем сигануть с девятого этажа.

«Узнает или нет? — думал он. — Ведь сколько лет прошло».

— Говорят, вы и планеры делаете? — не раскрывая себя, спросил Бакшеев.

— Говорят, в Москве кур доят. — Заикин коротко рассмеялся. — Раньше пробовал. Только кому они нужны, мои планеры? Вот лодки заказывают. Планер что, его в хозяйство не пристроишь. Одна морока с ним. У нас под домом в подвале у ребят клуб. Отдал им, думал, хоть они займутся. Побаловались, потом зачихали в кладовую.

— Вы что, летали? — спросил Бакшеев.

— Нет, разве что только во сне. — Заикин на секунду замолк, пошарил по комнате глазами, подтянул к себе стул, обмахнул его тряпкой, подвинул Бакшееву.

Заикин не признавал, а быть может, и не хотел признавать его.

— Я ведь планер не для красоты делал,— продолжал Заикин. — На нем вполне можно было летать. Смастерил по книгам, но своей, облегченной, конструкции. Я тут инженеров пригласил посмотреть. Они меня просмеяли — «велосипед изобрел!». Тогда я дельтоплан сделал. Испытывал здесь, с этого балкона. Привязал груз и пустил. Мальчишкам моя идея понравилась, стали собак с балкона пускать, а соседи меня чуть в сумасшедший дом не отправили. Написали жалобу, что я дурной пример подаю.

— Можно, я ваш планер посмотрю? — попросил Бакшеев.

— На кой он вам сдался?

— Вы знаете... — Бакшеев запнулся на полуслове. Он хотел назваться, но, взглянув на себя глазами хозяина, решил не раскрываться, пусть все останется так, как есть. — Я когда-то летал на планерах,— схитрил он. — Если вы разрешите, то я попробую.

— Берите, если его не растащили или не сожгли.

Порывшись в кармане, Заикин протянул Бакшееву трешку. Ивана бросило в жар: ему, здоровому мужику, инвалид давал на чай.

— Да вы что, смеетесь?

Он торопливо засунул трешку Заикину в карман и вышел.

С этого дня он перестал брать деньги.

А через неделю в «кабинете» произошел скандал с напарником хмурым неразговорчивым мужиком, которого Бакшеев про себя окрестил немым.

— Чего это ты, паря, начал свои порядки устанавливать? — не глядя на Бакшеева, сказал он. — Чего людей обижаешь?

— Я обижаю? — удивился Бакшеев. — Откуда ты это взял?

— Ты вот что, дурачка не строй,— зло сказал напарник. — Может, там у тебя на книжке тысячи лежат, нахапал поди, пока летал. Только к нам со своим уставом не лезь.

— Ну так что же ты растерялся, взял бы и пошел в летчики. Или трешки собирать легче?

— Ты клиентов портишь, паря. Они дают не потому, что ты им нравишься. За работу дают. Они не хотят быть хуже других, а ты их унижаешь. Раз попал сюда — подчиняйся, а не то шею свернем.

— Ты, что ли, свернешь? — протянул Бакшеев, чувствуя, что теряет над собой контроль. Он быстро собрал свою сумку и ушел домой.

В тот же день Бакшеев уволился. До этого случая не было повода, а нашелся повод — и он уволился.

Все свободное время стал Бакшеев пропадать в центральной диспетчерской. Он приходил сюда с утра, точно на работу, усаживался на стул, который стоял возле окна, и сидел, разглядывая перрон, стоянку самолетов, проезжающие машины. Все было знакомо, привычно, будто он всю жизнь провел здесь.

Установленные на пульте динамики то и дело что-то требовали, угрожали, ругались: кому-то срочно нужна была заправка, кто-то просил тягач, питание. Все потребности, все нужды аэропорта сходились, замыкались в этой комнате. Иван узнавал знакомые голоса пилотов, улыбался, когда в разговор влезал Короедов. Совсем недавно он сам сидел в кабине и точно так же возмущенно требовал заправить его самолет.

— Ну разве можно все упомнить? — жаловался Бакшееву рыхлый, похожий на перезрелый груздь старший диспетчер Василий Колодин. — У меня же голова не Дом Советов. На стоянке всего один свободный топливозаправщик. Не могу же я враз заправить три самолета. И с этими пассажирами беда, всю зиму сидят, а лето настает — валом валят. Думал, сижушь на землю, поживу спокойно. А здесь того и гляди в ящик сыграешь. Вон Самокрутов уже бежать навострился.

— Ты, Вася, заправь в первую очередь бодайбинский рейс,— советовал Бакшеев. — Бодайбо работает только днем. У летчиков времени в обрез. А рейс на Киренск отмени, дай команду, чтоб мирнинский рейс на обратном пути у них сел. Загрузки в Мирном почти нет, пассажиры сейчас в основном на север прут. А придет самолет с Бодайбо, ты его на Братск разверни. И налет ребятам будет и пассажиров развезешь.

— Ну, Ваня, ну, голова,— восхищался Колодин.

— Давай на мое место,— предлагал Бакшееву Самокрутов. — Сутки дежуришь, двое свободен, чем не жизнь. Или, если хочешь, через месяц место освобождается. Диспетчера по заправке.

Иван в ответ улыбался далекой улыбкой.

— Все на землю опуститься не можешь. Ну скажи, что мы хошого видели? — злился Самокрутов. — Города? Да нигде дальше аэродрома и гостиницы не бывали. Наша жизнь как магнитофонная лента — прокрутил ее, а на следующий месяц все заново, те же аэропорты, те же слова, та же музыка. Я вот часто думал, почему ты с Ротовым ругался. Ну чего тебе недоставало? Я замечал, он тебя уважал, хоть и ругал. Считался с тобой. С другими нет, а с тобой считался. Вел бы ты себя по-иному, он бы, глядишь, пристроил тебя в хорошее место.

Вечером после смены в диспетчерскую заглядывал Короедов, и сразу же в комнате, где сидели списанные пилоты, становилось тесно от его хриплого голоса.

— Иван, ну что ты здесь сидишь? Что, еще не посмотрелся на

своего дорогого механика?— громко кричал он.— На ипподром пиво привезли, пока ты здесь штаны протираешь, разберут.

— Петь, у тебя что, живот болит?— интересовался Бакшеев.— Кричишь — ушам больно.

— А я иначе не могу,— гоготал Короедов.— У меня голос командирский, стоит мне гаркнуть, грузчики пулей на самолеты. Ну что, идем? Разберут ведь.

— Не разберут,— усмехаясь, отвечал Бакшеев.— Да и нельзя мне, врачи не разрешают.

— Вот тебе раз! Вчера можно было, сегодня нельзя. Ты их больше слушай, они и так полжизни у тебя отняли, а ты все на них оглядываешься. Плюнь! У меня сосед врач, так он говорит: есть желание — выпей. Я так и поступаю, себя не ограничиваю и тебе не советую.

Бакшеев смотрел на плотное, отсвечивающее синевой лицо Короедова, на бледное, жаркое небо и сдавался, шел на ипподром.

Как-то однажды Бакшеев пришел на ипподром один, без Короедова. Буфет был закрыт, и он, поглядывая на часы, присел на скамейку. И вдруг увидел Проявина. Появился тот откуда-то сзади, из-за кустов, покрутил по сторонам своей птичьей головкой.

— Володя! Проявин!— окликнул его Бакшеев.

Проявин вздрогнул, оглянулся и, точно что-то припоминая, посмотрел на Бакшеева.

— А-а-а, это ты, Иван,— наконец-то признал он.— Я думаю, кто это меня зовет? Ты что, давно здесь?

По-стариковски шаркая ногами, Проявин подошел и плюхнулся на скамейку рядом с Иваном.

— Тяжело?— спросил он и сам же ответил себе утвердительно: — Конечно, тяжело: жара!

Иван молча оглядел Проявина. На нем был старенький заношенный авиационный костюм и серая форменная рубашка.

— Ты, Иван, на меня не обижайся,— поглядывая под ноги, сказал Проявин.— Ты, наверное, думаешь, что я специально воду в керосин налил. Бочка давно стояла, вода, видимо, нынешней весной, когда начал таять снег, попала. А так я ее проверял. Ей-богу проверял!

— Верю, Володя, верю.

— А Потапихин не поверил. Уволил меня.

— Пошли, буфет открыли,— сказал Бакшеев. Ему стало неловко и стыдно за то, что по его вине так жалок Проявин. И сейчас он понял: оба они связаны чем-то невидимым и постыдным, и если бы даже они жили в разных местах, эта невидимая связь все равно держала бы их на одной нитке до самого гроба. А ведь не родня и вроде бы не враги. Он все больше и больше убеждался: все в мире связано, сделай кому-то плохо — и обязательно когда-то отзовется...

— Бутылку коньяку,— громко сказал Бакшеев буфетчице.— И закусить: конфет или лимон.

— Зря ты это,— вяло пробормотал Проявин.

Бутылку коньяку они распили быстро. Иван пошел взял еще. Хмель не брал, его трясло как в ознобе. Он вдруг почувствовал, что в него вошла забытая боль и встала около сердца. Бакшеев боялся потревожить ее, и, быть может, от этого разговор не клеился.

— Ты знаешь, Иван, а я заходил к тебе,— барабанил по стакану пальцами, вдруг Проявин сказал.— Ребята мне твой адрес дали. Дочь твою видел, говорил с ней. Хорошая она. А ведь могла бы моей быть. Ну, не всей, а той другой половиной, что от Лиды. А так,— на щеках Проявина заиграли желваки,— убить тебя хотел. Нож не сил. Думал, встречу — и чтоб один конец тебе и мне. Вовремя одумался. Ушла она от тебя — обрадовался. Думаю, так тебе и надо! И увидел дочь — и все простил. Вот сейчас сижу, и нет у меня к тебе

зла. Обида есть, что все скверно получилось, а зла нет. Ведь умрем и до всего этого никому никакого дела не будет. А дочь у тебе красивая. Точь-в-точь как Лидка перед свадьбой.

— В летное собралась,— осторожно сказал Бакшеев.

— Вот видишь, любит, значит, тебя. И Лидка тебя до сих пор любит. Видел я тут ее.

— Виноват я перед тобой, Володя,— чувствуя в себе какую-то жаркую облегчающую слабость, быстро заговорил Бакшеев.— И тащить мне все это до самого гроба.

— Брось!— Махнул рукой Проявин.— Не мучай себя. Вот за то, что угостил меня, спасибо. Может, еще пятерку займешь? Я тебе отдам.

Бакшеев быстро достал деньги, протянул Проявину десятку.

— Пятерки нет,— виновато сказал он.

Проявин покрутил в руках десятку, встал, сходил к буфетчице.

— Мне десятки много, десятку я могу и не вернуть,— сказал он, протягивая сдачу.

Бакшеев увидел желтые прокуренные ногти на руках Проявина, вспомнил: точно такие же ногти он видел у Заикина, когда тот совал ему трешку. И еще не до конца сознавая, что делает, и лишь повинуясь какому-то порыву, он неожиданно предложил:

— Володя, давай сходим в аэропорт. Ребята говорили, есть место диспетчером по справке.

— Кто же меня туда возьмет? Для авиации я теперь персон нон грата.

— Ничего, ничего!— уверенно произнес Бакшеев.— Уломаем.

Он знал: приглашая с собой Проявина, он закрывает дорогу себе. Но сейчас он не мог иначе.

Через неделю Проявин оформился в «приют». Уломали списанные пилоты начальство, уговорили взять Проявина на работу. Но с тех пор перестал Иван ходить в аэропорт. Друзья обижались — готовили место для него, а он подсунул другого.

Опять оставшись в одиночестве, сходил Иван в подвал, вытащил планер Заикина и перевез к себе домой. Планер оказался цел, хотя и пострадал изрядно: крыло пробито, нервюры сломаны. «Для полетов жидковат,— окинув взглядом конструкцию, подумал Бакшеев,— нужно усилить по моему весу».

Вскоре дом Бакшеева стал напоминать столярную мастерскую. Посреди двора скелет планера, вокруг него обрывки перкали, куски фанеры, рейки, мотки проволоки. С утра до позднего вечера у Бакшеева народ — в основном пацаны с близлежащих улиц. Больше мешают, чем помогают. А ему хоть бы что, щурит свои темные глаза, смотрит на ребят. Поначалу думал — забава, а оказалось — интересно. И для Ершова Иван нашел занятие: определил в снабженцы.

— Полетишь в Нюрбу, сбегай через полосу в лесок,— наказывал он Ершову.— Самолеты там списанные лежат, еще с войны их туда понатащали. Набери уголков, трубок.

Иван вручал ему подробный список, что ему еще требуется для планера. Через некоторое время Ершов появлялся у Бакшеева, обвешанный металлоломом.

— Дурью мается,— узнав про Иванову затею, сказал Самокрутов.— Шею захотел свернуть. В Тугелькане не свернул, здесь свернет.

— Совсем отбился,— поддакивал Короедов.— Из ума выживать стал, с пацанами связался.

Короедов не мог простить Бакшееву, что тот перестал ходить на аэродром, ну и, стало быть, на ипподром.

Но однажды Короедов появился у Бакшеева дома. Иван даже не заметил, как тот подошел к нему. В тот день он оклеивал планер зеркалью.

— И что, полетит?— спросил Короедов.

— Полетит,— улыбаясь, ответил Бакшеев.— Еще как полетит. Вот только машину бы где взять, чтобы разогнать по земле.

— У Самокрутова. У него же вездеход.

— Не даст,— уверенно сказал Бакшеев и, помолчав немного, спросил: — Как там у вас? Что нового?

— Зарубину встретил, сегодня Александру три года. Может, сходим, помянем?

— Надо же, а я забыл,— смутился Бакшеев.— Точно. Три года. Ты вот что, посиди, а я в магазин сбегаю. А то закроют.

Ему стало неприятно оттого, что не он вспомнил своего лучшего друга.

— Не торопись,— заметил Короедов.— Сейчас Мишка Мордовин подойдет, его и пошлем.

— Нет, я сам. Вы меня подождите, я мигом.

Нахлобучив фуражку, Бакшеев пошел к воротам.

— В новый магазин не ходи, очередь там, селедку в банках привезли,— крикнул вслед Короедов.— Зря прстоишь.

— Ничего, у меня продавщица знакомая, без очереди отпустит!

Очутившись за воротами, Бакшеев ускорил шаг. Солнце, покачиваясь в такт его шагам, то поднимаясь, то опускаясь на крыши города, едва не натыкалось на острый сверкающий купол церкви. Раньше она служила для летчиков ориентиром, над ней они выполняли последний разворот перед посадкой. Вспомнив об этом, Бакшеев отвел взгляд от церкви, ощутив в себе внезапную, ничем не заполнимую пустоту.

Короедов оказался прав, в магазине была очередь. Кое-как пробившись к прилавку, Бакшеев протянул продавщице деньги.

— Это еще откуда такой бодрый выискался?— раздался сзади женский голос.— Нацепил форму и думает, можно без очереди.

— Женщины, мне ваша селедка ни к чему, мне всего лишь одна бутылка нужна, товарища помянуть,— громко и как бы извиняясь проговорил Бакшеев.

До этого случая, надевая форменный пиджак и фуражку, он как-то не задумывался, имеет ли право носить форму или нет. Надевал по привычке. В форме он чувствовал себя увереннее. И вот надо же, укололи.

Бакшеев взял бутылку, сунул ее в карман и вышел на улицу.

— Иван Михайлович, притормози на минутку,— услышал он вдруг голос Ротова.

Бакшеев оглянулся. Напротив магазина стояли «Жигули», возле машины Ротов. «Еще его мне не хватало»,— досадливо подумал Бакшеев.

Ротов захлопнул дверцу и подошел к Бакшееву.

— На ловца, как говорится, и зверь бежит,— сказал он.— Ты чего это, ушел из отряда и носа не кажешь?

— Не думаю, чтоб вы скучали без меня,— хмуро проговорил Бакшеев и посмотрел мимо Ротова.

— Торопишься куда-то?

— Сашке Зарубину сегодня три года. Ребята собрались, хотим к жене сходить помянуть.

— Да, это надо,— согласился Ротов.— Садись, подброшу, заодно и поговорим.

— Поговорить можно и здесь.

— Ну хорошо, давай здесь.— Слабая понимающая улыбка скользнула по лицу Ротова и тут же пропала.— Как ты, Иван Михайлович, смотришь на должность помощника командира по штабной работе? Мы тут новую эскадрилью организуем. Все-таки родной отряд. Работу ты знаешь.

Бакшеев молча смотрел на своего бывшего командира: предложение Ротова не обрадовало его, скорее наоборот.

— Пустая затея,— сказал он.— Какой из меня писарь? Нет. Не пойду.

— Что, все из-за старого?

— Ты знаешь, Анатолий Алексеевич, не в тебе дело,— нахмурившись, заговорил Бакшеев.— Сидеть и писать липу я не могу... Наши руководящие документы хороши для комиссий, проверок. Они требуют одного, а в полетах случается другое. Выкрутился — прав летчик, попался — тут уж, извините, правы будете вы.

— А ты все такой же,— заметил Ротов.— Ты видишь одну сторону, другую ты не видишь. Я согласен, обстановка в полетах часто меняется, но летчик должен учитывать все. Для этого его и сажают в кабину. Ну, ругаем мы вас, наказываем, но в конечном итоге все ради общей пользы. А со временем инструкции меняются, документы пересматриваются.

— А люди? Знаешь, Анатолий Алексеевич, вот здесь,— Бакшеев постучал себя по груди,— происходит необратимое. Инструкция будет новой — хорошо, а человека не будет. Я тут недавно Заикина встретил. Без ног он живет.

— Сам виноват,— перебил его Ротов.— Сидел бы у костра, было бы нормально.

— Дело не в костре, сам знаешь,— вздохнув, проговорил Бакшеев.— Один может все снести, другой быстро ломается.

Они помолчали. Бакшеев собрался уже было идти, но тут Ротов, не глядя на Ивана, сказал:

— Кстати, принято решение снять Потапихина. Я на днях с Фонаревым разговаривал. Так что зря ты меня упрекал.

Зарубина жила в старом двухэтажном доме. Бакшеев не был в нем после похорон Александра. Так же, как и при хозяине, напротив дверей стоял комод, слева у стены кровать, над ней фотографии. С одной из них удивленными глазами смотрел на гостей Сашка Зарубин...

«Эх, Сашка, Сашка,— с горечью подумал Бакшеев.— Тебя-то уж никогда не спишут на землю».

Зарубин ушел из отряда после стычки с Ротовым четыре года назад. А началось у них с пустяка: в журнале технической учебы не оказалось подписи Зарубина. Ротов при всех отчитал его. Сашка полез в бутылку, стал доказывать, что подписи нужны для нечестных людей — поймать в случае чего, схватить за руку. Если бы это сказал летчик, Ротов бы еще посмотрел, как с ним поступить, но это сказал бортмеханик. Сашку отстранили от полетов. Зарубин написал рапорт и ушел техником на стоянку.

«Ротов — это паровой коток,— сказал он Бакшееву.— Он подмигает всех и делает это якобы в благих целях. Ну ладно, стариков он еще побаивается, считается с ними, хотя бы для виду. Но посмотри, что он делает с молодежью. Он выравнивает их так, что они становятся на одно лицо. Не могу я работать с ним». Вскоре Сашка перучился на вертолет, вновь стал летать, правда, теперь в малой авиации.

А погиб Зарубин обидно. Вертолет, на котором он летел, совершил вынужденную посадку. Дело было зимой. Экипаж провел двое суток в тайге. Сашка вызвался идти искать людей. Семьдесят километров он шел, потом полз по заснеженной тайге. И не дотянул каких-то сто метров. Нашли его замерзшим на окраине поселка...

— Раньше от гостей дверь не закрывалась, а теперь... — подергивая губами, сказала Зарубина.

— Женя, Женя, перестань. Мы-то пришли,— сказал Мордо-

вин.— Я сегодня прилетел, только нос из кабины высунул, а Петька Короедов говорит: «Давай сходим к Жене».

— Я и не расстраиваюсь, привыкла. Правда, иногда хочется на все плюнуть и уехать куда глаза глядят, чтоб не напоминало. Только куда ехать-то? — Зарубина молча смотрела в сторону.— Ну а ты как, Иван? — пересилив себя, спросила она.— Как живете?

— Да как тебе сказать? — пожал плечами Бакшеев.— Живем. Татьяна в авиационный поступает. Последний год дурила, говорит: в летное хочу. Я так и эдак, еле отговорил. Что поделаешь — моя порода.

— Ну а Лида, она-то где?

Бакшеев промолчал. Когда-то, еще до Лиды, Иван ухаживал за Женей, и кто знает, не встретить он Лиду, могло быть все по-иному. Почему так произошло, он не знал. Но что произошло, то произошло. Женя вышла за Александра, и они стали дружить семьями. Часто он ловил себя на мысли, что Зарубину он знал лучше, чем свою Лиду. А ведь столько лет прожили вместе. Она так и не раскрылась перед ним до конца, что-то осталось в ней такого, чего то ли она не захотела показать, то ли он не сумел понять. Он думал, что во многом была виновата легкость, с которой он взял ее, и, быть может, от этого не было в его семейной жизни спокойствия. Как началось, так и пошло. А потом случилось то, что, собственно, и должно было случиться: Лида нашла другого. Может быть, надо было бороться за семью, а в нем заговорила оскорбленная гордость: променять его, летчика, на какого-то сопляка! Может быть, он оттолкнул Лиду сам? Может быть, все забыть и попытаться начать сначала? Но как склеить то, что расколото, как переступить через самого себя?

— Не думал я, что все вот так быстро пройдет,— сказал Бакшеев.— Думал, все надолго: летать — так всю жизнь, любить — так до гроба.

— Ты, Ваня, не дури,— сказала Женя.— Устраивайся куда-нибудь, а то свихнешься. Ты еще молодой, тебе еще можно начать все сначала.

— Куда? — Бакшеев приподнял голову, глянул на Зарубину.— Я и так две работы сменил. Осталось грузчиком попробовать. Знаешь, хотел я жизнь без самолетов начать. И не смог, оказалось, что ничегошеньки в этой жизни не смыслу. Вот меня с детства приучили, что воровать, обманывать грех. А посмотришь кругом: и воруют и обманывают... Может, в деревню уехать?

— Эх, Бакшеев, Бакшеев, куда ты от себя денешься? — покачала головой Женя.— Да и какой из тебя грузчик? Мне Саша всегда говорил, что у тебя дар учить летать. И вообще, посмотрю я на вас — сдали, ох как сдали. А какими парнями были! Глаза радовались.

— Зря обижаешь, Женя,— подал голос Короедов.— Если хочешь знать, грузчик — сейчас величина, ты даже не представляешь какая. После летчика и диспетчера в авиации это, пожалуй, третья по значению специальность. Главное, нет страха. Везде мне рады, везде возьмут. Ротов боится за свое место, вон трясется, а я — нет. Я свободный человек. Сейчас я могу сказать Ротову все, что о нем думаю. И уволят меня? Шиш! Он-то на мое место не пойдет. Конечно, летчиком быть почетно. Есть две должности, которые заслуживают уважения,— Короедов стал загибать пальцы,— это министр и командир корабля. Первый потому, что голова, а второй — что все на себе тянет.

— Ну ты и подзагнул,— засмеялся Бакшеев.— А как же грузчики? Ведь третья по значению специальность. А техники, диспетчера?

— Сейчас, Иван, в авиации другое время, другие люди в цене,— веско заметил Мордовин.— Сейчас в цене те, которые аккуратно выполняют свою работу, те, которые с начальством не спорят. Главным достоинством стало не творчество, а исполнение. Чкаловские времена давно кончились. Каждый полет взят под контроль. Любое слово,

любое действие записывается. Вот у меня второй пилот — Погодин. Вроде такой же, как и все. А приглядишься — не такой. Только пришел, уже книжечку завел, налет на пенсию считает. Или Ершов...

— Ты мне Ершова не тронь! — тихо сказал Бакшеев. — Что ты им передашь, как научишь, такими они и будут. Есть еще, Миша, ответственность, и она может быть только у думающих людей. Ответственность за дело, за людей... Вчера я Фонарева встретил, отца. Гляжу, идет ко мне. Ну, думаю, сейчас начнет за сына выговаривать. Нет. Руку протянул, лицо виноватое. Извинился за Гришку, а потом попросил рассказать, что я думаю о Тугелькане.

— А-а, сейчас все управление на ноги поставлено, — подал голос Мордовин. — Слышал, что натворили? Работал там «Ан-2» на патрулировании лесов. В субботу они устроили выходной, стали праздновать чей-то день рождения, а вечером полетели в Бурово, там у них знакомые продавщицы бьют. Вернулись ночью. А в Тугелькане ночного старта нет. Спас их Володька Провайн, он за вещами тогда прилетел. Пришлось покомандовать, выставил вдоль полосы машины с зажженными фарами. На посадке самолет попал в лужу, крутнулся и помял лопасть. Там неделю сильные дожди шли.

— Точно, Тугелькан на неделю закрывался, — подтвердил Короедов. — У нас на складе двадцать тонн черешни для них лежало, а аэропорт закрыт. Черешня забродила, пришлось выбрасывать.

— Вы здесь посидите, а я в садик за сыном сбегаю, — сказала Зарубина.

— Ваня, знаешь, какая мне мысль сейчас в голову пришла? — проводив взглядом Женю, сказал Короедов. — Чего бы тебе с ней не сойтись, а? Баба она что надо.

— Ты это серьезно? — прищурился Бакшеев.

— Вполне.

— Мне кажется, для того, чтобы сходить и жить, нужно любить.

— Ты скажи, как заговорил! — засмеялся Короедов. — Как в старых романах. А я тебе вот что скажу: все они одинаковы. Мы сами выдумываем себе болезнь, потом маемся. А все от того, что чего-то ждем. Я вот ничего не жду и доволен.

— Брось притворяться, — сказал Мордовин. — Хотел бы я на тебя посмотреть, если б тебя жена бросила. А ведь может.

— Моя? Никогда! — быстро ответил Короедов.

— А это почему?

— Она меня любит.

— Ну вот и договорились, — засмеялся Бакшеев. — Нужна-то, оказывается, самая малость.

В конце лета пришло Ивану из деревни письмо от матери. Прочитал его Иван, решил съездить к ней. Собрался за полчаса, запер дом и еще через полчаса был уже на железнодорожном вокзале.

В вагоне народу было немного. Бакшеев попросил проводницу разбудить его перед Куйтуном, забрался на верхнюю полку и уснул.

...— Тебе, Иван Михайлович, как опытному пилоту, разрешаем посадки прямо на балконы. Знаем, не подведешь, — сказал управдом. И поставил в трудовую книжку печать, разрешающую делать посадки на балконы.

Хорошо стало Ивану, не жизнь — малина. Соберет свою слесарную сумку — и полетел. По дороге к Лидии залетит. Постоит под окнами немного и дальше полетит.

В один из таких полетов попал Бакшеев к Заикину.

— Скажи, а ты в телевизорах разбираешься? — неожиданно спросил Заикин.

— А что с ним?

— Не знаю, вырубился что-то.

Телевизор стоял посреди книжных полок, которые закрывали всю стенку. Иван оглядел корешки книг — все это была техническая литература, в основном по конструкции самолетов. Он попытался вспомнить, какие из них читал, и тут же с неприятным для себя чувством отметил: книги были ему незнакомы.

Бакшеев вскрыл телевизор, заметил сгоревший предохранитель. Заикин стал совать ему деньги, и в это время на экране показалась Лидия, а за ней Ротов.

— Здравствуй, Ванечка,— сказала она.— Ты это что, как мальчишка, под окнами моими торчишь? А? Товарищ Ротов, заберите у него свидетельство, чтоб не пугал народ.

— Придется забрать,— глухо сказал Ротов.— Инструкции нарушает. Тут мы его хотели начальником аэропорта в Тугелькане послать. Фонарев больно настаивал. Да, видно, нельзя доверять ему. Прошу свидетельство.

— А это ты видел? — Бакшеев по привычке хотел показать кукиш, но увидев, что Ротов направляется к нему, выскочил на балкон, прицепил себя к планеру и ринулся вниз...

Что-то загрохотало, толкнуло его в спину, и Бакшеев проснулся. В купе стояла проводница и громко говорила:

— Куйтун, через двадцать минут прибываем.

«Кому что снится, то и снится,— подумал Бакшеев, разминая затекшую руку.— Рассказать — со смеху помрут».

Он глянул в окно, за стеклом стояла густая стена тумана, лишь по набегавшим время от времени столбам да металлическому шороху и перестуку колес он догадался, что поезд еще движется, подбирается к станции.

Иван прыгнул с полки и, вытащив из-под подушки полотенце, пошел умываться.

Наконец поезд остановился. Иван прыгнул на землю. Где-то впереди — глухо, будто из-под земли — прогудел электровоз, обдавая сыростью, покатали мимо вагоны.

Едва угадывая дорогу, Бакшеев пошел на автостанцию. Дорога шла под гору, туман в низине стоял такой, хоть ножом режь. Минут через двадцать он был на автостанции. Возле щита с расписанием толпился народ. По старой привычке Бакшеев стал искать знакомых, но их не оказалось. Ему вспомнилось, что раньше он ездил отсюда домой на такси. Хотя особой надобности в этом не было, но любил Иван показать себя. Такси стояли и сейчас, прокалывая туман зелеными глазками. Бакшеев скользнул по ним взглядом: тридцать километров туда, тридцать обратно — дороговато. Автобус шел где-то к обеду. Постояв немного, Иван решил идти пешком. Поплутав среди улиц, выбрался за город, а там дорога пошла в гору, показывая себя метров на десять, ну от силы пятнадцать. Через километр Иван свернул на тропинку, параллельную основной дороге; идти по ней было удобнее.

Двадцать пять лет назад вот этой же дорогой шел он поступать в летное училище. Под рубахой шуршали завернутые в газету аттестат, заверенная фельдшером медицинская справка и характеристика из школы. Шел босиком, хотя за спиной в рюкзаке лежали ботинки: берег для города. «Лишь бы пройти комиссии и сдать экзамены»,— эта мысль хоть и тревожила, но не омрачала дороги. Радостное, приподнятое чувство не покидало его. Среди полей грезились самолеты, и на сидящих вдоль дороги ворон он смотрел с веселой снисходительностью.

Через час туман стал редеть. Тихо и незаметно открылись глазу поля и перелески. А сверху, набирая силу, разрывая на клочки туман, пробивался солнечный свет.

«Высота пятьдесят, видимость семьсот,— подумал Бакшеев.— Как раз по моему минимуму». Он высчитал в уме, за сколько секунд про-

скочил бы эти метры, получилось ровно семь секунд — глубоко вздохнуть и выдохнуть. В такие же вот дни он, когда был инструктором, собирал летчиков и поднимался с ними в воздух — тренироваться. Теперь это позади. Все позади. После того как его списали на землю, в нем поселилось ощущение, что он что-то недоглядел там, в небе, что-то прошло мимо него, и, быть может, сейчас, когда он ходит по земле, оно открывается другим.

«Все проходит,— думал Иван, подходя к дому.— Каждый человек идет по дороге дважды: один раз вверх, потом вниз, обратно к тому, с чего начал, вот так, как и я сейчас...»

Мать встретила в ограде, заплакала:

— Хоть бы весточку с самолета опустил, что ли. Хорошо, Таня письмо напишет. Ребята вон где живут, и то каждый год проводят.

Мать жила одна. Все разъехались, разлетелись. Старшая сестра осела в Новосибирске, младшая еще дальше — в Курске. Братья подались в другую сторону. Как ушли служить в армию, так и остались там: один в Хабаровске, другой — в Уссурийске.

— Да не мог вырваться — дела,— говорил виновато Бакшеев, обнимая сухонькие плечи матери.

— Знаю я твои дела,— грустно посматривала на него мать.— Ну да ничего, вовремя приехал. Картошку сможешь выкопать. С собой возьмешь, что ты там со своего огородика снимаешь? Приехал бы, нагреб да увез, а то улетишь и опять про все забудешь. Мне-то сейчас до тебя тяжело добираться. Устарела.

— А я уже не летаю, мама,— сказал Бакшеев и совсем неожиданно услышал в своем голосе забытый всхлип, как будто и шел сюда, чтоб поплакаться, как в детстве.

— Что так?

— Отлетался. Хватит.

Иван решил не говорить матери, что его списали по здоровью. Зачем огорчать, и так из-за него немало пережила.

— Ну и слава богу,— сказала мать.— Поживешь хоть по-человечески.

Иван улыбнулся. А как же тогда, выходит, он жил до этого? Что же он тогда маялся, не находил себе места? Все, оказывается, просто. Живут люди без самолетов и не мучаются.

«Ничего,— решил он про себя,— вот побуду здесь — и все забудется. Закончит Таня институт, перееду сюда насовсем». И, успокоенный этой мыслью, шагнул в дом.

Но недолго продержался Иван в деревне. Все дела были сделаны: картошка выкопана, дрова переколоты. Иван снова заскучал. Он вдруг со всей ясностью понял, что тихая размеренная жизнь в деревне не для него. Он пытался бороться с собой, вставал рано, брал оставшееся от отца ружье и уходил в лес. Забирался в самые глухие места, снимал куртку, стелил ее на землю, ложился и подолгу смотрел в осеннее небо.

«Еще год, и, пожалуй, можно вводить Ершова командиром,— думал он.— Говорит, новые машины получили. Это хорошо. Жаль, что я не летаю на них. А Ротову, поди, не хватает меня...» И Бакшеев поймал себя на том, что думает о нем без злости. Злость осталась в городе, в больнице, на лодочной станции; здесь же он думал о нем отстраненно, что-то отошло от него, отлетело, как отлетает от дерева лист осенью.

Однажды в тихий солнечный день он забрел на Камчатку — самую высокую около поселка гору. Вершина ее была голой. Одним каменистым боком гора нависала над рекой, а другим полого опускалась к перевалу, через который шла дорога к районному центру. Прямо под горой через реку был переброшен висячий мост, чуть ниже виднелся остов старой мельницы, рядом с ней под длинным навесом

пилорама, а за ней, на бугре, поселковое кладбище. На нем вот уже больше года лежал отец. Дальше за кладбищем стояла тайга.

Почему так называлась эта гора, Иван не знал. Когда в школе по географии они проходили полуостров Камчатку, он долго не мог взять себе в голову, что Камчатка полуостров, а не гора и находится где-то далеко-далеко на краю земли.

Когда-то на эту гору затащил его отец. Возвращались они с рыбалки, и ни с того ни с сего отец потащил его в гору, прямо в лоб, по камням и осыпям. Иван боялся оглянуться назад, ему казалось: вот-вот — и они сорвутся в реку. Но зато какой открывался вид! Уже потом, когда он во сне прилетал в свою деревню, то видел ее почему-то отсюда, с Камчатки.

От пилорамы, высверливая тишину, долетал до него тонкий режущий звук, время от времени он брал непосильную высокую ноту, штопором ввинчивался в сухое осеннее небо и вдруг, будто обессилев, замолкал, и Бакшееву начинало казаться, что и сердце его держится на ниточке и с каждой секундой она становится все тоньше и тоньше: возьми пила на полтона выше — оно оборвется и полетит вниз, к реке, к притихшему осеннему лесу. Посидев немного, он потихоньку начал спускаться вниз к дому.

В конце сентября, когда с тихим шорохом посыпал с деревьев лист, когда по вечерам с маленьких озер для первых пробных полетов стали подниматься дикие утки, Бакшеев уехал в город.

Вот уже несколько дней Ершов ходил сам не свой. В последнем полете случилась у него неприятность. В Хатанге при сдаче груза у него обнаружили недостачу около восьмидесяти килограммов лимонов. Был составлен акт. Ротов, узнав об акте, приказал высчитать с Ершова из зарплаты стоимость недостающих лимонов; мало того, дело передали в товарищеский суд.

— Деньги — пустяк, заработаешь, — поймав Ершова в коридоре, шептал Падуков. — А вот если будет суд, то не видать тебе командирского кресла, как своих ушей. Беги к Бакшееву. Только он может помочь. Ротов, говорят, его недавно обратно приглашал работать. Так что если Михалыч за тебя попросит, дело могут прекратить.

К Бакшеевым Ершов не то что вошел — влетел.

— Таня, Михалыч приехал? — крикнул он.

— Что случилось? — встревоженно спросила Таня. — Папа вчера приехал. А после обеда ушел к Самокрутову, ребята планер на луг к Ушаковке унесли, а он пошел за машиной. Хочет сегодня его опробовать.

— Ну, тогда все нормально. — Ершов облегченно вздохнул.

— Ты подожди, — быстро проговорила Таня, — я сейчас переоденусь.

Минут через пять они вышли на улицу и пошли к гаражам. Неподвижно, будто к чему-то прислушиваясь, стояли вдоль дороги высокие тополя, уже наполовину голые; освещенные солнцем макушки уперлись в полусонное осеннее небо. Тополя были видны издали, именно по ним Ершов с воздуха отыскивал дом Бакшеева. Отсюда, с земли, все выглядело по-иному: дорога уже, деревья выше, — и узкий, огороженный крышами домов клин неба вокруг показался далеким и отчужденным.

«Если бы не Бакшеев, если бы не Таня, возможно, я бы давно все бросил и уехал отсюда домой», — подумал он. В последнее время ему часто казалось, что он родился и жил для того, чтобы попасть именно сюда, на эту улицу, чтобы в этот теплый вечер идти с Таней и разыскивать ее отца, непонятно почему вдруг ставшего для него самым близким человеком.

В гаражах Бакшеева не оказалось, зато в дальнем углу под машиной лежал Самокрутов и точно из подворотни следил за подхо-

дившим Ершовым. Рядом с ним лежали ключи, гайки — бывший бортмеханик занимался ремонтом.

— На лугу Иван,— сказал он, высунув наружу голову.— Собрал всю шпану, пошел шею себе ломать.

Самокрутов осуждающе посмотрел на Таню, но, видно, этого ему показалось мало, и он едко добавил:

— Ты бы хоть на него повлияла. Чего людей смешите?

— Пойдем отсюда.— Таня снизу вверх глянула на Ершова и, не попрощавшись с Самокрутовым, пошла к выходу.— Боюсь я за отца,— сказала она, когда вышли за ворота.— Он ведь действительно может разбиться. Уж я-то его знаю, чего захочет — не остановишь. Я думала: ну соберет планер, отведет душу да и забудет. Куда там!

Впереди на лугу около Ушаковки затарахтела машина, и тотчас они увидели, как по желтой, выгоревшей за лето поляне понеслась серая, похожая на огромного уродливого гуся птица. Вот она скакнула вверх, упала, снова скакнула и снова опустилась, и когда уже казалось, что она так и не оторвется от земли, взмыла, кособоко пошла вверх, потянула за собой тонкий тросик.

Набрав посильную для него высоту, планер замер, точно раздумывая, что же ему делать дальше, и вдруг клюнул носом и стал валиться на крыло.

— Ой, что он делает! — громко крикнула Таня.— Что он делает?!

И с этим криком она бросилась по проулку вниз к реке, туда, куда падал планер.

Все обошлось. Когда они прибежали на луг, то увидели Бакшеева целым и невредимым. А вот планер пострадал изрядно.

— Центровку рассчитал неправильно,— словно оправдываясь, говорил дома Бакшеев Ершову. Был он возбужден, глаза блестели, чувствовалось, что он был рад: вопреки всему он все же вновь поднялся в небо.— Понимаешь, Вася, рулей не хватило. Был бы мотор, я бы газа добавил и за счет тяги и обдувки восстановил бы управляемость. И сердце ничего, не подвело! — Бакшеев постучал себя по груди.

— Папа, у Васи неприятность,— строго сказала Таня.— Вася, чего ты молчишь, расскажи.

— Ты как груз принимал, по частям или партией? — выслушав Ершова, спросил Бакшеев.

— Как всегда, загнали машину на весы, затем разгрузили, машину снова взвесили, а разницу высчитали.

— А в Хатанге груз на двухсоткилограммовых весах принимали, да? Тогда мне все понятно. С больших весов на малые — всегда недостача будет. Плюс законы физики. Вы на север три тысячи километров пролетели. Есть еще нормы естественной убыли. Вот они, твой восемьдесят килограммов, и набежали. Ты хоть отметки в документах сделал, что упаковка не нарушена?

— Сделал.

— Тогда бояться нечего,— хлопнул по плечу Ершова Бакшеев.— Впредь только варежку не разевай. Ну, а Ротов-то, Ротов... Уж кто-кто, а он-то эти вещи знает. Во дает, сразу же под суд.

— Михалыч, говорят, Ротов тебя в отряд работать приглашал? — уже другим, повеселевшим голосом спросил Ершов.— И вроде бы ты отказался. Зря ты так, без тебя дышать нечем стало.

— Скажешь тоже,— махнул рукой Бакшеев. Он вдруг почувствовал: ребячья радость прошла, все стало на свои места. Нельзя вернуть то, что не возвращается: молодость, силу, здоровье. Жизнь не остановишь. И остается одно: делать то, что ты можешь. На любом месте и в любых обстоятельствах.

ПЕРЕКЛИЧКА



ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО

* *
*

Перекличка идет, перекличка идет по военным полкам.
Долетает до вас повелительный бас старшины.
И, касаясь плечами и выровняв руки по швам,
вы ему отзоветесь кто с этой, кто с той стороны.

И над вечной землей зазвучат вразной голос, голоса —
из квартир и болот, из больничных палат, из-под мраморных
плит.

И, бинтуя поля, обовьет их снегов полоса.
И дорога опять, словно рана в ночи, заболит.

Ах, как быстро весна забирается в этом году
на отроги высот. Но не знает она одного:
что осталось в цепи, атакующей ту высоту,
от поднявшейся роты — четыре солдата всего.

Ваши средние братья — под ядрами Бородина.
Ваши старшие братья поят из Непрядвы коней.
Вы — бессмертные люди. Такая уж должность дана
нашей Русской землею для лучших ее сыновей.

Ну а если и смерть, то она как приказ по полку,
чтоб в предписанный час, покидая очаг и семью,
вам вернуться с побывки к походному костерку
и занять, как положено, штатное место в строю.

Голоса, голоса... То ли это гречиха гудит.
То ли топот полков обгорелые носят ветра.
То ли тень самолета над самую крышей летит.
То ли в туче живет заплутавшее эхо «ура»...

* *
*

На морозный квадрат полигона
ты пришел командиром полка.
У комбатов дела к пенсиону,
а тебе еще нет сорока.

Вот и думай: в чем ее загадка?
Из каких она цветастых снов?
Сойка — золотистая закладка
В книге недолистанных лесов.

Дорога к тебе

Ели взяли дорогу в тиски,
А стволы — как закованы в латы,
Но холодного солнца куски
Проломились, упали сквозь лапы.

И на сумрачном, синем снегу
Замерцали серебряно слитки.
Я надолго в душе сберегу
Путевые мгновенные снимки.

Это чувство восторга старо,
Но опять им распахнуты дали.
Легок шаг мой и зренье остро.
За поземкой спешу над прудами.

Лист березы, застывший во льду,
Нашу осень хранит на безлистье.
Вновь к тебе за прощеньем иду
С горько-сладкой рябиновой
кистью.

ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК

Дрезден, весна сорок пятого

*Солдатам 164-го батальона 5-й гвардейской армии,
спасшим сокровища Дрезденской галереи.*

Еще пожары отражала Эльба,
и, потеряв свой каменный апломб,
соборов древних ангелы и эльфы
нахохлились, оглохшие от бомб.
Еще мерцал в кривых дворцовых брешах
поблекший щит готической луны,
и, пузырясь, как кожа с обгоревших,
сползала краска с цвингерской стены.
Кренились купола от трещин резких,
и, выпучив незрячие глаза,
святые на потрескавшихся фресках
молитвенно глядели в небеса,
откуда свист металла гневом божьим
срывался в бездну улиц городских,
И Дрезден, не остывший от бомбежек,
вздыхал обрубки почернелых кирх.
Еще земля качалась как с похмелья,

но к тайникам, где маялись холсты,
солдаты пробирались в подземелья
сквозь минные ловушки темноты,
где в сырости удушливой, весь в ранах,
томился Рубенс, брошенный в подвал,
и с Дюрером в обнимку Лукас Кранах,
в руинах погребенный, истлевал.
И горевала в сумраке бездонном,
не понимая, в чем ее вина,
как смертница, Сикстинская мадонна,
не веря в то, что будет спасена.

Учу немецкий

Средь обновленных городов,
площадок детских,
под стук берлинских поездов
учу немецкий.
Нет, не по пыльным словарям
в уютном классе —
по рыжеватым фонарям
на Фридрихштрассе,
по чванным прописям ворот,
парадным аркам,
листве Зееловских высот
и Трептов-парка.
И, повторяя курс отцов,
зубрю, мудрея,
седую готику дворцов
над плеском Шпрее.
Учусь склоненью в падежах
не в книжках школьных —
на поднебесных этажах,
в кроmeshных штольнях.
Внушает лейпцигский проспект
с акцентом местным
футурум, презенс и перфект.
Учу немецкий.
Шрифтами бухенвальдских
плит,
где травы стихли,
мне скорбь истории твердит
его артикли.
Учусь по лепету мальцов,
по вздохам старцев,
среди Тюрингенских лесов,
на склонах Гарца.
Спрягаю меж потсдамских
крон
как сумасшедший
глаголы будущих времен
с давно прошедшим.
Ловлю грамматики азы
и обороты
в раскатах веймарской грозы
над домом Гёте.
Учу язык не по верхам —

Вот-вот глаза защиплет. Странно...
 Все вижу как сквозь пелену.
 Вот-вот, как будто к ветерану,
 К стволу корявому прильну.

* *
 *

Рассвет в сорочьих разговорах
 О том, что близок перелет...
 И на борисовских озерах
 местами трескается лед.

Смотри — заметно поредела
 Гурьба заядлых рыбаков,
 Снега овчиной грязно-белой
 Сползли с покатых берегов.

Последний день февральский светел,
 Голубизной небес рожден,
 И лишь сердитый, колкий ветер
 Еще по-зимнему студен.

* *
 *

Поднялась голубиная стая.
 Принимаю как дар дорогой
 Отфутболенный детской ногой
 Мяч случайный. К груди прижимаю...

ИВАН ПАНКЕЕВ

* *
 *

Наша романтика стоит недешево:
 в полночь и в снег — за порог.
 Словно бумажные трутся подошвы
 кожаных наших сапог.

Мы не клянемся ни в дружбе, ни в верности,
 громких чураемся слов.
 Знаете, в чем наше право и первенство? —
 первым ответить: «Готов!»

К дружбе готов и к защите отечества,
 просто — готов, без прикрас.
 Держится в мире на чем человечество?
 На человечности в нас...

* *
 *

Смять листья. В шорох свежий
 ступить без тени зла.
 Как все же прочно держит
 нас горсточка тепла!

Захочется нагнуться,
ладони спрятать в сушь
и тайно прикоснуться
к прожилкам — струнам душ.

Шершавый шорох листьев
наполнит вечера —
он вечно независтлив:
и завтра и вчера.

Как души, лица нежит
сентябрь лучом тепла!
Задумчивей и реже
мы смотрим в зеркала.

Пылает день стоцветьем
событий, дел и лиц.
Мечтают наши дети,
не ведая границ...



ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



ГОРЯЧИЙ ПЕПЕЛ*

Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием

ХЛОПОТЫ НИЛЬСА БОРА

Пока гитлеровский рейх сохранял стратегическую инициативу в войне, мозговой центр Манхэттенского проекта работал с полным напряжением сил. Но после Сталинградской битвы и особенно с середины 1944 года, когда стало ясно, что Советская Армия уже нанесла фашистскому зверю смертельную рану, среди ученых начались колебания. Многие усомнились: оправданно ли прибегать к атомному оружию в данной войне?

Первым против этого активно выступил Нильс Бор. Как один из первооткрывателей тайн атомного ядра он считал своим долгом предотвратить использование ядерной энергии в военных целях. Бор добивался, чтобы эта грозная сила была немедленно поставлена под международный контроль с участием Советского Союза. Он доказывал, что если оставить русских в неведении о новом оружии, которое скоро окажется в руках американцев, это может привести к распаду антигитлеровской коалиции, к разделению послевоенного мира на два враждебных лагеря, угрожающих друг другу ядерным оружием. Бор утверждал, что он как физик нисколько не сомневается в способности Советского Союза создать собственную атомную бомбу.

16 мая 1944 года Бор добился приема у Черчилля. Британский премьер был тогда целиком поглощен подготовкой к высадке союзников во Франции. Он неохотно согласился встретиться с ученым. На беседу было выделено всего полчаса. К тому же когда Бор по обыкновению начал неторопливо и сбивчиво излагать свои мысли, научный советник премьер-министра лорд Черуэлл попытался помочь ему каким-то замечанием. И тут между Черчиллем и Черуэллом вспыхнула словесная перепалка, занявшая почти все время. Выпроводив Бора из кабинета, Черчилль с раздражением сказал:

— О чем он все-таки приходил беседовать со мной? О физике или о политике?

В лондонских коридорах власти нашлись люди, которые охотно подхватили эту мысль. До чего, дескать, наивны эти выдающиеся ученые! Даже если они что-то смыслят в своей области, то совершенно близоруки в политике. Нет ничего хуже, когда они начинают лезть не в свои дела. Если бы, мол, знать наперед, сколько хлопот будет с этим Бором, может быть, и операция по его похищению в свое время планировалась бы по-иному...

После оккупации Дании фашистами Нильс Бор продолжал руководить институтом теоретической физики в Копенгагенском университете. 3 октября 1943 года британская разведка узнала, что в Берлине подписан приказ арестовать Бора и доставить его в Германию. Чтобы отвлечь внимание мировой общественности от этого акта, нацисты хотели одновременно произвести массовые аресты участников датского движения Сопротивления.

Британская агентура получила задание тайно вывезти Бора из страны. С ее помощью ученый на прогулочной лодке добрался до рыбацкой шаланды, которая доставила его в Швецию. Три дня спустя на стокгольмском аэродроме приземлился

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

английский истребитель. На одноместном самолете не было кресла для пассажира, и датского физика поместили в бомбовый люк. После набора высоты пилот велел Бору надеть кислородную маску. На вопрос, понял ли ученый отданное ему распоряжение, ответа не последовало. Иметь контакт с обитателем бомбового люка в полете можно было только через шлемофон. Но пассажир почему-то не отвечал на вопросы.

Когда истребитель приземлился в Англии, оказалось, что пятидесятивосьмилетний физик без сознания. Все объяснялось простым курьезом. У Бора была настолько большая голова, что наушники шлема не доставали ему до ушей. Так что он попросту не слышал ни слова из того, что говорил ему пилот. Не знал Бор и другого: в бомбовый люк его посадили не случайно. Пилот английского истребителя имел секретную инструкцию: если «мессершмитты» заставят самолет повернуть в сторону Германии, ему предписывалось открыть люк и сбросить пассажира вниз, чтобы известный физик не попал в руки нацистов.

После неудачной встречи с Черчиллем Бор начал добиваться приема у Рузвельта. В начале июня 1944 года он направил на имя президента США письмо. В нем, в частности, говорилось: «Сейчас создается оружие небывалой силы. Не касаясь вопроса о том, как скоро оно будет готово для применения и какую роль оно сможет сыграть в нынешней войне, ситуация эта порождает много проблем, требующих самого неотложного внимания. Если заблаговременно не будет заключено какое-то международное соглашение об использовании нового вида энергии, любое временное преимущество, каким бы значительным оно ни выглядело, будет сведено на нет постоянной угрозой для безопасности человечества».

19 сентября 1944 года Рузвельт и Черчилль встретились в США. Наряду с другими военно-политическими проблемами они обменялись мнениями и по поводу предложений Бора. В секретном меморандуме об их встрече было, в частности, зафиксировано следующее: «Предложение о том, что мир должен быть проинформирован об атомном оружии, имея в виду международный контроль над его использованием, неприемлемо. Дело это должно по-прежнему оставаться в строгом секрете. Когда бомба будет готова, она после тщательного рассмотрения всех обстоятельств может быть применена против Японии. Руководители США и Англии считают нужным провести расследование по поводу деятельности профессора Бора; необходимо убедиться, что он не несет ответственности за утечку информации, особенно к русским».

Свою неприязнь к датскому физика Черчилль еще откровеннее выразил в записке к своему научному советнику лорду Черуэллу: «Президент и я серьезно обеспокоены профессором Бором. Как случилось, что он допущен к работам? По-моему, Бора следует изолировать!»

МИССИЯ «АЛСОС»

6 июня 1944 года войска союзников высадились на побережье Франции. Но еще до открытия второго фронта в Европе Пентагон учредил так называемую миссию «Алсос» — научную разведку специального назначения. Двигаясь вместе с войсками вторжения, она должна была немедленно приступить к сбору материалов по германскому «урановому проекту», а также разыскать самых видных ученых, принимавших в нем участие, и конфисковать запасы расщепляющихся материалов.

В более широком плане новая разведывательная организация имела цель перекватить у союзников любые сведения как об атомной программе, так и о других перспективных видах оружия, которые разрабатывались в гитлеровской Германии, и прежде всего не допустить, чтобы эти материалы попали в руки Советского Союза. Во главе миссии «Алсос» был поставлен полковник Паш. Это назначение, связанное с выездом в Европу, должно было оторвать его от дела Оппенгеймера и разрядить нежелательную для Гровса конфликтную ситуацию в Лос-Аламосе.

24 августа 1944 года на улицах Парижа ликовали возбужденные толпы. Подняв восстание против гитлеровских оккупантов, жители французской столицы освободили город и теперь готовились встретить французские войска. Первым в Париж должен был вступить французский генерал Леклерк со своей 2-й бронетанковой дивизией. Вместе с ее авангардной колонной в город ворвался «Джип» с американскими офицерами, не имевшими отношения ни к одной из строевых частей. У каждого из них

за отворотом тужурки был приколот потайной значок: белая буква альфа, пронзенная красной молнией. Это была передовая группа миссии «Алсос» во главе с полковником Пашем. Еще не доехав до Триумфальной арки, где происходила церемония встречи, «джип» свернул в сторону. То и дело сверяясь по карте, Паш направлял водителя к зданиям Коллеж де Франс.

Список ученых, которых миссия «Алсос» должна была разыскать в освобожденном Париже, начинался с имени Фредерика Жолио-Кюри. Требовалось узнать, не участвовал ли французский физик в германском «урановом проекте», не имеет ли он каких-либо сведений об этих секретных работах и, наконец, нельзя ли переманить его в США. Найти лабораторию Жолио-Кюри не представляло труда. Несколько вооруженных людей, весьма мало похожих на профессоров и студентов, шумно обсуждали там события дня.

— Господин Жолио-Кюри? Он ушел отсюда накануне восстания и вот-вот должен вернуться.

Пока наводили справки по телефону, один из сотрудников миссии «Алсос» подошел к полковнику Пашу и с недоуменным видом зашептал ему на ухо:

— Здесь говорят, будто Жолио-Кюри действительно изобрел какую-то новую бомбу и что сегодня об этом знает весь Париж.

Оказалось, что всемирно известный физик занимался секретным оружием совсем другого рода. Его лаборатория в Коллеж де Франс служила подпольным арсеналом. Там мастерили самодельные гранаты и мины для отрядов Сопротивления.

— Наши американские друзья интересуются бомбами, которые мы тут делали при немцах,— пояснил молодой француз подошедшему Жолио-Кюри.

— Мы хотели спросить,— уточнил Паш,— заставляли ли вас нацисты заниматься во время оккупации теми же исследованиями, которые вы начинали здесь с Халбаном и Коварски...

Этого вопроса было достаточно, чтобы Жолио-Кюри понял, с кем имеет дело.

— Три дня назад,— улыбнулся он,— когда я бросал в немецкие танки бутылки с горючей смесью собственного изготовления, у меня, помнится, вертелась мысль: подумать только, до чего я дошел! Ведь в Америке, наверное, мои коллеги тем временем делают атомную бомбу!

Жолио-Кюри рассказал о своей деятельности за минувшие годы. Вскоре после оккупации Парижа в его лабораторию явились два немецких физика — Шуман и Дибнер. Сначала они пытались лестью склонить Жолио-Кюри к сотрудничеству, потом принялись угрожать ему.

Шуман намеревался вывезти в Германию циклотрон и другое оборудование, но потом было решено использовать его на месте, прислав в Коллеж де Франс немецких физиков. Их группу возглавлял Вольфганг Гентнер, весьма далекий от симпатий к фашизму. В Париж его послали лишь потому, что до войны он работал в США вместе с изобретателем циклотрона Лоуренсом и считался лучшим специалистом в данной области. Гентнер догадывался об участии Жолио-Кюри в движении Сопротивления и как мог оберегал его от гестапо. Несмотря на это, нацисты дважды подвергли французского физика арестам и допросам.

Тем не менее оккупанты оставили Жолио-Кюри работать в Коллеж де Франс, где он занимался проблемой, весьма далекой от военного дела: применением меченых атомов в биологии. Но научная работа была в немалой степени прикрытием. Под носом у оккупантов в Коллеж де Франс мастерили рации и боевое снаряжение.

После своего рассказа Жолио-Кюри стал сам задавать вопросы. И благожелательное начало беседы сменилось взаимной настороженностью. Американцев всполошила осведомленность французского физика в вопросах, имеющих отношение к Манхэттенскому проекту. Полковнику Пашу и его спутникам было трудно понять, что это объяснялось компетентностью Жолио-Кюри в данной области науки.

Но еще больше встревожило их явно отрицательное отношение французского физика к попыткам Соединенных Штатов закрепить за собой монополию на атомное оружие. Жолио-Кюри без обиняков осудил посягательства Вашингтона на интересы союзников и заявил, что при первой же возможности изложит свои взгляды на сей счет генералу де Голлю.

НАХОДКА В СТРАСБУРГЕ

15 ноября 1944 года американские войска овладели Страсбургом. Операция эта несколько раз откладывалась, и полковник Паш, находившийся в передовых частях, все больше нервничал. На основе отрывочных сведений, собранных в Париже, миссия «Алсос» пришла к выводу, что значительная часть работ, связанных с германским «урановым проектом», была перемещена в Страсбургский университет.

Группа сотрудников миссии «Алсос» во главе с Пашем проникла в город вместе с американскими танками. Найти немецких физиков оказалось нелегко. Их лаборатория занимала больничный флигель, а одетый в белые халаты научный персонал выдавал себя за медиков. Наиболее крупных германских физиков среди захваченных не оказалось. Допросы захваченных ученых дали не так уж много. Удалось, правда, установить, что физический институт Общества кайзера Вильгельма эвакуирован из Берлина.

Пока американцы пытались установить его новое местоположение, научный руководитель миссии «Алсос» Гоудсмит наткнулся на кабинет Вайцеккера. Главные документы были, судя по всему, вывезены, но чутье криминалиста-любителя привлекло внимание Гоудсмита к папке черновых записей и беглых заметок. Две ночи он не разгибаясь просидел над этими бумагами. А потом пришел к полковнику Пашу и торжественным тоном заявил, что миссия «Алсос», на его взгляд, уже выполнила свою задачу.

— Что же вы там нашли? Секрет германской атомной бомбы?— осведомил-ся Паш.

— Не иронизируйте, а садитесь писать срочный доклад то ли Гровсу, то ли Стимсону, то ли самому президенту. Пишите, что сегодня в Страсбурге мы доподлинно установили: у нацистской Германии нет и до конца войны не будет атомной бомбы.

— Какие же у вас есть основания для столь категорического вывода?

— Не будь я сам физиком, не зная я действующих лиц, я бы не смог расшифровать эти заметки. В этой папке сохранилась деловая, можно сказать, интимная переписка ведущих немецких физиков. Этот недоступный для посторонних язык намеков, на котором ученые общались друг с другом, представляет собой бесценный документальный материал. Мне трудно объяснить вам, как я пришел к своим выводам. Можно сказать, что немцы всегда смотрели на атомную бомбу как на взрывающийся атомный котел и потому избрали не самый легкий и удачный путь к цели. Но для нас сейчас важно другое. Хотя нацистское руководство давно знало о возможности создать атомное оружие, германские ядерные исследования так и не вышли из лабораторной стадии. Раз у немцев нет атомной бомбы, значит, нам не придется пускаться в ход свою. А коли так — нашу работу здесь можно считать законченной.

— Что касается миссии «Алсос», то она просто вступает в новый этап,— возразил Паш.— Очень хорошо, что немцы не довели дело до конца. Но вы сами как-то говорили, что сделали они не так-то уж мало. Нам надо позаботиться, чтобы все это не попало в чужие руки.

— Вы имеете в виду русских?

— Прежде всего, разумеется, их, но не их одних. Раз уж Соединенным Штатам удалось первыми создать такое оружие, они должны оставаться единственным его обладателем. И пусть весь мир воочию увидит силу этого оружия, а стало быть, мощь Соединенных Штатов...

В те самые дни, когда Паш и Гоудсмит рапортовали о находке в Страсбурге, у генерала Гровса возникли новые хлопоты с Жолио-Кюри. При первой же встрече с сотрудниками миссии «Алсос» французский физик прекрасно понял ее подспудную цель: закрепить американскую монополию на атомное оружие, перехватив у союзников результаты германских исследований в данной области.

Жолио-Кюри сумел вступить в контакт с де Голлем и по его вызову прибыл в Лондон. Между генералом и физиком состоялась обстоятельная беседа о проблемах атомной энергии и положении Франции в этой области. Жолио-Кюри напомнил де Голлю, что перед оккупацией Парижа Халбан и Коварски вместе с запасом тяжелой воды вывезли в Англию научные материалы относительно открытий, которые коллектив Коллеж де Франс уже запатентовал как собственность Франции. Все это по поручению Жолио-Кюри было передано англичанам в обмен на обещание должным образом обеспечить французские интересы в области использования атомной энергии.

Когда американцы впоследствии навязали англичанам в Квебеке соглашение, запрещавшее передачу какой-либо информации по атомной проблеме третьим странам, они тем самым перечеркнули прежнюю англо-французскую договоренность.

«Пробив брешь в американско-английских отношениях, основанных на Квебекских соглашениях, Жюлио-Кюри принялся активно ее расширять,— писал потом Гровс.— Он дал понять, что если Франция не будет допущена к американско-английской программе по атомной энергии, ей ничего не останется как ориентироваться на Россию».

ОРУЖИЕ ОТЧАЯНИЯ

13 июня 1944 года, ровно через неделю после того как войска союзников высадились во Франции, гитлеровцы впервые применили против Англии самолеты-снаряды «ФАУ-1». Новое секретное оружие, которым Гитлер многократно хвастал, было обозначено буквой фау от немецкого слова «фергельтунгзваффе», что значит «оружие возмездия».

После поражения под Сталинградом нацистской верхушке оставалось уповать лишь на чудо, способное вернуть Германии стратегическую инициативу. Таким чудо-оружием могла бы стать атомная бомба. Но осуществление «уранового проекта» Вернера Гейзенберга требовало времени и ресурсов. А руководство рейха не располагало ни тем, ни другим.

Иначе обстояло дело с «проектом Пенемюнде», научным руководителем которого был Вернер фон Браун. На месте одноименного рыбацкого поселка на острове Узедом в Балтийском море был создан ракетный полигон. Дела там продвинулись гораздо дальше, чем у участников «уранового проекта».

Во время совещания у рейхсминистра Шпеера, когда Гейзенберг ответил, что для создания атомной бомбы потребуются не месяцы, а годы, в Пенемюнде уже приступили к массовому производству самолетов-снарядов «ФАУ-1». А в октябре 1942 года были осуществлены первые запуски баллистических ракет «ФАУ-2». К тому же в отличие от «уранового проекта», связанного с ядерной физикой, а стало быть, с ненавистными нацистам именами Эйнштейна и Бора, «проект Пенемюнде» опирался на успехи аэродинамики, а значит, на покровительство Геринга. Ведь «ФАУ-1» и «ФАУ-2» предназначались для выполнения тех же оперативных задач, с которыми не смогла справиться военная авиация. Поэтому, оказавшись перед выбором — Вернер фон Браун или Вернер Гейзенберг,— как Гитлер, так и Геринг предпочли фон Брауна.

Ракетный полигон в Пенемюнде привлек к себе внимание британской разведки. Данные аэрофотосъемки были дополнены сведениями, поступившими от французского движения Сопротивления. Участница группы «Альянс» двадцатитрехлетняя Жанна Руссо сообщила, что на острове Узедом испытываются снаряды, способные подниматься до стратосферы и затем поражать цель, удаленную на 450 километров.

По ее словам, с осени 1943 года планируется начать обстрел Англии этими снарядами, для чего в северной Франции строится 108 пусковых платформ. Применение нового оружия возложено на 155-й зенитный полк полковника Вахтеля, где Жанна работала переводчицей. Донесение группы «Альянс» было подтверждено данными радиоразведки. Перехватив разговоры двух радиолокационных рот, наблюдавших за опытными запусками в Пенемюнде, англичане установили, что скорость самолета-снаряда составляет около 600 километров в час.

7 июля 1943 года — в первые дни битвы на Курской дуге — военный руководитель «проекта Пенемюнде» генерал Вальтер Дорнбергер и научный руководитель проекта Вернер фон Браун были приглашены на доклад к Гитлеру. После этого ракетная программа была объявлена первоочередной для вермахта.

В ночь на 18 августа 600 английских бомбардировщиков совершили налет на Пенемюнде. Наибольший ущерб был нанесен поселку технического персонала. Под бомбами погибло более 600 иностранных рабочих. Руководство германской ракетной программы не пострадало. Тем же летом англичане нанесли другой, более ощутимый удар по германской ракетной программе. Они подвергли бомбардировке заводы фирмы «Цепелин» в Фридрихсхафене, где с начала 1943 года было развернуто производство баллистических ракет «ФАУ-2». Наконец в сочельник, 24 декабря 1943 года, 1300 английских и американских самолетов забросали фугасными бомбами пусковые платформы, построенные немцами вдоль Ла-Манша.

В результате всех этих ударов гитлеровцам пришлось вновь и вновь откладывать сроки применения нового оружия и в конце концов пустить его в ход поспешно, так и не устранив многие неполадки. В общей сложности нацисты выпустили по Англии 11300 самолетов-снарядов. Примерно 20 процентов из них взорвались при старте, 25 процентов были сбиты истребителями, столько же — зенитной артиллерией и только 30 процентов долетели до английской земли (причем из этих 3200 самолетов-снарядов лишь 2400 попали в район Большого Лондона). Значительная часть «ФАУ-1» взорвалась в густонаселенных кварталах. Этим оружием было убито 5500 и ранено 16 тысяч лондонцев.

7 сентября 1944 года гитлеровцы пустили в ход баллистические ракеты «ФАУ-2». До конца войны было запущено 10 800 таких ракет, причем примерно половина из них взорвалась при старте или упала в море. Жертвами «ФАУ-2» стали 13 тысяч мирных жителей, в том числе 9 тысяч англичан. Однако никакого чуда «оружие возмездия» не совершило. Пустить его в ход внезапно не удалось. Союзники не только знали о «проекте Пенемюнде», но и активно препятствовали его осуществлению. Главное же, ни «ФАУ-1», ни «ФАУ-2» не имели систем наведения. Они не были оружием поля боя, не годились для применения против войск противника. Лишь восьмимиллионный город на Темзе мог являться для них достаточно крупной мишенью.

Гитлер не разрешил использовать «ФАУ-1» и «ФАУ-2» для обстрела английских портов, служивших базами вторжения во Францию. Он требовал сосредоточить удары только по Лондону, целиком делая ставку не на военный, а на психологический эффект «оружия возмездия».

К концу 1944 года, когда стало ясно, что «оружие возмездия» не в состоянии поставить Англию на колени, Вернер фон Браун предложил нанести неожиданный удар по главным городам Соединенных Штатов. Идея состояла в том, чтобы обстрелять Вашингтон и Нью-Йорк межконтинентальными двухступенчатыми ракетами А-9/А-10. Японцы же одновременно запустили бы со всплывших подводных лодок несколько «ФАУ-1» по Сан-Франциско и Лос-Анджелесу.

Баллистическая ракета А-9/А-10, над которой в Пенемюнде шли лихорадочные работы, должна была за 35 минут пролететь 5 тысяч километров над Атлантикой и, израсходовав 70 тонн горючего, доставить к цели всего-навсего одну тонну взрывчатки (то есть такой же беззаряд, что и у «ФАУ-1»). Поскольку при столь незначительной разрушительной силе психологический эффект особенно зависел от точности попадания, предлагалось наводить ракеты при помощи радиосигнала, причем не с базы запуска, а непосредственно из района цели. Для этого германская агентура должна была установить специальные радиомаяки на крышах американских небоскребов и в нужный момент задействовать их.

Гитлер ухватился за это предложение. Нацистская верхушка рассчитывала, что если бы, скажем, удалось взорвать самый высокий в Нью-Йорке небоскреб Эмпайр стейт билдинг да еще предварительно сообщить, что это произойдет в определенный день и час, в городе началась бы паника. А серия таких ударов повергла бы американского обывателя в состояние такого шока, что Соединенные Штаты вышли бы из войны и антигитлеровская коалиция оказалась бы расколотой.

В ночь на 30 ноября 1944 года неподалеку от восточного побережья США всплыла германская подводная лодка с бортовым номером «U-1230». Она оставила на поверхности надувную шлюпку с двумя людьми и снова ушла на глубину. Около получаса агенты германской разведки гребли к окутанному мглой берегу. После высадки они уничтожили лодку, взяли сумки со снаряжением и разошлись в разные стороны. Так началась операция «Эльстер», подготовленная отделом диверсий главного управления имперской безопасности (РСХА).

Первый из диверсантов имел документы на имя Джека Миллера. В действительности это был агент РСХА Эрих Гимпель. По специальности радионинженер, он с 1935 года занимался шпионажем в Англии и США, был резидентом РСХА в Перу.

Второй диверсант значился в удостоверении личности как Эдвард Грин. В действительности это был американец немецкого происхождения Уильям Колпаг, завербованный германским консулом в Бостоне. Колпаг окончил Массачусетский технологический институт, а потом — военно-морское училище. После выполнения нескольких шпионских заданий Колпаг через Аргентину и Португалию был переправлен в Германию.

Перед операцией «Эльстер» Гимпель и Колпаг прошли подготовку в одной из секретных лабораторий концерна «Сименс». Там их обучали новым методам наведения ракет на цель с помощью радиосигналов.

Диверсанты порознь благополучно добрались до Нью-Йорка. Но на этом их везение кончилось. Колпаг разыскал кое-кого из своих знакомых, чтобы устроиться на работу в нужных ему высотных зданиях. Ему показалось, что американца по имени Том Уорренс можно завербовать себе в пособники. Этот весьма антифашистски настроенный ветеран войны сделал вид, будто согласен выполнять поручения Колпага. Но тут же сообщил Федеральному бюро расследований, что его пытаются завербовать нацистский агент, затевающий какую-то диверсию.

К заявлению Уоррена в ФБР отнеслись весьма иронически.

— Видно, парня контузило в Европе, вот ему и междзятся на каждом шагу немецкие шпионы! — ухмылялся сержант, оформлявший протокол.

Трудно было представить, что на завершающем этапе войны, когда неминуемый разгром гитлеровского рейха уже очевиден, нацистам могло прийти в голову планировать какие-то диверсии на противоположном берегу Атлантики. Уорренс все-таки настоял, чтобы Колпага арестовали. И тот на первом же допросе выдал себя и Гимпеля. Правда, местонахождения своего напарника он не знал. Каждый из агентов должен был действовать независимо, опираясь на американцев немецкого происхождения.

Чтобы отыскать Гимпеля, Федеральному бюро расследований пришлось поднять на ноги всю нью-йоркскую полицию, подключить к этой крупнейшей за военные годы облаве тысячи своих агентов.

А Гимпель между тем поселился в отеле «Пенсильвания» и уже послал в Берлин шифровку о том, что ему удалось поступить в экскурсионное бюро на верхнем этаже небоскреба Эмпайр стейт бидинг. Он прожил в Нью-Йорке четыре недели.

Подшло рождество. Город готовился к праздникам. Нигде не было ни светомаскировки, ни других примет войны. Магазины бойко торговали подарками. В оживленной уличной толпе никто не мог подозревать о диверсии, которую готовил против нью-йоркцев в далеком Пенемюнде.

Сотрудники ФБР долго выпрашивали у Колпага особые приметы и черты поведения его напарника. Арестованный вспомнил, что Гимпель имел обыкновенные держать монеты не в кошельке, а в верхнем наружном кармане пиджака, куда американцы обычно вставляют платок.

В канун рождества к газетному киоску на Таймс-сквер подошел хорошо одетый мужчина. Не вынимая сигары изо рта, он попросил иллюстрированный журнал и, получив сдачу, сунул монеты в верхний наружный карман пиджака. Заранее проинструктированный владелец киоска тут же подал сигнал агентам ФБР.

Об аресте Колпага и Гимпеля доложили президенту Рузвельту. Он велел предать их военному суду по обвинению в шпионско-диверсионной деятельности.

СТАВКА НА САМОУБИЙЦ

Начался 1944 год, а работы по японскому проекту «Эн» так и не вышли из лабораторной стадии. Правда, как раз в новогодние праздники участников проекта открыл первый успех. Группа Такеути подготовила к испытаниям опытный образец сепаратора для разделения изотопов урана методом газовой диффузии. Холодной зимней ночью молодые коллеги Иосио Нисины танцевали от радости. Сам же профессор, хоть и старался разделить их чувства, был далек от ликования. Он понимал, что сделан лишь бесконечно малый шаг на пути к недостижимой по-прежнему вершине.

По подсчетам Нисины, чтобы получить достаточное количество урана-235 лишь для одной атомной бомбы, потребовалась бы десятая часть всей производившейся тогда в Японии электроэнергии. Потребовалось бы найти средства и материалы для строительства по крайней мере тысячи подобных сепараторов, а главное — снабдить их нужным количеством урановой руды. Ни на первое, ни на второе, ни на третье проект «Эн» рассчитывать заведомо не мог.

6 июня 1944 года войска союзников открыли второй фронт в Европе. Поражение все громче стучалось и в японские двери. Непрístupным рубежом были объявлены Марианские острова. Но их пришлось оставить. 9 июля американцы овла-

дели островом Сайпан. Теперь их авиация получила плацдарм, расположенный всего в 2500 километрах от Токио.

18 июля ушел в отставку кабинет Тодзио, который руководил страной с начала тихоокеанской войны. Новое правительство по-прежнему предпочитало желаемое действительному, руководствовалось весьма сомнительными политическими установками. В Токио, во-первых, надеялись, что если нацистская Германия капитулирует, вслед за этим обострятся противоречия между участниками антигитлеровской коалиции, что помешает им перебрасывать силы на Дальний Восток. Во-вторых, в Токио считали, что окончание войны в Европе подорвет у союзников охоту сражаться на Тихом океане, тогда как у японцев боевой дух возрастет от сознания, что они оказались один на один с противником. Наконец, в Токио полагали, что массированные бомбардировки, которым подверглась Германия, не смогут быть повторены против Японии. Эта предпосылка была наиболее ошибочной, потому что, захватив остров Сайпан, американцы тут же начали строить там взлетную полосу для стратегических бомбардировщиков «Б-29», только что появившихся на тихоокеанском театре военных действий.

24 ноября 1944 года, в те самые дни, когда миссия «Алсос» убедилась, что у гитлеровцев нет и до конца войны не может быть атомной бомбы, когда участники операции «Эльстер» плыли на подводной лодке к американскому побережью, бомбардировщики «Б-29» совершили свой первый налет на Токио. Целью операции было уничтожить авиационный завод в Мусасино. Но поскольку он оказался скрыт облаками, бомбовый груз был сброшен на японскую столицу.

11 декабря кабинет министров призвал весь японский народ одновременно совершить молитву в честь богини солнца Аматерасу. По преданию в XIII веке таким способом удалось вызвать священный ветер (по-японски — камикадзе), который разметал флот Хубилай-хана, приближавшийся к японским берегам. В Токио надеялись, что одновременная молитва 100 миллионов японцев сможет вновь создать ступок духовной энергии, способной отвратить от Страны восходящего солнца угрозу вражеского вторжения.

Слово «камикадзе» вошло в обиход в новом значении. Газеты и радио заговорили о добровольцах, готовых пожертвовать жизнью, направляя свои самолеты и торпеды на корабли противника. Армия и флот начали формировать отряды самоубийц.

В те самые дни, когда над Лондоном впервые появились гитлеровские «ФАУ-1», крестьяне японской префектуры Нагано стали просыпаться по ночам словно от раскатов грома. Оклеенные бумагой оконные створки их жилищ вздрагивали от каких-то глухих взрывов. Сначала думали, что это американские бомбы. Хотя что могло понадобиться «легающим крепостям» в такой глуши? Надежно укрытый горными кряжами от обоих побережий, городок Мацумото знал о войне лишь понаслышке. Но вот старики, выжигавшие уголь на лесистых склонах, увидели, что ночью громыканю вторят вспышки пламени на школьном дворе.

Местная школа, расположенная в двух километрах от городка Мацумото, была реквизирована для военных нужд. Старшеклассников отправили отбывать трудовую повинность, а малышей распустили по домам. Однако даже они не могли узнать, для кого потребовалось освободить место: не только школьная территория, но и дороги, ведущие к ней, строго охранялись. Говорили, будто там испытывают какое-то новое секретное оружие.

Среди множества фантастических слухов военного времени эта догадка соответствовала истине. В конце второй мировой войны Япония стояла на пороге создания пилотируемого самолета-снаряда — предшественника нынешних крылатых ракет.

Когда упоение легкими победами сменялось полосой военных неудач, в Токио, как и в Берлине, заговорили о чудо-оружии, способном повернуть события вспять. В Японии такие надежды возлагались на управляемые человеком торпеды. Их называли «кайтен», что по-японски значит «повернуть судьбу».

Гитлеровцы связывали планы создания чудо-оружия с аэродинамикой, с конструированием самолетов-снарядов и баллистических ракет. Японцы проявили к «ФАУ-1» большой интерес и пообещали в обмен на чертежи самолета-снаряда снабдить это оружие простой и дешевой системой наведения. Они предложили посадить на «ФАУ-1» пилота-смертника, который на завершающем этапе выводил бы его на цель.

Гитлер согласился поделиться с дальневосточными союзниками некоторой документацией по «проекту Пенемюнде». Но японская подводная лодка, которая должна была доставить эти чертежи в Токио, при загадочных обстоятельствах затонула близ Сингапура. С помощью водолазов часть документов удалось спасти. Но большая часть была безнадежно испорчена морской водой.

Пришлось посылать в Берлин дополнительные запросы. Но, не дожидаясь ответа на них, в горах префектуры Нагано началось осуществление проекта «Сюсуй» («Осенние воды»). Его конструкторские бюро, лаборатории и полигоны были сосредоточены вокруг городка Мацумото. В начале мая стало ясно, что на дополнительные сведения рассчитывать нечего: гитлеровская Германия капитулировала.

Первый испытательный полет японского пилотируемого самолета-снаряда окончился плачевно. Ракетный двигатель заглох вскоре же после взлета, и «Сюсуй» врезался в одну из аэродромных построек. Пилот, не имевший катапульты, стал смертником еще до первого боевого вылета.

Несмотря на неудачу, работы над проектом «Осенние воды» продолжались в лихорадочном темпе. Никто уже не помышлял об использовании нового оружия для ударов с подводных лодок по Сан-Франциско и Лос-Анджелесу. «Сюсуй» стал нужен прежде всего для перехвата американских бомбардировщиков «Б-29». Они обрушивали свой смертоносный груз на японские города, летая на высоте десять тысяч метров, а японские истребители могли подниматься лишь до восьми тысяч.

С целью подчеркнуть императорскую важность проекта «Сюсуй» в Мацумото прибыл флигель-адъютант императорской ставки. Однако по иронии судьбы его визит совпал с речью императора о капитуляции. Всю последующую неделю на школьном дворе в Мацумото полыхали костры из бумажных кип. Проект «Сюсуй» так и остался тайной для большинства японцев.

НАЧАЛО КОНЦА

Проснувшись 1 января 1945 года, жители Хиросимы увидели редкое для их города зрелище. Первый день нового года ознаменовался снегопадом. О снеге в Хиросиме не помнили даже старожилы. Так что был большой соблазн считать его добрым знаком. Кое-кто, впрочем, вспоминал, что у японцев белый цвет символизирует траур. Но высказывать такие мысли вслух решались немногие. Жандармерия имела разветвленную сеть осведомителей, и авторам панических слухов грозил военный трибунал.

Вовсе не пострадавшая от бомбежек, Хиросима выглядела почти так же, как и до войны, если не считать трех похожих на просеки противопожарных полос. Они были созданы в дополнение к семи рукавам реки Ота, которые и так делили городскую территорию на части. Хиросимцев заставляли собирать сосновую хвою и ссыпать ее в кучи вдоль городской черты. Власти наивно надеялись, что если поджечь эту хвою в случае налета, клубы дыма уберегут Хиросиму от бомбардировщиков противника.

Жители Токио встретили 1945 год, дрожа от холода. В городе не было топлива, в домах жгли что попало. Нужно было поднать мерзнуть в очереди, чтобы попасть в общественную баню. Но даже там, вопреки обыкновению, люди молчали. Ни о положении на фронтах, ни о карточках, ни даже о налетах никому говорить не хотелось.

11 февраля 1945 года закончилась Ялтинская конференция, на которой Сталин пообещал Рузвельту и Черчиллю, что через три месяца после разгрома Германии Советский Союз вступит в войну против Японии.

Неделю спустя на совещании военного руководства в Токио впервые был поставлен вопрос о возможности вторжения противника непосредственно на Японские острова. 19 февраля генерал-лейтенант Миядзаки публично призвал народ готовиться к решающему сражению на японской земле. В этот же самый день американская морская пехота высадилась на острове Иводзима, лежащем в трех часах полета от Токио.

Тем временем 20-я воздушная армия США продолжала наращивать бомбовые удары по Японии. Правда, несмотря на победные сводки Пентагона, эффективность этих налетов с военной точки зрения была весьма низка. Ключевые объекты япон-

ского военно-промышленного комплекса вроде авиационного завода в Мусасино так и не были выведены из строя.

Тогда командующий 20-й воздушной армией Кертис Лимэй решил использовать «Б-29» для ночных операций, в ходе которых они сбрасывали бы преимущественно зажигательные бомбы с небольшой высоты. 9 марта 1945 года свыше трехсот бомбардировщиков «Б-29» совершили налет на Токио, применив эту новую тактику. Японская столица стала морем огня. Сгорело 268 тысяч домов — четверть жилого фонда города. Шестнадцать квадратных километров городской территории были превращены в сплошное пепелище. За один лишь налет в Токио погибло почти 100 тысяч человек — больше, чем в Нагасаки от атомной бомбы.

11 марта те же «Б-29» были посланы бомбить Нагою. 13 марта жертвой налета стала Осака. 17 марта наступила очередь Кобе.

Утром 18 марта император Хирохито выехал из дворца в своем черном лимузине с изображением золотой хризантемы. День был ветреным. Над развалинами клубились облака пыли и пепла. Перед храмом Хатиман император остановился, чтобы выслушать доклад министра внутренних дел. Из него явствовало, что даже землетрясение 1923 года не причинило японской столице столь больших жертв и разрушений.

25 марта правительство объявило о создании народного ополчения. В него были мобилизованы все мужчины и женщины, способные держать в руках бамбуковые палки — единственное оружие этого японского «фольксштурма». Рост производства таких пик, которыми ополченцев учили протыкать соломенные чучела, служил единственным плюсовым показателем японской статистики. Промышленный потенциал страны был практически парализован. Ее материальные ресурсы истощены до предела. Особенно остро ощущалась нехватка горючего. Истребители с пилотами-смертниками заправляли лишь наполовину, чтобы долететь до цели.

25 марта 1945 года, в тот самый день, когда японское правительство приказало поголовно вооружать население бамбуковыми пиками, Эйнштейн и Сцилард вновь обратились с письмом к президенту США. Те самые люди, которые когда-то убеждали Рузвельта включиться в атомную гонку, пытались теперь остановить ход событий, предотвратить применение нового оружия.

1 апреля американские войска высадились на западном побережье Окинавы. Силы вторжения составляли 180 тысяч человек при поддержке почти двух тысяч самолетов, действовавших с авианосцев. Им противостояли 69 тысяч японцев. Закрепившись на холмах в южной части острова, они сражались с отчаянным упорством.

13 апреля 1945 года японское радио сообщило о смерти президента США Рузвельта. В тот же день 160 бомбардировщиков «Б-29» совершили очередной налет на Токио. В течение трех часов они забрасывали город фугасными и зажигательными бомбами. Большинство зданий исследовательского института авиационной технологии были объаты пламенем. Поначалу уцелел лишь корпус номер 49, где размещались лаборатории проекта «Эн». Находился там и сепаратор для разделения изотопов урана, сконструированный под руководством Такеути.

Сам он тогда ночевал за городом. Но несколько сотрудников его группы жили по соседству с институтом и, как только начался пожар, побежали к корпусу номер 49. Двухэтажная деревянная постройка чудом осталась невредимой. И когда побежавший профессор Нисина уже подумал, что на сей раз опасность миновала, вдруг раздался взрыв, и здание рухнуло. Участникам проекта «Эн» оставалось лишь наблюдать, как огонь пожирает следы тщетных усилий Японии занять атомное оружие.

После того как институт авиационной технологии был разрушен американскими бомбами, атомные исследования в Японии еще некоторое время продолжались в лабораториях Киотского университета. Группа под руководством профессора Бунсаку Аракацу занималась там выделением урана-235 с помощью центрифуги. Императорский флот, который финансировал эти эксперименты, видел их главную цель в том, чтобы определить вероятность создания атомной бомбы противником.

22 июля 1945 года Бунсаку Аракацу и другие физики из Киотского университета были приглашены на совещание с представителями флота. Встреча происходила на берегу озера Бива, где тогда находилась школа пилотов военно-морской авиации. Подкрепляя собственные выводы научной информацией из нейтральных стран,

ученые доложили адмиралам: хотя создать атомную бомбу теоретически возможно, применить ее в нынешней войне, судя по всему, никому не удастся.

Если бы не шум гидропланов, которые то взлетали, то садились на озеро Бива, участники совещания, возможно, расслышали бы и гудение двигателей одинокого «Б-29», пролетевшего над ними на большой высоте. Это был «Грейт артист» майора Суини, один из самолетов 509-го сводного авиаполка. Завершающий этап подготовки к операции «Серебряное блюдо» включал одиночные боевые вылеты с «тыквами» — фугасными бомбами, которые по весу и габаритам соответствовали атомным. 22 июля майор Суини сбросил такую тренировочную «тыкву» на город Кобе.

ОПЕРАЦИЯ «ОБМАН»

24 апреля 1945 года — за сутки до встречи советских и американских войск на Эльбе — одна из американских механизированных частей неожиданно нарушила согласованные между союзниками границы будущих оккупационных зон и, двигаясь наперерез французским войскам генерала Делатр де Тассиньи, раньше их ворвалась в город Эхинген. Так в канун триумфального для народов антигитлеровской коалиции дня была осуществлена операция «Обман», где в роли противника Соединенных Штатов оказалась союзная им Франция.

После находок, сделанных в Страсбурге, миссия «Алсос» пришла к выводу, что секретные германские лаборатории, связанные с «урановым проектом», сосредоточены к югу от Штутгарта, вокруг города Эхинген. В Пентагоне схватились за голову: если бы знать об этом раньше, когда союзники определяли границы оккупационных зон! Эхинген оказался как раз в центре территории, которую должны были занять французы.

«Я вынужден был пойти на довольно рискованную меру, которая потом получила название операция «Обман», — пишет в своих мемуарах генерал Гровс. — По этому плану американская ударная группа должна была двинуться наперерез передовым французским подразделениям, раньше их захватить интересующий нас район и удерживать его до тех пор, пока нужные нам люди будут арестованы и допрошены, письменные материалы разысканы, а оборудование уничтожено. В необходимости всего этого меня убедили встречи с Жолио-Кюри».

Двигаясь вдоль восточного берега Рейна с колонной бронемашин, миссия «Алсос» проникла в район секретных немецких лабораторий почти на сутки раньше французов и арестовала группу сотрудников «уранового проекта». Среди них был Отто Ган. Однако Вернер Гейзенберг накануне успел уехать в Баварию. Американцы тут же начали демонтаж атомного реактора, эвакуированного из физического института Общества кайзера Вильгельма после участвовавших налетов на Берлин. Работы эти были в полном разгаре, когда к Эхингену подошли французские танки. Обнаружив в городе незнакомую часть, они развернулись в боевой порядок.

— Что за чертовщина, капитан, на броневиках не кресты, а звезды! — воскликнул водитель головного танка.

Откинув крышку люка, командир французского танкового батальона подъехал к пещере, где американские саперы торопливо закладывали детонаторы в фундамент германского уранового котла.

— Откуда вы здесь взялись? — удивленно спросил французский капитан.

— Мы, наверное, несколько сбились с пути, — развел руками полковник Паш.

— Прошу вас все-таки объяснить, как и почему вы оказались во французской зоне! — уже гораздо суровее настаивал француз. — Ведь по соглашению между союзниками ваш рубеж проходит в двухстах километрах отсюда.

— Главное, что мы с вами встретились на земле поверженной Германии! — примирительно сказал Паш. — Что за беда, если это произошло не совсем там, где планировали наши штабисты. Давайте-ка лучше выпьем за нашу общую победу!

Инцидент казался исчерпанным. Но когда офицеры поднимали первый тост, раздался взрыв. Французы бросились к своим танкам.

— Не беспокойтесь, это салют в честь нашей встречи! — усмехнулся Паш. Теперь, когда даже фундамент уранового реактора был взорван, можно было обратиться к восояси.

Французы насторожились, когда узнали, что американцы увозят с собой каких-то пленных. Но убедившись, что это были немцы, тут же утратили к ним ин-

терес. Дело в том, что французский танковый батальон спешил к находившемуся неподалеку замку Гогенцоллернов. Там нацисты содержали маршала Петена — бывшего главу правительства Виши, сотрудничавшего с оккупантами.

Почти все объекты, интересовавшие миссию «Алсос», были сосредоточены на юго-западе Германии, на территории будущей французской зоны. Единственным исключением был завод фирмы «Аузргезельшафт» в Ораниенбурге, севернее Берлина. Американская разведка еще в конце 1944 года установила, что там производится металлический уран для атомных исследований. Предприятие умышленно не бомбили. Лишь когда стало очевидным, что советские войска войдут в Ораниенбург раньше американских, свыше шестисот «летающих крепостей» забросали город фугасными и зажигательными бомбами. Все наземные сооружения завода были разрушены до основания. Ораниенбург же был превращен в развалины буквально за несколько дней до прихода Советской Армии.

ИЗ ПЕНЕМЮНДЕ В ПЕНТАГОН

После провала операции «Эльстер» гитлеровцы всерьез решили позаимствовать японскую идею наведения ракеты на цель пилотом-смертником. Начальник 6-го управления РСХА Вальтер Шелленберг приказал отделу диверсий отобрать для этой цели 250 летчиков. Имелось в виду использовать их не только для удара по Нью-Йорку. В своих мемуарах Шелленберг рассказывает о планах бомбардировки промышленных объектов в глубоком советском тылу.

«Мы, — пишет он, — могли бы с бомбардировщика дальнего действия запустить самолет-снаряд «ФАУ-1» вблизи намеченного пункта, чтобы затем пилот-смертник навел его на цель. Бомбардировке должны были подвергнуться предприятия Куйбышева, Челябинска, Магнитогорска, а также районы, расположенные за Уралом».

В течение всего последнего года войны Гитлер не переставал подхлестывать руководителей проекта Пенемюнде. 24 января 1945 года состоялся очередной пробный пуск гиганта А-9/А-10. После этого фон Браун заявил, что проблема создания двухступенчатой ракеты дальнего действия технически решена. Только стремительное советское наступление на Одере сорвало планы ракетного удара по Соединенным Штатам и советской Сибири.

Нацистам пришлось спешно эвакуировать Пенемюнде. На запад двинулась колонна из двух тысяч грузовиков с прицепами. В феврале ракетчики прибыли в Нордхаузен. Там серийное производство «ФАУ-1» и «ФАУ-2» продолжалось еще в течение двух месяцев на подземном заводе. 3 апреля инспектор ракетных войск генерал СС Ганс Каммлер приказал вывезти руководящие кадры «проекта Пенемюнде» в так называемую «альпийскую крепость» на стыке границ Германии, Австрии и Швейцарии.

Тем временем коллега Бориса Паша генерал Дональд Путт с группой сотрудников американской военной разведки поспешили в Нордхаузен, который должен был войти в советскую зону оккупации Германии. Американские военные тягачи вывезли оттуда более сотни комплектных ракет «ФАУ-2». Секретная служба Пентагона захватила там и большое количество технической документации по «проекту Пенемюнде». Все это было доставлено в Антверпен, погружено на корабли и отправлено в США.

«Немецкие «ФАУ-2», — писала пентагоновская газета «Старз энд страйпс», — сэкономили американской военной промышленности по крайней мере пять лет, которые шли бы на исследовательскую и конструкторскую работу. Ведь когда трофейные ракеты были доставлены из Германии, мы делали лишь первые шаги в этой области».

Накануне капитуляции Германии генерал Каммлер покончил жизнь самоубийством. Однако Дорнбергер и фон Браун нашли себе новых хозяев за океаном.

2 августа 1945 года президент США поставил свою подпись под Потсдамским оглашением, которое, в частности, предусматривало полное разоружение и демилитаризацию Германии, ликвидацию всей германской промышленности, имевшей отношение к военному производству. Однако научный руководитель «проекта Пенемюнде» же был тайно вывезен в Соединенные Штаты. Международный военный трибунал в Нюрнберге объявил СС преступной организацией. Но штурмбанфюрер СС Эрнер фон Браун уже руководил в это время на американском полигоне Форт Блэсс онтажом захваченных в Нордхаузене немецких ракет «ФАУ-2».

Обрел новых покровителей и Вальтер Дорнбергер, которого Гитлер в 1944 году награждал Рыцарским крестом. Бывший нацистский генерал-полковник стал главным

конструктором авиастроительной фирмы «Белл». Именно Дорнбергер использовал идеи, рожденные когда-то в Пенемюнде, создав новый вид оружия, получившего название «крылатых ракет».

УЧЕНЫЕ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ

8 мая 1945 года, в тот самый день, когда в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, первые подразделения 509-го сводного авиаполка прибыли на Тиниан — один из коралловых рифов, составляющих Марианские острова. Они играли тогда роль эскадры непотопляемых авианосцев для стратегической авиации США. Ежедневно поднимая в воздух по нескольку сотен «сверх-крепостей» «Б-29», командующий 20-й воздушной армией генерал Кертис Лимэй заявил, что «вернет Японию в каменный век».

Поскольку 509-й сводный авиаполк формально входил в состав 20-й воздушной армии, была допущена преднамеренная утечка информации, чтобы объяснить роль этой воинской части. Был распущен слух, будто 509-му авиаполку поручено испытание новых крупных бомб, названных «тыквами». Они содержали заряд обычной взрывчатки весом в две с половиной тонны. Не участвуя в массированных бомбежках, самолеты Тиббетса совершали одиночные боевые вылеты, тренируясь в бомбометании непосредственно над Японией.

Тем временем рейды американских «сверхкрепостей» превращали в дымящиеся руины один японский город за другим. Генерал Гровс забеспокоился: останутся ли до конца лета в Японии неповрежденные города, на которых можно было бы продемонстрировать масштаб и характер разрушений от атомного взрыва? По его инициативе 10 мая, то есть еще за три недели до того, как было формально решено применить новое оружие против Японии, в Пентагоне собрался комитет по выбору целей для атомной бомбардировки.

Члены комитета подтвердили, что для этого целесообразно избрать крупные населенные пункты, не пострадавшие от налетов. По их рекомендации генералу Лимэю было приказано исключить из графика массированных бомбардировок четыре японских города. В этом списке, вызвавшем недоумение американских летчиков, значились Хиросима, Кокура, Ниигата, Нагасаки.

31 мая 1945 года в Пентагоне собрался так называемый комитет «С-1», или Временный комитет по проблемам атомного оружия. В нем преобладали военные и политики. Ученые же были приглашены лишь с правом совещательного голоса в составе так называемой консультативной группы. Сама повестка дня была сформулирована так, будто вопрос о том, следует ли применять атомное оружие против Японии, вообще не вызывал сомнений.

Представители Пентагона настаивали на необходимости пустить атомные бомбы в ход, ссылаясь на большие потери, которые американские войска вот уже второй месяц несли в кровопролитных боях на Окинаве. Спросили мнение ученых. Опенгеймер повторил точку зрения консультативной группы: перед боевым применением нового оружия желательно провести его предварительную демонстрацию в присутствии представителей мировой общественности. Против этого предложения резко выступил личный представитель Трумэна, будущий государственный секретарь Бирнс.

После бурной дискуссии Временный комитет пришел к следующему выводу: атомное оружие следует применить против Японии без предварительного предупреждения, пустить его в ход как можно скорее и против таких целей, которые наиболее наглядно показали бы его разрушительную силу.

Рекомендации Временного комитета держались в строгом секрете. Однако слухи о них просочились в Лос-Аламос, Ок-Ридж, Хэнфорд и Чикаго. Среди участников Манхэттенского проекта становилось все больше противников ими же созданного оружия.

«На протяжении 1943 и отчасти 1944 года нас больше всего беспокоила возможность, что нацистская Германия создаст атомную бомбу раньше нас. В 1945 году когда мы перестали тревожиться о том, что могут сделать нам немцы, мы начали беспокоиться о том, что может сделать правительство США в отношении других стран», — вспоминал потом Лео Сцилард.

Наиболее активно выступали против бомбы сотрудники металлургической лаборатории Чикагского университета. Когда-то американские работы в области расщепле-

ния атомного ядра взяли старт именно там. Но впоследствии центр научных исследований переместился в Лос-Аламос, так что ученых в Чикаго меньше дожимала каждодневная изнурительная гонка. Вместе с Лео Сцилардом в Чикаго работал лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк. По их инициативе группа видных ученых изложила свои выводы о последствиях боевого применения атомного оружия в обстоятельном докладе. Этот документ, известный как доклад комиссии Франка, 15 июня 1945 года был вручен военному министру Стимсону.

Авторы доклада предостерегали американское правительство от иллюзий, будто Соединенные Штаты смогут долго сохранять монополию на атомное оружие. Они напоминали о работах, проведенных в этой области французскими, английскими, германскими и советскими физиками. Они писали, что несмотря на завесу секретности, окружающую Манхэттенский проект, теоретические основы атомного взрыва не составляют тайны для ученых других стран.

Доклад комиссии Франка завершился следующими словами: «Мы считаем своим долгом выступить с призывом не применять атомные бомбы для удара по Японии. Если Соединенные Штаты первыми обрушат на человечество это слепое оружие уничтожения, они лишатся поддержки мировой общественности, ускорят гонку вооружений и сорвут возможность договориться о международном соглашении относительно контроля над подобным оружием».

ШАПНАЯ КАРТОНКА

16 июля 1945 года с американской военно-морской базы в Сан-Франциско вышел крейсер «Индианаполис». Командиру корабля было приказано доставить на остров Тиниан двух пассажиров с секретным грузом. Собственно говоря, это был даже не груз, а багаж: нечто вроде шляпной картонки, которую пассажиры аккуратно внесли в отведенную им каюту первого помощника.

Среди корабельных офицеров тут же сложилось мнение, что гости крейсера ведут себя как типичные ви-ай-ли — чрезвычайно важные персоны. Во-первых, они не появились к столу в кают-компании. А во-вторых, затребовали радиоперехват последних известий. Командир «Индианаполиса» счел долгом лично навестить пассажиров, чтобы вручить им подготовленный радистами текст.

Все информационные агентства начинали выпуски новостей сообщениями из Потсдама, где 17 июля была назначена встреча руководителей трех держав антигитлеровской коалиции: Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Однако, к удивлению командира крейсера, гости довольно бегло перелистали эти радиокomentarии, проявив наибольший интерес к самому последнему сообщению «Ассошиэйтед пресс»: «На рассвете 16 июля в пустыне близ авиабазы Аламогордо (штат Нью-Мексико) взорвался склад боеприпасов. Взрыв был настолько силен, что привлек внимание в Галлопе на расстоянии 376 километров».

Откуда было знать командиру, что его пассажиры имеют непосредственное отношение к взрыву в Аламогордо? И уж тем более никто на крейсере не мог предположить, что взрыв этот на самом деле был первым испытанием атомного оружия, что он вовсе не случайно совпал с открытием Потсдамской конференции, как не случайно совпал с этими двумя событиями и приказ крейсеру доставить на остров Тиниан свинцовый цилиндр с ураном-235.

Откуда было командиру догадаться, что на борту у него — боезаряд для атомной бомбы? Впрочем, мысль о каком-то новом оружии у него все же мелькнула. Заметив на кителе одного из пассажиров нашивку медицинской службы, он брезгливо покопался в «шляпную картонку» и, не скрывая неприязни боевого офицера к ученым в мундирах, произнес:

— Вот уж не думал, что мы докатимся до бактериологической войны!

Гости промолчали. А через четыре дня после того как «Индианаполис» доставил загадочный груз по назначению, между Тинианом и Филиппинами он был торпедирован японской подводной лодкой. Крейсер тонул медленно. Почти все члены экипажа успели выбраться за борт. Но спасатели подоспели только через трое суток, и сотни людей утонули или были съедены акулами.

Командир крейсера так и не узнал, какого рода смерть таилась в свинцовом цилиндре, стоявшем между коек в каюте первого помощника. А японский смертник,

взорвавшийся вместе с торпедой, не знал, что если бы та же самая цель попала в перископ его подводной лодки неделей раньше, один из двух испепеленных атомными взрывами японских городов мог бы уцелеть.

«ТОЛСТЯК» НА БАШНЕ

Суровое плато на северо-западе штата Нью-Мексико издавна зовется Долиной смерти. Но никогда место это столь не соответствовало своему названию, как 16 июля 1945 года, когда энергия расщепленного атома проявила здесь свою буйную силу.

Пока президент Трумэн пересекал Атлантический океан на пути в Потсдам, возле отдаленной авиабазы Аламогордо в лихорадочной спешке готовилась генеральная репетиция хиросимской трагедии. Вдоль всего пятисоткилометрового пути от Лос-Аламоса до Аламогордо клубились тучи красноватой пыли, в которых непрерывной вереницей двигались тягачи с оборудованием.

На том месте, где поныне сохранилась гигантская воронка со склоном из спекшегося песка, была смонтирована тридцатиметровая стальная башня, а вокруг размещена регистрационная аппаратура. В радиусе десяти километров были оборудованы три наблюдательных поста, а на расстоянии шестнадцати километров — блиндаж для командного пункта.

Бомбу, похожую на грушу (ее назвали «Толстяк»), собирали неподалеку от башни на заброшенном ранчо. Когда все остальное было готово, физик Моррисон на армейском «джипе» доставил туда из Лос-Аламоса свинцовый цилиндр с плутониевым боезарядом. Теперь дело было лишь за погодой. Но она-то как раз не благоприятствовала испытаниям. В ночь на 16 июля разразилась гроза. Вспышки молний освещали контур «Толстяка», поднятого на башню, среди стальных ферм которой виднелись три человеческие фигуры. Химику Кистяковскому и двум его помощникам предстояло покинуть бомбу лишь за полчаса до взрыва.

На командном пункте Оппенгеймер тщетно пытался убедить Гровса повременить хотя бы сутки. Он доказывал, что при таком ненастье ветер может неожиданно изменить направление и понести радиоактивное облако к населенным пунктам штатов Нью-Мексико или Техас. Но руководитель Манхэттенского проекта не хотел слышать ни о каких отсрочках (эхо Аламогордо должно было непременно докатиться до Потсдама к началу конференции трех держав!). Гровс ограничился тем, что приказал держать наготове грузовики с солдатами на случай принудительной эвакуации соседних поселков. Лишь незадолго до испытаний, назначенных на 5.30 утра, дождь прекратился, среди туч кое-где проглянуло звездное небо. И тут робкие предрассветные сумерки были рассеяны яркой вспышкой.

«Будто из недр Земли появился свет, свет не этого мира, а многих солнц, соединенных воедино,— пишет автор книги «Люди и атомы» Уильям Лоуренс, единственный журналист, которому Пентагон поручил быть летописцем Манхэттенского проекта.— Это был такой восход, какого никогда не видел мир. Громадное зеленое сверхсолице поднялось за доли секунды на высоту более двух с половиной тысяч метров. Оно поднималось все выше, пока не достигло облаков, освещая землю и все небо ослепительно ярким светом. Этот громадный огненный шар диаметром почти в полтора километра поднимался, меняя цвет от темно-пурпурного до оранжевого, расширяясь, увеличиваясь,— природная сила, освобожденная от пут, которыми была связана миллиарды лет...

Вслед за огненным шаром с земли поднялось громадное облако. Сначала это была гигантская колонна, которая затем приняла формы фантастически огромного гриба. Громадная гора, рожденная за несколько секунд (а не за миллионы лет), поднималась все выше и выше, содрогаясь в своем движении... В течение этого очень короткого, но кажущегося необычайно долгим периода не было слышно ни единого звука. Потом из этой тишины возник громовой раскат. В течение короткого времени то, что мы видели, повторилось в звуке... Казалось, тысячи мощных фугасных бомб разорвались одновременно и в одном месте. Гром прокатился по пустыне, отозвался от гор Сьерра-Оскуро. Эхо накладывалось на эхо. Земля задрожала под ногами, как будто началось землетрясение».

Когда грибовидный столб рассеялся, создатели и заказчики нового оружия устремились к месту взрыва на танках, выложенных изнутри свинцовыми плитами. Перед

их глазами лежала поистине Долина смерти. Разрушительная сила «Голстяка» оказалась равной двадцати тысячам тонн обычной взрывчатки. Стальная башня испарилась. Песок вокруг спекся в стекловидную корку.

Даже невозмутимый Ферми был настолько потрясен увиденным, что на обратном пути в Лос-Аламос не мог вести свою машину. Когда Лоуренс принялся дожимать Оппенгеймера вопросами о том, что тот думал в момент взрыва, создатель атомной бомбы мрачно посмотрел на журналиста и процитировал ему строки из священной индийской книги «Бхагавад гита»:

Если блеск тысяч солнц
Разом вспыхнет на небе,
Человек станет Смертью,
Угрозой Земле.

В тот же день за ужином среди тягостного молчания своих коллег Кистяковский произнес:

— Я уверен, что перед концом мира, в последнюю миллисекунду существования Земли последний человек увидит то же, что видели нынче мы.

Зато военные руководители Манхэттенского проекта ликовали. Генерал Лесли Гровс и его заместитель генерал Томас Ферелл перво-наперво составили две телеграммы, предназначенные для отправки в противоположные концы земли. Одна из них ушла в Сан-Франциско с приказом крейсеру «Индианаполис» срочно доставить на остров Тиниан урановый заряд для «Малыша» — второй атомной бомбы, смертоносную силу которой предстояло испробовать уже на жителях какого-нибудь японского города. Другая телеграмма была направлена Трумэну в Потсдам.

АЛАМОГОРДО И ПОТСДАМ

С 17 июля по 2 августа 1945 года близ Берлина проходила Потсдамская конференция руководителей СССР, США и Англии. 16 июля в Аламогордо был осуществлен первый экспериментальный атомный взрыв. 6 и 9 августа подобные же бомбы испепелили Хиросиму и Нагасаки. Когда сопоставляешь эти даты, бросается в глаза очевидное стремление подогнать первое испытание атомного оружия к началу встречи «большой тройки», а к концу ее приурочить уничтожение атомными бомбами японских городов.

— На нас оказывалось невыносимое давление, чтобы испытать атомный боезаряд до того, как руководители трех стран соберутся в Потсдаме, — рассказывал Роберт Оппенгеймер.

— Могу засвидетельствовать, что десятое августа всегда было для нас некоей мистической предельной датой, к которой мы любой ценой и при любом риске должны были завершить работу над бомбой, — заявлял участник Манхэттенского проекта Филипп Моррисон.

«Для ученых, не знакомых с деталями Ялтинского соглашения, 10 августа было необъяснимым мистическим рубежом, но для политических лидеров США это была дата вступления СССР в войну, обещанная союзникам, — отмечает изданная в Японии «Белая книга о последствиях атомной бомбардировки».

Хотя западные державы множество раз нарушали обещания об открытии второго фронта в Европе, у них не было сомнения, что Советский Союз сдержит свое слово. Отсюда и лихорадка: успеть до 10 августа! Создать иллюзию, будто не удар Советской Армии, а американские атомные бомбы вынудили Японию капитулировать, продемонстрировать устрашающую мощь нового оружия перед послевоенным миром, чтобы повелевать им, — таков был замысел Трумэна.

В июне Лео Сцилард записался на прием в Белый дом. В качестве доверенного лица президента его принял Бирнс — будущий государственный секретарь. Как писал потом Сцилард, Бирнс не утверждал, что атомное оружие необходимо пустить в ход, чтобы нанести Японии военное поражение. По его словам, в Вашингтоне тогда были прежде всего озабочены развитием событий в Восточной Европе. Точка зрения Бирнса, пишет Сцилард, состояла в том, что само наличие у США таких бомб и демонстрация их силы должны были сделать Россию более податливой в Европе.

«Демонстрация боевых возможностей бомбы,— пишет американский историк Алпровидц в книге «Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам»,— была нужна, чтобы заставить русских принять американский план послевоенного мира. И прежде всего навязать им свою позицию по основным спорным вопросам — по американским предложениям, касающимся Центральной и Восточной Европы».

Что же касается генерала Гровса, то на сей счет он высказался потом в конгрессе вовсе без обиняков, с солдатской прямолинейностью:

— Уже через две недели после того как я принял на себя руководство Манхэттенским проектом, я никогда не сомневался в том, что противником в данном случае является Россия и что проект осуществляется именно исходя из этой предпосылки.

После капитуляции гитлеровской Германии между Вашингтоном и Лондоном шел спор относительно сроков встречи «большой тройки». Черчилль настаивал на том, чтобы провести ее как можно скорее, пока из Европы еще не выведены американские войска. Трумэн же, наоборот, тянул время, считая, что после испытания атомной бомбы, назначенного на середину июля, ему будет легче оказывать нажим на Советский Союз.

«Когда я был вынужден отправиться в Потсдам,— писал Трумэн в своих мемуарах,— подготовка к испытанию атомной бомбы в Аламогордо, в штате Нью-Мексико, проводилась с максимальной быстротой. И во время поездки в Европу я с нетерпением ждал сообщений о результатах».

Вечером 16 июля 1945 года, как раз накануне открытия Потсдамской конференции, Трумэну была доставлена деляшка, которая даже после расшифровки читалась как заключение врача: «Операция сделана сегодня утром. Диагноз еще неполный, но результаты представляются удовлетворительными и уже превосходят ожидания. Доктор Гровс доволен».

Пятью днями позже в Потсдам прибыл специальный курьер из Пентагона с подробным отчетом об испытательном взрыве в Аламогордо. Военный министр Стимсон поспешил к президенту и прочитал ему послание начальника Манхэттенского проекта.

«Доклад Гровса чрезвычайно взбудрил Трумэна. Он сказал, что такая весть придала ему совершенно новое чувство уверенности»,— записал тогда Стимсон в своем дневнике. Уверенность эта тут же дала о себе знать на очередном заседании Потсдамской конференции. «Трумэн выглядел совершенно другим человеком, споря с русскими в самой резкой и решительной манере»,— вспоминал Черчилль.

После того как с докладом Гровса ознакомили и британского премьера, Трумэн и Черчилль договорились не упоминать об атомной бомбе в ультиматуме, который они адресовали Японии из Потсдама, то есть в Потсдамской декларации.

Вашингтонские летописцы любят повторять, будто атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки лишь после того, как Япония отказалась капитулировать на условиях этого документа. Такое утверждение, однако, противоречит фактам. Еще 23 июля, то есть за четыре дня до опубликования Потсдамской декларации, из Вашингтона в Потсдам был передан на утверждение президента США проект составленного Гровсом приказа командующему стратегической авиацией генералу Карлу Спаатсу:

«После 3 августа, как только погодные условия позволят совершить визуальную бомбардировку, 509-му сводному авиаполку 20-й воздушной армии надлежит сбросить первую спецбомбу на одну из следующих целей: Хиросима, Кокура, Ниигата, Нагасаки».

24 июля из Потсдама в Пентагон была передана шифрованная радиограмма: «Директива Гровса утверждена президентом». Это означало, что приказ об атомной бомбардировке Японии вступил в силу.

В тот же день Трумэн решил вскользь упомянуть Сталину, что у Соединенных Штатов появилось новое оружие огромной разрушительной силы. Когда после очередного заседания его участники прощались на ступеньках дворца «Цецилиенхоф», Трумэн подошел к Сталину и сказал ему несколько фраз.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Черчилль, наблюдавший за ними со стороны.

— Он не задал мне ни одного вопроса,— удивленно ответил президент США.

27 июля, в тот самый день, когда текст Потсдамской декларации был передан по радио на японском языке, крейсер «Индианаполис» доставил на Тиниан урановый заряд для первой атомной бомбы, которую предстояло применить в боевых условиях.

31 июля 1945 года заместитель Гровса генерал Ферелл рапортовал с острова Тиниан о готовности бомбы, самолетов и экипажей.

ПРОСВЕТ В ОБЛАКАХ

5 августа 1945 года в штаб 509-го сводного авиаполка были вызваны шесть членов экипажа бомбардировщика с бортовым номером «82»: командир бомбардировщика Люис, бортинженер Дазенбери, бортмеханик Шумард, радист Нелсон, радиометрист Стиборик, стрелок Кэрон.

— Нам предстоит первыми сбросить на Японию сверхмощную бомбу нового типа, — начал инструктаж полковник Тиббетс. — Ввиду особой важности задания самолет поведу я сам. Люис будет исполнять обязанности второго пилота. Старший штурман авиаполка Ван Кирк и старший бомбардир Ферреби заменят на этот рейс штатных членов экипажа. С нами полетят также три человека, которые будут заниматься бомбой: Парсонс, Джеппсон и Бисер. Представляю вам их, а они пусть познакомят нас с «пассажиром» из бомбового отсека.

Капитан первого ранга Парсонс рассказал, что хотя новая бомба весит меньше пяти тонн, разрушительная сила ее равна 20 тысячам тонн обычной взрывчатки, то есть бомбовому грузу четырех тысяч «сверхкрепостей». Чтобы дать представление о характере подобного взрыва, Парсонс показал фотографии, сделанные три недели назад в Аламогордо. Увидев эти снимки, члены экипажа поняли, почему 509-й авиаполк так долго тренировался в бомбометании с большой высоты и уходе от цели крутым виражом на максимальной скорости.

Тиббетс рассказал, что в операции будет участвовать семь бомбардировщиков. Один будет заранее послан на остров Иводзима для возможной замены какого-нибудь из самолетов сопровождения. Три «Б-29» полетят впереди, один из них курсом на Хиросиму, второй на Кокуру, третий на Нагасаки. Они должны разведать погоду над каждым из этих городов и дать окончательную рекомендацию о выборе цели. Наконец, еще два бомбардировщика будут следовать рядом с самолетом-носителем, чтобы сбросить над целью контейнеры с аппаратурой и сфотографировать результаты бомбардировки.

Накануне вылета Тиббетс дал «сверхкрепости» под номером «82» имя своей матери — Энола Гэй. Вместе с заместителем начальника Манхэттенского проекта генералом Фереллом он безотлучно следил за погрузкой «Малыша», как называли создатели урановой бомбы свое детище. Тревожила возможность аварии при взлете. Уже не раз бывало, что, стартуя с Марианских островов, «Б-29» взрывались с бомбами на борту. Случись такое теперь, от Тиниана не осталось бы и следа. Поэтому окончательную сборку взрывателя бомбы произвести уже в воздухе.

В 2 часа 45 минут утра 6 августа «Энола Гэй», освещенная лучами прожекторов, сдвинулась с места и начала разбег. В полете к ней присоединились бомбардировщики майора Суини и капитана Маркварда. Несколько часов тройка «сверхкрепостей» шла над сплошным слоем облаков. Тиббетс беспокоился: возможно ли будет прицельное бомбометание?

Жители Хиросимы не знали об уготованной им участи. Всю весну и лето 1945 года они прислушивались по ночам к гулу сотен американских «сверхкрепостей», пролетавших мимо на огромной высоте. 30 июня 1945 года массивной бомбардировке был подвергнут расположенный поблизости город Куре. Почему же Хиросима до сих пор не извела кошмара воздушных налетов?

На сей счет по городу ходили самые различные слухи. Одни говорили, что «бисан» (так японцы именовали «Б-29») щадят Хиросиму потому, что многие американцы японского происхождения — выходцы из этого города. Другие считали, что **янки** боятся попасть в расположенный где-то поблизости лагерь американских военнопленных. Третьи утверждали, будто в Хиросиме живет кто-то из родственников президента США.

Понедельник 6 августа 1945 года начался, как и другие дни войны. После двух ночных воздушных тревог мало кто обратил внимание на третью. Ее объявили в 7 часов (9 минут утра, когда высоко над Хиросимой появился один-единственный «Б-29». Это был самолет «Стрэйт флэш» майора Изерли. Глазам летчика открылся город, как бы окруженный белым нимбом. В сплошном покрывале облаков как раз над Хиросимой оказался просвет диаметром в двадцать километров. Изерли радировал Тиббетсу:

«Облачность меньше трех десятых на всех высотах. Бомбите первую цель» (потом Изерли будет терзаться мыслью о том, что этой радиограммой он вынес приговор Хиросиме).

В 8 часов 14 минут 15 секунд раскрылись створки бомбового люка, и «Мальш» устремился вниз. Еще 47 секунд над Хиросимой мирно светило солнце. За эти 47 секунд люди успели забыть об удаляющемся гуле трех «сверхкрепостей». Будничные утренние заботы владели горожанами вплоть до мгновения, когда беззвучная вспышка вдруг разом превратила Хиросиму в горячий пепел.

ЭКИПАЖ «ЭНОЛЫ ГЭЙ»

Автоматические стеклянные двери предупредительно распахиваются перед каждым входящим. Только августовский зной не может переступить за этот порог. Холл «Хиросима гранд-отеля» — это доведенный до совершенства комфорт. Невидимые машины нагнетают прохладу, невидимые плафоны мягко рассеивают свет. Столь же мягко струится музыка. Уютные кресла располагают к неге. А ливрейные официанты проворно и бесшумно разносят те же студено-горячительные смеси, что и в любом другом отеле мира. Здесь явно знают толк и в самом трудном из коктейлей: умеют смешать в должной пропорции международный комфорт с искусно отмеренной дозой местного колорита.

Деревянным балкам под потолком нечего поддерживать в железобетонном здании. Их назначение — напоминать о специфике японского зодчества, о тех архитектурных памятниках, которые турист видит на экскурсиях.

А эта решетка, что отделяет холл от главного входа? Между чугунными прутьями кое-где разбросаны прямоугольники бутристой меди. Они подсвечены лампочками, которые попеременно вспыхивают там и тут. Огоньки среди краснеющей меди напоминают об остовах разрушенных домов, о чудовищной жаре, когда пузырилось, бутрилось, закипало все вокруг — черепица, камень, металл, живое человеческое тело. Модернистская конструкция у входа намекает на главную достопримечательность, которая должна привлекать туристов в испепеленный японский город.

Первоклассный сервис — это предупредительность. И вот возле символической решетки разложены специально изданные для туристов брошюры: «Как была сброшена атомная бомба на Хиросиму». Среди участников этой операции, пожалуй, наиболее известно имя майора Изерли. Газеты много писали о том, как терзаемый муками совести американский летчик слез письма и деньги осиротевшим хиросимским детям, добивался, чтобы его заключили в тюрьму, пока власти не упрятали его в сумасшедший дом. Но ведь самолет «Стрейт флэш», который вел Изерли, лишь разведал погоду. Бомбу доставил к цели экипаж бомбардировщика «Энола Гэй». Что чувствовали эти двенадцать человек, когда увидели под собой город, превращенный ими в пепел?

Изданная для туристов брошюра представляет собой документальный рассказ об атомной бомбардировке, записанный со слов ее участников.

Люис. Трумэн был тогда в Потсдаме и хотел, чтобы мы сбросили бомбу второго или третьего августа. Но мы никак не могли вылететь из-за погоды. Ждали взлета и нервничали, так что пришлось очень мало спать эти три или четыре дня.

Стиборик. Прежде наш пятсот девятый сводный авиаполк постоянно дразнили. Когда соседи досветла отправлялись на вылеты, они швыряли камни в наши бараки. Зато когда мы сбросили бомбу, все увидели, что и мы лихие парни.

Люис. До полета весь экипаж был проинструктирован. Тиббетс утверждал потом, будто бы он один был в курсе дела. Это чушуха: все знали.

Джешпсон. Примерно через полтора часа после взлета я спустился в бомбовый отсек. Там стояла приятная прохлада. Парсонсу и мне надо было поставить все на боевой взвод и снять предохранители. Я до сих пор храню их как сувениры. Потом снова можно было любоваться океаном. Каждый был занят своим делом. Кто-то напевал «Сентиментальное путешествие» — самую популярную песенку августа сорок пятого года.

Люис. Командир дремал. Иногда и я покидал свое кресло. Машину держал на курсе автспилот. Нашей основной целью была Хиросима, запасными — Кокура и Нагасаки.

Ван Кирк. Погода должна была решить, какой из этих городов нам предстояло избрать для бомбежки.

Кэрон. Радист ждал сигнала от трех «сверхкрепостей», летевших впереди для метеоразведки. А мне из хвостового отсека были видны два «Б-29», сопровождавшие нас сзади. Один из них должен был вести фотосъемку, а другой доставить к месту взрыва измерительную аппаратуру.

Тиббетс. Кресло бомбардира установлено впереди пилотского. Мне легко было дотянуться до плеча Ферреби. У нас с ним было заведено, что я держал штурвал до последних шестидесяти секунд, а потом он брал управление на себя.

Ферреби. Мы очень удачно, с первого захода, вышли на цель. Я видел ее изда- лека, так что моя задача была простой.

Нелсов. Как только бомба отделилась, самолет развернулся градусов на сто шестьдесят и резко пошел на снижение, чтобы набрать скорость. Все надела темные очки.

Джепсон. Это ожидание было самым тревожным моментом полета. Я знал, что бомба будет падать сорок семь секунд, и начал считать в уме, но когда дошел до сорока семи, ничего не произошло. Потом я вспомнил, что ударной волне еще требуется время, чтобы догнать нас, и как раз тут-то она и пришла.

Тиббетс. Самолет вдруг бросило вниз, он задрезжал, словно железная крыша. Хвостовой стрелок видел, как ударная волна, словно сияние, приближалась к нам. Он не знал, что это такое. О приближении второй волны он предупредил нас сигна- лом. Самолет провалился еще больше, и мне показалось, что над нами взорвался зе- нитный снаряд.

Кэрон. Я делал снимки. Это было захватывающее зрелище. Гриб пепельно-серого дыма с красной сердцевинкой. Видно было, что там внутри все горит. Мне было при- казано считать пожары. Черт побери, я сразу же понял, что это бессмысленно! Крутящаяся, кипящая мгла, похожая на лаву, закрыла город и растекалась в стороны к подножьям холмов.

Шумард. Все в этом облаке было смертью. Вместе с дымом вверх летели какие- то черные обломки. Один из нас сказал: «Это души японцев возносятся на небо».

Бисер. Да, в городе пылало все, что только могло гореть. «Ребята, вы только что сбросили первую в истории атомную бомбу!» — раздался в племофонах голос полков- ника Тиббетса. Я записывал все на пленку, но потом кто-то убрал все эти записи под замок.

Кэрон. На обратном пути командир спросил меня, что я думаю о полете. «Это похлестче, чем за четверть доллара съезжать на собственном заду с горы в парке Конн-айленд», — пошутил я. «Тогда я соберу с вас по четвертаку, когда мы сядем!» — засмеялся полковник. «Придется подождать до получки», — ответили мы хором.

Ван Кирк. Главная мысль была, конечно, о себе: поскорее выбраться из всего этого и вернуться целым.

Ферреби. Капитан первого ранга Парсонс и я должны были составить рапорт, чтобы послать его президенту через Гуам.

Тиббетс. Никакие условные выражения, о которых было договорено, не годились, и мы решили передать телеграмму открытым текстом. Я не помню ее дословно, но там говорилось, что результаты бомбежки превосходят все ожидания.

ОБЕЗГЛАВЕННЫЙ ХРИСТОС

Прошла всего одна ночь после пресс-конференции в штабе 20-й воздушной армии, где полковник Тиббетс рассказывал журналистам об уничтожении Хиросимы, восседая рядом с командующим стратегической авиацией США генералом Спаатсом. Экипажи семи «сверхкрепостей», участвовавших в операции, едва успели отоспаться, когда к удивлению майора Суини его вновь назначили в боевой вылет. Причем на сей раз вместо контейнеров с приборами бомбардировщику «Грейт артист» предстояло сбро- сить «Толстяка» — такую же плутониевую бомбу, что была взорвана на башне в Ала- могордо. Как возможные объекты бомбардировки в приказе теперь пазывались не три, а два японских города: главная цель — Кокура, запасная — Нагасаки.

Полет, намеченный на субботу, внезапно перенесли на четверг 9 августа. Суини чертыхался, да и многие штабные офицеры недоумевали, к чему такая спешка? Зачем пускать в ход вторую бомбу, когда у Вашингтона не было времени оценить, как Токио прореагировал на первую?

Трумэн торопился потому, что в ночь на 9 августа Советский Союз вступил в войну против Японии. В то самое утро, когда в Маньчжурии под ударами советских танков обратилась в бегство Квантунская армия, «Б-29» майора Суини вновь поднялся в воздух с острова Тиниан.

Второй полет с бомбой проходил вовсе не так гладко, как первый. Начать с того, что взрыватель «Толстяка» нельзя было собирать в воздухе, как это было сделано с «Малышом». Оставалось гадать, что произойдет с бомбой в случае аварии при взлете. По мнению специалистов, нельзя было исключить заражения большой площади радиоактивным плутонием, да и опасности мощного ядерного взрыва. Кроме того, буквально в последний момент Суини обнаружил утечку бензина. Наконец, погода была отнюдь не самой благоприятной. Сводка предсказывала ее дальнейшее ухудшение. Тем не менее генерал Ферелл решил все же не откладывать операцию.

Ради экономии горючего основная тройка «Б-29» должна была встретиться не над островом Иводзимой, а непосредственно у берегов Японии. Во время полета над океаном пропал из видимости «Б-29» майора Гопкинса, которому было поручено фотографирование взрыва. Выходить в эфир майору Суини запрещалось. Пришлось потерять целый час, пока все три «сверхкрепости» наконец оказались в сборе.

Самолеты метеоразведки сообщили о хорошей видимости как над Кокурой, так и над Нагасаки. Взяли курс на главную цель. Но в последний момент ветер над южной Японией изменил направление. Густая пелена дыма над горевшим после очередной бомбежки металлургическим комбинатом Явата ушла в сторону и заволокла город. Майор Суини сделал три захода, но прицельное бомбометание было невозможно.

— Ничего не поделаешь! Хоть горючего в обрез, идем на запасную цель!— объявил он экипажу.

Так решила участь Нагасаки. Над ней тоже было облачно, но в просветах все же просматривались контуры залива, вдоль которого тянется город. В 11 часов 02 минуты утра «Толстяк» взорвался над одной из многочисленных в Нагасаки церквей примерно на два километра севернее точки прицеливания.

О возвращении на Тиниан не могло быть и речи. Еле-еле, буквально на последних литрах горючего дотянули до запасного аэродрома на Окинаве. Посадочная полоса была занята, а на отчаянные радиogramмы с просьбой освободить ее никто не отзывался. Пришлось дать залп всеми имевшимися на борту ракетами. Лишь этот фейерверк (означающий по кодовой книге: «Дым в кабине. Идем на вынужденную посадку. На борту убитые и раненые») возымел действие. «Грейт артист» тяжело плюхнулся на бетон посередине полосы. К самолету со всех сторон устремились пожарные и санитарные машины.

— Где убитые и раненые?— выпалил санитар, вбежавший по аварийному трапу.

Суини из последних сил стянул с себя шлем и, показав рукой на север, мрачно произнес:

— Остались там, в Нагасаки...

Четыре с лишним века этот порт служил в Японии воротами христианства. Миссионеры строили там церкви, звали на путь истинный и пугали муками ада. Но всей их фантазии о дьяволе не хватило бы и на тысячную долю того, что сотворил с городом христианин Трумэн. Атомная бомба взорвалась над собором, который воздвигли возле тюрьмы, чтобы звон колоколов помогал преступникам каяться. Взрыв, однако, не пощадил никого: ни грешников, ни праведников, ни самих богов. Обезглавленный каменный Христос и донныне стоит там среди развалин, опровергая собственную проповедь о том, будто в мольбах можно обрести спасение.

ПОДАЯВШАЯ ЧЕРЕПИЦА

6 августа 1945 года в 8 часов 16 минут утра японская радиовещательная корпорация обратила внимание, что городская радиостанция Хиросимы в эфире не прослушивается. Вслед за этим токийский железнодорожный узел обнаружил, что телеграфная линия, проходящая через Хиросиму, вышла из строя. Полностью прервалась связь с этим городом и по военным каналам генерального штаба. Дежурные офицеры были озадачены: ведь сведений о крупном американском налете не поступало.

Лишь утром 7 августа в ставку верховного главнокомандующего поступило краткое донесение 2-го армейского корпуса: «Хиросима полностью уничтожена одной един-

ственной бомбой. Возникшие пожары продолжают распространяться». Когда это донесение прочел заместитель начальника генерального штаба Кавабе, он тут же вспомнил о физике Иосию Нисине и других участниках проекта «Эн».

За ученым послали офицера. Входя в дом Нисины, он столкнулся с репортером официального агентства «Домэй». Тому срочно требовался ответ: верит ли профессор сообщениям американского радио о том, что на Хиросиму сброшена атомная бомба? Нисина уклонился от ответа. Но ознакомившись в генштабе с загадочной депешей, пришел к выводу, что судя по всему так оно и было.

— Выходит, создать атомную бомбу все-таки можно! — укорял физика генерал Кавабе. — А раз так, нужно как следует взяться за нее и нам. О средствах доставки теперь можно вообще не думать. Мы бы позволили американцам высадиться на острове Кюсю; а потом взорвали бы весь плацдарм. Короче: хватит ли шести месяцев, чтобы создать атомный боезаряд? Мы постарались бы любой ценой продержаться такой срок...

Нисина отрицательно покачал головой.

— При нынешних условиях нам не хватило бы не то что шести месяцев, а и шести лет. У нас нет ни урана, ни электроэнергии. У нас вообще нет ничего.

— Какой же эффективный метод защиты от атомных бомб вы можете тогда предложить?

— Сбивайте каждый вражеский самолет, который приблизится к Японии! — вот единственный совет, который мог дать ученый.

Нисине было поручено вылететь в Хиросиму, чтобы обследовать положение на месте. Когда физик увидел испепеленный город с самолета, его опасения подтвердились. Ничто, кроме атомной бомбы, не могло причинить таких огромных разрушений.

Собрав куски оплавившейся черепицы, Нисина вычислил температуру взрыва. А силуэты людей и различных предметов, которые отпечатались на гладких каменных поверхностях, позволили ему довольно точно определить высоту, на которой взорвалась бомба. Ученый собрал образцы почвы на разных расстояниях от эпицентра, чтобы определить их радиоактивность. Четыре месяца спустя, в декабре 1945 года, все тело у Нисины покрылось волдырями. Как он и предполагал, это был результат остаточной радиации.

Ученые, участвовавшие в Манхэттенском проекте, настоятельно просили генерала Гровса разбросать над Японией листовки, которые предостерегали бы об опасности радиоактивного излучения, возникающего при атомном взрыве. Американские военные власти не хотели этого делать. Они опасались, что такое предостережение побудит людей сравнивать атомное оружие с химическим. Поэтому Пентагон пытался поначалу попросту отрицать, что атомные бомбы способны вызывать у людей лучевую болезнь.

12 августа 1945 года министерство обороны США опубликовало официальный доклад о применении атомного оружия. В нем, в частности, говорилось: «Военное министерство подчеркивает, что бомбы были взорваны на такой высоте, чтобы сделать воздействие ударной волны максимальным и чтобы радиоактивные вещества захватывались восходящими потоками раскаленного воздуха и рассеивались на больших пространствах, не нанося никому вреда».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ УЛИК

3 сентября 1945 года, то есть на другой же день после капитуляции Японии, нахлынувшие в Токио иностранные журналисты услышали следующее: «Все, кому выпало умереть, умерли. И от последствий взрывов в Хиросиме и Нагасаки больше не страдает никто».

Это заявление сделал генерал Томас Ферелл, заместитель начальника Манхэттенского проекта. Хотя оснований для такого утверждения у Ферелла не было никаких (он сам ступил на японскую землю лишь накануне и даже издали не видел испепеленных городов), слова его разошлись в печати как официальное мнение американских ученых.

Между тем в первые дни после катастрофы Хиросима не походила на безжизненное кладбище. Она была городом мук и страданий, полным беспорядочного, хаотического движения. Все, кто мог ходить, ковылять или хотя бы ползать, чего-то искали. Одни — глотка воды, другие — помощи врача, третьи — родных и близких, чьи муки уже кончились.

Получилось так, что правду о лучевой болезни, порожденной атомным взрывом, впервые раскрыла своим соотечественникам одна из красивейших женщин Японии — актриса Мидори Нака. Прославленная исполнительница главной роли в «Даме с камелиями» гастролировала в Хиросиме с театром «Цветущая сакура». Актёры жили в гостинице, находившейся всего в 700 метрах от эпицентра взрыва. Из семнадцати членов труппы тринадцать были убиты на месте. Мидори Нака чудом осталась цела. Выбравшись из развалин, она доползла до реки. Течение отнесло ее на несколько сот метров от пылающего города. Люди, которые вытащили женщину из воды, порадовались за нее: ни единого ранения, даже царапины!

Актрису узнали. Благодаря содействию ее почитателей она была первым же военным эшелонотом отправлена в Токио. 16 августа Мидори Нака была доставлена в клинику Токийского университета. Ее взялся лечить профессор Масао Цудзуки, крупнейший в Японии специалист в области радиологии. У больной стали выпадать волосы, резко снизилось число белых кровяных шариков, тело покрылось темными пятнами. Ей многократно делали переливание крови. Но 24 августа Мидори Нака скончалась.

До профессора Цудзуки уже доходили слухи о загадочных последствиях трагедии Хиросимы и Нагасаки. Но то были отрывочные сведения, полученные из вторых или третьих рук. Теперь же он стал непосредственным свидетелем участи Мидори Наки. Течение ее болезни, результат вскрытия тела окончательно убедили японского радиолога, что атомный взрыв может вызывать лучевую болезнь.

К такому же выводу пришел профессор Сейдзи Охаси, который, как и физик Иёсио Нисина, был направлен в Хиросиму по поручению военных властей. 21 августа он представил правительству свой доклад. Там делался вывод о том, что рвота и кровавый понос, от которых страдали многие жители Хиросимы и Нагасаки, представляли собой не эпидемию дизентерии, как считали местные врачи, а симптомы лучевой болезни.

В ту пору правдивые вести об атомной трагедии стали появляться и в японской печати. «Хиросима — город смерти. Даже люди, оставшиеся невредимыми при взрыве, продолжают умирать», — писала «Асахи» 31 августа 1945 года. После долгих лет милитаристской тирании тиски военной цензуры наконец разжались, но лишь на несколько недель. На смену пришла цензура американских оккупационных властей. С середины сентября всякое упоминание о жертвах атомных взрывов вдруг исчезло со страниц японских газет. Исчезло не на неделю, не на месяц, а на целых семь лет.

Около трехсот тысяч «хибакуся», то есть людей, пострадавших от атомных взрывов, стали как бы кастой отверженных. Люди не могли публично выражать им сострадание, призывать помочь им. Даже в литературе и искусстве «хибакуся» стали запретной темой. Единственной посвященной им книгой, которая избежала цензуры оккупационных властей, был сборник стихов Синоэ Сюдэ (она впоследствии скончалась от лучевой болезни). А единственным местом, где стихи эти удалось напечатать без ведома американцев, оказалась городская тюрьма. Женщина уговорила знакомого надзирателя размножить рукопись в 150 экземплярах на тюремном печатном станке. Так дошли до читателей строки:

Где-то там, в небесах,
опрокинули чашу яда.
На дымящийся город
пролился он черным дождем.

Неподалеку от Хиросимы, в Удзине, в помещении бывшей прядильной фабрики группа японских медиков-энтузиастов оборудовала госпиталь для людей, пострадавших от атомного взрыва. Его главным врачом стал профессор Охаси. Теперь у него накапливалось все больше данных о том, что лучевая болезнь проявляет себя прежде всего как прогрессирующее поражение костного мозга и разрушение крови.

Но неожиданно в Удзину нагрянула американская военная полиция. По приказу оккупационных властей госпиталь был закрыт. Истории болезней и другая медицинская документация были конфискованы и отправлены в США.

По мнению историка Имабори осенью 1945 года американцы умышленно использовали японских медиков для сбора научных данных на местах взрывов, так как считали эти районы еще опасными из-за остаточной радиации. Основания к тому, видимо, были, ибо два известных хирурга, долго работавшие среди развалин Хиросимы и Нагасаки, вскоре умерли от белокровия.

С японскими кинематографистами оккупационные власти поступали так же, как и с врачами: сначала не мешали вести съемки, а потом отобрали весь материал. Группа операторов во главе с режиссером Акирой Ивасаки прибыла в Хиросиму вскоре же после взрыва. Всю осень трудились они среди развалин и пепла, а в декабре перебрались в Нагасаки.

Съемки уже подходили к концу, когда группа была арестована военной полицией США и на самолете доставлена в Токио. Одновременно американцы совершили налет на киностудию, обыскали дом Ивасаки. Все материалы к фильму были конфискованы. Режиссера заставили под присягой подтвердить, что нигде больше не осталось ни метра отснятой пленки. Не раз потом оккупационные власти повторяли обыски, засылали на студию своих агентов. Но они так и не узнали, что Ивасаки и его коллеги, рискуя жизнью, тайно отпечатали копию фильма и спрятали его.

ОХОТНИКИ ЗА ТРУПАМИ

Осенью 1946 года министр обороны США Форрестол направил президенту Трумэну послание. Ссылаясь на доклады специалистов, побывавших в Хиросиме и Нагасаки, он предложил создать в Японии американский научный центр по изучению воздействия атомных взрывов на человеческий организм. «Такие исследования, — подчеркнул Форрестол, — будут иметь огромное значение для Соединенных Штатов как единственная в своем роде возможность проанализировать медицинские и биологические последствия радиоактивного облучения».

В середине 1947 года мэру Хиросимы объявили, что правительство США решило разместить в городе персонал Комиссии по изучению последствий атомного взрыва. Организация эта, которую японцы привыкли называть по сокращенному названию «Эй-би-си-си», открыла свою клинику. Больных возили туда на новеньких американских «джипах», а после бесплатного обследования на машинах же доставляли домой.

Некоторых пациентов настойчиво уговаривали остаться в стационаре. Но хиросимцы вскоре заметили, что такие предложения обычно делали безнадежным больным, которые через непродолжительное время расставались с жизнью на американской больничной койке. Так что роль стационара в сущности состояла в том, чтобы поставлять трупы для анатомического обследования.

В январе 1951 года «Эй-би-си-си» переместилась в новое помещение на холме Хидзияма. Там, если верить заявлению оккупационных властей, была открыта наиболее современная и хорошо оборудованная клиника в Восточной Азии. Но суть дела не изменилась. Врачи тщательно осматривали больных, досконально обследовали их с помощью новейшей аппаратуры, брали на анализ кровь, спинно-мозговую жидкость, но не прописывали им никаких лекарств, не назначали процедур, даже не давали советов.

— Мы являемся не лечебным, а научно-исследовательским учреждением. Наш персонал не имеет права заниматься медицинской практикой в Японии. Практическое лечение мы предоставляем японским врачам, — так отвечала администрация «Эй-би-си-си» на недоуменные вопросы пациентов и их родственников.

Чем же тогда занимались медики на холме Хидзияма, под белыми халатами которых хиросимцы вскоре распознали военные мундиры? Первые пять лет в центре их внимания находилась «программа изучения наследственности». В городах, разрушенных атомными бомбами, было обследовано 75 тысяч молодоженов. В Японии тогда существовала карточная система. Кормящим матерям полагался специальный паек. Так что для американцев не представляло труда брать под наблюдение жительниц Хиросимы и Нагасаки с пятого месяца беременности.

Кроме основной программы велись и другие исследования. Например, по программе «ПЕ-18» две с половиной тысячи детей в Хиросиме и Нагасаки сравнивались с таким же количеством контрольных детей, чьи родители переселились в эти же города уже после войны. По программе «ПЕ-52» обследовались дети, матери которых в августе 1945 года были на третьем месяце беременности. Темой программы «ПЕ-49» было изучение детей, находившихся в момент взрыва меньше чем за 1000 метров от эпицентра. Существовала и другая классификация — по болезням. За ее индексами проступала картина страданий, выпавших на долю «хибакусы»: «ХЕ-39» (рак крови), «ОГ-31» (бесплодие), «СУ-59» (коллоидные шрамы от ожогов).

Пожалуй, никогда еще в истории медицины, замечает западногерманский публицист Роберт Юнг, такое большое количество людей, как больных, так и здоровых, не подвергалось столь тщательному медицинскому обследованию в пределах определенной территории и на определенном отрезке времени. Однако позорно само по себе уже то, что деятельность «Эй-би-си-си» финансировалась Комиссией по атомной энергии, основная задача которой состояла в совершенствовании американского ядерного оружия.

Японская общественность, таким образом, наблюдала, как представители страны, испепелившей Хиросиму и Нагасаки, с научной добросовестностью исследовали последствия своей акции. Это толкало японцев к выводу о том, что между сбрасыванием бомб и изучением последствий атомных взрывов существует причинная связь. Японцы невольно задавались вопросом: не состояла ли одна из целей атомных бомбардировок в том, чтобы в лице «хибакуся» дать американским ученым в мундирах материал для дальнейшего совершенствования нового бесчеловечного оружия?

Что же, они были правы. Ведь именно ради этого министр обороны Форрестал призывал президента Трумэна использовать «единственную в своем роде возможность».

ДВАДЦАТЬ ЦЕЛЕЙ

25 октября 1945 года президент Трумэн изложил «двенадцать моральных принципов», которые якобы составляют основу внешней политики Соединенных Штатов в послевоенном мире. Первый пункт этого заявления гласил: «Мы не стремимся ни к территориальной экспансии, ни к эгоистическим преимуществам. Мы не имеем планов агрессии в отношении какого-либо государства, большого или малого».

Тем временем в штате Нью-Мексико началось строительство завода для массового производства атомных бомб. В Соединенные Штаты прибывали все новые группы германских инженеров и техников. Ведущие концерны военно-промышленного комплекса США спешили приобщиться к новинкам нацистского вермахта и люфтваффе. Наибольшим спросом у американских производителей боевой техники пользовались бывшие сотрудники исследовательских отделов германского министерства авиации.

3 ноября 1945 года — меньше чем через три месяца после уничтожения Хиросимы и через два месяца после капитуляции Японии — на рассмотрение Комитета начальников штабов США поступил доклад Объединенного разведывательного комитета № 329. Его первый параграф гласил: «Отобразить приблизительно двадцать наиболее важных целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки в СССР и на контролируемой им территории». В этом списке фигурировали Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль.

3 декабря Объединенный разведывательный комитет представил доклад № 329/1, где предложенный план был уточнен и дополнен. Предусматривалось, что вместе с Соединенными Штатами в нападении на Советский Союз примет участие и Соединенное Королевство. Так что для бомбардировки СССР могут быть использованы также авиабазы на территории Англии и ее заморских владений.

«Советский Союз, — констатировали авторы доклада, — в ближайшем будущем не может напасть на континентальные Соединенные Штаты. Советские заморские операции практически исключаются, так как у СССР нет значительного военно-морского флота... Для того чтобы действовать против Соединенных Штатов, Советскому Союзу надо было бы перевезти свои войска за 4 тысячи миль и воевать с противником, располагающим мощным военно-морским флотом, сильной авиацией и десятикратным превосходством в производстве стали».

На взгляд вашингтонских стратегов наступил удобный момент для вероломного удара по вчерашнему союзнику. Советский народ заплатил за победу двадцатью миллионами человеческих жизней. Потери Соединенных Штатов во второй мировой войне составили четыреста тысяч человек.

Гитлеровцы разрушили 1700 советских городов, вывели из строя 32 тысячи промышленных предприятий. На территорию Соединенных Штатов не упала ни одна вражеская бомба. Индустриальный потенциал страны не только не пострадал, но неизмеримо возрос благодаря военным заказам. В конце войны на долю США приходилось

почти две трети мирового промышленного производства, в том числе половина выплавки стали. Три четверти мирового запаса золота было сосредоточено в американских банках. К этому небывалому сочетанию мощи и богатства добавилось еще и атомное оружие. В Пентагоне были уверены, что Соединенные Штаты будут монопольно владеть им по крайней мере 10—15 лет.

Так созрел чудовищный по своему коварству замысел: нанести атомный удар по Советскому Союзу прежде, чем он успеет залечить нанесенные войной раны, устранить последнюю помеху к безраздельному господству Соединенных Штатов над послевоенным миром.

Строго говоря, идея эта стала предметом обсуждения в Вашингтонских коридорах власти сразу же после того, как в Белом доме сменился хозяин, и особенно после встречи Трумэна со Стимсоном и Гровсом. 19 мая 1945 года, то есть через 10 дней после того как над Москвой прогремел салют в честь Дня Победы, заместитель государственного секретаря США Джозеф Грю писал: «Если что-либо может быть вполне определенным в этом мире, так это будущая война между СССР и США».

Это не было болезненным бредом рехнувшегося на антисоветизме чиновника-одиночки. Преданные гласности секретные документы Пентагона свидетельствуют, что в первые же месяцы после общей победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией военное руководство США начало всерьез готовиться к нападению на своего союзника.

Главную роль в этой подготовке играл Комитет начальников штабов США. Возглавлял его адмирал Уильям Леги, начальник штаба при главнокомандующем вооруженными силами США. В состав комитета входили начальник штаба армии генерал Джордж Маршалл, главнокомандующий ВВС генерал Генри Арнолд и главнокомандующий ВМС адмирал Эрнест Кинг. Непосредственно Комитету начальников штабов подчинялись такие органы, созданные из представителей разных видов вооруженных сил, как Объединенный разведывательный комитет и Объединенный комитет военного планирования. Именно они вели практическую подготовку атомного удара по Советскому Союзу.

14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования издал директиву № 432/Д. К соучастникам нападения на СССР в этом документе причислены Англия, Франция и Турция. Авиации дальнего действия предписывалось использовать базы в Англии, Италии (Фоджа), Британской Индии (Агра), Китае (Чэнду), Японии (Окинава).

«Единственным оружием, которое США могут эффективно применить для решающего удара по основным центрам СССР, является атомная бомба, доставленная самолетом дальнего действия,— говорилось в директиве № 429/Д.— На карте к приложению «А» указано двадцать основных промышленных центров Советского Союза и трасса транссибирской магистрали — главной советской одноколейной линии коммуникаций. Карта также показывает базы, с которых сверхтяжелые бомбардировщики могут достичь 17 из 20 указанных городов и транссибирской магистрали. Согласно нашей оценке, действуя с указанных баз и применив все имеющиеся в наличии 196 атомных бомб... Соединенные Штаты смогли бы нанести такой разрушительный удар по промышленным источникам военной силы СССР, что он в конечном счете оказался бы решающим».

Заключительный параграф директивы № 432/Д показывает истинную цену не прекращающихся поныне разглаговльствований насчет мнимой «советской угрозы». В нем говорилось: «В настоящее время Советский Союз не располагает возможностью нанести аналогичные разрушения промышленности Соединенных Штатов. Когда же СССР создаст стратегическую авиацию с бомбардировщиками радиуса действия в 5 тысяч миль и атомную бомбу, он будет в состоянии нанести ответный удар и нынешнее решающее преимущество Соединенных Штатов будет сведено к нулю».

Итак — бить первыми, бить, пока Советский Союз еще не оправился от жертв и разрушений, пока экономическое и военное превосходство Соединенных Штатов еще наиболее очевидно, бить «со всех азимутов», предварительно окружив СССР кольцом американских баз. Такова была суть стратегии Пентагона в 1945 году. Причем уже тогда в ней содержались главные элементы современной военной доктрины США: ставка на первый удар и средства передового базирования, развернутые на территории союзных стран.

ПЛАН БАРУХА

5 марта 1946 года Черчилль в присутствии Трумэна выступил в Вестминстерском колледже американского городка Фултон (штат Миссури). Эту речь принято считать публичным провозглашением «холодной войны» против СССР, открытым призывом к созданию антисоветской военно-политической коалиции. Черчилль разглагольствовал о «железном занавесе», который будто бы опустился над странами Восточной и Юго-Восточной Европы, ратовал за союз между США и Англией, подкрепленный атомным оружием.

Но первый послевоенный год ознаменовался и событием диаметрально противоположной направленности. 19 июня 1946 года Советский Союз внес на рассмотрение комиссии ООН по атомной энергии проект «Международной конвенции о запрещении производства и применения оружия, основанного на использовании атомной энергии в целях массового уничтожения».

СССР предложил, чтобы участники такой конвенции взяли на себя три обязательства: во-первых, не применять атомного оружия ни при каких обстоятельствах; во-вторых, запретить его производство и хранение; в-третьих, уничтожить его запасы в трехмесячный срок. Эта советская инициатива открывала возможность пресечь ядерную гонку еще в зародыше, сберечь гигантские средства, поглощенные каждым ее витком, который к тому же нес ее участникам не новую степень безопасности, а новую степень опасности.

В наши дни вашингтонские политики объявляют «ядерное замораживание» неприемлемым, утверждая, будто оно закрепило бы неравновесие в пользу СССР. Но как при подобной логике объяснить, почему были отвергнуты советские предложения в 1946 году, когда явное, а не мнимое превосходство было на стороне Соединенных Штатов?

Вашингтон противопоставил тогда советской инициативе демагогический демарш с так называемым «планом Баруха». Летом 1946 года представитель США в комиссии ООН по атомной энергии Бернард Барух внес на рассмотрение этого органа американские предложения. Чтобы придать им вес в глазах международной общественности, к их разработке был привлечен ряд видных ученых во главе с Оппенгеймером.

Цель американского проекта состояла не в том, чтобы запретить атомное оружие, а в том, чтобы закрепить монопольное обладание им за Соединенными Штатами. В «плане Баруха» предлагалось создать международный орган по контролю над атомной энергией, независимый от Совета Безопасности ООН, который находился бы под полным контролем США и единолично распоряжался сырьевой, производственной и научно-исследовательской базой атомной промышленности во всех странах.

Еще в разгар войны руководство Манхэттенским проектом задало целью прибрать к рукам мировые запасы расщепляющихся материалов. «В начале 1943 года, — писал генерал Гровс, — мы пришли к выводу, что нам следует составить справку о распределении залежей урановых и ториевых руд во всем мире. Мне казалось совершенно очевидным, что обеспечение Соединенных Штатов Америки на будущее запасами материалов, которые могут служить источником атомной энергии, является нашим долгом».

Предлагая передать международному органу контроль над расщепляющимися материалами, Соединенные Штаты уже заручились правом закупать всю добычу урана в Бельгийском Конго. Соглашение на сей счет вступило в силу в декабре 1944 года. Созданная по инициативе Гровса карта главных месторождений урана и тория во многом предопределила направления империалистической экспансии США в послевоенные годы. Достаточно вспомнить, например, об активности американских неоколонизаторов в Конго или Намибии.

Американские предложения о передаче атомной энергии под международный контроль были, разумеется, чистойшей демагогией. Уже при подготовке «плана Баруха» госдепартамент подчеркивал, что план вовсе не требует, чтобы США прекратили производство атомных бомб — ни после того, как он будет предложен, ни после утверждения международного органа. Комитет начальников штабов оговаривал «план Баруха» следующим условием: «Атомная бомба должна оставаться сердцевиной американского арсенала, и система контроля должна быть разработана таким образом, чтобы предотвратить создание атомного оружия русскими».

24 сентября 1946 года специальный помощник президента США Клиффорд представил в Белый дом доклад, озаглавленный «Американская политика в отношении СССР». «Советский Союз,— говорилось в этом документе,— трудно одолеть, ибо его промышленность и природные ресурсы рассредоточены. Однако он уязвим для атомного и бактериологического оружия, для дальних бомбардировщиков. Следовательно, Соединенные Штаты должны быть готовы вести атомную и бактериологическую войну. Любые переговоры об ограничении вооружений следует вести неторопливо и осмотрительно, постоянно помня, что запрет на применение атомных бомб и других наступательных вооружений дальнего действия значительно ограничил бы мощь Соединенных Штатов». Читая эти слова сейчас, поневоле думаешь: уж не ими ли поныне руководствуются американские представители на всех переговорах, связанных с обузданием ядерной гонки?

БИТАЯ КАРТА

Ветры «холодной войны» дули все сильнее. 12 марта 1947 года была провозглашена «доктрина Трумэна». Предоставление экстренной военной помощи Греции и Турции должно было послужить прологом антикоммунистического крестового похода. Составной частью политики «сдерживания коммунизма» стал и «план Маршалла», выдвинутый 5 июня.

Нуждам данной политики отвечала реорганизация государственного руководства США, проведенная в конце того же года. Был учрежден Совет национальной безопасности во главе с президентом, создано Центральное разведывательное управление. Министерства армии и флота были преобразованы в единое министерство обороны. В одном из первых документов Совета национальной безопасности — меморандуме № 7, изданном в марте 1948 года, — говорилось:

«Разгром сил мирового коммунизма, руководимого Советами, имеет жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов. Этой цели невозможно достичь с помощью оборонительной политики. Поэтому Соединенные Штаты должны взять на себя руководящую роль в организации всемирного контрнаступления с целью мобилизации и укрепления наших собственных сил и антикоммунистических сил несоветского мира, а также в подрыве мощи коммунистических сил».

Несколько месяцев спустя, летом 1948 года, западные державы спровоцировали так называемый «берлинский кризис», проведя в своих зонах оккупации Германии сепаратную денежную реформу. Использование новой валюты в западных секторах Берлина грозило вызвать экономический хаос в советской зоне. В конце июня советская военная администрация ввела ограничения на перевозки в Берлин с запада. Одновременно были предусмотрены меры по снабжению западных секторов города из советской зоны. Империалистические круги подняли крик о блокаде. Якобы ради спасения отрезанных берлинцев был создан «воздушный мост».

Воспользовавшись этой шумихой, Пентагон положил начало развертыванию в Западной Европе американских ядерных сил передового базирования. На аэродромах Восточной Англии, с которых союзная авиация еще недавно наносила удары по гитлеровскому рейху, появились шестьдесят американских бомбардировщиков «Б-29» — в ту пору единственных носителей атомных бомб.

Черчилль призывал к атомной войне против СССР, если Москва не пойдет на уступки в «берлинском кризисе». В октябре 1948 года он выступил с речью, которую за океаном впоследствии назвали незаслуженно забытой. Бывший британский премьер заявил: «Было бы неразумно полагать, будто в нашем распоряжении неограниченное время. Мы должны вступить в схватку и достичь окончательного решения, пока западные страны опираются на атомную мощь — и до того, как русские коммунисты тоже овладеют ею».

4 апреля 1949 года было объявлено о создании Организации североатлантического договора (НАТО). Ее членами стали США, Канада, Англия, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Исландия. Три года спустя к ним присоединились Турция и Греция, а еще через три года — ФРГ.

Рождение антисоветской коалиции встревожило миролюбивую общественность. Рост военной угрозы побудил миллионы людей к активным действиям. 20 апреля 1949 года в Париже собрался Первый Всемирный конгресс сторонников мира. (Поскольку французские власти отказались выдать визы многим делегатам, заседавшая

конгресса одновременно проходили и в Праге.) Одним из основателей движения сторонников мира стал Фредерик Жолио-Кюри. Выступая на открытии Парижского конгресса, он сказал: «Наш долг осудить применение атомной энергии в военных целях, заклеить это извращение науки и присоединиться к тем, кто предлагает объявить атомное оружие вне закона».

Американская пропаганда все еще лицемерно превозносила мнимые достоинства «плана Баруха», а Пентагон продолжал свое.

По мере того как в антисоветскую коалицию вовлекалось все больше стран, а у Пентагона накапливалось все больше атомных боезарядов, расширялись и масштабы запланированного нападения на СССР. По плану «Троян» объектами атомного удара должны были стать уже не 20, а 70 советских городов. На Москву намечалось сбросить 8 атомных бомб, на Ленинград — 7. Начало военных действий было назначено на 1 января 1950 года.

Почему же угрожающий удар по Советскому Союзу так и не был нанесен? Прежде всего потому, что количество атомных боезарядов и средств их доставки, которыми в ту пору располагал Пентагон, не могло гарантировать победного исхода конфликта. Одно дело — массовое истребление мирных жителей. И другое — эффективное поражение военных и промышленных объектов. Мощность, точность да и число тогдашних атомных бомб были недостаточны для этого. Командование ВВС подсчитало, что вероятность потерь при осуществлении плана «Троян» превысит 55 процентов участвующих в каждом вылете самолетов (во время бомбардировок Японии они не составляли и двух процентов).

Решено было накопить для атомного удара еще больше сил и сделать соучастниками нападения на СССР возможно больше стран. Для этого требовалось время. В 1949 году Комитет начальников штабов начал разрабатывать план «Дропшот». Начало военных действий было перенесено в нем на 1 января 1957 года. Зато предусматривалось, что вместе с Соединенными Штатами в войну вступят все страны НАТО. На первом этапе конфликта планировалось сбросить 300 атомных бомб на 100 советских городов. Затем с запада и юга на советскую территорию должны были вторгнуться 164 дивизии НАТО, в том числе 69 американских. Завершающий этап плана «Дропшот» предусматривал оккупацию СССР и других социалистических стран Европы.

Но тут произошло событие, которое остудило пыл пентагоновских стратегов. 3 сентября 1949 года американский бомбардировщик «Б-29», совершавший патрульный полет над северной частью Тихого океана, обнаружил повышенную радиоактивность в верхних слоях атмосферы. Проверка данных, в которой участвовал Оппенгеймер, не оставила сомнений: Советскому Союзу потребовалось всего четыре года, чтобы лишить Соединенные Штаты монополии на атомное оружие.

ТЕЛЛЕР И СУПЕРБОМБА

— Что же нам теперь делать? — такими словами, выражающими растерянность и смятение, прореагировал президент Трумэн на известие о советском атомном взрыве.

Почти три недели в Белом доме даже не решались публиковать это сообщение, опасаясь, что оно вызовет панику среди американцев. Впрочем, ответ на риторический вопрос президента скоро определился: как можно быстрее занять водородную бомбу, чтобы вновь вернуть Соединенным Штатам военное превосходство, возможность шантажировать Советский Союз.

Еще в разгар работ по осуществлению Манхэттенского проекта ученым, которые трудились в Лос-Аламосе, стало ясно, что атомная бомба способна послужить как бы запалом для несравненно более мощного взрыва, создать условия для атомного синтеза, то есть слияния легких ядер, при котором выделяется гигантское количество энергии. При атомном взрыве под воздействием нейтронов происходит распад тяжелых ядер урана или плутония. При этом развивается температура в несколько миллионов градусов, которая и открывает возможность воспроизвести процесс слияния атомов водорода, бушующий в недрах Солнца.

В Лос-Аламосе этой идеей больше всех был одержим Эдвард Теллер. Еще летом 1942 года на совещании у Оппенгеймера он впервые высказал мысль о возможности использовать атомную бомбу как детонатор термоядерного взрыва, то есть как спичку, которая зажгла бы огонь атомного синтеза.

Теллер родился и вырос в Венгрии, в состоятельной еврейской семье. Потом учился у Бора в Дании, получал американскую стипендию из фонда Рокфеллера, а в 1935 году переселился в США. Будучи на четыре года моложе Оппенгеймера, Теллер не только завидовал его славе и авторитету, но и не разделял его политических взглядов, осуждал его нерешительность в вопросе о том, стоит ли применять атомное оружие против Японии. В Лос-Аламосе Теллера иронически прозвали «апостолом супербомбы». Он действительно был рьяным сторонником политики атомного шантажа, поборником опоры на американское военное превосходство. Узнав о советском атомном взрыве, Теллер тут же потребовал ускорить работы над супербомбой.

29 октября 1949 года под председательством Оппенгеймера собралась консультативная группа Комиссии по атомной энергии. Восемь ведущих американских ученых должны были ответить на вопрос: следует ли Соединенным Штатам безотлагательно приступить к созданию водородной бомбы? За это ратовали Теллер и Страусс (оба они не являлись членами консультативной группы). Все другие участники заседания заняли противоположную позицию. Особенно резко высказались против создания водородной бомбы физики Ферми и Раби. Они призвали президента Трумэна публично отказаться от создания термоядерного оружия и предложить Советскому Союзу принять на себя такое же обязательство.

Мнение остальных шести членов консультативной группы включая Оппенгеймера было хотя и менее категоричным, но тоже отрицательным: «Мы считаем, что следует тем или иным путем избежать создания термоядерного оружия. Мы против того, чтобы Соединенные Штаты выступили инициатором его разработки. В отказе от супербомбы мы видим путь к предотвращению ядерной войны».

Однако «апостол супербомбы» и его покровители не успокоились. Дело дошло до того, что по распоряжению из Вашингтона было конфисковано и уничтожено несколько тысяч экземпляров научного журнала «Сайентифик америкэн». Власти пошли на этот шаг потому, что физик Бете, один из авторов теории синтеза легких ядер, обращался через журнал к американским ученым с призывом выступить против создания водородной бомбы.

31 января 1950 года в здании госдепартамента собралась группа членов Совета национальной безопасности: министр обороны Джонсон, государственный секретарь Ачесон, председатель Комиссии по атомной энергии Лилиенталь. Двумя голосами против одного (возражал Лилиенталь) они приняли решение: рекомендовать президенту издать приказ о срочном создании водородной бомбы. В этот же день президент Трумэн объявил американскому народу: «Я предписал Комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми видами атомного оружия включая водородное, или супербомбу».

Решение Трумэна особенно встревожило тех, кто до конца сознавал его последствия. Двенадцать ведущих американских физиков во главе с Бете выступили с возмущенным заявлением: «Эта бомба — не оружие войны, а средство массового истребления. Применить ее — значит погрязнуть все нормы морали».

Идея дальнейшего совершенствования ядерного оружия была осуждена Постоянным комитетом Всемирного конгресса сторонников мира, который собрался на свою очередную сессию в Стокгольме. 19 марта 1950 года Жолио-Кюри первым поставил свое имя под документом, который за последующие полгода подписали семьсот миллионов человек. В этом кратком и емком призыве, вошедшем в историю как Стокгольмское воззвание, говорилось:

«Мы требуем безоговорочного запрещения атомного оружия — оружия запугивания и массового уничтожения».

Мы требуем установления строгого международного контроля для проведения в жизнь этого запрещения.

Мы считаем, что правительство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, совершит преступление против человечества. Такое правительство следует считать военным преступником. Мы призываем всех людей доброй воли во всем мире подписать это воззвание».

28 апреля правительство Бидо сместило Жолио-Кюри с поста Верховного комиссара Франции по атомной энергии, который он занимал с первых послевоенных лет. Перед ученым захлопнулись двери научно-исследовательского центра в форте Шатильон, где он незадолго до этого ввел в действие первый во Франции атомный реактор. В жизни и деятельности французского физика начался новый этап. 22 ноября 1950 года

он возглавил Всемирный совет мира созданный по решению Варшавского конгресса миролюбивых сил.

Война в Корее вызвала новую вспышку антикоммунистической, антисоветской истерии. 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане было проведено испытание американского водородного устройства. Мощность первого термоядерного взрыва составила 12 мегатонн. В том же году, когда Теллер стал кумиром воинствующих кругов, Оппенгеймер был отстранен от руководства консультативной группой Комиссии по атомной энергии. Но худшее для него было еще впереди.

20 августа 1953 года официальный Вашингтон был вновь повергнут в такое же состояние, как и в 1949 году. ТАСС распространило правительственное сообщение из Москвы, в котором говорилось: «На днях в Советском Союзе в испытательных целях был произведен взрыв одного из видов водородной бомбы». Консультанты из Комиссии по атомной энергии вскоре доложили президенту Эйзенхауэру, что Советский Союз не только достиг Соединенные Штаты в разработке нового оружия, но и продемонстрировал свое научно-техническое превосходство. Он взорвал не громоздкое экспериментальное устройство, а транспортабельную водородную бомбу.

Вновь в вашингтонских коридорах власти зазвучал вопрос: «Что же нам теперь делать?» Вспомнили об унаследованной от нацистов идее самолета-снаряда, способного за полчаса пересечь Атлантику или Арктику. Было решено форсировать разработку межконтинентальных баллистических ракет. Их ведущим конструктором по-прежнему был Вернер фон Браун. Вместе с ним трудились и другие бывшие участники гитлеровского «проекта Пенемюнде». Группа перспективных исследований при Комитете начальников штабов внесла предложение рассмотреть возможность «преднамеренного ускорения войны с СССР в ближайшем будущем», пока советский термоядерный потенциал не превратился в реальную угрозу для США.

Именно на фоне такой очередной вспышки антисоветской истерии и было раздуто «дело Оппенгеймера».

ОБВИНЯЕМЫЙ ОППЕНГЕЙМЕР

21 декабря 1953 года Роберт Оппенгеймер, только что вернувшийся в Принстон из командировки в Англию, готовился провести рождество и Новый год с женой и детьми. Телефонный звонок из Вашингтона неожиданно нарушил семейные планы. Председатель Комиссии по атомной энергии адмирал Страусс настаивал, чтобы Оппенгеймер немедленно, до наступления рождественских праздников прибыл в столицу.

Когда ученый вошел в кабинет адмирала, Страусс был не один. Рядом с ним стоял генерал Николс из службы безопасности. Одиннадцать лет назад именно он вместе с Гровсом впервые беседовал с Оппенгеймером о его участии в Манхэттенском проекте. Все еще ничего не подозревая, физик выразил удивление: кому и зачем мог понадобиться его отчет о поездке в Англию перед Новым годом?

— Речь пойдет не об отчете. Есть дела поважнее, — холодно сказал Страусс. — Президент Эйзенхауэр распорядился лишить вас допуска к секретной работе.

Оппенгеймеру был вручен перечень обвинений, подготовленный генералом Николсом при участии ФБР. Двадцать три параграфа в этом длинном списке касались его контактов с коммунистами. Но больше всего поразил ученого 24-й параграф. Обвинители утверждали, что якобы именно этими связями объясняются возражения Оппенгеймера против создания водородной бомбы, будто бы именно его энергичное сопротивление таким работам замедлило появление водородного оружия в арсенале Соединенных Штатов.

23 декабря, в день, когда у американцев принято наряжать рождественские елки, агенты службы безопасности явились в дом Оппенгеймера в Принстоне и изъяли всю документацию, относящуюся к деятельности Комиссии по атомной энергии.

Вот как резюмировало агентство Ассошиэйтед пресс обвинения, выдвинутые против ученого:

«Доктор Оппенгеймер в начале войны поддерживал постоянные связи с коммунистами. Он был любовником коммунистки и женился на бывшей коммунистке. Он щедро давал коммунистам деньги с 1940 и вплоть до апреля 1942 года. Он принимал бывших коммунистов на работу в Лос-Аламос. Он давал противоречивые показания Федеральному бюро расследований о своем участии в коммунистических митингах в первые дни войны... В 1949 году, возглавляя консультативную группу Комиссии по

атомной энергии, Оппенгеймер решительно выступал против создания водородной бомбы. Он продолжал вести агитацию против этого проекта даже после того, как президент Трумэн подписал приказ приступить к работам по созданию водородного оружия».

С 12 апреля по 6 мая 1954 года в здании Комиссии по атомной энергии проходили слушания по делу Оппенгеймера. Строго говоря, они представляли собой административное расследование. Но внешне расправа над ученым была придана форма судилища, какие устраивала тогда повсюду Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Представитель Комиссии по атомной энергии Роджер Робб вел себя как прокурор, уличающий преступника в государственной измене. Бывшего научного руководителя Манхэттенского проекта, которого еще недавно превозносили как «отца атомной бомбы», теперь изображали как «лицо, представляющее угрозу для национальной безопасности США», как человека, который сознательно пытался подорвать американское превосходство в области ядерных вооружений.

Двадцать четыре ведущих ученых были привлечены к даче свидетельских показаний по делу Оппенгеймера. Деятнадцать высказались против предъявленных ему обвинений. Пять в той или иной степени поддержали их, причем с самыми резкими нападениями на Оппенгеймера выступил Теллер.

— Я бы предпочел, чтобы работой по обеспечению жизненных интересов страны руководил другой человек, которого я понимаю лучше и которому, следовательно, доверяю больше, — сказал он. — Я чувствовал бы себя в большей безопасности, если бы государственные дела находились в других руках... Благоразумнее было бы признать его неблагонадежным.

Судилище над Оппенгеймером вел специально созданный трибунал из трех человек. Перекрестные допросы обвиняемого, показания свидетелей продолжались больше трех недель. Но и после слушаний решение по делу пришлось вновь и вновь откладывать из-за того, что члены суда никак не могли прийти к общему мнению. Один из них выступил за то, чтобы полностью оправдать Оппенгеймера. «Решение большинства» было принято двумя другими. Они констатировали, что обвинять Оппенгеймера в государственной измене нет оснований. Однако в своих личных связях ученый игнорировал требования безопасности, что, дескать, могло нанести ущерб интересам страны. Поведение Оппенгеймера в связи с разработкой водородной бомбы, заключили авторы приговора, ставит под вопрос его дальнейшее участие в правительственных программах военного значения.

Другими словами, Оппенгеймеру ставили в вину, что он не проявил должного усердия ради создания супербомбы. Его обвиняли не в том, что он совершил, а в том, чего он не сделал. Наверное, впервые в американском правосудии приговор формулировался столь странным образом.

РАДИСТ КУБОЯМА

1 марта 1954 года, когда заканчивалась подготовка к судилищу над Оппенгеймером, радиоактивный пепел американской водородной бомбы, взорванной над атоллom Бикини, застиг в Тихом океане японских рыбаков. Шхуна «Фукурю-мару» каждую весну уходила далеко от родных берегов на промысел тунца. На сей раз улов был неважный. Уже готовясь в обратный путь, рыбаки решили поставить сети в 90 милях от Бикини.

Взрыв услышали перед рассветом. Над океаном разнесся низкий могучий грохот. Он не походил на раскаты грома. Это был скорее шум грандиозного обвала: будто за горизонтом обрушились небеса. Небо заволочилось дымкой. А через три с половиной часа на шхуну посыпалось что-то вроде тонкой рисовой муки. Все это было так зловеще, не похоже ни на одно из знакомых рыбакам стихийных бедствий, что они наскоро выбрали сети и повернули домой. До рыбацкого порта Яидзу было две недели пути. Уже в эти дни начали проявляться первые признаки лучевой болезни. Кожа покраснела, покрылась волдырями, как от ожогов. Все чаще доносили приступы тошноты.

На шхуне было 23 человека. Прямо с причала их повезли в больницу. Судьба этих рыбаков взбудоражила японцев больше, чем любое другое послевоенное событие. Свыше полугодом страна только и говорила что о «пепле смерти». Газеты, радио, телевидение изо дня в день писали о первых жертвах водородной бомбы, помещенных в два токийских госпиталя.

Легко представить себе поэтому, какой взрыв возмущения вызвал поступок директора «Эй-би-си-си» Джона Мортонa. Он официально предложил перевести рыбаков в его хиросимскую клинику на холме Хидзияма. На протяжении многих лет американские власти убеждали японцев, что «Эй-би-си-си» создана не для лечения, а лишь для научного обследования пострадавших. Так что приглашение жертв Бикини в Хиросиму можно было истолковать лишь как желание американских врачей в мундирах получить новый материал для своих наблюдений — на сей раз в лице пострадавших от водородной бомбы.

Близ рыбацкого поселка Яйдзу есть могила, на которой написано одно-единственное имя: Айкики Кубояма. Там похоронен член экипажа «Фукурю-мару», скончавшийся от лучевой болезни через полгода после взрыва над атоллom Бикини.

На шхуне Кубояма был радистом. Сколько раз приходилось ему принимать призывы о помощи, слышать в эфире тревожные голоса людей, застигнутых буйной, слепой стихией величайшего из океанов! Он выполнил долг до конца, самой своей смертью передав людям сигнал бедствия.

«Пусть я буду последней жертвой ядерного оружия!» — сказал Кубояма перед смертью. Его оборвавшаяся жизнь явилась грозным предостережением. Она напомнила, что Хиросима и Нагасаки — это не только кошмар прошлого, не только достояние истории, что «пепел смерти» — ядовитое порождение ядерной гонки — угрожает людям и в дни мира. Она напомнила о мегасмертях, которыми могут обернуться лихорадочно накапливаемые мегатонны.

Именно с той поры ненависть японского народа к грибовидной тени, нависшей над будущим человечества, приобрела форму массового движения. Участь экипажа «Фукурю-мару» всколыхнула волну антивоенных выступлений во всем мире.

Но Вашингтон продолжал подхлестывать ядерную гонку. В Пентагоне заговорили о размещении в Западной Европе баллистических ракет средней дальности «Тор» и «Юпитер». Одновременно продолжалось наращивание стратегической авиации. К середине 50-х годов Соединенные Штаты создали основу существующей ныне цепи баз вокруг Советского Союза. Ставка делалась на то, чтобы обеспечить военное превосходство США за счет сил передового базирования.

Но и эти расчеты оказались тщетными. 4 октября 1957 года вашингтонские власти в третий раз пережили шок. Советский Союз первым в мире вывел на орбиту искусственный спутник Земли. Его запуск означал, что СССР располагает ракетами межконтинентальной дальности, так что Соединенные Штаты больше не вправе рассчитывать на географическую неуязвимость.

Уповать на атомную бомбу как на козырного туза, видеть в ней залог главенствующей роли США в послевоенном мире — этот расчет с самого начала был иллюзией. Однако подобно азартным игрокам вашингтонские стратеги вновь и вновь повышали ставки. Они цеплялись то за одно, то за другое техническое новшество в надежде использовать его как ключ к военному превосходству. Утратив монополию на атомную бомбу, ухватились за водородную. Потом сделали ставку на подводные ракетноносцы, потом — на ракеты с разделяющимися головными частями, потом — на нейтронное оружие, потом — на милитаризацию космоса. Именно Вашингтон начинал каждый новый виток ядерной гонки, и всякий раз его инициаторы оказывались в таком же положении, что и Трумэн со своей обанкротившейся политикой атомного шантажа.

Вот и сейчас спираль гонки вооружений стремительно и круто пошла вверх. Снова, как и раньше, пентагоновские стратеги свой тезис «довооружения» Западной Европы «Першингами» и крылатыми ракетами обосновывают мнимым отставанием стран НАТО от Советского Союза. Пожалуй, никогда еще за послевоенное сорокалетие угроза всеобщему миру не была настолько реальна.

Серьезную озабоченность за судьбы мира разделяет наша страна. В четких и ясных словах Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова об этом сказано прямо и недвусмысленно: «С размещением американских ракет на европейской земле возрастает не безопасность Европы, а реальная опасность того, что США навлекут на народы Европы катастрофу». Советские люди горячо поддержали это Заявление главы Советского государства, в котором подчеркивается также, что Советский Союз и страны Варшавского Договора

в ответ на эту американскую «инициативу» принимают все «необходимые меры, чтобы оградить свою безопасность, и не позволят США и НАТО в целом сломать существующее примерное равновесие сил в Европе».

ТЕНИ НА МОСТУ

6 августа по одному из хиросимских мостов шли девять человек. Мы никогда не узнаем, куда спешили они этим знойным утром. Мы никогда не узнаем их имен. Эти люди сгорели, испарились, растаяли в воздухе. Вспышка смертоносного света отпечатала на каменных плитах лишь их тени. Силуэты девяти исчезнувших пешеходов были короткими. Атомное солнце вспыхнуло над ними почти в зените. Потому что именно на мост Айои, то есть на центр хиросимской дельты, наводил перекрестие своего прицела бомбардир Ферреби.

Мост Айои имеет форму буквы «Г». От середины главного пролета под прямым углом отведен другой мост, так как река Ота разделяется ниже на два рукава. Эти два протока омывают вытянутый клин, на котором теперь разбит Парк мира. А напротив, у моста Айои, оставлен в неприкосновенности остов здания с оголенным куполом и пустыми глазницами окон — Атомный дом. Он должен напоминать о том, как выглядел центр Хиросимы после взрыва.

Нужно, впрочем, иметь в виду, что сохранили не одну из множества руин, а единственный каменный остов, уцелевший среди сплошного пепла. Остатки стен и купола торгово-промышленной палаты у моста Айои, несколько выгоревших изнутри коробок банковских зданий, каркас универмага Фукуя — вот и все, что возвышалось над землей. «Яблоко» мишени, в которое целил Ферреби, на два с лишним километра вокруг окрасилось в ровный серый цвет. Так выглядела «зона сплошного поражения».

Каждый день в Парке мира выстраиваются ряды экскурсионных автобусов. Возле моста Айои, перед Атомным домом торгуют сувенирами, открытками, как перед любым другим историческим памятником. Школьные экскурсии и путешествующие молодежны деловито фотографируются на фоне развалин. Возрожденный из пепла город словно утверждает мысль: пусть лишь руины Атомного дома остаются здесь в напоминание о том, что не должно повториться!

Впрочем, в предрассветный час по камням моста Айои скользят и другие, живые тени. Они появляются из переулка напротив, когда еще закрыт туристский павильон, пусты стоянки экскурсионных автобусов, когда сквозной силуэт развалин едва проступает на фоне неба. Это спешат на биржу труда обитатели «атомной трущобы». Их путь лежит через Парк мира. Безмолвной вереницей проходят они мимо памятника, словно тени минувшего, — живые жертвы, для которых роковой миг растянулся на десятилетия страданий. Это не литературный образ, не метафора. Возле моста Айои многие десятилетия гноился незаживающий шрам Хиросимы — «атомная трущоба».

Среди груд ржавого железа, пустых бутылок, связок газет и другой рухляди прятались лачуги. Стены из старых ящиков, крыши из придавленных камнями обрывков толя и битой черепицы. Тягостный запах гниющего мусора. Туда свозили старье и отбросы. И там же вынуждены были доживать свои дни люди, изувеченные атомным взрывом.

Само возникновение «атомной трущобы» было похоже на болезненный бред. Она разрасталась по ночам. Лачуги строили в темноте без ведома и разрешения городских властей. Единственное, что придавало трущобе какую-то легальность, так это лечебные книжки ее обитателей. Лишь в графе «место жительства» официально признавалось существование «улицы Айои».

В Хиросиме насчитывается около ста тысяч «хибакуся» — людей, переживших атомный взрыв. Каждому из них выдана лечебная книжка с указанием, на каком расстоянии от эпицентра он находился. Именно этими метрами, а не числом прожитых лет, меряют свой век коренные хиросимцы.

В сознании приезжего слово «хибакуся» обычно связывается с больничной койкой. Лишь при виде лачуг у моста Айои до сознания доходит, что болезнь терзает этих людей вкупе с нуждой, что чем сильнее недуг, тем сильнее переплетается он с лишениями. Среди поденщиков, то есть людей, обивающих пороги хиросимской биржи труда, большинство составляют именно «хибакуся».

Почему это происходит? Почему именно те, кто пережил атомный ад, оказались на социальном дне? Тому есть много причин. Подорванное здоровье не позволяет этим людям иметь постоянную работу. Им не на кого и не на что опереться. Они потеряли близких, лишились крова, имущества. А если что и уцелело, то давно ушло на врачей и лекарства.

Ведь бесплатное лечение «хибакуся» ввели под нажимом общественности лишь в 1957 году — через двенадцать лет после трагедии. С тех пор каждый человек, переживший взрыв, должен дважды в год проходить специальное обследование. При симптомах лучевой болезни ему назначают курс лечения.

Однако регистрируются для обследования далеко не все. Многие предпочитают скрывать, что они «хибакуся». Запрет, окружавший само это слово в годы оккупации, неприглядная деятельность Комиссии по изучению последствий атомных взрывов — все это толкало пострадавших замкнуться в своем горе, усиливало их отчужденность. На собственном опыте они убедились: людей, переживших взрыв, неохотно берут на работу, с ними избегают жить под одной крышей, тем более вступать в брак. Таково это трехмерное, трехликое горе. Мало сказать — физические муки. Мало сказать — бремя нужды. Они, «хибакуся», обречены быть и кастой отверженных. Многим ли их судьба лучше участи девяти пешеходов, шагавших августовским утром через мост Айои? Быть в трех тысячах метров от центра катастрофы, чтобы после многолетних страданий оказаться в трехстах; обитать как живые тени там, где их земляки когда-то погибли мгновенно, отпечатав на камне свои силуэты...

ОГНЕННАЯ РЕКА

Бой городских часов Хиросимы похож на тревожный набат. И звучат эти куранты не в полдень, а в 8 часов 15 минут утра. Из года в год, из года в год напоминают они о мгновении, когда навечно прикипели к циферблату стрелки других, случайно уцелевших среди пепла ручных часов. Навек же, как эти спекшиеся стрелки, отпечатался роковой миг и в человеческих сердцах.

6 августа, 8 часов 15 минут утра. Как жгуче солнце в день и час, когда над Хиросимой вспыхнул огненный смерч! Никогда человеческое тело не бывает столь раскрыто и незащитно, как в эту самую знойную пору года. И нет часа более многолюдного, чем этот, когда город высыпает на улицы, начиная трудовой день.

«Выбор момента сделал тепловой эффект взрыва максимальным». Эта фраза из боевого донесения по-особенному доходит до сознания, когда августовским утром смотришь на Хиросиму с того места, над которым взорвалась атомная бомба. Понимаешь тут и другое. Пентагон не случайно избрал жертвой город, с трех сторон окруженный горами. Требовалась мишень, равная по форме и размерам силе первой атомной бомбы.

В Хиросиме погибло более 240 тысяч человек. В Нагасаки — около 80 тысяч. Сказались особенности рельефа, воплощенные в самих географических названиях. Слово «хиросима» буквально означает «широкий остров». Слово «нагасаки» — «длинный залив». Город в плоской речной дельте пострадал больше, чем другой, вытянувшийся вдоль извилистого ущелья.

6 августа к Парку мира с рассвета движутся вереницы людей. Эта река рождается и течет стихийно. Организованные шествия и церемонии последуют позже. А пока каждая поминальная свеча, каждая белая хризантема оставляется перед памятником в знак чьей-то личной утраты. Глядишь, как растут груды цветов, похожие на снежные сугробы, и словно откровение доходит простая истина: кроме тех чувств, с которыми человечество отмечает 6 августа, для жителя Хиросимы эта дата окрашена еще и личной скорбью. Именно тогда большинство семей потеряли родных и близких, именно с того дня многие стали калеками.

Люди стоят перед памятником, склонив обнаженные головы. Вокруг седловидной бетонной арки оставлена площадка, засыпанная речной галькой. Пожалуй, лишь число этих камешков дает представление о количестве имен, которые следовало бы написать на самой большой из могил на нашей планете. Над безмолвной площадью неистовствует лишь хор цикад. Но вот глухо ударяет бронзовый колокол. Ему вторят заводские свисты. И разом взлетают в небо сотни голубей, словно, разнося на своих крыльях звуки хиросимского набата.

Руины Атомного дома долго оставались нетронутыми. Среди спаленных смертью стен висел плющ, гнездились птицы. Год за годом все новые морщины бороздили эти израненные взрывом камни, как и лица свидетелей атомного взрыва. И вот в японских официальных кругах начали поговаривать о том, чтобы вовсе снести Атомный дом. Дескать, вид его лишь будоражит души тяжкими воспоминаниями. Да к тому же сами развалины настолько обветшали, что вот-вот могут рухнуть.

В ответ на подобные суждения в Хиросиму со всех концов Японии хлынул поток протестующих писем. Люди предлагали начать общенациональный сбор пожертвований на увековечивание руин. Сотни тысяч людей были единодушны: пусть нельзя разглядеть следы невзгод на лицах хиросимцев, но нельзя допустить, чтобы пережитое ими стерлось из памяти народов!

Как раз в те годы, когда на реликвии Хиросимы лег тревожный отсвет вьетнамского пожара, возле оголенного купола, который по-прежнему возвышается над мостом Айои, была установлена каменная плита с надписью: «Атомный дом. Развалины здания, над которым 6 августа 1945 года взорвалась в воздухе первая в истории атомная бомба. Эта бомба погубила более двухсот тысяч человеческих жизней и испепелила город в радиусе двух километров. Чтобы передать потомкам правду об этой трагедии, в предостережение человечеству — на добровольные пожертвования проведена реставрация руин, дабы сохранить их на века».

Давно отстроился заново город в устье реки Ота. Косметика рекламных огней умело прикрыла шрамы минувшей войны. Но есть день, когда неон новой Хиросимы меркнет. Ярче него начинает пламенеть сама река, словно превращаясь в поток раскаленных углей. В сумерках тысячи людей молча спускаются к воде. На крестовину из двух щепок каждый ставит зажженную свечу, прикрытую бумажным колпаком, и пускает ее вниз по течению. Таким обрядом японцы издавна отмечают день поминовения. Им стало теперь каждое 6 августа. Сколько мыслей рождает эта огненная река, эти мириады фонариков, каждый из которых олицетворяет человеческую жизнь, оборванную атомным вихрем! Зыбкий свет свечей ложится на мемориальные руины у моста Айои, и кажется, что они все еще раскалены пожарцем.

Да, пепел Хиросимы доньше горяч. Годовщину трагедии ежегодно чтут не только те, кто понес в ней личные утраты. Со всех концов Японии сходятся в этот день к Хиросиме марши мира. Вместе с их участниками зажигают поминальные фонарики на берегах реки Ота и посланцы зарубежных народов.

Пепел Хиросимы не просто священная реликвия. Он стал тем цементом, который помогает народам возводить преграду на пути к термоядерной катастрофе. В 1955 году Всемирная ассамблея мира в Хельсинки призвала отмечать 6 августа как День борьбы за запрещение ядерного оружия. Не только осиротевшие хиросимцы, не только их японские соотечественники, — вся большая семья, имя которой человечество, повторяет в этот день клятву, высеченную на каменном надгробье в хиросимском Парке мира: «Спите спокойно, это не повторится!»

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. ШЕШИН



СЕСТРА ДЕКАБРИСТА

Всем известен подвиг жен декабристов, разделивших со своими мужьями сибирскую ссылку. Однако мало кто знает о том, что за некоторыми декабристами в Сибирь последовали не только жены, но и сестры: Екатерина Торсон с матерью, Елена, Мария и Ольга Бестужевы. Подвиг сестер декабристов заслуживает еще большего уважения, чем поступок их жен: жены ехали в Сибирь, чтобы продолжать там жизнь со своими мужьями, а сестры декабристов, отправляясь вслед за сибирскими изгнанниками, тем самым посвящали себя братьям и отказывались от личной жизни.

Разрешив ехать в Сибирь женам декабристов, Николай I постановил, что родственникам декабристов отправление в Сибирь строжайше запрещено. Однако вопреки этому запрещению в «страну изгнания» сумела пробиться Екатерина Торсон, сестра члена Северного общества капитан-лейтенанта Константина Петровича Торсона.

Чтобы по достоинству оценить подвиг сестры и матери Торсона, вспомним о женах, родителях и родственниках других декабристов.

Отъезд в Сибирь Е. Трубецкой и М. Волконской стал своего рода символом протеста. Он привлек внимание современников, а в дальнейшем породил обширную литературу. После них к мужьям, находившимся на каторге, приехали еще семь жен (А. Муравьева, Е. Нарышкина, А. Ентальцева, А. Давыдова, Н. Фонвизина, А. Розен, М. Юшневская) и две невесты: П. Гебль (П. Анненкова) и К. Ле-Дантю (К. Ивашева). Кроме того, к Александру Муравьеву, сосланному без лишения чинов и дворянства в Верхнеудинск, а затем определенному на службу в Иркутск, приехала его жена П. Муравьева (Шаховская).

А как же другие жены?

Анастасия Якушкина собиралась ехать к мужу в Сибирь. Но декабрист запретил жене покидать двух малолетних сыновей. Через четыре года он разрешил жене приехать, но на этот раз последовало запрещение Николая I.

Жены Артамона Муравьева и А. Бриггена хотели, но не смогли отправиться в Сибирь. Были и жены, отказавшиеся от своих мужей. Мария Поджио и Екатерина Лихарева, дочери сенатора А. Бороздина, через несколько лет после осуждения мужей-декабристов вторично вышли замуж. Еще раньше, в то время, когда ее муж находился в Чите, вступила в новый брак бывшая жена декабриста П. Фаленберга.

Сведения о женах декабристов недавно собрала Э. Павлюченко в книге «В добровольном изгнании» (М., Наука, 1976). «Итак, поехали в Сибирь за осужденными не все женщины,— писала она о женах декабристов.— Не у всех хватило любви, твердости духа или возможностей. Тем большего уважения заслуживают преданные, самоотверженные и мужественные».

И вот в то время, когда в Сибирь за декабристами поехали даже не все жены и мало кто из невест, туда отправились сестры К. Торсона и Бестужевых. Михаил Бестужев, узнав в 1837 году о предстоящем отъезде сестры и матери Торсона в Сибирь, писал, что они «прекрасны их высоким жертвованием».

Были и другие сестры, помогавшие братьям-декабристам. Сестры М. Рукевича Корнелия и Ксаверия скрыли и уничтожили бумаги брата по Обществу военных друзей и даже были за это ненадолго заключены в монастырь. Сестра М. Лунина Екатерина Уварова постоянно отправляла брату деньги и посылки, по указаниям декабриста распространяла в Петербурге его сибирские сочинения. Но, разумеется, у нее не возникло и мысли о том, чтобы последовать за братом в Сибирь.

В результате, кроме сестры Торсона, в Сибирь приехали только три сестры декабристов Бестужевых. Но и здесь сравнение в пользу Екатерины Торсон. Сестра Торсона рвалась в Сибирь с момента осуждения брата и поехала к нему в 1838, а не в 1826 году только потому, что ее первые просьбы были отклонены. Бестужевы же собрались ехать значительно позднее, уже в 40-х годах.

А поездка в Сибирь матери Торсона — случай прямо уникальный. Ее можно сравнить только с матерью К. Ле-Дантю, приехавшей в 1838 году в Туринск. Но Ле-Дантю приехала к дочери, а не к осужденному декабристу. Таким образом, Шарлотта Карловна Торсон — единственная мать, последовавшая в Сибирь за сыном-декабристом. Ее подвиг покажется еще более значительным, когда мы вспомним о родителях других декабристов.

Многие родители и родственники декабристов не одобряли их участия в движении. Они ничего не сделали для смягчения участи арестованных. Жестокость Николая I не вызвала их протеста. Ничто не изменилось в их службе, в их отношении к императору. Мать С. Волконского и после отправления сына на каторгу жила при дворе и продолжала исполнять обязанности статс-дамы. Некоторые даже «выгадали» от ареста и осуждения родственников, воспользовавшись их именами. А Владимир Пестель после казни брата получил флигель-адъютантские аксельбанты: Николай I старался показать, что кары и его гнев не распространяются на семьи осужденных.

Некоторые родители отказывались от своих сыновей.

— Если сын мой в том заговоре, — сказал великому князю Михаилу Павловичу отец декабриста Н. Шереметева, — я не хочу более его видеть и даже я первый вас прошу его не щадить.

«Здесь все усердно мне помогают в этой ужасной работе, — писал Николай I Константину об арестах декабристов 23 декабря 1825 года, — отцы приводят ко мне своих сыновей, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрения этого рода».

Конечно, не все предали своих сыновей-декабристов, отказались от них. Многие родители и родственники всеми доступными способами помогали арестованным и осужденным. Некоторые если не по близости политических взглядов, то просто по родственному чувству, по чувству протеста против жестокости правительства хранили документы декабристов.

Современники хорошо знали Торсона и как прекрасного человека, и как опытного морского офицера, все мысли которого были посвящены русскому военному флоту. Баярдом идеальной честности и практической пользы, рыцарем без страха и упрека называл своего друга декабрист Михаил Бестужев.

Константин Торсон окончил Морской кадетский корпус и уже в возрасте пятнадцати лет участвовал в двух сражениях русско-шведской войны 1808—1809 годов, а в 1812 году стал первым балтийским моряком, награжденным за участие в боевых действиях. В 1819—1821 годах лейтенант Торсон плывал с Ф. Беллинсгаузенем на шлюпе «Восток» и стал участником открытия Антарктиды. Его именем Беллинсгаузен назвал один из островов, открытых русскими моряками в южной части Атлантического океана. После разгрома восстания упоминать в печати имена осужденных декабристов было запрещено. Остров Торсона пришлось переименовать в Высокий. Однако в труде Беллинсгаузена о плавании к Антарктиде, вышедшем в 1831 году, название острова (случайно или преднамеренно) переправили не везде. В альбоме рисунков участника экспедиции художника П. Михайлова также был изображен остров Торсона¹.

В 1823 году лейтенант К. Торсон подал начальнику Морского штаба предложения по кораблестроению. Предложения Торсона признали полезными и лейтенанта назначили на важную должность адъютанта начальника Морского штаба.

В 1823 году К. Рылеев задумал создать «Морскую управу» Северного общества. Будущий вождь северян считал нужным принять в общество морских офицеров, которые могли бы организовать восстание в Кронштадте одновременно с выступлением в Петербурге и вывезти на корабле за границу членов императорской семьи. Подыскивая людей для «Морской управы», Рылеев обратил внимание прежде всего на «образ мыслей и дарования» Николая Бестужева и Торсона. В конце 1824 — начале 1825

¹ В 1966 году составители «Атласа Антарктики» восстановили истинное название острова. Но на обычных картах мира, выпускаемых для всеобщего пользования, до сих пор обозначен остров Высокий. Пора и на них восстановить имя декабриста.

года Рылеев принял в Северное общество капитан-лейтенанта Н. Бестужева, а тот — своего лучшего друга Торсона. Константин Торсон принял в общество Михаила Бестужева.

В начале 1825 года в Северном обществе обсуждалась конституция, составленная Никитой Муравьевым. Многие северяне ограничились устными высказываниями, некоторые оставили замечания на полях муравьевского проекта. И лишь один декабрист — только что принятый в общество капитан-лейтенант Торсон — возвратил обсуждаемый проект вместе со своей рукописью. Так возник краткий конституционный проект Торсона.

В 1825 году в Северное общество вступили еще несколько морских офицеров. Но главную роль в «Морской управе» Рылеев отводил Торсону: тому предстояло и возглавить восстание в Кронштадте, и командовать кораблем, увозящим императорскую фамилию в изгнание...

Почти никто даже из жен декабристов, не говоря уж о родителях и других родственниках, не знал о тайных обществах и целях заговорщиков. Правда, в ночь на 15 декабря 1825 года во время обыска в доме графа Лавала в ванной комнате княгини Екатерины Трубецкой был найден литографский станок. Однако этот станок после января 1822 года, когда М. Лунин передал его С. Трубецкому, уже не употреблялся для литографирования документов тайного общества. Поэтому вряд ли Екатерина Трубецкая знала о первоначальном назначении станка. Полина Гельб вспоминала, что за месяц до восстания она услышала от знакомых И. Анненкова, а потом и от него самого о готовящемся заговоре. Но француженка, недавно приехавшая в Россию, конечно, не могла да и не пыталась понять цели заговорщиков.

И лишь о Е. Торсон можно с полным основанием говорить, что она еще до 14 декабря не только знала о заговоре, но и была посвящена в планы заговорщиков. Об этом вполне определенно свидетельствует Михаил Бестужев — член Северного общества и лучший друг Торсона и его семьи, человек вполне осведомленный и достойный доверия. «Сестре, очень умной девушке, были известны дела Общества», — вспоминал он о Екатерине Торсон.

Вечером 14 декабря, после разгрома восстания, Михаил Бестужев с трудом пробрался по оцепленным войсками улицам к казармам 8-го флотского экипажа на Галерной, где жил Торсон с матерью и сестрой. Торсона дома не было. Мать декабриста, глухая старушка в белом чепце, сидела в плохо освещенной комнате за круглым дубовым столом и вязала чулок, одновременно читая книгу. Ее дочь Екатерина Петровна, «высокая, статная девица, умная и миловидная», расположилась тут же, задумавшись и подперев голову рукою.

Михаил Бестужев переоделся, чтобы не быть арестованным на улицах, заполненных патрулями, и ни о чем не подозревавшая старушка встретила его веселым, беззаботным смехом.

— Вы раненько начали святки, — заговорила она. — Скажите-ка, по какому поводу вы так нарядились?

Екатерина Торсон очнулась от своих раздумий, вскочила и бросилась к вошедшему.

— Все кончено... Где брат, где брат мой? — спрашивала она, едва сдерживая рыдания.

— Успокойтесь, Катерина Петровна, — отвечал Михаил Бестужев. — Успокойтесь, садьте — ваша матушка наблюдает нас.

— Она глуха, ничего не слышит.

— Но она умна и опытна и может прочитать на вашем лице несчастье, которое мы от нее скрываем.

— Да поведаете ли вы наконец причину вашего маскарада? — повторила старушка, глядя то на Бестужева, то на свою дочь.

«Старушка, совершенно глухая, — вспоминал Михаил Бестужев, — сосредоточила все свои чувства во взоре. Ощущение неведомой душевной тревоги тучками набегало на ее невозмутимо-ангельское чело, когда кроткий взор ее с видимым беспокойством переносился с моего лица на лицо своей дочери, глотавшей слезы и старающейся всхлипывания плача заглушить или прикрыть принужденным смехом. Мое положение было не лучше... Я должен был сестру его успокаивать, когда погибель его была непреклонна».

Бестужева выручило появление Торсона. Друзья беседовали до рассвета. «Светало, а мы с Торсоном не прерывали еще беседы,— вспоминал Михаил Бестужев.— Зная, что нас ожидает в будущем, как умирающие, имели потребность передать свои заветные мысли, свои предсмертные завещания». Обсуждался и план бегства М. Бестужева за границу.

Утром 15 декабря Михаил Бестужев простился с Торсоном и отправился к актеру Борецкому, с помощью которого надеялся выбраться из Петербурга. Однако ему довелось увидеть Торсона еще раз в тот же день. Вечером, переходя с Адмиралтейского бульвара на Невский проспект, Михаил Бестужев заметил толпу любопытных, наблюдавших странную процессию. Впереди с самодовольным видом, гордо поднося голову и не понимая унизительности своей роли, шествовал флигель-адъютант Алексей Лазарев. За ним шел Торсон «поступью твердою, с лицом спокойным и со связанными назад руками».

«Какими путями и так скоро успели до тебя добраться?.. — думал Михаил Бестужев, глядя на своего друга. — Неужели он тем виновен пред человеками, что пламенно желал им блага?»

Это зрелище заставило М. Бестужева отказаться от попытки бегства.

«Я не отрекусь от тебя... — думал он о Торсоне. — И не малодушие ли бежать... когда я могу с чистой совестью разделить с тобою твою горькую участь. Я докажу, что свято храню твоё учение и горжусь честью быть членом того священного Общества, в которое ты принял меня, где каждый член должен полагать душу свою для блага отчизны».

Утром 16 декабря Михаил Бестужев сам явился во дворец...

После первых допросов К. Торсона перевели в Свеаборгскую крепость. Оттуда он отправил письмо сестре. Письмо было задержано, и император 21 декабря 1826 года собственноручно написал начальнику Морского штаба:

«Письмо сие отдать по адресу, но корреспонденции не заводить, а дозволить изредка и то через меня, о чем... подтвердить строго, а равно чтоб с Торсоном никто не видался». Так сестра декабриста была лишена возможности увидеть арестованного брата.

После разгрома восстания Торсон сохранил верность своим убеждениям. Отвечая на вопросы Следственного комитета, он подчеркивал, что вступил в тайное общество, «имея намерение... видеть в отечестве... пресечение злоупотреблений и свалу законов».

Арест и заключение не ослабили стремления Торсона способствовать возрождению русского военного флота. «Любя отечество и пламенно желая ему всего хорошего,— писал он 17 апреля 1826 года,— я терпеливо понесу мой жребий, не утрачу самой смерти... но мучительно для меня одно: если я с собою погребу все то, что в продолжение службы собрал полезного для флота».

В конце апреля 1826 года Торсона перевели из Свеаборга в Петропавловскую крепость. Здесь декабрист составил обширную программу преобразований на флоте. Предложения Торсона формально были отвергнуты. Однако современники писали, что эти предложения использовались при проведении реформ на флоте во второй половине 1820-х — первой половине 1830-х годов. И действительно, многие реформы соответствовали основным предложениям Торсона.

...Верховный уголовный суд отнес Торсона к государственным преступникам второго разряда и осудил «к ссылке вечно в каторжную работу». Николай I повелел Торсона и некоторых других декабристов второго разряда «по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет, а потом на поселение».

12 июля 1826 года Торсона вместе с другими государственными преступниками второго разряда ввели в один из залов дома коменданта крепости и зачитали приговор. Утром 13 июля декабристов-моряков отправили в Кронштадт для разжалования по обрядам морской службы.

Морских офицеров посадили на два двенадцативесельных баркаса с каютами. От крепости баркасы спустились по Неве и прошли под Исаакиевским мостом. За мостом их ожидала шхуна «Опыт». В 4 часа утра суда с декабристами-моряками вышли из Невы. На буксире парохода «Проворный» шхуна «Опыт» и два баркаса отправились в Кронштадт. В 6 часов утра с флагманского корабля адмирала Р. Кроуна «Князь Владимир», стоявшего на кронштадтском рейде, раздался пушечный выстрел,

а на мачте взвился черный флаг. В 7 часов показались шедшие от Петербурга пароход, шхуна «Опыт» и два баркаса. Команда «Князя Владимира» и офицеры с других кораблей эскадры выстроились на палубе. 15 морских офицеров, осужденных Верховным уголовным судом, поднялись на корабль. Во время чтения сентенции матросы и офицеры не могли сдерживать слез. В осужденных они видели цвет и надежду русского флота. Затем над головой Торсона и других декабристов сломали сабли, сорванные с них эполеты и мундиры полетели за борт...

После разжалования Торсон еще несколько месяцев провел в крепости. Только 9 декабря 1826 года комендант получил предписание об отправлении декабристов в Сибирь:

«Государь император высочайше повелеть соизволил из числа содержащихся в здешней крепости государственных преступников Анненкова, Никиту Муравьева, Торсона и Муравьева, бывшего корнета, немедленно отправить закованными в Иркутск для употребления в каторжную работу в Нерчинских рудниках».

«В 11 часов вечера,—вспоминал декабрист Александр Муравьев,—когда тюремные и крепостные ворота были уже закрыты, плац-майор и крепостные адъютанты собрали в одной из комнат комендантского дома четырех осужденных политических: Н. Муравьева, его брата (автора этих записок), Анненкова и Торсона. Мы с восторгом бросились друг другу в объятия. Год тюремного заключения изменил нас до неузнаваемости. Через несколько минут появился старый комендант, который злобным голосом объявил нам, что по приказанию императора нас закуют в цепи для отправки в Сибирь. Плац-майор с насмешливым видом принес мешок с цепями... С непривычным для нас шумом спустились мы по лестнице комендантского дома, сопровождаемые фельдъегерем и жандармами. Каждый из нас сел с жандармом в отдельную почтовую повозку. Быстро мы проехали город, где все мы оставляли убитые горем семьи. Мы не чувствовали ни холода, ни тряски ужасной повозки. Цепи мы несли с гордостью».

С беспокойными чувствами и мрачными думами приближались декабристы к Шлиссельбургу. Но тройки повернули направо, к селению, и все вздохнули с облегчением. Декабристы с жандармами и фельдъегерем помчались по Ярославскому тракту через Тихвин, Ярославль, Кострому и далее через Пермь, Екатеринбург, Тюмень... Скакали день и ночь, останавливаясь на почтовых станциях лишь для смены лошадей.

Декабристов всюду встречали с участием и радушием. На почтовых станциях их кормили, отказываясь от платы, предлагали деньги. В Костроме какой-то молодой человек, оттолкнув жандармов, ворвался в комнату, где находились Торсон, Анненков и Муравьевы, и воскликнул:

— Господа, мужайтесь! Вы страждете за самое прекрасное, самое благородное дело! Даже в Сибири вы встретите сочувствие...

В первых числах января 1827 года Торсон, Анненков и Муравьевы прибыли в Иркутск. Дальше государственные преступники ехали с казачьим урядником и четырьмя казаками. Скоро были уже на берегу Байкала. Проехав шестьдесят верст по льду, тройки выскочили на другой берег. Наконец 28 января 1827 года в долине реки Читы показалось небольшое селение, окруженное горами. Тройки переправились вброд через небольшую речку, въехали в селение и остановились у низенького комендантского домика.

К. Торсона и его товарищей поместили в Малом каземате, а в октябре 1827 года перевели в построенный специально для декабристов Большой каземат. Во время занятий «каторжной академии» Торсон рассказывал о своем кругосветном плавании, учил товарищей голландскому языку, читал лекции о русских финансах. Но приходилось заниматься не только наукой. Вместе с другими узниками Торсон сам шил одежду, работал в столярной, слесарной и токарной мастерской...

В Чите Торсон продолжал работать над проектами преобразования на флоте и проектами изменения «администрации по всем отраслям правления». Декабрист надеялся, что осужденные скоро будут прощены и он вновь сможет участвовать в усовершенствовании русского военного флота.

Арест декабриста был тяжелым ударом (и моральным и материальным) для его семьи. «Константин Петрович был кумир, боготворимый ими... — вспоминал Михаил Бестужев. — С его потерей они лишаются и блага душевного, и материальных средств

своего существования». А материальные трудности начались сразу же после разгрома восстания. В квартиру, которую занимал Торсон в казармах 8-го флотского экипажа на Галерной улице, ворвались полицейские, кабинет декабриста опечатали, поставили караул из вооруженных матросов. Мать и сестру «государственного преступника» выселили из казенного помещения. Им пришлось снимать комнату у статской советницы Рашет в доме Лютеранской церкви святой Екатерины на 1-й линии Васильевского острова. Но самой тяжелой мукой для обеих женщин были мысли о К. Торсоне, которого ожидало жестокое наказание, а может быть, и смерть...

Сразу же после объявления приговора Екатерина Торсон обратилась в III отделение с просьбой разрешить ей отправиться вместе с братом в Сибирь. 16 июля 1826 года чиновник III отделения записал:

«В числе государственных преступников, осужденных на двадцатилетнюю каторжную работу, находится бывший флота капитан-лейтенант Торсон. Он был единственной опорой престарелой, глухой и больной матери и сестры своей, девицы благородной и добродетельной. Потеряв его, они лишились счастья в мире и дневного пропитания. Сестра в исступлении горести намерена последовать за несчастным и облегчить его участь; но для сего должна оставить мать, которую она должна кормить работою рук своих».

Мы не знаем, какой ответ получили мать и сестра Торсона в 1826 году. В деле III отделения один этот листок. Известно только, что им пришлось остаться в Петербурге.

В следующем году в III отделении завели новое дело под названием «О государственных преступниках: о недозволении отправляться к ним в Сибирь детям их благородного звания, родственникам и другим лицам». Из этого дела мы узнаем, что Екатерина Торсон возобновила свои попытки отправиться к брату в Сибирь. 6 марта 1828 года начальник III отделения генерал-адъютант А. Бенкендорф получил прошение, составленное сестрой декабриста и подписанное его матерью:

«Решаюсь обратиться к вашему превосходительству со всепокорнейшею моею просьбою оказать величайшее благодеяние и исходатайствовать мне с дочерью... позволение окончить грустные наши дни вместе с несчастным моим сыном, в коем заключалось единственное наше родство, отрада и подпора беззащитного вашего семейства. В сем бедственном положении милостивым вниманием и неизреченным милосердием монарха хотя облегчены наши нужды, — но осиротелое сердце матери жестоко страдает в горестной разлуке хотя по пагубному заблуждению виновному, но по внушению природы и по всегдашней о нас заботливости и попечению милому и близкому по чувствам существу, с коим всякое горе и бедствие, разделяемое вместе, было бы для нас не столь тягостно».

Доставлять бумаги императору полагалось через Главный штаб. Но начальник Главного штаба И. Дибич не пожелал беспокоить Николая I просьбой матери и сестры декабриста. Он отправил прошение обратно, ответствовав, что «такового дозволения имеют право испрашивать одне жены государственных преступников».

Через несколько дней мать и сестра декабриста получили письмо Бенкендорфа:

«Милостивая государыня Шарлотта Карловна!

В ответ на письмо Ваше, в котором Вы изъявляете желание отправиться с дочерью Вашею в Сибирь, чтобы разделить участь Вашего сына, я должен уведомить Вас, милостивая государыня, что по существующим узаконениям, в коих не может быть сделано в сем отношении никакое изъятие, предоставляется только женам соучастников сына Вашего право испрашивать дозволение на следование за ними в место их назначения, родителям же и прочим их родственникам сие вовсе возвращается».

В августе — сентябре 1830 года Торсон вместе с другими декабристами перешел из Читы в Петровский Завод. Там он провел шесть лет.

В Петровском Заводе Торсон занял камеру недалеко от Николая и Михаила Бестужевых и часто бывал у братьев. Навещала их и Мария Казимировна Юшневская, в августе 1830 года приехавшая к своему мужу, одному из руководителей Южного общества, А. П. Юшневскому. В Петровском Заводе декабристам было по-прежнему запрещено писать даже своим родственникам. Письма Торсона и братьев Бестужевых переписывала и отправляла их родным Юшневская. «Я была у Ваших братьев у обоих, — писала Юшневская из Петровского Завода Е. Бестужевой 17 августа 1834

года. — Они живут в одном отделении и занимают друг подле друга номер... У них застала я Константина Петровича, который здоров и поручил Вам сказать от него почтение. Он тут же со своею книгою проводил свое время».

В Петровском Заводе Торсон продолжал работу над проектами государственных преобразований и преобразований на флоте. Однако по мере того как таяли надежды на скорое возвращение в Петербург, на флот, Торсон все больше и больше интересовался сельским хозяйством. Скоро механизация сельскохозяйственных работ в Сибири стала одним из его главных занятий.

Особенно увлекла Торсона мысль упростить молотильную машину и тем создать условия для ее широкого применения. В октябре 1833 года комендант Лепарский переслал военному министру графу Чернышеву «чертеж шотландской молотильной машины, измененной и дополненной в ее устройстве государственным преступником Торсоном». Чертежи декабриста рассматривались в Вольном экономическом обществе, и оно «нашло изменения, Торсоном в сей машине сделанные, по удобству своему заслуживающими полного одобрения».

...Матери и сестре декабриста пришлось надолго остаться в Петербурге, вдали от обожаемого сына и брата. Мать и сестра оказывали декабристу-каторжнику материальную помощь, но их скудные средства не позволяли посылать в Читку и Петровский Завод сколько-нибудь значительные суммы. Торсоны постоянно поддерживали дружеские отношения с матерью и сестрами декабристов Бестужевых. Бестужевы часто уезжали из Петербурга. Михаил и Николай многие свои письма из Сибири адресовали Екатерине Торсон. В отсутствие Елены Бестужевой, наиболее энергичной из сестер, Екатерина Торсон занималась запутанными издательскими делами ее брата Александра Бестужева-Марлинского.

По поручению Александра Бестужева Екатерина Торсон ведала переговоры и переписку с Н. Гречем, А. Смирдиным, К. Полевым и другими издателями и книгопродавцами, через нее А. Бестужев поддерживал связь со своими родственниками. 5 октября 1832 года А. Бестужев писал из Дербента:

«Милостивая государыня Екатерина Петровна!

Давно уже не имел я счастья получать писем от родных чрез Ваши руки; желал бы сям вызвать их из забвения. Прошу Вас, когда будете писать к нашим петровским, прибавить мой сердечный привет всем трем моим братьям, ибо Константина я считаю не иначе».

В 1834 году в III отделении завели новое дело «О государственном преступнике Константине Торсоне». Такие дела заводили на каждого декабриста при выходе на поселение. Дело о Торсоне начали несколько раньше. И поводом к этому послужило письмо сестры декабриста. Екатерина Торсон узнала из писем Юшневской, что ее брат «изобрел весьма удобную молотильную машину и желает посвятить труды свои общей пользе, равно как и для облегчения хоть несколько нужд матери и сестры». 17 мая 1834 года она обратилась к Бенкендорфу с просьбой доставить к ней в Петербург «чертежи и опись изобретенной им машины». Бенкендорф отправил письмо генерал-губернатору Восточной Сибири с просьбой «приказать принять от Торсона означенные бумаги и препроводить их... в III отделение». Возникновение этой переписки — результат недоразумения. Не было никакой надобности в мае 1834 года просить разрешение на пересылку в Петербург описания и чертежей машины, так как комендант Лепарский отправил их в столицу еще в 1833 году. Екатерина Торсон не знала об этом. Но полученное сестрой ссыльного декабриста разрешение Бенкендорфа помогло Торсону позднее, когда на поселении в Акше и Селентинске он продолжал свою изобретательскую деятельность.

14 декабря 1835 года Николай I в связи с десятилетием своего царствования снизил сроки каторжных работ, повелев «обратить на поселение в Сибирь» некоторых декабристов второго разряда. Торсона было решено отправить в Акшинскую крепость, которая располагалась в стороне от основных дорог, пересекавших Забайкалье, почти у самой границы России с Монголией.

В сборах в дорогу Торсону помогли Михаил и Николай Бестужевы. 14 февраля 1836 года Бестужевы писали сестре Елене в Петербург, и в их письме были строки, предназначавшиеся для Екатерины Торсон:

«У нас теперь важное происшествие занимает всех... второй разряд... отправляется на поселение. Константин Петрович также едет, и мы оба с Мишелем жалуемся

на него Катерине Петровне за то, что он не хочет принимать наших хлопот и не хочет взять некоторых нужных для пути и для первого времени вещей. Мы пишем это тихонько от него и просим Катерину Петровну не упоминать ничего об этом — иначе нам крепко достанется. Сверх того мы знаем, что он по скромности, а более по какой-то ложной деликатности не скажет сестрице своей, сколько ему нужно будет денег, и для того считаем обязанностью сказать, что его земледельческие наклонности потребуют на первый раз для обзаведения по крайней мере 500 рублей, чтобы с выгодой заняться и впоследствии не нуждаться в помощи...»

Еще в феврале 1836 года сестра отправила Торсону тысячу рублей ассигнациями, но деньги были задержаны в Иркутске, и декабрист не смог приобрести необходимые вещи перед выходом на поселение.

В Акше декабрист скоро заметил, как много зерна теряют местные крестьяне из-за примитивных способов молотбы, и немедленно приступил к постройке молотильной машины. Он надеялся ввести свою машину в действие уже осенью 1836 года. Но постройка машины затянулась. Сразу же начались неудачи. Край с его примитивным хозяйством не был подготовлен к введению подобных новшеств. Местные жители относились к Торсону недоверчиво.

Еще в 1833 году в Акше поселили декабриста П. Аврамова, осенью 1836 года Аврамов заболел и 5 ноября умер. Торсон не отходил от постели больного. Похоронив его, декабрист почувствовал себя совсем одиноким. «Мой друг,— писал Торсон Н. Бестужеву,— вас в Петровском еще много, еще довольно, чтоб в минуту страдания подать помощь друг другу, но я, брошенный в Акшу... тут должен был закрыть глаза моего товарища, бросить первую горсть земли на его гроб и, смотря на людей, стоявших вокруг могилы, с горестью спросить себя: кто из этих людей в минуту томительной, смертельной жажды подаст мне напиток? Кто прикроет мои глаза? Кто проводит меня к подобному месту? Я остался один, один в пустыне».

От этого одиночества Торсона вскоре спас приезд сестры и матери, а затем и Бестужевых. Но еще раньше ему удалось переехать из Акши в Селенгинск.

2 октября 1836 года Торсон отправил письмо Бенкендорфу: «Имея престарелую мать и сестру в бедном состоянии, долженствующих переносить нужду, я изыскивал способы доставить им хотя бы какое-либо пособие и для этого оставшееся свободное время употреблял на механические занятия... Я вышел на поселение с желанием скорее начать практическую жизнь трудов; к крайнему сожалению, на месте моего жительства встретил невозможность заниматься чем-либо подобным». Торсон просил перевести его в Западную Сибирь, ближе к уральским заводам, где он имел бы возможность устроить мастерскую для изготовления сельскохозяйственных машин, или, «если должно оставаться в Восточной Сибири», разрешить ему переселиться хотя бы в Селенгинск, «которого климат позволяет устроить правильное земледелие» и где удалось бы получать из Петровского Завода необходимые детали и инструменты. Кроме того, Торсон просил дозволения отправлять сестре описания и чертежи изобретенных им машин, как это было разрешено в 1834 году. Обращаясь к Бенкендорфу с этими просьбами, Торсон с горькой иронией выражал надежду, что «предполагаемые занятия сына для облегчения нужд престарелой и болезненной своей матери и сестры, и при этом доставлять по возможности пользу людям вообще, не составляют предмета, который подлежал бы преследованию законов». «Если я решился просить о возможности занятия,— добавлял Торсон,— то единственно по одному священному чувствованию успокоить своих родных и быть полезным человечеству».

В мае 1837 года Торсона перевели из Акши в Селенгинск, небольшой заштатный городок Верхнеудинского уезда Иркутской губернии. Он находится на реке Селенге, к югу от озера Байкал. Торсон поселился не в самом Селенгинске, а напротив города, на левом берегу Селенги, где находились Нижняя деревня и бурятские юрты.

В Селенгинске Торсон возобновил свои труды по изготовлению молотильной машины. В дальнейшем он собирался «устроить большую мастерскую для приготовления разных земледельческих машин и стараться ввести их в употребление в Сибири».

Декабристам на поселении часто приходилось страдать не только от вмешательства в их жизнь III отделения, но и от притеснений местной администрации. «Приговарываясь к механическим занятиям на новом месте», Торсон написал статью, в которой изложил «общий взгляд на распространение и изобретение машин». Эту статью он в 1837 году отправил в Петербург вместе с письмом сестре, но иркутский гражданский губернатор Евсевьев задержал пакет, предписав селенгинскому городничему

«выдать оное преступнику Торсону... с объявлением, что... не дозволяется государственным преступникам к кому-либо посылать свои сочинения». Понадобилось вмешательство управляющего III отделением А. Мордвинова, в сентябре 1837 года напомним сибирским властям, что Бенкендорф еще три года назад разрешил Торсону пересылать сестре чертежи и описания машин, чтобы статья была отправлена в Петербург.

Изменение положения декабриста подало новую надежду его родственникам. Хлопоты об отъезде в Сибирь возобновились. 15 января 1837 года разрешение императора было получено; сборы в дорогу заняли еще год. 12 января 1838 года А. Бенкендорф написал генерал-губернатору Восточной Сибири В. Руперту:

«Государь император, снисходя к просьбе живущих здесь в бедном положении матери и сестры государственного преступника Торсона... изволил изъять всемиростивейшее соизволение на переезд их в Сибирь для совместного с ним жительства, с тем чтобы они до смерти его, Торсона, отсюда в Россию не возвращались.

...Госпожа Торсон с дочерью в непродолжительном времени отправляются отсюда в Селенгинск...»

Петербургские знакомые, знавшие об отъезде Екатерины Торсон в Сибирь, предполагали, что она там станет женой Н. Бестужева. «У Торсона была престарелая мать и предостойная сестра,— вспоминал Н. Греч.— Сестра его... отправилась в Сибирь к брату... Многие думали, что она там выйдет за Николая Бестужева». О том же подумала А. Пушина, сестра декабриста. «Вчера Павел Бестужев пришел поздравить нас с Новым годом,— писала она брату 2 января 1840 года.— Глядя на него, я подумала, что его брат Николай женится на м-ль Торсон. Я высказала ему эту мысль, и он ответил мне, что уже слышал об этом, но не от брата...» Эти предположения не оправдались. Екатерина Торсон, приехавшая в Сибирь к своему брату, стала сестрой и его лучшим друзьям — Николаю и Михаилу Бестужевым.

Екатерине Торсон было предписано не разглашать до времени отъезда в Сибирь, что им позволено ехать, и она отправилась в Селенгинск, не известив об этом брата. Однако Екатерина Торсон сумела сообщить о своем предполагаемом приезде Юшневской, а та рассказала об этом Бестужевым. «Из писем Катерины Петровны,— писал М. Бестужев матери и сестрам 26 ноября 1837 года,— мы знаем, что они собирались по первой зимней дороге. Итак, может быть, вы уже с ними простились — и простились навечно. Тяжело терять друзей в счастья, а в несчастье — потеря друга невозвратима. Они же были связаны с вами не только узами дружбы, но гораздо священнейшими узами родства общего бедствия. Вы породнились несчастьем — и теперь в одиночестве вам будет вдвое тяжелее. Но по правде — я боюсь и за старушку. При ее слабом здоровье вынесет ли она тягость бесконечной дороги? Как будет счастлив Торсон, ежели они благополучно доедут... Я от души рад и за них. В шумной столице они были в тяжком одиночестве... А здесь их ожидает и сыновья любовь и братская дружба».

Торсон узнал о предстоящем приезде родных из письма Николая и Михаила Бестужевых и был очень раздосадован, что не успеет заранее приготовить дом и перестроить свое хозяйство. «Благодарю тебя, мой добрый Николай,— писал он Николаю Бестужеву 24 июня 1837 года,— что уведомил меня о моих родных; я не постигаю, для чего сестра моя ни слова не пишет мне... о их намерении ехать, и это тем страннее, что мне необходимо знать, дабы так располагать хозяйственным устройством, а они нарочно, как будто желая все это расстроить, молчат; я сделал ей вопрос насчет их намерения ехать, но когда будет ответ, бог знает».

Вместе с тем предстоящий приезд матери и сестры обрадовал его. «Если бы бог донес их благополучно ко мне...— писал Торсон Бестужевым,— то в этом маленьком городке, я уверен, можно было устроить тихую, мирную жизнь... Буду совершенно счастлив, если устрою свой мирный уголок, буду вместе с моими родными, буду заниматься как желаю, и если вас поселят вместе — остальное все вздор».

Генерал-губернатор Восточной Сибири предписал иркутскому губернатору «по прибытии госпожи Торсон в Иркутск с дочерью и прислугами отправить их в г. Селенгинск, исполнив предварительно высочайше установленные правила в отношении строгого освидетельствования как их самих, так и всех вещей, какие у них окажутся». В Иркутске мать и сестра Торсона были задержаны. Особая комиссия пересмотрела и переписала все их вещи, но и после этого еще несколько дней нельзя было полу-

чить разрешение на дальнейший путь. Между тем приближалась весна, ехать дальше по льду Селенги стало опасно, и родным Торсона пришлось, переправившись за Байкал, бросить свои повозки и ехать на перекладных. «Несмотря на наши скудные средства,— писала позднее Екатерина Торсон,— мне не то было горько, что должна была платить где вдвое, где втрое, но мне больно было видеть, как бедную матушку в ее лета, с ее плохим здоровьем перетаскивали из одной повозки в другую...»

Дорога шла по берегу Селенги, по склонам гор, окружавших реку. Уже верст за пять до Селенгинска Екатерина Торсон увидела город, окруженный горами. Спустившись с последнего холма и подъехав к перевозу через реку, мать и сестра декабриста сами не зная как очутились в его объятиях. Так сестра и мать Торсона соединились с ним после двенадцатилетней разлуки, чтобы разделить с декабристом изгнание.

В мае 1838 года Екатерине Торсон вдруг объявили, что ее письма должны рассматриваться в Иркутске и что она и Шарлотта Карловна не могут без разрешения отлучаться из Селенгинска. На мать и сестру Торсона распространили те ограничения, которым подвергали декабристов и их жен. Между тем при отправлении Екатерины Торсон с матерью в Сибирь им было сказано только об одном ограничении — необходимости остаться навсегда в Сибири. Сестра декабриста имела все основания полагать, что новые ограничения являются плодом излишней ретивости местной администрации. Это обстоятельство побудило ее обратиться за содействием к одной из своих петербургских знакомых, А. Мордвиновой, жене управляющего III отделением А. Мордвинова². «Если бы это было определено в Петербурге,— писала Е. Торсон 8 июня 1838 года,— то от меня, наверное, не стали бы скрывать, потому что ведь нас никто не уговаривал поехать в Сибирь, но мы сами просились».

Новое «предписание» чрезвычайно стеснило жизнь селенгинских изгнанников. В начале июня 1838 года Торсон, страдая сильным ревматизмом, по особому разрешению III отделения отправился для лечения на Байкал, на Туркинские минеральные воды, а мать и сестра не смогли поехать с ним. Они были вынуждены отпустить Торсона одного, больного, почти без денег и не имели от него никаких известий, потому что почта должна была идти через Петербург и пересылка писем продлилась бы дольше, чем Торсон находился на водах. Хозяйственная деятельность тоже требовала поездок хотя бы в окрестностях Селенгинска. «Наше положение могло бы, конечно, поправиться,— рассуждала Е. Торсон,— если бы брату позволено было торговать и ездить хотя бы по здешнему уезду... Но теперь и мне запрещено выезжать из города, то что мы будем делать? Конечно, я не могу сделать никаких оборотов, чтобы поправить наше состояние, но, по крайней мере, могла бы хоть дешевле закупать необходимое для нас».

Письмо Екатерины Торсон было отправлено по почте и задержано в III отделении. Мордвинов нашел наилучший выход из положения: сделал вид, что письмо не имеет к нему лично никакого отношения и он обеспокоен только тем, что «мать и сестра государственного преступника Торсона... в частных письмах своих описывают претерпеваемые ими в некоторых случаях стеснения». Уже 24 августа 1838 года Мордвинов выговаривал генерал-губернатору Восточной Сибири:

«О содержании... матери и сестры Торсона имею честь сообщить Вам, милостивый государь, что так как при отправлении их в Сибирь его величеству благоугодно было сделать лишь одно условие, чтоб оне оттуда не возвращались до смерти Торсона, то и не встречается нужным подвергать их всей строгости правил, существующих для самих поселенцев, по уважению чего зависеть будет от вашего превосходительства облегчить настоящее положение семейства Торсоновых, снабдив местное начальство надлежащим в отношении к ним наставлением».

Генерал-губернатор, пытаясь оправдаться, стал уверять, что Екатерина Торсон задержалась в пути будто бы по своей воле, а отнюдь не по вине местного начальства и «жалобы Торсон на мнимое стеснение ее совершенно неосновательны». «Впрочем...— писал генерал-губернатор в заключение,— я предложил управляющему Иркутской губернией, чтоб семейство Торсона нисколько не было подвержено строгости правил, постановленных для самих преступников или жен их, и чтобы им предостав-

² Это письмо Е. Торсон первоначально было опубликовано как письмо к «неизвестной» («Письма из Селенгинска. Неизвестные письма декабриста К. П. Торсона и его сестры» — «Байкал», 1975, № 6). Позднее удалось установить, что «неизвестной» является А. Мордвинова.

лена была полная свобода для разъездов по хозяйственной части и по своему желанию». Так письмо Екатерины Торсон помогло селенгинским поселенцам избавиться от притеснения местной администрации.

Срок пребывания Николая и Михаила Бестужевых в Петровском Заводе истек в 1839 году. К. Торсон из Селенгинска писал о своем желании жить вместе с ними. Того же хотели Николай и Михаил Бестужевы. «Постарайтесь похлопотать о том, о чем писал Константин Петрович...— писали Бестужевы матери и сестрам,—мы с его желанием совершенно согласны. Прожив во время службы вместе — вместе в тюрьме,—желательно бы и провести остаток жизни так же... Не отрадно ли будет жить и мыкать общее горе с человеком, который был нашим другом с молодых ногтей? Не отрадно ли будет видеть сестру и мать его... и, глядя на них, вспоминать первые впечатления счастливой юности? Они были первые, с кем я познакомился на пороге гражданской жизни из чужих,—они были первые, пробудившие в душе моей любовь и почтение к добродетели, не радостно ли думать, что и последний взор мой умрет на их лицах, полных участия».

В апреле 1839 года Н. и М. Бестужевы неожиданно узнали из письма сестры Елены, что она, услышав о ежегодных наводнениях, затоплявших Селенгинск, и предполагаемом переносе города на новое место, подала прошение о поселении ее братьев в Тобольске или Кургане. Оправдывая свое решение, она писала, что и К. Торсон может быть переведен в Курган. Такой оборот дела не устраивал Бестужевых, желавших жить вместе с Торсоном и уже подготовившихся к поселению в Селенгинске. Еще менее устраивал предполагаемый переезд в Курган Торсона и его семью. «Ты говоришь, что не только нам, но и ему можно быть переведену в Курган,—писали Бестужевы сестре о Торсоне,—а спросила ли ты его желания? Он уже выстроил дом под крышу, завелся хозяйством, скотом, лошадьми, овцами, которых у него до сотни,—и ты думаешь, что ему легко будет подняться с места?»

Так же реагировала на предложение Елены Бестужевой и Екатерина Торсон: «Не знаю, милая Елена Александровна, почему Вы думаете, что мы, может быть, перенесем Селенгинск на другое, лучшее место, что касается до меня, то я уверена, что это совершенно невозможно... Будучи однажды брошены судьбою сюда, нам ничего более не оставалось делать, как спешить как можно скорей обзавестись, потому что здесь иначе жить невозможно... Теперь же, так как мы имеем надежду осенью перейти в свой дом, перенесли уже столько неприятного, издержали большую часть наших денег, как можно нам подумать о перемещении?»

Между тем прошение Елены Бестужевой было удовлетворено, Николаю и Михаилу разрешили поселиться в Кургане. Е. А. Бестужевой пришлось от имени братьев обратиться к Бенкендорфу с новой просьбой о поселении их в Селенгинске, где жил Торсон. В прошении она назвала Торсона родственником своих братьев. В начале июля 1839 года такое разрешение было дано, но Бестужевы узнали о нем только в конце августа. Эта томительная неизвестность тревожила и Бестужевых и Торсона.

27 июля Бестужевы с последней партией декабристов покинули Петровский Завод, еще не зная, где они будут поселены. 7 августа Бестужевы расстались с товарищами, отправившимися за Байкал. Ожидая позволения поселиться в Селенгинске, они почти весь месяц жили в селе Посольском. Долгожданное разрешение пришло 29 августа.

1 сентября друзья встретились в Селенгинске после трехлетней разлуки. «Я не могу пересказать вам той радости,—писал Николай Бестужев матери и сестрам,—с какими встречены мы были семейством Торсона. Старушка Шарлотта Карловна с слезами едва могла вымолвить: «Слава богу, что я дождала до того, чтоб вас увидеть!» Катерина Петровна и наш добрый Константин Петрович расплакались, как дети... Свидание наше с семейством Торсоновых было радостно. Мы поплакали и посмеялись довольно при первой нашей встрече».

Приезд Бестужевых оживил Торсона, вдохнул в него новые силы. Раньше его очень беспокоила мысль, что «он не в состоянии будет выполнить всех забот и трудов, предпринятых им для успокоения своего семейства, что его смерть оставит мать и сестру на чужой стороне вовсе беспомощных». Теперь Торсон мог рассчитывать на помощь Бестужевых.

«Шарлотта Карловна бодрa и здорова, гуляет каждый день с палочкой,—писал Н. Бестужев о своих первых впечатлениях после встречи с семьей Торсона в Селенгинске.—Катерина Петровна сделалась совершенно поселянкой, смотрит, как доят ко-

ров и загоняют овец. Константин Петрович ныне здоровее прежнего и не жалуется больше на свой желудок; один ревматизм мучит его и в натуре и в воображении...»

Бестужевы поселились на левом берегу Селенги, рядом с Торсоном. «Теперь нам с Мишелем прибавилось хлопот оттого,— писал Н. Бестужев сестре Елене через год после приезда в Селенгинск,— что вздумали завестись своим хозяйством и не беспокоить более доброй Катерины Петровны, которая год пеклась о нас истинно как об детях. Теперь мы осмотрелись, привыкли к месту и его способам и хотим попробовать своего хлеба-соли; это будет стоить нам гораздо дороже, но... надобно знать честь... Несмотря на то, что мы живем своим хозяйством, Катерина Петровна не оставляет нас своими пособиями, и малейший какой-нибудь недостаток — и мы тотчас прибегаем к ней».

В Селенгинске Бестужевы и Торсон завели свое хозяйство, занялись овцеводством и хлебопашеством. Торсон по-прежнему часто болел, и Бестужевы помогали ему: наблюдали за работами, покупали для него хлеб и сено. Бестужевы в свою очередь нуждались (до приезда сестер) в кулинарных способностях Екатерины Петровны, особенно осенью при заготовке продуктов на зиму. Екатерина Торсон с увлечением занималась хозяйством. Она следила за домашним скотом и огородом, «топила масло, готовила разные разности: солила, коптила, мариновала и проч...». Под ее надзором этим занимались и Бестужевы. «Катерина Петровна вечно в хлопотах по хозяйству и вечно твердый герой для перенесения всех житейских дряг и моральных туч», — писал о ней М. Бестужев.

Шарлотта Карловна увлекалась садоводством, разводила цветы, а иногда помогала в доме дочери.

Большую часть времени декабристы проводили дома «между чтением и хлопотами по хозяйству» или в прогулках и поездках по окрестностям Селенгинска.

Торсоны и Бестужевы познакомились со многими жителями Селенгинска, который как раз в это время, в 40-х годах, переносили с правого берега Селенги на левый. Первыми друзьями декабристов стали семьи селенгинских купцов Старцевых и Лушниковых, люди образованные и культурные. Торсон не любил отрываться от своих дел, но его сестра часто бывала в доме Старцевых. Она учила дочерей Старцева чтению и письму, помогала им шить приданое.

Торсоны жили в Селенгинске, а их помнили в далеком и давно покинутом Петербурге, помнили даже те, кто не видел их уже четверть века. В 1844 году Бестужевы неожиданно получили письмо от помощника корабельного мастера П. Ершова, в доме которого в Кронштадте Торсон и М. Бестужев прожили несколько лет. «Я его помню,— писал Ершов о Торсоне,— как будто в недавних днях видел его, а между тем много протекло времени... Здравствуют ли маменька и сестрица доброго К. Торсона, ничего не знаю; а желал бы взглянуть на сих почтенных и всегда мною уважаемых...»

Бестужевы не мыслили себе жизни без матери и сестер, оставшихся в Петербурге. С начала 1840-х годов Николай, а потом и Михаил в письмах родным уговаривали их покинуть Петербург, продать небольшую деревню Сольцы и ехать в Селенгинск.

В 1844 году сестры и мать наконец решились. Прасковья Михайловна Бестужева собиралась отправиться в путь с наступлением зимы. По существовавшим тогда правилам в Сибирь разрешалось ехать только женам государственных преступников. Однако Прасковья Михайловна была уверена, что получит разрешение, так как в Селенгинске уже жили мать и сестра Торсона. Еще до подачи прошения императору она продала имение Сольцы и даже отправила в Селенгинск с ушедшим в Сибирь обозом часть своих вещей. После долгих переговоров с III отделением Бестужевы подписали бумагу о согласии подчиниться всем ограничениям, установленным для жен декабристов, и подали прошение императору. Они уехали в Москву, а затем остановились в селе Гончарове Суздальского уезда Владимирской губернии, где жил вышедший в отставку и женившийся Павел Бестужев, младший из пяти братьев. В сентябре 1844 года владимирский гражданский губернатор передал П. Бестужевой письмо нового начальника III отделения графа А. Орлова: «Просьбу Вашу о дозволении Вам и трем дочерям Вашим отправиться в Иркутской губернии город Селенгинск... я всеподданнейше повергал на воззрение государя императора, но его величество по некоторым причинам и для собственной Вашей пользы не изволил изъявить высочайшего своего согласия на означенное Ваше ходатайство».

Отказ был тяжелым ударом и для селенгинских жителей и для их родных. Прасковья Михайловна вскоре умерла. В феврале 1847 года, после смерти брата Павла, Елена Бестужева вновь подала императору прошение от имени всех трех сестер о разрешении им поселиться в Селенгинске вместе с единственными оставшимися у них родственниками — братьями Николаем и Михаилом. На этот раз разрешение было дано. В том же году сестры Бестужевы приехали в Селенгинск.

Бестужевы и Торсон стали просветителями Забайкалья. На местное население оказывали влияние и методы ведения хозяйства, и быт ссыльных декабристов. Одним из главных видов просветительской деятельности Торсона была его работа по усовершенствованию и постройке в Забайкалье молотильной и других сельскохозяйственных машин.

Но Торсон и Бестужевы занимались и непосредственно обучением местных жителей. В доме Торсона была устроена школа, где обучались дети селенгинских, кяхтинских и верхнеудинских жителей — буряты и русские. Декабристы не только давали детям общую подготовку, но и обучали их ремеслам, благотворно влияли на нравственность своих воспитанников, прививали им аккуратность и чувство собственного достоинства.

— Никогда, ни при каких случаях нельзя опускаться, — говорил Торсон своим ученикам. — Пусть будет бедное платье, но чистое и аккуратное.

Екатерина Торсон учила дочерей селенгинцев шитью, вязанию и вышиванию.

Торсон и Бестужевы оказывали населению Забайкалья и медицинскую помощь. Особенно отличалась в этом Екатерина Торсон. «У нас Катерина Петровна здесь первый медик на расстояние 200 верст в окружности; лечит и слепых, и хромых, и увечных — сущее провидение здешнего края», — писал Н. Бестужев сестрам.

В последние годы жизни Торсон вновь обратился к своим рукописям о флоте. Моряк-декабрист обрабатывал свои воспоминания об антарктической экспедиции, начатые еще до ареста, продолжал работу над новыми проектами, желая способствовать «улучшению мореходства». Торсон мечтал об издании своих разнообразных записок о флоте. Кроме того, он интересовался философией и писал большой труд «Опыт натуральной философии о мироздании».

Однако здоровье декабриста было подорвано. «К. П. Торсон, видимо, хиреет, — писал М. Бестужев С. Волконскому 13 июля 1850 года. — Он только что кончил курс серных ванн, но и это, кажется, мало ему помогло». В 1850—1851 годах Торсон уже «почти не вставал с постели».

Торсона и Бестужева лечил живший в Селенгинске лекарь П. Кельберг. Из его писем мы узнаем о последних днях жизни и о смерти Торсона. «Весна и лето у нас очень благоприятны... — писал Кельберг 4 июля 1851 года, — пациентов у меня очень мало. Здоровье Константина Петровича исправляется, так что он может гулять на воздухе и часто бывает у своих соседей». Однако улучшение было недолгим. С наступлением осенних холодов он «начал снова кашлять, потом часто страдал несварением пищи». Болезнь, которую Кельберг определил как воспаление желудка, все усиливалась. Николай Бестужев и П. Кельберг постоянно находились у постели больного друга. Однако «никакие медицинские средства уже не помогли». 4 декабря 1851 года в половине седьмого вечера Торсон скончался.

Менее чем через год после смерти Торсона умерла его мать. «Севодне похоронили почтенную старушку Шарлотту Карловну, мать Екатерины Петровны Торсон, — писал Кельберг 19 августа 1852 года. — Жаль видеть бедную Екатерину Петровну, которая осталась одним-одинешенька. Старушка прожила 88 лет и умерла истинною христианкою. Она до самой смерти ходила на ногах и еще за $\frac{1}{4}$ часа разливала чай».

Декабриста и его мать похоронили на берегу Селенги. Однажды Николай Бестужев встретил на вершине холма, у подножия которого располагались дома декабристов, селенгинского городничего. Городничий был близорук и, глядя вниз, спросил:

— Какие это два белых пятна на долине?

— Это могилы Торсона и его матери, а подле них и я скоро улягусь, — отвечал Николай Бестужев.

Декабрист не ошибся. Он ненамного пережил Торсона и был похоронен рядом со своим другом.

Незадолго до смерти матери, 3 июля 1852 года, Екатерина Торсон обратилась к генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Муравьеву с просьбой оказать помощь. В этом же прошении она сообщала и о рукописях брата:

«Смерть брата моего, для которого мы с престарелою матушкой решились оставить Россию и поселиться в Сибири, поставила нас в крайнее положение. Издержав на дальнюю дорогу и обзаведение большою часть нашего имущества, мы надеялись, что доброе хозяйство с моей стороны и труды брата обеспечат наше будущее существование — но богу угодно было иначе: непрерывная болезнь брата в продолжение 15 лет останавливала и уничтожала все попытки к улучшению нашего быта. К этому присоединились и независимые от нас обстоятельства, как то: постоянная засуха в продолжение 10 лет, неурожаи хлеба и трав, составляющих основу всякого производства, а впоследствии того и падежи скота. Два последние предсмертные года, когда брат уже почти не вставал с постели, истощили остальные наши средства, и я сверх того должна была еще войти в долги, так что кроме всемилостивейше жалуемого мне пособия в 500 рублей ассигнациями, я не имею ничего, чем могла бы содержать себя и успокоить мою 88-летнюю матушку. Сверх того, если бы я по этой самой причине пожелала бы возвращения на родину, то лишена всякой к тому возможности. Вашему высокопревосходительству известно положение здешнего края. Конечно, Вы изволите увидеть, как далеко не достаточно здесь вспомоществование, получаемое нами. Я бы готова была работать, но здесь немного можно приобрести работою, к тому же душевные страдания, нужда и непривычные работы истощили уже мои силы. Прибегая к великодушию вашего высокопревосходительства, осмелюсь надеяться, что, вникнув в положение наше, Вы не усомнитесь ходатайствовать перед милосердием его императорского величества о судьбе нашей. Покойный брат мой завещал мне много рукописей, о которых он всегда изъявлял желание, чтобы они дошли до сведения высшего начальства. Если вашему высокопревосходительству благоугодно будет получить для этого назначения рукописи, то я буду иметь честь переправить их».

Н. Муравьев переслал просьбу Екатерины Торсон в III отделение. «О стеснительном и бедном положении девицы Торсон и матери ее я убедился лично,— писал он начальнику III отделения А. Орлову 18 сентября 1852 года, еще не зная о смерти Ш. К. Торсон.— Пособие, которое получает от казны первая из них, очень недостаточно по местным обстоятельствам на содержание ее и матери, которая, по совершенной дряхлости и расстроеному здоровью требуя неуспешных услуг и попечения от своей дочери, лишается возможности заниматься хозяйством и личными трудами улучшить свое положение. По смерти Торсона, продолжительная болезнь которого истощила последние их запасы, они не получили никакого наследства кроме сочинений его в рукописях, заключающих в себе по большей части предложения об улучшении мореходства». Прочитав доклад о просьбе Екатерины Торсон, А. Орлов наложил резолюцию: «Записки прежде прислать».

Незадолго до смерти Торсона Михаил Бестужев убеждал своего друга, что его рукописи устарели и уже никому не будут интересны. Сестра декабриста оказалась более проникательной: она поняла ценность сочинений брата. Более того, из множества его рукописей Екатерина Торсон сумела выбрать то, что действительно было бы интересно и современникам и потомкам: она отослала в III отделение через Муравьева два тюка, в которых находились «Воспоминание... путешествия к Южному полюсу» и «Опыт натуральной философии о мироздании». При этом Муравьев сообщил шефу жандармов, что сестра декабриста просит «в случае, если не будет сделано какого-либо употребления в ее пользу, отослать оные ей обратно». Орлов приказал «вскрыть и рассмотреть» тюки. В марте 1853 года рукописи К. Торсона уже были отправлены обратно Муравьеву с извещением, что III отделение «не имеет ни возможности, ни обязанности» их рассматривать, так как они оказались «не соединенными в одно целое, в разрозненном виде и небрежно написанными».

Орлов просил Муравьева передать наследникам Торсона, чтобы они «привели бумаги в надлежащий порядок, составили бы из них нечто целое и, переписав самым четким почерком, представили вновь». «Тогда уже я,— заключил Орлов,— рассмотрев означенные рукописи, дам решение, могут ли оные быть дозволены к печатанию».

Бумаги были возвращены Екатерине Торсон, и она, видимо, больше не делала попыток посылать их в III отделение. 11 февраля 1855 года последовало «высочайшее соизволение» на выезд Екатерины Торсон из Сибири. Через несколько месяцев после

этого умер Николай Бестужев. Больше уже ничто не удерживало сестру декабриста Торсона в Селенгинске...

Екатерина Торсон отправилась в европейскую Россию в начале 1857 года. «На этих днях...— писала Елена Бестужева 5 января 1857 года своим друзьям Свиязовым,— уезжает из наших стран в Москву или Петербург Екатерина Петровна Торсон, добрый и верный наш сотоварищ в добровольном нашем с нею изгнании для облегчения участи наших братьев: она своего, равно как и мы своего старшего, лишилась. Пожалуйста, не оставьте ее добрым вашим расположением, она так много помогала нам добрыми своими советами и дружеским расположением, что я не знаю, как и чем могу возблагодарить ее...»

В 1858 году покинули Селенгинск и сестры Бестужевы.

И. Пущин, узнав о предстоящем отъезде Екатерины Торсон из Селенгинска, еще 3 сентября 1854 года писал Н. Бестужеву из Ялуторовска: «Скажи мой привет Катерине Петровне и напомни, что если она поедет за Урал, то на дороге ее Ялуторовск, где радушно желают ее видеть». Однако отъезд Екатерины Торсон задержался, и Пущину не удалось встретиться с ней в Сибири. После амнистии 1856 года И. Пущин вернулся в европейскую Россию. И год спустя встретился с приехавшей из Сибири Екатериной Торсон в Петербурге.

С середины 1857 года Пущин жил в подмосковном селе Марьине. Он оставался руководителем созданной еще в Петровском Заводе малой артели, собирал деньги и рассылал их нуждавшимся декабристам и их родственникам. Получала помощь от малой артели и сестра декабриста Торсона. «Любезный друг Николай,— писал И. Пущин брату 2 октября 1857 года,— узнай мне, где и как живет Катерина Петровна Торсон. Наша артель имеет возможность ей помочь. Теперь у меня делается раскладка на будущий год. Артельный год наш начался с 26 августа. Я не знаю, где отыскать ее. Все думал, что она возвратится в Москву, а Ентальцева пишет, что до сих пор ее нет...»

В 1858 году Екатерина Торсон появилась в Москве. «К. П. Торсон в Москве...» — сообщил Пущин С. Трубецкому 2 апреля 1858 года.

На этом обрываются сведения о сестре декабриста Торсона. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Мы не знаем даже, когда и где она умерла. Ни в Московском, ни в Петербургском некрополях (справочниках, содержащих сведения обо всех, кто умер и похоронен в этих городах) нет упоминаний о Екатерине Торсон...

Торсон умер, его сестра покинула Селенгинск, но память о декабристе жила. На могилах Торсона и Николая Бестужева Михаил Бестужев поставил скромные памятники из кирпича. После отъезда М. Бестужева в европейскую часть России местные жители Б. Белозеров, А. Лушников и А. Старцев установили на могилах новые памятники в виде чугунных колонн с бронзовыми крестами на них. Могилы обнесли оградой с чугунной дверью. Колонны и дверь были отлиты в Петровском Заводе; постаменты вытесал из камня ученик Н. Бестужева Анай Унганов. У могил построили часовню. На памятнике Торсону написано: «Здесь погребен Константин Петрович Торсон. Умер в Селенгинске. 1851 г.». А рядом плита с надписью: «Шарлотта Карловна Торсон. 1763—1852».

Бурятка Жягмыт Анаева, когда-то жившая в доме Торсона, и в 1926 году вспоминала о декабристах «с каким-то особенным теплым чувством, как мать о любимых детях». «Какие это были хорошие люди, теперь бог не такой,— наивно говорила старушка о Торсонах.— По праздникам, зимой и летом, запрягут, бывало, лошадей, наложат в телегу или сани всяких припасов и развозят по беднякам в Нижней деревне. Катерина Петровна лечила больных и шибко помогала больным глазами».

В 1975 году в Новоселенгинске открыли музей декабристов — братьев Бестужевых, Торсона и других,— живших в Бурятии. Он разместился в бывшем доме Д. Старцева, где бывали К. Торсон и Бестужевы, где часто проводила время и Екатерина Торсон. Один из экспонатов музея — модель молотильной машины Торсона, первой молотильной машины в Забайкалье. Она изготовлена по чертежам и описаниям, обнаруженным среди документов Вольного экономического общества в Центральном Государственном историческом архиве СССР в Ленинграде.

Памятники на могилах Торсона и Николая Бестужева, поставленные Б. Белозеровым, А. Лушниковым и А. Старцевым, сохранились до наших дней. В 1959 году по инициативе жителей Новоселенгинска они были реставрированы. Новая реставрация памятников была произведена в связи со 150-летием восстания 14 декабря. 24 декабря 1975 го-

да в Новоселенгинске открыли мемориальный комплекс декабристов. Теперь над двумя чугунными колоннами, поставленными более ста лет назад, возвышается обелиск, воздвигнутый в наши дни.

Но сохранилось, к сожалению, далеко не все, что хотелось бы и что можно было бы сберечь. Не сохранились дом и флигель Бестужевых. Не осталось и следа от дома К. Торсона, где он прожил двенадцать лет, где сестра декабриста оставалась еще более четырех лет после смерти брата. Это была сложенная из бревен изба с двускатной крышей длиной в семь и шириной в шесть сажень. В такой же избе, только больших размеров, жили и Бестужевы.

А что стало с архивом К. Торсона?

Уезжая из Селенгинска, Екатерина Торсон взяла с собой бумаги покойного брата. Она поручила разобрать архив Торсона декабристу А. Розену, а тот увез бумаги на Украину, в Каменку. 21 января 1859 года Розен писал Е. Оболенскому: «Пока на зимнее время прекратились мои постройки, и я начал разбирать бумаги покойного Торсона. Начал с его записок о земледелии и механике; нашел читинские бумаги о флоте: он написал пропасть, таблицы и исчисления изумляют меня...»

Архив К. Торсона, содержащий воспоминания об антарктической экспедиции 1819—1821 годов, сочинение «Опыт натуральной философии о мироздании», труд «Система русских финансов», заметки о новых торговых сношениях с Китаем, сочинения по сельскому хозяйству, механике, чертежи изобретенных Торсоном машин, многочисленные проекты государственных преобразований и преобразований на флоте, до сих пор не обнаружен. Может быть, кому-то еще доведется найти эти рукописи. Тогда откроются новые страницы биографии К. Торсона, новые страницы истории...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ



ДЕЙСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРЫТИЙ

I

Один из важных выводов июньского Пленума ЦК КПСС (1983) и речи Ю. В. Андропова на нем — это необходимость усилить преобразующую, воспитательную роль литературы и искусства на современном этапе. Таково требование самого времени.

В материалах июньского Пленума ЦК КПСС указаны и пути решения этой задачи. Сейчас необходима более тесная связь литературы и искусства с героическими делами народа. Читатель ждет от художников слова крупных характеров — типов нашей эпохи. В первую очередь характеров строителей, создателей, активных деятелей, в чьем облике, делах, чувствах, мыслях, психологическом мире отражались бы важнейшие приметы наших дней — рост коммунистического сознания масс и их героический труд, самоотверженные усилия по претворению в жизнь великих предначертаний партии, всей программы строительства коммунизма.

Фактически речь идет об основных принципах социалистического реализма, о его развитии и обогащении как художественного метода.

Горький, Маяковский, Шолохов, Леонов, Твардовский, Пудовкин, Довженко, братья Васильевы... Какая богатейшая галерея типов создана ими! Каждый из этих типов — живая личность и в то же время обобщенный образ. В каждом из них отразилось время, наша героическая эпоха.

«Но, чего греха таить, бывает и по-другому. На экране или под пером некоторых авторов на первый план выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неудачи, этакие развинченные, ноющие пер-

сонажи. А человек, особенно молодой, нуждается в идеале, воплощающем благородство жизненных целей, идейную убежденность, трудолюбие и мужество. И таких героев не надо выдумывать, они рядом с нами», — отмечалось на недавнем Пленуме ЦК КПСС.

Вот почему в настоящее время так остро встает вопрос о дальнейшем развитии лучших традиций советской литературы и искусства, преодолении недостатков, о которых шла речь выше. Вопрос о создании произведений, достойных нашей героической эпохи. В теоретическом плане нашей литературной науке, критике следует в полном объеме и глубоко осмыслить генеральное положение о преобразующей, действенной роли литературы и искусства социалистического реализма, о повышении воспитательной роли художественного творчества в период зрелого социализма.

Положение это касается самого существа искусства социалистического реализма, его новаторских тенденций. Июньский Пленум недаром заострил наше внимание на вопросе об исторической правдивости и аналитических задачах искусства социалистического реализма: «Истинный талант не отгораживается от жизни, не допускает ни лубочного приукрашивания действительности, ни искусственного выпячивания теневых явлений». Дело в том, что искусство располагает своими специфическими средствами постижения истины, освоения действительности. В самой эстетической природе искусства заложены богатейшие возможности воздействия на человеческую душу. И в наши дни, в пору стремительного духовного обогащения личности, это особенно дорого. Формируя человека передовых убеждений, искусство помогает ему достичь внутренней гармонии, духовной и душевной цельности.

В нашем искусстве особенно важна его устремленность в будущее.

Социалистическому искусству по самой его природе свойственно обращаться к нерешенным проблемам, обгонять время, улавливать диалектику общественного развития и с высоты достижений настоящего провидеть будущее, создавать крупные характеры героев, новаторов в полном смысле этого слова, «брать жизнь на буксир», как говорил А. Н. Толстой. Только таким образом социалистическое искусство сможет выполнять свою историческую миссию.

Такие произведения, как «Премия» и «Обратная связь» А. Гельмана, «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Магомед, Мамед, Мамиш» Ч. Гусейнова, «Допрос» (азербайджанский фильм, снятый по сценарию Р. Ибрагимбекова), «Капли дождя» П. Куусберга, способствуют росту гражданского сознания и художественной культуры читателя, повышению его социальной активности. Эти произведения ставят острые вопросы.

Советская литература и искусство, можно сказать, нередко даже обгоняют социологическую мысль, активно исследуя новые аспекты живой практики развитого социализма. С особой заостренностью в литературе и искусстве звучали нравственные проблемы, вопросы ответственности личности перед обществом, перед историей, человека перед самим собой («Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, «Тесна пустыня» А. Мухтара и др.).

Советская литература и искусство на новом этапе развития социализма показали не только новые противоречия (в частности, коллизии, связанные с национальными пережитками, хищническим отношением к государственной собственности, забвением гражданского долга), но и стремились философски осмыслить эти противоречия, тесно связать их преодоление с задачей воспитания нового человека. Особенно важен здесь пафос поэтизации героя современности, ведущего активную борьбу с тем, что мешает утверждению коммунистических идеалов.

Советские писатели и художники убедительно показали, что борьба передового, коммунистического со старым, косным, отжившим приобретает новые формы. Ее центр переносится в область сознания и нравственных представлений. И нужны острота партийного зрения, принципиальность писателя и художника, чтобы заметить эти новые формы борьбы, вскрыть ее изнутри, показать средствами искусства, в конкретных случаях, в облике конкретных героев, их мыслях, чувствах, действиях.

Ведь борьба идет за сердца и души людей, за формирование коммунистической личности, причем в новых условиях, когда нередко старое, косное, отживающее камуфлируется под новое (например, Хасай в повести Ч. Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш»).

II

Нельзя, неправильно сводить вопрос о повышении преобразующей роли искусства, как это делали некоторые критики (а им вторили и некоторые писатели в своих выступлениях), к изображению прежде всего негативных сторон действительности. Давно опровергнут тезис Роже Гароди об искусстве, которое якобы живо своим оппозиционным отношением к действительности. Новаторская сущность социалистического реализма заключается в том, что это искусство носит у т в е р ж д а ю щ и й характер. Оно утверждает социалистическую действительность и решительно отрицает все то, что мешает победе коммунистических идеалов. В основе мирозерцания советского художника, познания им сложных процессов жизни лежит научный подход к действительности. О таком подходе к явлениям жизни ярко говорил Ю. В. Андропов на встрече в ЦК КПСС с ветеранами партии 15 августа 1983 года: «...видеть факты такими, каковы они есть, понимать сложность, противоречивость явлений общественной жизни, ничего не приукрашивать, но и не обеднять уже сделанное — таковы непрременные предпосылки научно обоснованной политики». Для настоящего коммуниста, подчеркивал Ю. В. Андропов, «жизненный опыт — это как бы вершина, поднявшись на которую можно лучше видеть открывающиеся горизонты. Такой опыт не притупляет, а заостряет чувство нового, без которого нельзя, невозможно решать задачи, которые ставит перед нами жизнь, практика совершенствования развитого социализма».

Оговоримся, что речь здесь идет о политической сфере. Но положения, высказанные Ю. В. Андроповым, имеют большое методологическое значение и для теории художественного творчества.

Социалистическое искусство по своей первородной сущности — аналитическое искусство. Активность аналитической мысли художника в советской литературе и искусстве возрастает и непременно сочетается с синтезом, с поиском емких форм обобщения. Этим определяется растущая популярность, например, жанра философского ро-

мана. Яркий образец — «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») Ч. Айтматова, где строгий реализм сочетается с использованием мифов, народных сказаний, анализ внутреннего мира Едигея, углубленный психологизм — с использованием научной фантастики.

Круг общественных связей советского человека в период зрелого социализма, масштаб его интересов, его кругозор необыкновенно расширились. Стали иными противоречия, конфликты. Неантагонистические по своей социальной природе, они в период зрелого социализма обретают новую сущность. А ведь конфликт в произведении — это средство типизации, это способ раскрытия характеров. Недаром Белинский называл конфликт сшибкой характеров героев и подчеркивал: насколько глубоко раскрыты истоки конфликта и мотивы действий героев, настолько выигрышает художественная полнота и выразительность произведения.

Приведенное суждение Белинского непосредственно относится и к произведениям советской литературы, в которых художник исследует новые противоречия, новые конфликты. Современному писателю необходимы и глубина аналитической установки, и широта философского кругозора; его задача — в частном и конкретном разглядеть проявление основных тенденций нашего развития, утвердив силой поэтического дара подлинные ценности социального общества. И все это в сшибке характеров, каждый из которых отстаивает свою позицию как единственно верную и предстает перед нами как «знакомый незнакомец».

Марксизм учит, что общественная жизнь есть непрерывная борьба нового со старым во всех сферах человеческой деятельности. Положение о единстве и борьбе противоположностей — основа основ диалектического понимания общественного развития. Прекрасно помня само положение, мы, критики и эстетики, не всегда умеем воспользоваться им практически. В частности, не всегда умеем учесть всю сложность работы художника, который по свежим следам исследует противоречия времени, социальные, нравственные и национальные свойства характеров героев, представляющих различные силы истории и общественные тенденции.

Конфликт в произведении — это и средство раскрытия типических обстоятельств (столкновение реальных сил, тенденций), и средство раскрытия характеров героев, живых типов эпохи. От того, насколько глубоко

удалось писателю через динамику конфликта, движение характеров передать ведущие тенденции времени, зависит идейная и художественная сила произведения, его непосредственное эстетическое воздействие на читателя и зрителя. А ведь новый конфликт и новые характеры — это всегда открытие художника, это в творческих муках рожденная и сотворенная эстетическая истина, которая, дойдя до читателя, становится общественным достоянием.

Вспомним «Потерянный кров» Й. Авижюса. Я уверен, что без раскрытия исторических, социальных, нравственных и национальных аспектов конфликта Гедминаса с Адомасом, пытающимися найти спасение Литвы в особом «третьем пути» (а это приводит Адомаса к сотрудничеству с гестапо, к предательству родины), «Потерянный кров» не обрел бы большого исторического и эпического дыхания. Разрабатывая сложный материал, литовский писатель во многом опирался на достигнутое Шолоховым в «Тихом Доне», где показано, как на выбор пути Григорием Мелеховым влияла стихия казацкой «самостийности», воздействовало сложное переплетение исторических, классовых, нравственных противоречий.

С кем идти, в каком сражаться стане — вопрос, который с новой силой встает и перед героями «Берега» и «Выбора» Ю. Бондарева. Только в этих произведениях на первом плане — коллизия нравственного выбора, и трактуется она с присущим Ю. Бондареву этическим максимализмом. Притом нравственная проблематика здесь прочно соединена с социальной, потому-то столкновение Никитина с западногерманским публицистом Дицманом (в «Береге»), столкновение Васильева с Рамзиным (в «Выборе») обретает глубокое дыхание, сама логика таких конфликтов выявляет силу, стойкость, нравственное благородство советского человека. Лишившись родины, Рамзин не только утрачивает лучшие черты, присущие советскому человеку, — он перестает быть русским, действует, мыслит, чувствует как космополит, своего рода Номо Фабер (хотя и отошел от дела, живет, как рантье, на сбережения, оставшиеся от продажи завода по производству швейных иголок).

Анализизм в изображении, раскрытии новых противоречий обязательно предполагает определенность партийной позиции писателя, его смелость в отстаивании правого дела. «Лишь партийный подход помогает постигать ведущие тенденции современно-

сти», — сказано в материалах июньского Пленума ЦК КПСС.

Если писатель ограничится в своем произведении только фиксацией отрицательных фактов (как это сделал, к примеру, В. Крупин в «Сороковом дне») и не будет видеть частный факт в широкой общественной перспективе, не раскроет истоков отрицательного, то он невольно впадет в односторонность. А всякая односторонность, как сухой, иссушает душу искусства.

Крупные советские художники смело показывали острейшие противоречия времени, борьбу нового со старым, создавали характеры людей активного социального действия. Вспомним «Фронт» А. Корнейчука, «Битву в пути» Г. Николаевой, фильмы «Поэма о море» А. Довженко, «Председатель» (сценарий Ю. Нагибина, режиссер А. Салтыков). Какая галерея характеров перед нами! Как отчетливо бьется в этих произведениях пульс жизни! Как ощутима поступь нового!

Традиции эти, ставшие классическими (о советской классике пора уже говорить в полный голос), развиваются и сегодня. Плодотворно развиваются они, например, в грузинском фильме «Твой сын, земля», в романе Г. Маркова «Грядущему веку», в новом фильме режиссера В. Кольцова «Надежда и опора», в романе безвременно ушедшего от нас Ф. Абрамова «Дом», завершающем тетралогии о семье Пряслиных. В том же ряду «Царь-рыба» В. Астафьева, «Час судьбы» В. Бубниса и др. Глубокий реалистический анализ подлинных, а не мнимых противоречий времени сочетается в этих произведениях с пафосом созидания, с показом деятельных героев, с раскрытием красоты социалистического образа жизни.

Фильм «Надежда и опора» (сценарий Бу- димира Метальникова и Юрия Черниченко) имеет принципиальное значение на современном этапе. Здесь поставлены проблемы, волнующие сегодня всю страну. Фильм остропублицистичен. Его жизнеутверждающий пафос особенно ярко выражен в образе председателя колхоза Курков, созданном артистом товстоноговской театральной школы Юрием Демичем. Курков, несомненно, напомнит зрителю Егора Трубникова (фильм «Председатель») в исполнении Михаила Ульянова. В новом фильме со всей наглядностью показано, как изменилась колхозная жизнь с послевоенной поры, какие новые грандиозные задачи встают перед сельским хозяйством, какие сложности возникают при их решении. Сложности и противоречия, о которых нам рассказано язы-

ком кино, принадлежат к разряду субъективных, то есть прежде всего зависят от людей. Объективно колхозный строй, сами основы социалистического образа жизни открывают перспективу для реализации всех намеченных нами планов.

У нас еще мало произведений, показывающих новое в сельской жизни. И это несмотря на то, что набралась обширная библиотека повестей и романов о том, как прекрасна традиция любви к земле, к родной природе, к родным местам, какие мудрые люди живут в деревне. Но... в некоторых из этих произведений (чего греха таить!) проявилась идеализация патриархальных отношений. Подчас за общими рассуждениями о совестливости терялись социальные проблемы современной деревни. Жизненная диалектика, взаимосвязь нравственного и социального нарушались. Как указывалось на июньском Пленуме ЦК КПСС, «в некоторых произведениях допускаются отступления от исторической правды, например, в оценке коллективизации». В одном из таких произведений развивалась фальшивая идея о превосходстве... общины над колхозом, ибо в общине, доказывал автор, люди были совестливей, работали от зари до зари, помогали друг другу, не пьянствовали, и вообще деревня не была испорчена цивилизацией. Автор забыл историю, забыл, что писали о деревне Глеб Успенский, Семен Подъячев, Иван Бунин, забыл, что беднякам в общине житья не было от кулаков-мироедов, «живоглотов».

Фильм «Надежда и опора» вместе с романами А. Ананьева «Годы без войны», И. Шамякина «Возьму твою боль», А. Якубова «Совесть», Ю. Мушкетика «Позиция» (несмотря на все различие стилистических особенностей этих произведений) противопоставляет неверным тенденциям, проявившимся в некоторых произведениях о деревне. Авторы названных произведений ратуют за преобразование деревни на индустриальной основе, за новое в стиле, методах работы, во взаимоотношениях людей, поэтически рисуют истинных преобразователей, строителей, тружеников села, а не созерцателей и страдальцев. Гуманизм этих произведений по-настоящему боевой, действенный.

Герой фильма «Надежда и опора» председатель Курков — поистине человек новой, социалистической нравственности. Ради успеха порученного дела он не жалеет сил и в итоге превращает отстающий колхоз в передовой. В фильме правдиво показана сельская новь, убедительно вскрыты реальные противоречия, с которыми прихо-

дится иметь дело Куркову, а с ним и крепкому, сплоченному единством цели коллективу колхоза. Некоторые сцены исполнены истинного драматизма. И острые столкновения происходят не только вначале, когда Курков только приступал к созданию животноводческого комплекса, но и в ту пору, когда, казалось, дело пошло на лад.

Колхоз набирает темпы. Комплекс построен. Выращен на десяти тысячах гектаров хороший урожай. Есть чем откармливать скот. Но Курков снова сталкивается с трудностями. Возникает конфликт с секретарем райкома Фоминым, который ранее во всем его поддерживал. Теперь же Фомину нужно перевыполнить план хлебозаготовок по району, и он предлагает Куркову «выручить» район, сдать зерно, выращенное для обеспечения животноводческого комплекса, а затем... затем это же зерно, но в виде фуража будет возвращено в колхоз. Но обойдется это в пять раз дороже. Происходит острейшее столкновение Куркова с Фоминым. И все симпатии зрителя на стороне Куркова. Фильм, в основе которого острейший социальный конфликт, пронизан жизнеутверждающим пафосом, славит героя активного, для которого превыше всего чистота социалистических принципов, интересы нашего дела.

В фильме остро ставится вопрос о необходимости беречь государственное добро (сцена с перевозкой свеклы), оплачивать труд по конечным результатам, а не по количеству рейсов, сделанных шоферами. Постановка острых вопросов в фильме глубоко мотивирована. Мы, зрители, глубоко сочувствуем инициативе председателей колхозов, предлагающих создать особый центр, который действовал бы регулярно и, используя резервы всех колхозов, в нужный момент помогал тем, кто оказался в затруднении. Предложение это вытекает из логики обстоятельств, положенных в основу сценария.

Чем же привлекателен образ Куркова? На этот вопрос артист Юрий Демич ответил в «Кинопанораме»: «Курковым движет любовь к делу, а значит — и любовь к людям, которые хорошо трудятся. Ведь дело и люди — неразделимое целое. Дело и сплачивает вокруг Куркова людей. Он яростен, этот Курков, непримирим к разгильдяйству и вообще не понимает, как это можно жить без дела. Но (и в этом его обаяние!) он внимателен к хорошим людям. Его гуманизм действенный. И люди идут за ним, тянутся к нему, переезжают в его агрогород — с ним интересно работать...»

III

Поэтизация труда и творческого вдохновения создателя — одна из ведущих примет искусства социалистического реализма. Эта особенность нашего метода со всей определенностью обнаруживает себя и на современном этапе. По-новому в произведениях проявляется диалектическая взаимосвязь нравственного и социального начал в поведении персонажей. Активно действующий герой, преображая мир, преображает и себя, растет как личность. В пределах одной статьи нет возможности полностью раскрыть затронутую проблему. Я остановлюсь здесь лишь на одном ее аспекте — на взаимосвязи рационального и эмоционального в облике героя.

Как-то в беседе со мной, когда речь шла о положительном герое, Д. Гранин высказался в том смысле, что герой непременно должен быть привлекательным — и в гамме своих сложных переживаний, и в поисках истины, и в смелом дерзании отстаивать эту истину в столкновении с кем угодно, даже с единомышленниками, если они ее не понимают.

Где, спросим мы, истоки эмоционального воздействия на зрителя киноленты «Твой сын, Земля»? Привлекателен Георгий Торели, центральное лицо фильма. Он глубоко интеллигентен, умен. Обаятельна его улыбка, манера говорить. Он внимателен к людям. Он с изумительной нежностью, свойственной грузинам, относится к матери. Мы чувствуем, видим, как богат духовный мир этого человека, ставшего секретарем райкома по внутреннему призванию.

Есть в этом человеке индивидуальный стержень, говоря словами Горького, та стальная пружина, которая не позволяет ему отклоняться от принципиальной позиции при столкновении с трудностями. Драматичны сцены стихийного бедствия, когда сильный мороз сковал плотину и город мог остаться без электроэнергии. В этой критической ситуации Торели повел себя как талантливый организатор, возглавив работы по спасению электростанции. Другой эпизод. Торели мог бы дать волю гневу, узнав, что врачи районной больницы берут взятки, по знакомству устраивают мнимых больных в отдельную палату. Но он сдерживает себя. С порочной практикой секретарь райкома намерен бороться без шумовых эффектов. А как же трудно было сдержаться Торели, когда заведующий стройтрестом, отъявленный мошенник, предложил ему... взятку. Презрение Торели — первый, но тяжелый удар по

мошеннику. И тот чувствует, что ему пощады не будет.

Борьба идет жестокая. И по ходу борьбы немало нравственных терзаний выпадет на долю Торели. Мать его спрашивает: «Ты не отступишь, сынок?» «Нет, мама, никогда», — отвечает Торели, хотя и непросто ему даются победы. Но как расцветает герой фильма, каким внутренним светом лучится его лицо, когда он убеждается, что народ поверил ему, понял правильность решения райкома о восстановлении некогда плодородной земли долины Вайо! Каким эпическим размахом дышит картина народного шествия к родным местам, праздник первой борозды! Снова оживает долина Вайо.

Глубоко индивидуализированы черты Торели — сила воли, ум, принципиальность, энергия в преодолении трудностей. Они получают в фильме широкую эпическую трактовку. Характер возводится в степень художественного типа, становится одним из воплощений образа коммуниста наших дней. Торели — тип современного партийного работника, истинного ленинца, для которого интересы народа, родины, интересы строительства коммунизма всегда на первом месте. Можно смело утверждать, что эмоциональное и интеллектуальное начала в этом образе предстают в гармоническом соединении. В чем, конечно, исключительно велика заслуга исполнителя роли Торели — Темура Чхеидзе.

О позитивных сдвигах в стиле, методах партийной работы на местах ярко и убедительно рассказано в романе Г. Маркова «Грядущему веку», где на переднем плане образы секретарей обкомов партии Полосухина и Соболева. Синегорская область и при Полосухине была на хорошем счету. Дела в области шли не хуже, чем в соседних. Но Полосухин (как и Подрезов в романах Ф. Абрамова) был прежде всего исполнителем, мастером решения задач ближнего прицела. Его не очень тянуло заглядывать в будущее: текучка, что называется, задела. Даже как-то упустил Полосухин, что время-то уже иное, когда надо уметь сочетать решение конкретных дел с перспективой, всегда помнить о завтрашнем дне.

Напомню, что Подрезов из романов Ф. Абрамова действовал в сложных условиях 50-х годов. И отнюдь не по капризу и не в силу дурного характера тяготел к волевым методам. Он обязан был невозможное сделать возможным. Людей Подрезов не жалел, но и сам горел на работе и... стгорел, всего себя отдав делу и не заметив, как отстал от времени.

Полосухин живет и действует в иных исторических условиях. Но инерция нетворческого, узкоисполнительского подхода к партийной работе все еще сказывается в поведении Полосухина. Он знает обстановку в области, знает, каким районам и в чем именно надо оказать помощь. Обещает ее. Но, занятый текучкой, не находит времени выполнить обещанное, взвесить предложения инициативных работников. Понять и простить Полосухина нам труднее, чем Подрезова: неудачи первого в значительной мере вытекают из его личных свойств, которые как раз и помешали ему строить хозяйственную, социальную и культурную работу на строгой научной основе, как того требует время.

В основе романа Г. Маркова «Грядущему веку» остроактуальный конфликт. Писатель обстоятельно показывает положение дел, с которым столкнулся Соболев, приехав в Синегорье. Он знает, как велики экономические ресурсы богатейшего края, видит и несоответствие полосухинских методов работы запросам дня. Образ Соболева следует признать авторской удачей прежде всего потому, что он стал наглядным и концентрированным воплощением нового стиля работы партийных руководителей, осуществляющих строго научный подход к решению всех вопросов, касающихся развития богатого края. И в то же время этот подход гармонически сочетается с гуманным отношением руководителя к людям.

В лице Соболева перед нами духовно богатая личность, одаренный и образованный человек, вооруженный и знаниями (он экономист по образованию) и опытом (был секретарем крупного райкома, работал после окончания Академии общественных наук во Внешторге). Опираясь на знания и опыт, он мыслит масштабно, умеет при решении конкретной деловой задачи (сохранение столетнего Зеленого бора, развитие овощеводства и животноводства) не терять перспективу, искать оптимальные пути реализации богатых возможностей края. А как он ценит людей! Как внимателен и к народному мудрецу Пташкину, и к председателю колхоза Сорокину, и к задиристу писателю Угрюмову-Вьюжному, и к выдающемуся геологу Софронникову! Соболев знает, как важно вовремя поддержать творчески активных людей, как успешно с ними можно решать все задачи, которые возникают на современном этапе. Решать по-коммунистически. Да, по-коммунистически! Это слово несет огромный исторический смысл. В нем наша перспектива и смысл всей нашей деятельности.

Образы Торели и Соболева открывают нашему взгляду эту реальнейшую перспективу. Герои эти привлекают нас и человеческим своим обаянием, и замечательными качествами профессиональных партийных работников. Каждый из них народен по своим истокам и духовной сущности. В делах и облике каждого отражена новая стадия нашего общественного развития, показаны крепнущее единство партии и народа, рост сплоченности людей, занятых единым делом и объединенных общими помыслами. Как и создателям фильма «Твой сын, земля», Г. Маркову удалось в образе партийного работника Соболева передать обаяние коммуниста наших дней. Вот почему и фильм «Твой сын, земля» и роман Г. Маркова «Грядущему веку» оказались по своей идейной устремленности созвучными решениям XXVI съезда партии, созвучными нашему времени.

IV

Углубившийся ныне психологизм нашего искусства позволяет советским писателям и художникам глубоко проникать во внутренний мир современника, раскрывая живые противоречия действительности опосредованно, через общий строй чувств, подробности переживаний героев. Следует помнить, что опосредованное раскрытие противоречий жизни, борьбы нового со старым требует от писателя владения особенно тонким художественным инструментарием.

Навыки живописания открытых схваток между персонажами здесь могут и не работать. Диалектика сегодняшних сложностей и противоречий, проходящих через душу героя, часто персонажа положительно, требует новых средств типизации. Атмосфера сегодняшней социалистической нравственности должна угадываться в самой тональности произведения. В душевных свойствах героев, их чувствах, мыслях, поступках, как в призме, должно преломляться то особенное, важное, что нарождается или народилось в социалистическом образе жизни, отражает бурный процесс формирования новой личности. Перестройка личности, формирование коммунистической нравственности — сложнейший процесс. Наиболее зрелые из наших писателей это отлично понимают и стремятся отразить в своих произведениях.

Образ Лосева в «Картине» Д. Гранина сложен. Писатель проводит героя через несколько стадий духовного возмужания. Лосев впитывает в себя историю (здесь осо-

бенно важна сюжетная линия взаимоотношений Лосева с комиссаром гражданской войны Поливановым), постигает законы прекрасного (вспомним историю художника Астахова и судьбу его картины «У реки»), оказывается в центре сложных социальных противоречий (конфликт с Уваровым). Писатель показывает, как, проходя одно за другим нравственные испытания, Лосев растет духовно, поднимается на новую ступень гражданского опыта. Образ Лосева дан в развитии. Мы видим, как шаг за шагом герой преодолевает внутренние противоречия. Углубленный психологизм позволяет писателю выявить коренное различие характеров Лосева и Уварова, в каждом из которых по-своему преломились черты и тенденции времени.

В облике Уварова доминируют черты технократа, рационалиста, для которого дело, ближайший практический эффект всегда на первом месте и требуют подавления «неэффективных» чувств. Нельзя Уварова относить к числу безусловно отрицательных типов, как в запальчивости делают некоторые критики. В Уварове есть что-то от Чешкова из пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны» и от Ремеза из романа И. Герасимова «Предел возможного». Писатель воплотил в Уварове характерное явление. Уваров, несомненно, более одаренная натура, чем Чешков. Он и мыслит масштабнее, и нацелен на решение более крупных задач. Интересно сопоставить Уварова и с Ремезом. Это крупные организаторы и крупные специалисты. Напомним, что в период войны Ремез, подчиняясь исторической необходимости, действовал круто, теми методами, которые позволяли добиться, казалось бы, невозможного (в короткие сроки на пустом месте построить и пустить в ход танковый завод). Нетрудно себе представить, что Уваров во время войны действовал бы так же энергично и властно, как Ремез.

Но Ремез в отличие от Уварова (если продолжить сопоставление) дан в развитии. В заключительной части романа Ремез, будучи директором крупного металлургического завода, пройдя большую жизненную школу, руководит работами по вводу в действие прокатного стана, опираясь на талантливых работников и поддерживая их инициативу. Правда, в этой части романа писателю, на мой взгляд, не удалось показать, как по-новому, масштабно проявляется сила характера Ремеза. Образ Ремеза в первой части романа И. Герасимова выписан рельефнее. Он с большей силой концентрирует в себе характерные особенно-

сти времени. Уваров в романе Д. Гранина «Картина» хотя и не дан в развитии, но нарисован ярко, выпукло. В нем легко узнают себя иные руководители его же ранга, тяготеющие к технократическим методам работы. Ремез в романе И. Герасимова не имеет сильных противников и антиподов. А весь сюжетный строй романа Д. Гранина «Картина» подчинен динамике конфликта Лосев — Уваров. И в основе этого столкновения — различный подход к тому, как лучше делать общее дело. В плане идеологическом Лосев и Уваров — единомышленники. Уваров ценит Лосева и намерен сделать его своим заместителем. А вот в представлениях о том, как соединить пользу с чистотой принципа, они стоят на разных позициях, оказываются антиподами. За действиями, всей жизненной программой этих персонажей — два стиля работы, два различных типа социального поведения. Все симпатии писателя на стороне Лосева, хотя он отдает должное и Уварову, не умаляя его достоинств как энергичного руководителя. Но в наши дни, убеждает нас Д. Гранин, одних лишь энергии, деловитости для руководителя мало.

Как раз в образе Лосева писатель особенно ярко показал процесс вызревания коммунистического характера, показал соединение черт делового человека и человека высокопорядочного. Лосеву, как мы помним, приходится проявить всю силу своего характера, всю убежденность, чтобы принять вопреки Уварову единственно верное решение в конфликтной ситуации, связанной с предполагаемой застройкой Жмуркиной заводи. Он сознательно идет «на грозу». Здесь-то со всей убедительностью и обнаружилась лучшие черты Лосева, в первую очередь его партийная принципиальность.

Полагаю, однако, что образ Лосева получился бы более цельным, если бы к концу романа, когда решительный шаг героя одобрен общественностью, — Лосев по воле писателя не принялся бы раскаиваться, упрекать Таню Тучкову за то, что та якобы толкнула его на этот поступок. Полагаю, такой зигзаг в развитии яркого характера не вытекает из его природы. Тем не менее в характере Лосева нам показано, в каких сложных социальных и нравственных коллизиях происходит рождение новой личности, за которой — будущее. Неким подобием авторского резюме звучат в конце романа слова о Лосеве, произнесенные одним из персонажей: «Самостоятельный был начальник... Человек из легенды... Исчез из поля зрения. Но я полагаю, что он вернет-

ся... Ситуация жизни потребует такой личности!».

V

Социализм не только создает условия для творческого роста личности, но и предъявляет к ней немалые требования. Пришла пора со всей остротой поставить вопрос о самовоспитании человека эпохи развитого социализма. Это логически вытекает из материалов июньского Пленума ЦК КПСС и речи Ю. В. Андропова на нем. У нас в последние годы много писалось об ответственности коллектива перед личностью. Писалось верно. Но хочется вопрос поставить несколько иначе. А сама личность разве не ответственна перед коллективом? Перед историей? Перед собой, наконец? Личность должна воспитывать себя, как воспитывали себя, например, Павел Власов, Павел Корчагин. Чем выше сознание отдельной личности, тем выше уровень коллективного сознания, тем сплоченнее коллектив, тем более подготовлен он для решения больших задач.

В ряде произведений наших писателей удачно показано, как важна в условиях зрелого социализма проблема самовоспитания личности, ее ответственности и перед коллективом и перед собой при том, разумеется, условии, что и коллектив сознает свою ответственность перед личностью.

Эту диалектику уловил и талантливо показал А. Крон в романе «Бессонница», который вызвал много споров, но оказался, по моему убеждению, недооцененным критикой (в том числе и автором этих строк). А роман А. Крона «Бессонница» во многом новаторский и в его основе — общественно важная мысль. Логика сложнейших отношений между Юдиным, от имени которого ведется повествование, и остальными персонажами заставляет нас задуматься над вопросом: в чем высшее призвание личности и ее ценность для общества? Перед читателем проходят картины прошлого героев, когда они были студентами и лишь примеривались к научному поприщу, пора их гражданской и профессиональной зрелости, когда они после войны, достигнув определенных высот, стали участвовать в разработке крупных проблем. А. Крон остро ставит вопрос о гармоническом единстве профессиональных задач, которые ставят перед собой ученые, их нравственного максимализма и высоких общественных идеалов. Причем нравственные, социальные аспекты деятельности этих героев закономерно выдвигаются на первый план. В один из

критических моментов своей биографии ученого Юдин осознает (и здесь центр его исповеди — записей во время бессонницы), что он не так жил, не так использовал свой талант, как следовало. Суд собственной совести, которому он подвергает себя, в высшей степени плодотворен и ведется с той нелюбезностью, которой требует от каждого из нас время. А разве судьба академика Успенского не показывает нам всю пагубность компромисса, итогом которого становится творческое бесплодие?..

Некоторые критики при анализе романа А. Крона настаивали на том, что писателем сделан упор на исторической детерминированности трагедии Успенского и неконформизма Юдина. Такая точка зрения не учитывает всей сложности художественной концепции романа. Конечно, трагедия Успенского, его судьба и судьба Юдина отмечены печатью суровой исторической полосы, когда рост биологической науки был искусственно замедлен. Но в романе, по моему убеждению, акцент сделан не на исторической детерминированности трагедии Успенского, а на нравственной ответственности ученых за свои поступки. Успенский мог смело отстаивать истину, защищать Илью Славина, обвиненного бездарным Вдовиным в неомальтузианстве. Он мог и должен был поступиться соображениями карьеры во имя справедливости. Но не сделал этого. А Юдин? Он тоже не рискнул выступить в защиту Славина, остался в стороне от борьбы. А. Крон заостряет вопрос о чувстве нравственной ответственности ученого за свой талант. Исповедь Юдина, составившая напряженную психологическую линию в повествовании А. Крона, убеждает нас в том, что герой стремится жить и поступать в согласии с высокими принципами морали. Потому-то он так остро переживает, внутренне осознает свою вину перед Ильей Славиним.

Нравственные коллизии «Бессонницы» очень жизненны. Читая о колебаниях Юдина, мы вспоминаем, например, Олега Тулина из романа Д. Гранина «Иду на грозу». Или Левона Хидашели из романа Г. Панджикидзе «Седьмое небо» — инженера, который свои незаурядные способности талантливого металлурга подчинил эгоистической задаче. Как показывает Г. Панджикидзе, эгоистические устремления сильной личности ведут ее к нравственному распаду и, конечно же, в корне противоречат принципам коммунистической этики.

О стремлении А. Крона показать в полный рост положительного героя истории свидетельствует последнее произведение

безвременно ушедшего от нас талантливого писателя «Капитан дальнего плавания». Если выделить в творчестве А. Крона доминирующую идею, то станет ясно, что писателя всегда занимала личность цельная, наделенная повышенным чувством общественного долга. Она была выражением его эстетического идеала. Именно такой цельной личностью в повести А. Крона показан командир-подводник Александр Маринеско, совершивший со своим экипажем беспрецедентный подвиг во время Великой Отечественной войны: 30 января 1945 года подводная лодка «С-13» потопила в районе Штольпмюнде гигантский лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого находилось свыше 7 тысяч солдат, офицеров, высокопоставленных нацистов. В том же походе Маринеско торпедировал большой военный транспорт «Генерал Штойбен». За один боевой поход Маринеско по существу отправил на дно целую немецкую дивизию.

«Капитан дальнего плавания» — документальная повесть. В ней А. Крон выступает и как историк, и как художник, и как философ. Рисуя яркий образ Маринеско, рассказывая о перипетиях его судьбы (писатель знал героя лично, когда в блокадном Ленинграде был инструктором политотдела бригады и редактором «Дозора» — краснофлотской многотиражки), А. Крон исследует природу подвига, утверждает тип положительного героя нашей эпохи. Необычное и обычное, повседневное и героическое образуют в личности Маринеско единый сплав. Нельзя без волнения читать главу из повести А. Крона «Капитан дальнего плавания» «Атака века», в которой подробно рассказывается, как был потоплен «Вильгельм Густлов», сколько хладнокровия, силы воли, точного расчета, интуиции, готовности пожертвовать жизнью ради выполнения задачи потребовалось от Маринеско и его экипажа. Эта глава написана кровью сердца. Мы воочию видим, что такое подвиг — момент наивысшего напряжения всех духовных сил. Были взвешены все за и против. Было проявлено и командиром и экипажем особое вдохновение. А. Крон называет его холодным, понимая всю неточность слова. Он подчеркивает: «...холод — только оболочка, но оболочка необходима. Упоение боем, азарт преследования, радость, которую приносит власть над событиями, — и наряду точнейший расчет, неослабевающее внимание к быстро меняющейся обстановке, требующей трезвой оценки и мгновенных решений. Так в плазменном генераторе бушует разогретая до немислимых температур материя, но ее

стискивают в тугой жгут и направляют мощные магнитные поля, они не позволяют раскалиться корпусу генератора».

Этой цели, подвигу, как показано в повести А. Крона, подчинена вся жизнь Маринеско и его экипажа. Героический характер особенно полно обнаруживает себя в кульминационные моменты жизни. В обычных условиях могут обнаружиться и слабости, теневые свойства героя. Для художника важна вся сложность человеческого характера. Но акцент он делает в своей повести на определяющих, сильных чертах, характеризующих личность крупную, выдающуюся. Таким и был Маринеско.

С этим идеалом личности, воплощающей в себе героическое начало, А. Крон жил и творил со времени Великой Отечественной войны. Он сам заявляет: «Я увидел в Александре Маринеско один из тех характеров, которые привлекали меня всегда. И в жизни и в искусстве» (разрядка моя.— В. Н.). И завершается повесть «Капитан дальнего плавания» поэтическим признанием автора, которое я назвал бы его этическим кредо: «Имя Маринеско еще долго будет открывать чудесным ключом все двери и сердца». Воистину так! — скажем мы. С этих позиций, с этим внутренним убеждением он и писал роман «Бессонница», где поставлены важнейшие нравственные проблемы наших дней. Уже в «Бессоннице» А. Крон утверждал тот тип гражданского поведения, неукоснительного следования нравственному идеалу, который он позднее воплотил в образе подводника Маринеско.

VI

Мы видим, что с неуклонно расширяющимся охватом жизненных процессов в современной советской многонациональной литературе происходит обогащение принципов социалистического реализма.

Мы, критики, еще далеко не полностью раскрыли завоевания социалистического реализма в советских многонациональных литературах последнего периода. А ведь 60—70-е годы — это целая эпоха в развитии нашей литературы. И она должна быть увидана, осмыслена с сегодняшних высот.

Мы только после смерти В. Шукшина во весь голос заговорили о том, какой это был большой художник, какие новые пласты в жизни он открыл и какие значительные произведения создал. А разве В. Шукшин — одна-единственная яркая и неповторимая индивидуальность в нашем богатейшем искусстве? В том-то и сила социали-

стического искусства, что на каждом этапе в нем появляется созвездие талантов.

Обратившись, например, к творчеству В. Быкова, мы обнаружим, что он обновил жанр советской повести, наполнил ее такой высокой героикой, таким глубоким психологизмом, что его произведения стали заметным явлением не только в советской, но и в мировой литературе. А творчество Р. Гамзатова, разве оно не свидетельствует, каких высот достигает и советская поэзия и советская проза? Лирические, эпические и драматические формы обобщения в «Моем Дагестане», сливаясь, дают в итоге многокрасочную картину действительности. С высоты родного аула Цада Р. Гамзатов обозрел не только прошлое, не только настоящее своей страны, своего края. Он увидел и будущее мира. И его «Мой Дагестан» — убедительное, проникновенное слово в защиту мира на земле, гимн дружбе народов. Такой размах мысли, исторически predeterminedный развитием зрелого социализма, характерен для творчества многих советских писателей.

Значительные художественные открытия сделаны Э. Межелайтисом. Синие озера, зеленые луга и леса Литвы рождают многоцветие метафор и тропов в его поэзии. Пейзажные картины сочетаются у Э. Межелайтиса с урбанистическими мотивами (здесь напрашивается параллель с А. Вознесенским, талант которого я высоко ценю). Причем в урбанизме Э. Межелайтиса нет отрыва от родной почвы. Поэт никогда не забывает о главном — о Человеке, который, «подняв шар земной», реален в своих грандиозных делах, прокладывает человечеству путь к коммунизму. Поэт воспевает и поэтизирует образ матери, колхозника, выращивающего пшеницу, и рабочего, плавящего сталь, создающего новые отношения, и ученого, умеющего энергию атома подчинить мирным целям. Слово Э. Межелайтиса аккумулирует в себе созидательную энергию социализма.

Мы мало говорим о творческих открытиях М. Карима. Глубокий лирик, с мудрым философским взглядом на жизнь, М. Карим остро чувствует драматизм эпохи. Вместе с лирической прозой «Долгое-долгое детство» он пишет философские драмы («Не бросай огонь, Прометей!»), исторические трагедии («Салават») и в этих новаторских произведениях стремится осмыслить героическую сущность национальных и интернациональных традиций, показать, как велик в своих душевных стремлениях труженик, борец и создатель, несущий людям

добро. Образы его положительных героев всегда овеяны проникновенным лиризмом.

А какие новые пласты народной жизни поднимал недавно ушедший от нас М. Стельмах! В его романах «Дума про тебя» и «Четыре брода» суровый реализм и романтика, лиризм и эпичность соединяются в нерасторжимый художественный сплав. Положительные герои его романов предстают почти легендарными в своих героических делах и подвигах. Но это легендарность, свойственная масштабным обобщениям, возвышающим Человека. Его герои, подобно героям Довженко, крепко стоят на земле, а в своих душевных порывах устремлены ввысь. Их легендарность реалистична и поэтична.

Потомки получают достоверное представление о нашей эпохе, обратившись к таким произведениям, как «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, тетралогия Ф. Абрамова, «Полесская хроника» И. Мележа, «Грядущему веку» Г. Маркова, «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Дата Туташкиа» Ч. Амирэджиби, «Твоя заря» О. Гончара, «Тесна пустыня» А. Мухтара, «Победители» Ш. Рашидова, «Капли дождя» П. Куусберга и др. В этих произведениях утверждается величие человека — борца и создателя, утверждается наша великая правда.

Нет сомнения в том, что решения июньского Пленума ЦК КПСС, речь Ю. В. Андропова на нем — программная во всех отношениях — окажут значительное и плодотворное влияние на наше искусство. Основополагающие идеи июньского Пленума ЦК КПСС отвечают историческим потребностям времени. И нам, советским литераторам, необходим новый подход к решению творческих задач. У советской литературы богатейший опыт. Советским писателям есть на что опереться в решении новых задач. Вспомним те заветы, которые оставили нам великие писатели, в частности гениальный Максим Горький: «Героическое дело требует героического слова»... И еще: «Наш реальный, живой герой, человек, творящий социалистическую культуру, много выше, крупнее героев наших повестей и романов. В литературе его следует изображать еще более крупным и ярким, это — не только требование жизни, но и социалистического реализма, который должен мыслить гипотетически...» Так ставя вопрос, Горький выступал против бескрылого реализма, лишь фиксирующего факты вне их глубокого осмысления, требовал крылатого реализма. Этот крылатый реализм особенно необходим нашему искусству сейчас, когда так важна гражданская эффективность, действенность творческих открытий советских художников.

Л. АННИНСКИЙ



РЖАНОЙ ХЛЕБ ЛЕТОПИСЦА

Запах типографской краски
сохраняется в ржаных ломтях.

Яан Кросс.

Вопрос: — О героях ваших исторических произведений неоднократно судили как о людях нравственного компромисса — это правильный подход?

— Эта формула... слишком идеальна.

Сказано с улыбкой. Вежливую улыбку улавливаешь прежде, чем существо означившегося разногласия.

Отвечает эстонец Яан Кросс, автор «Имматрикуляции Михельсона», «Небесного камня», «Четырех монологов по поводу святого Георгия». Вопрос ему задает Юрий Болдырев, русский критик. Кроссу не хочется начисто отвергать предложенную формулу, он ищет дипломатичных выражений. Он говорит: «Ваш подход... не то чтобы разделялся мною, но я... имел его в виду, помнил и о такой интерпретации...» Несовпадение подходов, сквозящее в этом разговоре, взывает к размышлению: речь идет как-никак об одной из ключевых проблем современной нравственной ориентации человека.

Последнюю четверть века эта проблематика стоит в центре нашей литературы. Я имею в виду не косвенный план, где, вообще говоря, все со всем сопрягается, а прямую постановку вопроса. От романа Д. Гранина «Иду на грозу» (антитеза Тулин — Крылов) до «Предварительных итогов» Ю. Трифонова (идеалист, перемолотый бытом). Можно взглянуть и пошире, выйти за пределы русской прозы — тоже найдем много существенного. От Чабуа Амирэджиби («Дата Гуташиа», роман о непримиримом мстителе) до тех же эстонцев, до Эна Ветемаа (спектр примирения с неизбежным в цикле «маленьких романов»). Даже простой обзор этих мотивов дал бы любо-

пытную картину. Но я хочу не обзор сделать, я хочу взять пробу. Пробу драматичного «несовпадения подходов», мягко (но твердо) отмеченного Я. Кроссом. Я думаю, что эта стереоскопия дает нам замечательную возможность углубления в суть дела. Возможность некоторого, я бы сказал, отрезвления. Некоторой, так сказать, осмотрительности в суждениях.

Хотя я в высшей степени понимаю Ю. Болдырева, поставившего перед Я. Кроссом вопрос о бескомпромиссности с бескомпромиссной определенностью. Русский критик несет в сердце «русский подход» к теме. Почему в сердце? Потому что умом он понимает и кое-что другое, но об этом ниже. Русский критик должен ставить вопрос именно так. Потому что то место, которое заняли в наших русских душах романы эстонского прозаика, та роль, которую сыграл Яан Кросс в развитии русского читательского сознания последних лет, — все это у нас иначе и не называется как проблемой компромисса — бескомпромиссности. Это ж традиционной! Это ж незаживающая рана наша, пункт отчаяния наших моралистов, предмет наших нескончаемых каяний: вера в некий остаток, чистый, не размытый в жизненных торгах, хранимый в тайниках души, благодаря чему все остальное можно считать, так сказать, уступкой и отступлением от нравственного абсолюта, нарушением и грехом, допущением и временностью — компромиссом. Мы просто представить себе не можем, как прожить вне этого ощущения — не против, а именно вне. И что сам наш подход может оказаться для кого-то странным, внешним, не более чем рационально учтенным.

Однако учтем кое-что. И прежде всего то

обстоятельство, что для читателей эстонских и для читателей русских Кросс не одно и то же. Для эстонцев Кросс — традиционный повествователь. Эпический романист, поднимающий мощные пласты исторической реальности. Как эпический повествователь, по крупицам собирающий и выстраивающий обширный художественный мир, он противостоит в сознании критики жесткой и экономной строгости других эстонских прозаиков. Скажем, Куусбергу. Кросс для эстонцев — археолог и летописец, реконструирующий исторические эпохи и восстанавливающий в национальной памяти образы выдающихся сынов эстонского народа. Он прежде всего автор огромного, четырехтомного, близкого по типу к национальной эпопее романа «Три чумы»¹.

Для нас, русских, Кросс отнюдь не традиционный повествователь. Он вообще не повествователь, он жесткий и парадоксальный аналитик, моделирующий реальность в художественно уверенных конструкциях. В нашей критике он вовсе не противостоит ни Куусбергу, ни кому-либо еще из нынешних эстонских прозаиков. Напротив, он ярчайший выразитель общего стиля сегодняшней эстонской прозы с ее проблемной четкостью, напоминающей лабораторный опыт, с ее конструктивной открытостью, которую, употребляя термин, занесенный из архитектуры, иногда называют честностью материала. Материал здесь не средство что-то изобразить, материал сам по себе откровение. Художественные конструкции Кросса воспринимаются при этом не как частицы жизненного потока, а как модели жизненной логики. Кросс для нас прежде всего автор коротких повестей, блистательных, жестких, весьма далеких от повествовательной традиционности. Мы от Кросса и не ждем повествований. А то, что у него не сватывается жесткой и экономной моделировкой, все, что оседает традиционной описательностью, как раз и кажется досадной слабостью, вялостью, старомодным многословием. «Архивные данные о полузабытых деятелях прошлого», оживляющие в глазах эстонской критики эту описательную ткань, нам жизни не облегчают: иной раз читаешь и думаешь, что Кроссу просто нет дела до наших читательских трудностей.

Ну вот пример. В «Императорском безумце» действуют Ламинг, Латроб, Лерберг и Липхарт. Потом появляются парой Лиалиен-

¹ Я называю роман по оригиналу, потому что русский вариант названия — «Между тремя поветриями» — смущает меня какой-то воздушной, некроссовской расплывчатостью.

фельд и Лорингсхофен. Шекспир в таких случаях хоть с разных букв именовал своих героев. А тут попробуйте-ка читательски освоить эти номены! Будете путаться и ворчать на автора, который, виртуозно владея писательской техникой, не считает нужным хоть как-то поступиться архивной точностью и облегчить читателю жизнь.

Ниже я вернусь к этой архивной точности — в принципе это замечательная черта Кросса; но сейчас речь идет о внешней, так сказать, доступности его текстов: он о ней действительно мало заботится. В его огромном романе действие крутится спиралью, в концах глав оно раскаляется до расплавленности, так что, обжигаясь, глотаешь в нетерпении страницу за страницей, но по началам глав цепенеет в ледяной медлительности экспозиций, и их проходишь на одном упорстве. И так же, толчками, идет действие коротких повестей: от одного мыслительного всплеска до другого — через разветвленное, тяжеловесное, рационально-многосложное прописывание «всех условий опыта». Многоярусная и многоотсечная, полная логических отступлений и уточнений фраза Кросса (переводчица Ольга Самма немало потрудились, укладывая эти тяжелые петли в нетерпеливые ритмы русской речи²), — фраза эта не легкое чтение. Кросс забирает и мучает, но его невозможно «почитывать». Его вообще нельзя читать бегло, он требует работы. Мне кажется, что читателей у него (я все время говорю о русском восприятии) меньше, чем он того достоин. Тем более знаменательно, что, несмотря на тугоплавкость, Кросса читают. Значит, задел!

Историческая тематика здесь, я думаю, тоже мало помогает, хотя с выходом большого романа о ливонском хронисте мы прочно причисляем Кросса к разряду исторических писателей. А они сейчас, как известно, ходят в любимцах публики: стараниями Давыдова и Эйдельмана, Балашова и Гордина, Гумилева и Чивилихина читатель наш доведен до такой степени заинтересованности, что репутация исторического романиста, кажется, сама собой способна привлечь сегодня к автору внимание. Но с Кроссом и это мало что объясняет. Ибо он склонен к разысканию и описанию таких исторических фигур, которые почти ничего не говорят читателю.

В самом деле. В. Шукшин подступает к Разину, о котором каждый из нас чуть не с пеленок слышал; он поднимается к

² Не мне об этом судить, но критики, сопоставлявшие перевод с оригиналом, считают работу Ольги Саммы замечательной.

разинской теме на плечах других романистов; он пишет свой роман в параллель книгам историков на эту тему; все это у любого на полке — бери и сравнивай! Еще бы не гореть интересу при таком уровне читательских ожиданий. Или, скажем, К. Тарасов, реконструирующий Грюнвальдскую битву — скрещенье четырех или пяти национальных трасс. Или Ю. Трифонов с народовольцами... Все стараются работать на разогретых участках памяти, откликаясь общепризнанной читательской жаждой.

Но каким образом объяснить магнетизм текстов, рассказывающих о Ситтове или Петерсоне, когда автор в приложенных пояснениях вынужден объяснять читателю, кто они такие? Или о Янсоне, которого автор предварительно отделяет в сознании читателя от полудюжины других Янсонов, тоже достойных внимания и, однако, изрядно забытых? Из шеренги эстонских деятелей, оживленных Кроссом, один Крейцвальд сразу и ясно говорит что-то читателю-неэстонцу... Так именно о Крейцвальде Кросс и отказывается писать! Потому что тот слишком известен (фрагмент неосуществленной повести застывает рассказом о «двух утраченных записках»). Работая «на глазах у Клио», Кросс не любит ее популярных героев, он ловит полузабытые тени. Два-три факта, больше ему не надо, между фактами должна быть бездна, которую можно заполнить воображением. Предварительные ожидания читателей при этом забыть начисто. Много ли знаете вы о живописце Келере? Еще начнете уточнять, тот ли это, у кого вторая фамилия была Вильянди, но это-то Кросс как раз и игнорирует. И генерал Михельсон в нашей памяти в лучшем случае темной тенью влачится за Пугачевым, да к тому же и заслонен Суворовым. Из русских героев Кросса даже и ближайший к нам, Тимофей Егорович Бок, едва удостоен тридцать лет назад брошюрки, крошечным тиражом помянувшей этого современника декабристов, а за материалами о нем надо уже нырять в тихонравовские летописи.

Ну хорошо, а Руссов? Балтазар Руссов, во всех справочниках красующийся ливонский хронист, радость историков — и с т о ч н и к! Он-то погребен разве?

А вот пошел я за этим самым хронистом в Библиотеку имени Ленина, полный иллюзий, что вот-вот выйду «на материал Кросса». Иллюзии сразу и развеялись: даже и русский перевод хроники не просто оказалось раскопать, об авторе же ее не было вовсе ничего. На мою просьбу дать «хоть что-нибудь о Балтазаре Руссове» консуль-

танты (историки!) затруднились с ходу ответить и попросили зайти минут через пятнадцать. Через пятнадцать минут меня озабоченно попросили зайти еще через полчаса — видимо, поиски велись серьезные. Еще через полчаса меня встретили сияющими улыбками: нашли! — и что бы вы думали выложили передо мной?

«Три чумы» Кросса!

Тут-то я и успокоился. На предмет источников.

Но отнюдь не на предмет того, в какой степени их наличие в тексте дает нам право относить ту или иную книгу к жанру исторического романа.

Давайте разделим две вещи. Наличие исторических источников и наличие исторической концепции. При нынешней моде на документальность оснащение художественного текста «источниками» давно уже стало приемом, имеющим к историзму вполне внешнее, если не декоративное отношение. Б. Окуджава ставит «при входе» две толстовские цитаты, остальную же переписку насквозь имитирует; так кому же придет в голову читать «Похождения Шипова» как произведение исторического жанра! Разве что В. Бушину, который в каждом новом романе Окуджавы ищет историческую точность и, естественно, триумфально ее находит. С таким же успехом можно искать источники в обильно оснащенных имитированными документами произведениях Юлиана Семенова.

Однако вот разница: Юлиан Семенов все-таки внутренне нацелен не на лирическое самовыражение, а на воссоздание исторической ситуации. Получаются как бы параллельные ряды качеств: степень интереса (или неинтереса) к исторической ситуации и степень корректности (некорректности) в обращении с историческими фактами. Грубо говоря, «врет» автор или «не врет» и ради чего он «врет» или «не врет». Иной и «врет», но заставляет думать об исторической логике. А иной «врет» потому, что занят на историческом фоне совсем другими вещами.

Так вот: Кросс «не врет». Нигде. И тем не менее рискну утверждать, что озабочен он, по существу, не историей.

Недаром же по интонации, по тональности письма тексты Кросса производят впечатление полнейшей свободы относительно источников. Автор «Четырех монологов по поводу святого Георгия» вкладывает в уста художника Ситтова цитату из Макиавелли. Трактат Макиавелли напечатан через семь лет после того, как Ситтов волею Кросса его процитировал. «Однако автора «Моно-

логов» нельзя убедить в том,— пишет Кросс о себе,— что он не вправе доказывать, до какой степени мысли, обнародованные в трактате «Государь», были в ходу уже в 1506 году... Само собой разумеется, что при всех остальных событиях, разговорах и рассуждениях изложенной истории (это уже из предисловия к «Имматрикуляции Михельсона».— Л. А.) автор непосредственно присутствовал сам».

Смысл такой иронии разгадывается легко: она адресована читателю, который, «заведясь» от кроссовской свободы, захочет проверить автора. Оно понятно: тут интонационная свобода настолько властно вбирает факты в свой художественный ритм, что это граничит с мистификацией. Читатель лезет проверять, уверенный, что Кросс «врет». И убеждается, что Кросс скрупулезно, безукоризненно, профессорски точен в фактах. И не только при цитировании, скажем, пушкинского письма Толю, которое можно найти в любой библиотеке, но при всяком прикосновении даже к проблематичному свидетельству. Уникальный случай: мистификация наоборот!

Эта мнимая вольность ввела в характерный соблазн критика Ю. Смелкова. Увлеченный мощной фантазией «Имматрикуляции Михельсона», он решил, что эстонское происхождение генерала почерпнуто Кроссом из не слишком надежного источника (газета столетней давности, примечание к фельетону, с тех пор не подтвержденное,— не более чем повод для Кросса). И вот критик, размышляя о повести, выстроенной на столь эфемерном, хотя и имевшем место свидетельстве (да простит мне дальше Смелков некоторый стилистический нажим), и исходя из ощущения полной и романтически несвязанной воли писателя идти или не идти на «компромисс» с косным материалом, спросил Кросса: Ян Янович, а если бы не было того примечания к фельетону в «Ревальше цайтунг», вы бы, конечно, все равно написали бы «Имматрикуляцию Михельсона»? Кросс ответил: нет, я поискал бы другой факт.

Так разве эта скрупулезная, совершенно научная по своей природе точность Кросса не говорит о нем как об историке?

А поразительная точность в воссоздании аромата эпохи?

Вот кусочек из «Хроники Балтазара Русова» (чтобы выйти из-под обаяния Кросса, возьму отрывок, никак не тронутый им в романе): параграф 14, финал. «Оба христианские государя (поляк и швед,— Л. А.), принявшие Ливонию под защиту от москвитя, боролись теперь друг с другом, а мос-

ковит прошел себе невредимо мимо и исподтишка посмеивался над ними...»

Люди, читавшие «Три чумы», могут оценить изумительную психологическую точность, с какой воссоздал Кросс облик человека, написавшего в XVI веке пассаж в таком стиле. Методичная, твердая невозмутимая поступь официального хрониста — и вдруг эта дьявольская мгновенная усмешка из рыжей мужичьей бороды...

Все так. Кросс точен в реалиях, точен в атмосфере. А все же один коренной признак выводит его за пределы задач, которые ставит перед собой историческая проза. Кросс не старается выдать свой художественный мир за познанную историческую реальность!

Речь идет о внутреннем писательском задании. Окуджава тоже не старается, и именно потому, что у него совсем другое внутреннее задание. А Давыдов старается: он именно и постигает историческую реальность. Как и Пикуль, впрочем. То, что Давыдов при этом ее постигает (это мое мнение), а Пикуль остается во власти субъективных пристрастий (это тоже мое мнение), не мешает тому и другому быть историческими романистами. Тогда как Кросс и Окуджава таковыми не являются. Хотя Окуджава волен в деталях, а Кросс в деталях безукоризнен.

Жесткую грань между историческим романом и романом на историческом материале вообще провести трудно. Внутренняя задача произведения выявляется целостно, а не из подсчета признаков. Всегда найдутся произведения, которые окажутся в пограничной зоне³.

В этой пограничной зоне, пожалуй, и Кросс. Скрупулезность удерживает его на грани сугубого историзма. Но внутренняя тема его не здесь. Все дело в том, когда какой фактор сильнее.

В собственных высказываниях Кросса можно найти несколько классификаций исторической прозы, и это небезынтересно для ответа на обсуждаемый нами вопрос. Есть, говорит он, «профессорский» роман и есть роман приключенческий. Есть роман «пейзажный» и роман «персоналистский». Или такая триада: роман репродуцирующий (Вальтер Скотт), роман, мыслящий по аналогии (Фейхтвангер), и роман философствующий (подставим слова Томаса Манна). Где же сам Кросс? Я думаю, везде понемножку, если брать всю широту его художе-

³ Ян Кросс подробно рассуждает об этом в недавно опубликованной статье «Свобода вымысла и правда истории» («Литературная учеба», 1983, № 4).

ственного мира. Не удивлюсь, если студент-историк, занимающийся Ливонией, почтет себя обязанным изучить «Три чумы» именно в качестве «профессорского» романа. Или что из этого романа будут извлечены тонкие аналогии с современностью. Или извлечен будет исторический «пейзаж». Или захватывающее приключение с погоней (например, бегство Балтазара из-под Таллина после разгрома крестьянского бунта). Очень может быть, что книги Кросса сыграют свою роль в дальнейшем развитии литературы именно как произведения исторические...

Но в нашу сегодняшнюю прозу они входят не как исторические, а как современные, жгуче современные! Так они и воспринимаются, так и встречены.

Позволительно ли в этом случае опереться на свидетельство самого обсуждаемого автора? Так вот: Кросс вовсе не спешит признать себя историческим романистом. После появления эпопей о Балтазаре Руссове к нему стали все чаще адресоваться именно как к историческому писателю, и Ю. Болдырев сформулировал свои вопросы именно как историк, а не как литератор. Не цитируя всего взвешенного и развернутого «пролога» этой беседы (ее можно прочесть в «Вопросах литературы», № 8 за 1980 год), постараюсь передать вкратце несколько моментов, интересных мне прежде всего драматургически. Болдырев спрашивает мнение Кросса о взрыве читательского интереса к исторической проблематике в 70-е годы (имеется в виду, что Кросс один из тех, кто и создал ситуацию взрыва). А Кросс отвечает, что никакого взрыва не заметил: интерес был всегда. Болдырев спрашивает: но вы ведь действительно видите свою задачу в том, чтобы заполнить материалом «контурную карту» исторической памяти эстонцев? (Ожидается ответ: конечно!) А Кросс отвечает: нет, это дело попутное, просто мы неучи, а вообще-то задача моя другая. Болдырев спрашивает: почему в ваших повестях предпочтение отдано XIX веку? (Ожидается историческое рассуждение.) А Кросс отвечает, что это ничего не значит: прошедшее полтысячи лет назад и прошедшее только что для писателя в известном смысле одно и то же.

Интервью Болдырева тем более рельефно, что рядом с Кроссом на те же вопросы отвечают критики Юрий Давыдов, блистательный исторический романист, и Булат Окуджава, мало общего имеющий с исторической прозой. Два, так сказать, края. И что же? Давыдов вкапывается в вопро-

сы по существу, он сравнивает людей XIX века с людьми XVIII, ищет линии сходства и различия. Окуджава аристократично отшучивается. Вопрос Болдырева: как вы пришли к исторической прозе? Ответ Давыдова: я к ней не пришел, я из нее вышел (то есть это мое кровное дело). Ответ Окуджавы: я не избежал общей участи (то есть моего участия здесь, в сущности, и нет). Ответ Кросса: я к исторической прозе пришел с л у ч а й н о.

Вдумаемся. В этом и впрямь есть что-то от казуса. Кроссу заказывают... оперное либретто. Поэту, создавшему в 50-е годы философское направление в эстонской лирике (больше никому не удалось),— оперное либретто! Он пишет. Ему заказывают... киносценарий. Пишет. Кое-какой материал из XVI века в сценарий не влезает...

Так начинается жизнеописание Балтазара Руссова.

Цепочку повестей «из девятнадцатого века» Кросс создает параллельно шести книгам этого жизнеописания. Так что никакой «эволюции» (от повестей к роману или наоборот; от XVI века к XIX или наоборот и т. д.) из этих трудов не извлечешь. Сложившийся писатель и ученый, юношеские и ученические опыты которого остались где-то во тьме ранней биографии, с л у ч а й н о ступив на стезю исторической прозы, сразу начинает строить (и выстраивает!) разветвленный и целостный художественный мир.

Не говорит ли это о том, что потенциально художественный мир Кросса вызрел и вырос безотносительно к историческому материалу и, так сказать, до прикосновения к нему? Он излился в исторические сюжеты, как до того излился в философские стихи. Но зародился он из внутренней необходимости.

Так, может быть, надо понять эту необходимость? Понять духовный мир Яна Кросса исходя не из материала, а из принципа его структурной самоорганизации?

Русская критика это по первым же повестям почувствовала. Она сразу подошла к прозе Кросса не как к историческим описаниям, а как к притчам и парафразисам. Она их приложила к нравственной борьбе. И назвала она, русская критика, эту цепочку повестей от «Четырех монологов» до «Императорского безумца» драмой бескомпромиссности и компромисса.

С каковой интерпретацией я и намерен спорить.

Одна оговорка по поводу употребляемого мной весьма ответственного понятия «русская критика». Попробую его сузить. О Кроссе писали Александр Лебедев и Андрей Турков, Анатолий Бочаров и Валентин Оскоцкий; о Юлии Смелкове я уже говорил⁴. Никак не посягая на индивидуальность столь несхожих критиков, я объединяю их в данном случае только потому, что материал сам подсказывает это: критики с удивительным единством подошли к Кроссу. Они все сошлись в том, что повесть Кросса есть не что иное как исследование разных вариантов отступничества от принципов и убеждений во имя ближайшей выгоды. От «маленького, совсем маленького компромисса», на который «легко, с веселым лукавством» пошел художник Ситтов, до тяжкого греха издателя Янсона, по поводу гешефтов которого критики не сговариваясь напомнили читателям убийственную цитату из Щедрина: «применительно к подлости».

Ну и начнем с веселого художника, история которого рассказана Кроссом в «Четырех монологах по поводу святого Георгия». Из всех повестей Кросса эта, вообще говоря, наименее удачна: нацупывая систему письма (расщепление на монологи — пересечение жизненных проекций — «честность материала»), Кросс, кажется, еще не вполне этой системой владеет. Из четырех монологов прочно увязаны три (художник — противостоящий ему гильдейский старшина — влюбленная в художника дочь одного из местных ремесленников); монолог ситтовского отчима, ведущего со своим пасынком имущественную тяжбу, из игры несколько выпадает, а игра тут такая: гильдия требует, чтобы Ситтов, свалившийся к ним из Италии, сдал полагающийся экзамен, изготовил приемлемое по местным стандартам изделие, и знаменитый художник великодушно соглашается такое изготовить. Вполне можно переосмыслить этот сюжет в категориях «Моцарта и Сальери» (пропасть между гением и посредственностью) — тогда мы действительно получим историю «маленького компромисса», на который весело идет легкокрылый гений, столкнувшийся с тяжелодумами ремесла. Но тогда получается, что интонация Кросса сбивается на каждом шагу. Сердитый отчим, вроде бы обязанный ненавидеть пасынка и вроде бы на него ополчающийся, вдруг посреди брани обнаруживает совершенно немотивированное восхищение его работами. То ли гений так

силен, то ли посредственность в поддавки играет. А может, ни то и ни другое? Может, тут и в самом заводе нет тяжбы гения и посредственности? Может, историю эту Кросс в другом смысле рассказывает?

Правда, он действительно «оступается» в проблематику «Моцарта и Сальери» (или, скажем, он «имеет в виду», помнит «и такую интерпретацию»). Во всяком случае, он отдает ей дань. Отсюда и идет ощущение нарочитости: кажется, что противники спешат поддаться друг другу. Но я думаю, что в основе тут совсем иной подход, и глубинная интонация повести становится понятной, если его принять. Дело в том, что медлительные, крепкие, сердитые таллинские гильдейцы не менее дороги Кроссу, чем легкий, тонкий, написанный латинской светлой гаммой Ситтов. Я допускаю, что они ему даже более дороги. Потому что обаяние ситтовского творчества он передает через несколько заемные краски, взятые, я думаю, с палитры французских импрессионистов; в красках же, какими выписаны фигуры таллинских мрачноватых стекольщиков, чувствуется глубокая самобытность. Их практичные стекла так же нужны в дождливом и пронизанном ветрами северном городе, как и витражи фантазера. И даже больше нужны. Но это все — если воспринять интонацию Кросса. Его умный, скептический взгляд. Взгляд, не сталкивающий горнее и дальнее, непостижимо высокое и отупело низкое, но принимающий реальный план вещей, когда каждый действует так, как ему приходится, и не может иначе.

Да, в «Четырех монологах...» Кросс еще сбивается — и на мнимый драматизм, и на сентиментальное умиление, — но уже в «Имматрикуляции Михельсона» сбоев нет, в этой холодной, ровной, графичной, снежно-сумеречной повести Кросс свой стиль находит!

Расщепление текста на монологи безукоризненно: уверенный екатерининский генерал, его простецкий денщик... Когда из соотношения двух этих уверенностей возникает катастрофическая неуверенность, включаются голоса двух деревенских стариков, и они тоже не знают ответа... По поверхности текста идет бравада Михельсона, шокирующего надушенных и надутых дворян своим мужицким происхождением, по глубине же идет ваше читательское сомнение: герой что-то словно бы прячет от самого себя. То ли это демократ в мундире, то ли чудакий барин. То ли отзывается в его бравате застарелый страх холопа, маль-

⁴ К позиции Ю. Волдырева я еще вернусь.

чика на побегушках, то ли еще что-то страшнее. И вы наконец понимаете, что это. Паркетные скандалы новоиспеченного дворянина, демонстративно приводящего на имматрикуляцию своих пахнувших навозом родителей,—это верхний слой драмы и это ничто перед той страшной болью, которую носит Михельсон на дне своей души: он, мужик, ненавидящий бар, по приказу императрицы загнал в ловушку Пугачева.

Этот факт роняет вас с паркетных поверхностей в такую глубину, что скандал имматрикуляции кажется почти недоразумением; вы пытаетесь связать эти уровни и понимаете, что связать невозможно. Более того, невозможно связать, скомпенсировать, погасить одно другим и есть главная боль автора. И это тема повести. Нет мостика — каждый обречен гнуть свое, каждый прав по-своему, дерзит Михельсон эзландским аристократам и, изловив Пугачева в Симбирске, долгим, молчаливым, честным взглядом глядит тому в глаза. Случись снова — и снова каждый пойдет по жребии и долгу: один — жечь усадьбы, другой — ловить злодея. Как соединить это? Чувствами — невозможно. Только холодным, упрямым, горьким умом — охватывая все, не дерзая понять до дна. «Тебе не развязать этого узла. И мне тоже. Никто его не развяжет».

Критики наши развязали узел следующим образом: Михельсон в день своей имматрикуляции заставляет местную знать пойти на компромисс, потому что отыгрывается на ней за тот компромисс, на который он сам пошел, укротив Пугачева. Или так: Михельсон берет с аристократии нравственный выкуп. Урок, таким образом, извлечен.

Маленькая заминка вышла у критики с другим рассказом — с «Историей двух утраченных записок», где молодой Крейцвальд отказывается от пастырской карьеры и едет в Петербург, чтобы стать медиком. Что это? Это «бескомпромиссное решение». (Хотелось спросить: а что делать с пробстом Мазингом, столь много послужившим родному народу в своем сане?) Однако светлый, безмятежно-ясный, неуступчивый юноша Крейцвальд слишком уж явно выпадает из шеренги других героев Кросса. Критики это признают. (Хочется подсказать: да вы загляните в другие повести! Там Крейцвальд уже не столь мил и ясен. В повесть о Янсоне загляните, где Крейцвальд представлен «с дрожащими от старости коленями». В «Третьи горы» загляните, где этот старик, «осторожный, скептический и горький», предостерегает Келера

от столкновения с властями. То-то компромиссов!) Но это я так, в шутку. А всерьез-то ничего и не надо искать за пределами рассказа (вернее, фрагмента неосуществленной повести): здесь сказано все. И даже объяснено, почему повесть не осуществилась. С непередаваемой иронией Кросс фантазирует: а та корзина, что плыла по разлившейся Неве в пушкинских стихах, вполне ж могла быть корзиной с бумагами Крейцвальда. Молодой человек учительствовал в Петербурге как раз в 1824—1825 годах. Не исключено, что 14 декабря он слышал стрельбу. Не исключено также, что он...

Здесь Кросс обрывает рассказ, лишая наших критиков возможности продолжать нравственные выкладки. Критикам, я думаю, и адресована эта ирония. Им нужен извлекаемый урок. А Кроссу нужен Крейцвальд. Независимо от того, слышал он или не слышал стрельбу 14 декабря.

Ну а «Небесный камень»? Молодая итальянка, жена пробста Мазинга, влюбляется в поэта Петерсона... Любовь — при чем же тут компромиссы? Критики отмечают эту трудность: «Самоценность любви ставит ее вне компромиссов». А все-таки: если неуступчивость юного Петерсона сопоставить с практичной дальновидностью старика Мазинга... Чуть-чуть сдвигаем акценты, чуть-чуть меняем слова, и та же самая история начинает говорить не совсем то, что она говорит у Кросса. Грешен: мне тоже легче представить себе романтический треугольник, я даже название готов в этом духе истолковать: поэт, неземная натура, небесным камнем падает в тишь и гладь пасторского дома, и женщина любовью своей указывает, кто в этом соперничестве прав...

Да. Только им самим что-то не приходит в голову вся эта проблематика. Старый Мазинг просто не замечает того, что вокруг него сплетается. Он исследует осколки метеоритов, пишет книги, слушает стихи Петерсона и никаким краем души не включен в страдания своей беспокойной супруги. И Петерсон бежит ее любви не потому, что опасается компромисса или, напротив, на компромисс рассчитывает. Просто он ориентирован на другое. Напрямер, на свои стихи. А если Мазингу стихи не нравятся (что в данной ситуации поважнее любовной истории), то и это не причина для Кросса искать, кто из них прав. Оба. Оба правы! — вот удивительная, не уместяющаяся в наших привычных рамках позиция Кросса. Прекрасен Яак Петерсон, чахоточный гений, «чудо-юноша

эстонской поэзии». А Мазинг, энциклопедист, педагог, просветитель... «и в то же время до крайности самоуверенный старик»? Прекрасен и он.

Что ж, перед нами вялая, всеприемлющая релятивистская уравновешенность?

Нет, скорее жесткий баланс сил, идущих встречными путями. Оба прекрасны — потому что верны своему делу, своему долгу, своему жребию. А если уж кто чужд Кроссу в этой истории, так это Кара — экспансивная итальянка, искренние чувства которой исторгаются вовне, петлями опугивают других, настраиваются на несбыточное и истончаются до неощутимости. Кросс весьма холодно расстается с нею: «Через десять лет госпожа Мазинг овдовеет. Она пустит на ветер бесценный для истории эстонской культуры архив своего мужа; бедняжка не догадается, как много он значит. В завершение она примется разыскивать богатых... родственников... Уже не в Сицилии, а ня больше ни меньше как на острове Ява, однако не найдет их и там...»

Проблематика морального компромисса тут, я думаю, ни при чем. Не потому, что «самоценность любви» ее не знает. Для Кросса самоценны вещи, лежащие в несколько иной плоскости. Его герои, всецело отданные своему жребию, исходящие из внутренней логики своего пути, не озабочены бескомпромиссностью или компромиссами. У них просто иная система мер.

Хорошо, но есть повесть, прямо и специально посвященная теме предательства, — «Час на стуле, который вращается», великолепно сложенная, глубочайшая из повестей Кросса! Пронзительный монолог Янсона-младшего, который, крутясь на фортепьянном стуле (от бумаги — к клавишам — и обратно), пишет не что иное как ответ на обвинение в продажности, брошенное его отцу, Иоганну Янсону. Издатель первой крупной эстонской газеты, в известном смысле создавший и традиции и самый стиль эстонской печати, он, оказывается, брал деньги у немцев. Он, говорят, заключил даже письменный договор с господином Виллегероде, и немец за те свои деньги имел право не только контролировать общее направление «Ээсти постимэс», но чуть не цензуровать каждое ее слово!

Старый Янсон не находит нужным защищаться от этих обвинений, потому что не видит в происшедшем ничего предосудительного или даже необычного. Позицию своих обвинителей он считает просто вздорной. Да, брал. Что же, они вообража-

ют, будто не бери он тех денег, то был бы со своей газетой свободен? Наивные люди: да газета и так и эдак бы контролировалась. Конечно, то были немецкие деньги. Но он тратил их на доброе дело — на эстонскую газету, он превращал немецкие деньги в эстонские! Ему и в голову не приходило оправдываться на этот счет, пока сын — сын, случайно обнаруживший старые расписки, не прибежал с трясущимися губами: «Ты нас мерзко обманывал! Отец! Разве ты не понимаешь... Господи боже мой. Ты опозорил нас!» (Хорошо еще, Щедрина плохо знает Янсон-младший — вспомнил бы знаменитое «применительно к подлости», опередил бы наших критиков.) Так ему, сыну, вынужден старик объяснять, что руки у него все равно не были бы свободными. «У газетчика никогда в жизни они не бывают свободными! Во всяком случае здесь, — уточняет старик, — под крылом благословенного царского орла! Да едва ли и вообще где-нибудь...»

Но все-таки: было предательство? Не по мнению героя, а по мнению автора?

Было. Вот как Кросс признает это: «Принято считать, что... он был предателем своего народа. И это, к сожалению, под каким-то углом зрения тоже не ложь...»

Страшно от этого горького, неохотного признания. Какая тоненькая стенка отделяет праведное дело от нравственной катастрофы — тоньше сердечной перегородки. Чуть изменяются обстоятельства, чуть смещается угол зрения — и конец. Один мгновенный поворот крутящегося стула... Поразительный образ: замкнутый круг, бесконечное вращение, вечный возврат, невозможность вырваться; и вместе с тем мгновенный просвет: виток от письменного стола к роялю, виток обратно; от грязи, клеветы, неразрешимости — к божественным звукам Крейцера и Рубинштейна — и обратно, обратно; это так близко одно от другого — ад и рай духа, и они соединяются под коркой твоего мозга — один поворот...

И вот старый Эуген, когда-то в иступлении трясший иудинными расписками перед носом отца, пятьдесят лет спустя пишет письмо в его защиту.

Что это? Перемена позиции? Прозрение? Заблуждение? Беспринципность?

Ни то, ни другое, ни третье... Это перемена угла зрения. Мальчишка, ригорист, романтик смотрел на вещи из идеального далека, и он был прав, как бывает прав ребенок, не обязанный знать законы реальности. Есть горькая символика в том, как это дитя духа заражает отца своим сознанием:

апоплексический удар — и трезвый, умный, упрямый старик превращается в паралитика и еще десять лет живет на руках у своего сына как добродушное, несчастное, большое дитя.

Так входит в прозу Кросса тема праведного безумия. Или безумия праведности, что, может быть, точнее. И предчувствуется другой седовласый ребенок, другой наивный праведник: Тимотеус фон Бок — «императорский безумец» из последней, уже после романа «Три чумы» написанной вещи Кросса.

Прав ли светлый безумец в своем безумии?

Не знаю... В том-то и дело, что нам легче будет решить эти вопросы, если мы переведем прозу Кросса на несколько иной этический язык — на язык трансцендентной бескомпромиссности и идеальной чистоты порывов, далеких от сопотвращения вещей. Но герои Кросса другие. Им некуда бежать из узких стен густо застроенного мира. Они не могут воспарить, а нам этого от их имени так хочется. Отсюда та непрерывная внутренняя тяжба, которую мы читательски ведем с Кроссом, предполагая за него решения и удивляясь, что он делает нечто неожиданное.

Думаешь: так, наверное, секрет его художественного мира в том, чтобы реальный базис был подведен под всякое идеальное представление?.. А он пишет «Третьи горы», где художник Келер делает натурщиком для Христа знакомого конюха, а потом злорадные оппоненты сообщают ему, что конюх дослужился до управляющего и не выпускает из начальственных рук палку. Так что остается Келеру послать своих оппонентов подальше: пусть конюх делает свое дело, а я буду делать свое: проблемы не существует.

Думаешь: так, может быть, секрет Кросса в том, чтобы в противовес иллюзиям писать трезвую правду? А он выпускает «Мартов хлеб», озорную и прелестную сказку о том, как средневековый ученик аптекаря, обманув своего патрона, приготовил под видом скучного лекарства фантастический, неземной, воздушный «мартов хлеб» — «марци-панис», и люди, отведавшие марципанов, совершенно не смущались тем, на каком безумном обмане и на какой светлой лжи замешено это угощение.

Думаешь: так если каждый прав по-своему, то не в том ли секрет Кросса, чтобы писать и правду и иллюзию как они есть?.. Сказано же у Лидии Койдулы, знаменитой дочери несчастного старика Янсона: «Если бы только можно было писать

историю такой, какая она есть!» А Кросс, взявший эту строчку эпиграфом к повести, пишет роман «Три чумы» — главный многоготовый труд свой, книгу о мучениях правды, записываемой «как она есть».

Господин Якоб Икскулл, захваченный мужиками врасплох в своем поместье, отбивается в углу. Жену его, которую господин Икскулл попытался защитить, стукнули и визжащую поволокли; сил у господина Икскулла осталось ненадолго; с профессиональной экономностью он отражает неумелые выпады наседающих крестьян; господин Икскулл ничего не знает ни о закономерностях крестьянских войн, ни об исторической обреченности дворянства. Он только чувствует, что один из нападающих умело придерживает своим мечом его меч, что этот противник причастен к искусству фехтования. И за секунду до того, как ржавая алебарда вонзается господину Икскуллу в горло, он успевает подумать, что тот человек явно обучался владению мечом не у мужиков... Больше господин Икскулл ничего подумать не успевает. Но у нас, читателей, возникает в сознании тема предательства.

Мысленно мы отосланы к человеку, неведомым путем затесавшемуся в толпу восставших крестьян. Кто он?

Балтазар Руссов. Сын местного извозчика. Крепкий рыжебородый малый с широкими ладонями. Будущий виттенбергский студент. Будущий пастор. Будущий летописец Ливонии. Из отцовской конюшни — в таллинскую латинскую школу. Из строгих аудиторий штеттинского педагогума — обратно на родину и тут в разгар каникул — в толпу восставших земляков.

Что его толкнуло присоединиться?

Сам себе он говорит: случай. Говорит: любопытство, стечение обстоятельств. Однако дело глубже. Не только пошел с нами, но от их имени — единственный среди них грамотный — участвовал в переговорах с таллинским магистратом. И, возвратившись под стены города, увидел развязку: как карающее кольцо рыцарей сомкнулось вокруг взбунтовавшихся мужиков. И как один из заводил бунта, Ковш, в безумной ярости бросился на выставленные пика.

Так если бы Ковш успел обернуться, если бы увидел, как Балтазар мгновенно отпрянул в кусты и схоронился в зарослях, а потом пустил коня прочь галопом, — что подумал бы Ковш, корчась на рыцарских пиках? Что присоединившийся к ним студент спасает шкуру?..

Да, в вас провоцируется мысль о предательстве героя. Однако следя за бежавшим героем, вы чувствуете, что все это не так просто. Ибо герой выбирает не самый надежный путь спасения и, прежде чем скрыться в Германию, пробирается в Курессаар, куда повезли пытать и казнить вожда восстания. Зачем он туда лезет? Помочь? Помочь невозможно, он знает это. Увидеть лицо казнимого! Ради будущей «Хроники»? Нет, он еще и не знает, что станет хронистом, а если бы и знал, все равно ведь ни строчки об этом туда не напишет. Так что же его ведет? Только одно: увидеть лицо.

Вы не сразу узнаете эту систему поведения. Вы только вспоминаете честный взгляд, которым обменялись в Сямбирске Михельсон с Пугачевым. И следя дальше за жизнью Балтазара Руссова, за тем, как он ловко выпрыгивает из ловушек, которые на каждом шагу подстерегают его в мясорубке Ливонской войны, вы чувствуете: это не спасение собственной шкуры, это что-то другое. Отказаться от блестящей пасторской карьеры в Германии, вернуться в Таллин, жить в вечном страхе, когда раскопают, дознаются, припомнят, притянут за то давнее мужицкое посольство... И сжимаясь от внутреннего страха и от необходимости лгать, тем не менее идти на это, — и всю жизнь честно смотреть в глаза своим прихожанам. Какой удивительный, железный, негибемый тип психологии; я и сжиться-то с ним сразу не могу, я только чувствую его глубинную серьезность, его своеобразную тяжелую органику, я чувствую, что я должен этого человека понять, что диалог с ним мне жизненно необходим!

Хитрит? О, еще как! Но вместе с тем идет на такой риск, что хитрость оказывается не более чем «технологией». Ни с кем не хочет связать себя до конца? Да, но при этом так связан свинцовым чувством собственного долга — ни отступить, ни уступить не умеет. Оборотист? О да, но при этом на дне души какая-то несдвигаемая, упрямая, на грани обреченности покорность тому, что должно слушаться.

А главное, нет иллюзий, нет ни тени иллюзий. Горькая готовность к худшему. Исправить ситуацию, даже выбрать ее — невозможно. Только выдержать. Выдержать с железной невозмутимостью, с двужильной стойкостью, с какой-то мгновенной дьявольской усмешкой в рыжей бороде.

Искать лучшего? Еще надо выяснить, что для этой души лучше. И будет ли этому человеку легче там, где ему будет «луч-

ше». Ему некуда бежать из того мира, где он тянет свою лямку. Он не умеет воспарить над теми низкими трудностями и препятствиями, какие ему достаются. Ни воспарить в праведники, ни пасть в грешники. Ни возроптать, ни возблагодарить. Такая тяжелая, каменная, бесконечно ушедшая в себя душа. Как говорят философы, имманентная.

Первая повесть Кросса начинается с иронической фразы: «Господи, я хочу поторговаться с тобой...». Вот это и есть пункт отсчета. И начало доказательства от противного. Как торговаться с тем, кто не висит над тобой в далекой высоте, а, говоря словами Маркса, оковывает самое твое сердце? Тяжкая, честная, полная скрытой боли, отсчитывающая от самой себя и потому безнадежно одинокая в своем отчете богу натура Балтазара Руссова — и судьба его — вот ответ Кросса на пунктир вопросов, заданных в его повестях. Закон духа — внутри самого человека, он намного несчастнее в своей самодостаточности и одновременно неизмеримо счастливее в ней, чем его можно сделать, осудив или возвысив извне.

Кросс как-то заметил: жанровая разница между повестью и романом состоит в том, что читатель повести достраивает мир автора вне ее художественного пространства, читатель же романа достраивает мир внутри его пространства. Это ключ к прозе Кросса.

Само движение внутреннего сюжета в его романе, а отчасти и фабульное построение глав напоминают повороты ключа в разных скважинах; огромное, на полторы тысячи страниц, повествование читаешь не столько как хронику жизни, постепенно накапливающую материал и смысл, сколько как пунктир повторяющихся ситуаций, в которых герой оказывается то обидчиком, то жертвой. Я назвал бы это перекрещивание автономных и сцепленных линий крестословием, если б не боялся дурного каламбура; но логика кроссворда действительно чем-то родственна структуре художественного мира Кросса: трассы смыслов, расходящихся из точек пересечения, значат разное, но все время колышутся, сходятся и замыкаются для очной ставки. Это медленное раскручивание-возвращение органично для самозамкнутости исследуемого здесь духа, оно-то и делает роман Кросса целостным произведением искусства.

Вот одна из таких цепочек. Молоденький Балтазар заводит интимные отношения с игривой супругой своего учителя и

патрона⁵... Правда, он все время повторяет себе, что это «от дьявола» (Кросс, пожалуй, несколько педалирует это самообъяснение, которое куда меньше убеждает меня, чем здоровая чувственность героя). Балтазар не задумывается о том, какие эмоции вся эта история вызывает у его покровителя, мужа Катарины (мы задумываемся). Приходит время, и Балтазар сам оказывается в положении обманутого мужа, причем «обидчиком» выступает его молодой и любимый ученик Михкель Слахтер. «Обратная рифмовка» ситуаций — внутренний нерв любовных интриг романа. Эльсбета, жена Балтазара, умирает в мучительном раскаянии — ей есть в чем каяться. Магдалену, вторую жену, несколько лет спустя он обвиняет в таком же грехе уже безвинно, и она кончает с собой от оскорбления. Третью жену, Анну, старик вводит в дом, заведомо зная, что она грешница.

Ситуации рифмуются. Громивший поместье становится владельцем поместья. Пострадавший от предательства предает сам. Обманувший обманут. Невозможно дать внешний отчет богу об этой цепочке вынужденностей и грехов. Только выстрадать внутри себя.

Молодой Михкель Слахтер предает своего учителя: тайно таскает главы «Хроники» на просмотр власть имущим. Он это делает под давлением, и характерно, что сам он вовсе не считает себя предателем и подлецом: он искренне верит, что отводит от автора «Хроники» худшие неприятности. Вы можете, конечно, улыбнуться этой попытке самооправдания, вы одобряете Балтазара, когда тот изгоняет Михкеля за предательство. Но... весьма скоро в аналогичную ситуацию попадает сам Балтазар: ему вежливо и мягко предлагает кое-что дописать и подчистить в «Хронике» всемогущий правитель Ливонии Понтус Деллагарди. И Балтазар даже не ставит вопроса о сопротивлении. Его уловка — добавить иронию в славословия шведской короне — граничит с самообманом, и он очень скоро хладнокровно вписывает в свою «Хронику» все требуемое. Почему? Да просто потому, что таково соотношение сил. С временщиком не поспорить (а если бы можно было поспорить, то тоже не стал бы спорить, просто сделал бы по-своему, и все).

Значит, когда Михкель Слахтер уступил давлению, это было предательством, а ког-

да уступил давлению сам Балтазар — это что же?

Он не отвечает на такие вопросы. Ситуация диктует — он поступает сообразно ситуации. «Другой подход».

Существенный нюанс: Михкель решал за Балтазара, а Балтазар решает за себя. Вот почему Михкель сломлен, а Балтазар нет. Это его дело, его судьба, его жребий. Пройти через все, что выпало на долю. Принять не только внешние беды, но и тот моральный ужас, который неизбежен на пути человека. Если, конечно, это человек, а не воображаемый ангел и не инфернальный безумец.

По роду деятельности пастор Руссов часто думает об этих вопросах в богословских терминах своего времени. В его колебаниях между доктринами Флациуса и Меланхтона опять-таки нет личного выбора, скорее это попытка угадать, какой оттенок Аутсбургского исповедания получит перевес. Как всегда, герой Кросса хочет почувствовать ситуацию и вписаться в нее. Но сквозь богословское усердие своего героя Кросс видит многое. Сквозь трезвость, разумную умеренность и гуманную мягкость Меланхтона проступает каменная поступь другого «учителя Германии», духом которого пропитался Балтазар Руссов, — тяжелый нрав утольщикова сына, способного швырнуть в дьявола чернильницей и восстать против самого папы. Через дух лотеранства преломляется жестоковыйная натура героя Кросса, его сокрушенное сердце, его угрюмый отказ от собственной воли... Ради чего?

Тут мы прикасаемся к самому глубокому тайнику его души.

Через прозу Кросса проходит сквозное противопоставление: земное, крепкое крестьянское начало — и начало господское, высокомерное, рыцарское. Иногда эта оппозиция предстает как непримиримость аборигена-эста и колонизатора-немца (и здесь меня уже что-то шокирует, здесь не все ладно у Кросса, ибо герой, всю жизнь «прищуренный» против немцев, всю жизнь же усердно и учится у них, но, допустим, тут Кроссу несколько изменяет чувство меры). Однако в противопоставлении эстонской земли и остзейского неба заключен для Кросса важнейший разрешающий момент. Есть своя символика в том, что законные дети Балтазара Руссова или умирают, или уходят от него в отчуждении; все это дети его от «культурных», законных жен: от Эльсбеты, дочери немца-скорняка, от Магдалены, дочери голландца-епископа, от Анны, приемной дочери нем-

⁵ Любовь жены учителя к молодому ученику... лейтмотив? — вспомните «Небесный камень»...

ца-ратмана. И только один сын его, незаконный, рожденный крестьянкой Эпп и выросший под чужим, крестьянским именем, находит отца и возвращается к нему... Национальное, крестьянское, мужицкое жизнеспособно и перспективно! Тяжелая, низовая, политая дождями эстонская почва драматично сосуществует в сознании героя с суховатым верхом Аугсбургского исповедания. «Готическое» — от разума, от холодного понимания, от горького знания. Душа же там, где под ледяной коркой живут «земные боги», где березовое лицо звонаря Мэртена и золотая головка Эпп. Герой Кросса все-таки прежде всего мужик и только потом — п а с т о р.

Имея в виду самоочевидный, простейший и напрашивающийся ответ на этот вопрос, Ю. Болдырев его и задал: все ваши любимые герои — интеллигенты в первом поколении, в них много мужицкого — не правда ли, это для вас важно?

Теперь оцените ответ Кросса: это для них важно, для меня это сопутствующий момент, не играющий особой роли...

Возьмем поправку на драматургию диалога, в котором Кросс все время уходит от ожидаемых ответов. И попробуем все же связать концы с концами. Сказать, что Кросс побивает выморочную, абстрактную книжную культуру идеей земной, народной, языческой жизнестойкости, значит сказать банальность и плоскость. Точно так же как если бы сказать о Кроссе нечто противоположное. Ему нужно и то, и это. А главное, он решает другой вопрос. Не о соотношении сторон бытия, а о том, как любое из этих соотношений выдержать. Принять высокую культуру, иссыхающую без земных корней. Принять земную жизнь, теряющую вне культуры смысл и оправдание. И принять их встречу, в которой единство дается не через благостное слияние и даже не через разумный компромисс, а через драматичную борьбу, в которой сламывающаяся или не сламывающаяся личность мало что может изменить или выбрать...

«Светлый скепсис» — так, кажется, сам Кросс назвал тональность такого мироощущения. Нет, он не писатель бескомпромиссной свободы и не писатель разумных компромиссов. Он писатель познанной необходимости, которая не облегчает раздумья.

Среди стихотворений Яана Кросса мне помнится одно, которое передает самый этот подход к бытию. О других стихах я судить не рискую: боюсь, что в переводах поэзия Кросса несколько «подменилась», и Юнна Морич была права, когда в разгар восторгов критики по поводу интеллекту-

ализма первых поэтических книг Кросса, в 1963 году, заметила, что по-русски это слишком похоже на эпигонов Маяковского⁶. Одно только стихотворение Кросса напомним читателю: русский перевод его был напечатан лет пять назад в «Новом мире». Цепочка мгновенных фотографий: жизнь человека, жизнь его родителей, жизнь предков. Бесконечная вереница крестьян и крестьянок. Отец, ручищи которого слишком велики для карманчиков аккуратного городского пальто. Потом он сам — школяр в красной шапочке. Потом он — веселый студент в подплатии. И он же — в кузове грузовика, стиснутый вооруженными немцами. И он же — на дороге, в колонне людей, с мешком за плечами. Видения накатываются, давят, оковывают цепью — ни освободиться, ни изжить, ни примириться...

Вот это фатальное накатывание, эта неотвратимость, это горькое чувство, что реальность не переигрывается и надо принять ее как закономерность, — это Кросс.

Несколько слов об «Императорском безумце».

Начало письма, которое в 1818 году Тимофей Егорович Бок адресовал Александру I: «Смертный! Не требуйте от меня почтения: я готов предстать перед царем царей...»

Цитирую документ, не использованный Кроссом в романе, — хочу дать читателю почувствовать саму историческую фактуру, с которой взаимодействует художник.

Легко понять, что человек, обратившийся к императору в таком стиле, сочтен безумцем. Все это исторические факты. Как всегда, Кросс скрупулезно точен в обращении с фактами. Однако пунктир, который его воображение проводит между фактами, есть для него еще один доступ к мучающей его духовной загадке.

Несчастный Тимотеус безумен. Но не потому, что написал царю нечто бессмысленное: он написал правду, правду о лжи царствования, увиденную наивными и честными глазами, правду «как она есть». Безумие — сам факт такого писания. Крепость, в которую царь посадил фон Бока, — ответ практичного разума на этот безумный вызов, и узник, измученный девятилетним заточением, понимает логику своих противников: он принимает правила их игры и послушно имитирует клиническое помешательство,

⁶ Другие критики, наоборот, хвалили Кросса за верность заветам Маяковского, имея в виду те же переводы. Сам Кросс в качестве ориентира называет Превера. Все это интересно, но выходит за рамки моей темы.

помогая палачам списать все на болезнь, так что в конце концов те выпускают его и отдают жене... Но Кросс отлично различает безумие клиническое и безумие духовное. Правдолюбец знает, что он глубоко и непоправимо безумен, но только не так, как думают врачи. Он, безумец, притворяется нормальным человеком. Точнее, он притворяется нормальным человеком, разыгрывающим клиническое безумие. Такова партитура романа, подводящего нас к главному вопросу: так то фундаментальное, высокое, духовное безумие — оно безумие или нет?

Безумие. С точки зрения нормального здравомыслия. История последних месяцев жизни разбитого тюрьмой, отпущенного в свое поместье фон Бока написана от лица его шурина, в высшей степени нормального, здорового и достойного человека, которого Кросс ввел в историческое действие, выдумал, вообразил, чтобы создать точку отсчета или, если угодно, нащупать в этой истории почву.

На чьей же стороне Кросс, ненавидящий царя и палачей?

Неужто на стороне житейского здравомыслия? Если и так, то это здравомыслие, не осуждающее безумца, а сочувствующее ему. Кольцо здравомыслящих свидетелей (среди них Жуковский, прекрасно и точно написанный Кроссом) с горькой безнадежностью и бессильной любовью наблюдает агонию правдолюбца. И кажется, затеяно все это, сама эта возмутительная записка фон Бока вовсе не ради существа изложенных в ней воззрений и не затем, чтобы сообщить что-то царю, а для того, чтобы спровоцировать имперское здравомыслие: насколько далеко зайдет оно в своей жестокости?

Империя проявила необходимое здравомыслие: фон Бок истерзан казематом. Вывод горек: бескомпромиссность хороша для легенд. В реальности таких героев нет. Либо они безумцы.

И все-таки что-то новое брезжит у Крос-

са в этой его истории. Какая-то новая струна звучит. Да, безумие. Но впервые Кросс так неотрывно прикован к этому безумию. Впервые я чувствую, как оно мучит его, как оно важно для него — безнадежное, непрактичное неменяемое, самоубийственное безумие духа.

Здесь начинается диалог. И здесь моя нетерпеливая, романтическая, славянски мечтательная душа встречается с жестокой музой Яна Кросса.

...В эпиграфе я оборвал цитату. Юрий Болдырев спросил: о ваших героях пишут как о людях компромисса, но, может быть, правильнее говорить о них как о людях, несущих свой крест?

Да. Именно так. Именно здесь разрешается и мой читательский контакт с Яном Кроссом. Он не учит компромиссам. Ни бескомпромиссности. Ни мудрой осмотрительности, ни наивной честности видеть все «как оно есть». Он учит другому: нести свою ношу.

Я думаю, что эта проблема стоит достаточно остро в душе современного человека. От того, каким конкретным содержанием наполняется это понятие в человеческой душе, от того, какой выбор делается в этой точке, зависит многое. Обернется ли ситуация индифферентным фатализмом, равнодушной безучастностью, сторонним злорадством (от нас, мол, не зависит) или укрепит в человеке готовность отдать себя делу и идеалу в тот час и в том месте, где жребий выпадет, — вот вопрос. И уж в тот час — достало бы сил выдержать. Я вспоминаю фразу: на войне не ищут своего места, на войне жгут своего часа — из известного русского романа... Нет, не только Кросс, не только эстонцы прикованы к этой проблеме. Ян Кросс решает ее с трезвой и тяжелой определенностью: человек должен выдержать. Там, где ему выпадет. Тогда, когда пробьет час.

Хлеб летописца горек как сама история. Но другой не дано.

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Рафаэль Мустафин. Биография духа.— А. Михайлов. Движение таланта.— Вл. Костров. Смысла живая основа.— В. Турбин. Обретение дома.— Б. Рунин. К вопросу о подлинности притворства.— О. Алякринский. «Копни поглубже человеческую природу...»

ПОЛИТИКА И НАУКА

Александр Никитин. «Жить, как все, а работать вдвойне».— Е. Зайцев. Эпизод с продолжением.— П. Батов. Народный герой.

Литература и искусство

БИОГРАФИЯ ДУХА

Рустам Валеев. Заботы света. Роман. «Урал», 1983, №№ 1—3.

Биография великого народного поэта Татари Габдуллы Тукая известна нам сегодня достаточно подробно из целой серии научных монографий, документально-биографических и художественных книг. Но богатство его натуры, неповторимость судьбы привлекают и долго еще будут привлекать внимание все новых писателей.

В романе челябинского писателя Рустама Валеева Тукай предстает перед нами как сложившаяся творческая личность. Это произведение о внутренней духовной жизни поэта, биография духа.

Современники называли поэта «туры Тукай», то есть прямой, правдивый Тукай. В романе Тукай много размышляет о правде. «Мой идеал — быть правдивым в моих трудах, писать жизнь, какая она есть. И эта правда в какой-нибудь далекий день, может быть, станет поддержкой для новых поколений, чей дух поднимется над нищезостью, над эгоизмом людей и мелкими их заботами. О, это будет прекрасное поколение, созревшее для делания добра!»

Тукай в изображении романиста — человек редкой внутренней цельности. Его болезненная застенчивость, замкнутость простекали от повышенной ранимости. Он говорил правду, не щадя самолюбий, и мог из-за этого испортить отношения даже с

самыми близкими друзьями. Его раздражали мещанская ограниченность, пошлость. Порою он мог быть даже злым — от непомерной стыдливости. Тукай избегал шумного общества, не любил публичных выступлений.

И в то же время его тянуло к людям. Предпочитая оставаться незамеченным, он любил приглядываться к завсегдатаям знаменитого Сенного базара в Казани, вслушиваться в его многоголосый шум; скрип телег, ржанье лошадей, рев быков, крики торговцев и покупателей, смех удачника, вопль обманутого... Двери в его тесную каморку в гостинице «Булгар» никогда не запирались — гости приходили и уходили, когда им вздумается. Этим нередко пользовались всевозможные проходимцы и бродяги. Тукай и тяготился таким многолюдством, и рад был гостям. Они приносили ему не только городские новости, но и дыхание реальной жизни. Впрочем, он всегда мог отрешиться от мирской суеты — уйти в себя, в мир образов. И никто не мог помешать ему думать, мечтать, творить.

Р. Валеев показывает, как жизнь духа великого поэта переплавлялась в поэзию. И детские слезы, и горькое раннее сиротство, и позднейшие жизненные впечатления отзывались прозрачными певучими

строками. В этих стихах оживают и березы Кырлая, и сочная зелень лужаек, и блеск реки, и загадочный серп молодого месяца. Кони ржут в ночном, утром девушки идут за водой к роднику, соловьи садятся на дужки ведер и поют о любви. «Днем и ночью, в горе, в счастье я с тобой, родной народ. Я здоров твоим здоровьем, твой недуг меня гнетет». Вот эта слитность с народом, как показывает автор, — главное в облике поэта.

Безнадежно больной и отлично сознающий тяжесть своего положения, Тукай был безжалостным к себе, не щадил себя в работе. Горячил себя крепким чаем, много курил. А ночами не мог спать от приступов кашля. Болезнь изнуряла его физически, но не могла сломить неукротимую волю поэта, его могучий дух. К нему как нельзя лучше подходят блоковские слова: «Но вещей правдою звучат уста, запекшиеся кровью!..»

Роман «Заботы света» густо населен. Тут бай, муллы, шакирды, приказчики, бульварные журналисты, богатые наследницы и содержанки, рабочие-кожевники, наборщики, крестьяне, бродяги, нищие. Они проходят перед пристальным взором поэта, оставляя какой-то отпечаток в душе и так или иначе находя отражение и в его творчестве.

В образе поэта, встающем со страниц романа, отражена интеллектуальная жизнь народа, оказавшегося на стыке Востока и Запада. Культура Востока для татарской литературы исторически ближе, она глубоко проникла в народный быт, национальное сознание. Но ветры прогрессивных перемен дули с Запада. И велико было влияние демократической русской культуры. Тукай одним из первых в дореволюционном татарском обществе пошел навстречу очистительной социальной грозе.

Герой романа страстно выступает против замкнутости интеллектуальной жизни, отлично понимая, что национальная ограниченность гасит культуру народа. Татарский поэт преклоняется перед гением Пушкина, с восхищением читает Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина, переводит их стихи на татарский, приобретает сочинения Льва Толстого, книги Декарта и Кнута Гамсуна, брошюры с толкованием марксистской философии. Поэт, конечно же, резко возвышался над тогдашним обществом, в жизни которого было немало смешного, наивного, а то и отсталого, граничащего со средневековым. Отсутствие дворянской культуры, полагал Тукай, означало немалый пробел в развитии татарской словес-

ности, всех видов искусства. И тем крепче надо держаться за народную основу, усваивать фольклор: сказки, байты, легенды, народные песни. Открытость души народа для новых веяний и социальных перемен, его терпимость, доброта, врожденное чувство справедливости служили Тукаю опорой в его творчестве. Большое внимание уделено в романе борьбе Тукая с идеологией татарской националистически настроенной буржуазии, претендовавшей на экономическое и идеологическое господство в мусульманском мире.. И автор прослеживает динамику этой борьбы, следит за сшибкой мнений, коренных мировоззренческих позиций.

Перед нами образец лирико-философской прозы, непростой для восприятия, требующей от читателя определенной подготовленности. Реалистические детали переплетаются в романе с элементами фантастики, смещением реальности, происходящим в творческом сознании поэта. Вот, скажем, добровольный цензор и фискал Иманаев — внешне вполне благопристойный, аккуратный, старательный. Его суть автор раскрывает с помощью явно фантастического приема. У горбуни, сожительницы Иманаева, рождается омерзительное мяукающее существо с хлипким желто-зеленым тельцем, но с дьявольской способностью уже с первых минут произносить членораздельные звуки, которые всякий понимал: «Надо хватать, надо хватать». Одно этого сочного мазка в духе Маркеса достаточно, чтобы осознать подлинную суть Иманаева, его мерзкое нутро. Для тех же, кто готов злорадно воскликнуть: «Так не бывает!» — автор вскользь роняет одно лишь словечко — «по слухам»..

Особенно удачна глава о работе Тукая над поэмой «Кисекбаш». Фантастически преувеличенные описания силы ее героя Карахмета (двери закрываются от одного его дыхания, четверки лошадей выбиваются из сил, пока довезут, сменяясь, его до цирка, восхищенная толпа, запрудившая площадь перед гостиницей, не расходится до рассвета и т. д.) вполне уместны и продиктованы фантастическим характером самой поэмы Тукая. Вспомним хотя бы, как катится, подпрыгивая на мостовой, чалмоносная голова. К нашему взгляду словно бы приближен процесс преобразования действительности фантазией поэта.

Правда, не всегда эти фантастические элементы уместны. Иной раз они вступают в противоречие с реалистической тканью романа и кажутся чужеродными. Таково, например, отступление о дервише,

которому, судя по всему, никак не меньше ста пятидесяти лет. Но таких мест, к счастью, немного.

Автор почти не цитирует стихов Тукая, но, как бы перевоплощаясь в своего героя, стремится показать рождение образов, вести нас во внутреннюю речь поэта:

«Лебеди летели в нашу сторону, я поднял оброненное перо и пишу тебе, моя старая мать. Ты, знать, молишься в этот час, покрыв свои плечи изношенной шалью. И плачешь!

В чужом краю хожу, как заблудший журавль. Пчелы летают за медом, быстрые кони скачут, чтобы стяжать славу, а мы ходим-бродим за призрачным счастьем. Далеко я, далеко, моя старая ани! Конь мой остался на зеленом лугу, милая осталась в объятиях чужого. Кто радостный встретит меня дома? Сафьяновые сапоги износил я на каменистых дорогах, теперь домыкиваю свою молодость».

Через весь роман проходит внутренний спор поэта с дервишем, проповедующим уход от мирских забот во имя спасения души, пренебрежение к заботам «суетного света». Но чем дальше, тем больше утверждается Тукай в мысли, что «заботы света», если они не носят узколичного, эгоистического характера,— это и есть высшие заботы души. Основную мысль романа можно бы выразить словами Гёте, что лишь тот живет для вечности, кто живет для своего времени. Тукай жил прежде всего для своего времени, и именно поэтому он остался с нами на долгие времена. Р. Валеев убедительно раскрывает новаторский характер деятельности Тукая, его значение для общественной мысли как минувшей, так и последующих эпох.

Рафаэль МУСТАФИН.

Казань.



ДВИЖЕНИЕ ТАЛАНТА

Георгий Семенов. Утренние слезы. Рассказы. М. «Современник». 1982. 335 стр.

Об одном из своих любимых героев И. А. Бунин когда-то писал, что тот удивительным образом соединил в себе, казалось бы, несоединимое: «.. редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца». Читая рассказы Георгия Семенова, невольно вспоминаешь эту бунинскую характеристику. Ведь и Семенов поначалу предстал перед читателем как человек с «певучей романтичностью сердца», как поэт и певец гармонии. Поэтому у него, городского до мозга костей жителя, всегда была столь острая тяга к природе, к охоте и рыбной ловле, к деревенской глуши или, на худой конец, к дачному поселку где-нибудь под Москвой. Только там, ему казалось, он и может найти физическое и духовное единство с миром, согласие, гармонию. Это, а также открыто выраженное в слове героя-рассказчика авторское начало сблизил ранние вещи Г. Семенова с лирической прозой начала 60-х, с Ю. Казаковым, В. Соколухиным.

Но сегодня «внутренняя сложность» и «трезвая зоркость взгляда», свойственные писателю вместе с «певучей романтично-

стью», берут свое: Георгий Семенов стал жестче, «реальнее» — и.. дисгармоничнее. Хотя нет-нет да и застынет он, как прежде, на какой-нибудь спрятанной от посторонних глаз лесной поляне и остолбенет от «первобытного» восторга: «Все вокруг — от великого солнечного диска, который уже опустился за стволы берез и пронзил чащу последними дымчато-красными лучами, от вселенского этого светила и до крохотного листика земляники — все каким-то чудом умещается в ликующей моей душе, находя в ней отклик и понимание». Однако все это — и тишина первозданная, и возбужденное ожидание полета вальдшнепов, и запах лошади, которым словно пропитан весь рассказ «Объездчик Ешев», открывающий сборник «Утренние слезы», — все это, если можно так сказать, зримые следы семеновского прошлого. Теперь писатель не в силах убежать на сказочную лесную поляну, мысленно он остается там, где только что «торопился, стоял в очередях, ехал вниз-вверх на лифте, на эскалаторах метро, неся в железных полуавтоматических устройствах с программным управлением, в длинных поездах под землей и на земле...» и т. д.

Именно там, в сумасшедшей, многоли-

кой сутолоке большого города, на его площадях, проспектах и скверах, в переулках Арбата и Замоскворечья, на Шаболовке и Даниловке, в районах новостроек, страдают и радуются, любят и ненавидят, плачут и смеются нынешние герои и героини Семенова. Там они живут.

Семеновские рассказы — это прежде всего рассказы-судьбы. Возьмите «Птичий рынок», где речь идет о «бесконечно красивой» женщине с романтическим именем Пальмира, мечтавшей когда-то выйти замуж за морского офицера, но вместо этого торгующей на Птичьем рынке вместе со своим мрачноватым мужем-торговцем. Здесь, в небольшом рассказе, видна целая судьба, виден весь жизненный круг: от старого милого московского дворика, овсянного сладкой дымкой воспоминаний, от первых чистых поцелуев на скамейке и гриновской мечты об отважном моряке до равнодушного взгляда на покупателей из-под лисьей шапки и далеко не романтического мужа, который тут же рядом алчно выхватывает из рук покупателей копейки и рубли.

Или взять историю Васи Мухарева (рассказ «Неволенка»), «обормота», человека никчемного, никому не нужного, но страдающего от своей ненужности, всегда готового услужить людям, сбежать там за бутылкой или случай какой-нибудь рассказать «из жизни», чтобы повеселить компанию. От него отмахиваются, как от мухи (о говорящих фамилиях героев Семенова писали уже не раз!). А он знай свое твердит: «Ох, люди, люди, жалко мне вас, ей-богу». Но жалко-то Васе Мухареву себя...

Рассказ «Без шума и пыли» также вместил целую жизнь. Некто по фамилии Рогов, в прошлом значительный, судя по всему, чиновник, упивавшийся когда-то своей властью над людьми и полагавший, что делает какое-то важное дело, теперь, на старости лет, тоскует, оказавшись в одиночестве. И время для него «идет так медленно и так утомляет его, что Рогову кажется иной раз, что оно очень шершавое на ощупь и этой шершавостью трет и царапает его душу, протаскиваясь сквозь нее».

Таким чувственным, предметным, почти болезненным осязанием времени отличался в современной прозе, пожалуй, только Ю. Трифонов. Мысль о бездарно прожитой жизни рано или поздно настигает иных героев Семенова, и если Вася Мухарев в такие горестные минуты просто-напросто напивается и винит в своих несчастьях кого угодно и что угодно, только не

себя, то Игорь Сергеевич из рассказа «Утренние слезы», человек вроде бы интеллигентный и неглупый, в исступлении кричит: «Я самый страшный хищник, потому что жру свое собственное время, опущенное мне природой. Жру, жую, чавкаю! Рву на куски душу какими-то случайными мыслями, которые проходят бесследно и о которых я толком не помню ничего, не могу сказать, зачем они». В этих словах — предчувствие расплаты. Игорь Сергеевич вынужден расплачиваться за свое безволие, за ошибки и легкомыслие так же, как расплачиваются Рогов, Вася Мухарев, Пальмира.

Георгий Семенов как-то сказал, что он пишет не о любви, как полагают некоторые, а об ошибках любви, и вообще, дескать, «литература и есть теория человеческих ошибок». «Теория ошибок»... Но само Семенов по складу своему не теоретик вовсе. Скорее практик, эмпирик, умеющий тонко улавливать оттенки чувств и ощущений. Есть в нем обостренная способность к контакту, к художественному общению с любым персонажем, будь то удачливый ревизор-ловелас из областного аптекоуправления Шаблонов (рассказ «Иглоукальвание») или одинокая несчастная старушка Анна Степановна Богдашкина из забытой богом и людьми деревни Томилинки («Игра в колечко»), юная «звезда английской школы» Катенька Зямлина или «счастливая женщина» Мария Александровна Хуторкова, жена художника-неудачника и мать троих детей («Игра воображения»).

Писатель легко вбирает в себя их судьбы, их неповторимые характеры, их запутанные с окружающими людьми отношения, в которых он не всегда может точно указать читателю, где там любовь и где ненависть, где нежность и где жестокость, где свет и где тьма. Поэтому часто герои рассказов Семенова предстают перед нами нравственно растерянными и способными на самые непредвиденные движения души и поступки. И тогда получается не теория, а нечто вроде коллекции человеческих ошибок. И в рассказах появляется что-то инфернальное, с запахом серы, приоткрывается некое вселенское око, по спинкам героев пробегает «мистический холодок», а в душах просыпается «безрассудство беса», которое они пытаются усмирить с помощью холодного рассудка. Иногда им это удается, иногда же «неугомонный бес» их обманывает, подталкивает под руку, хихикает за левым плечом, и они совершают невероятные, безрассудные поступки-ошибки.

Так происходит, например, с Ирочкой Гриньковой в рассказе «Бесова нога» и с Ледиком Ландышевым, героем рассказа «Непротекаемый». Сумасбродная, взбалмошная Ирочка с выражением «затаенного до поры соблазнительного безумства» в глазах, кажется, и родилась-то на свет лишь для того, чтобы вдоволь насмеяться, попить вина, потанцевать, подурочить мужчин. А мудрый и осторожный Ледик Ландышев «никогда и ничего в своей жизни не делал без ума». Что может быть у них общего?

Ирочке Гриньковой, «бесовой ноге», не сидится на месте, она убегает из дому, оставляет мужа, летит на Кавказ, чтобы хоть на «две недельки», но потерять голову, плюнуть на все и освободиться, почувствовать вкус бесшабашной жизни...

Как булгаковская Маргарита по небу, мчится Ирочка по горным дорогам Кавказа, душа ее полна восторга. Вот он, вожденный миг счастья. Но, увы, один лишь миг, а все остальное — опять разбитые иллюзии. Глухой курортный роман с человеком по прозвищу Золотой, тягучим и липким, как ликер, прошел, осталась тоска в Ирочкином сердце и такое ощущение, будто ее выбросили по пути в рай, куда она так стремилась. Необратимое время представляется ей сейчас в образе «дикого ненасытного зверя, на которого она нечаянно посмотрела в упор» (вспомните излияния Игоря Сергеевича). Ошибка, опять ошибка! Черт попутал! Впрочем, сквозь беспомощные слезы Ирочка выкрикивает и такие слова: «У меня своя жизнь, понимаете... Я так хочу... И вот... живу так... А вы все равно ничего не понимаете в моей жизни и не поймете. Ну что вы можете мне сказать? Господи! Что?! Пожалеть пришли, да?.. А того не понимаете, что это я вас должна жалеть. Да, я! Не вы меня, а я вас...»

А кто нуждается в жалости и сочувствии больше, чем сама Ирочка? Жалки и ничтожны, оказывается, все те, кто живет механически, «по правилам», в раз и навсегда установленном, изо дня в день повторяющемся и скучном ритме, жалки те, кто обитает в «мирке укороченных чувств».

Представление о «мирке укороченных чувств» сложилось у Г. Семенова еще в романе «Вольная натаска», выразив раздумья писателя о мучительном несопадении, разрыве естественных, подсознательных устремлений личности и общепринятых норм и стандартов поведения. Вольная натаска, как мы помним, — это особый способ обучения охотничьей собаки: сначала молодому гончелу псу дают вволю набегаться, а

затем жестоко умирляют его горячность и страсть.

Таков Ледик Ландышев, дрессированный, «укороченный» в чувствах, «непротекаемый кораблик», скользящий по житейскому морю по всем правилам предосторожности и безопасности скольжения. Ледик сам очертил круг, спасающий его от риска, от соблазна, от «нечистой силы». Он в отличие от Ирочки Гриньковой осторожен и благоумерен в своих чувствах и поступках. Но тем не менее его фигура, его лицо, похожее на мертвую гипсовую маску, непременно возникает лишь в самых страшных, фантастических снах-воспоминаниях героя-повествователя. Ледик Ландышев оказался не властен над своей жизнью, и в нее вмешался неумолимый рок. «Чужой ребенок, загульная жена...» Это конец еще одной судьбы. Финита. Каждый получает то, что ему уготовано жизнью, — и Ирочка Гринькова и Ледик Ландышев.

Здесь видна боль писателя, тревога за человека. Неужели не дано тому вырваться из замкнутого круга своей судьбы? Прикоснуться к иной, лучшей жизни? Ведь был же, был, например, Красков, герой всем забывшегося рассказа «Фригийские васильки», который долго искал истину в «образе какой-то яростной свободы души и тела» и наконец нашел ее, пусть мимолетно, но испытал, вкусил, глотнул этой истинно-счастья. Но больно и грустно оттого, что его так призрачно мало, этого счастья, так редко и неуловимо оно, а жизнь столь коротка и человек «грызет» свое время, пожирает его, так и не дожив до счастья...

Смириться с фатальной предопределенностью человеческого существования Семенов внутренне не может. И поддерживают его в этом, как часто бывало в русской литературе, женщины.

Если вы будете искать так называемый образ женщины в сегодняшней прозе, то никак не обойдете книги Георгия Семенова. Дина Простякова из повести «Уличные фонари», Верочка Воркуева из «Вольной натаски», героиня рассказа «Святая» — это те, что были раньше, а теперь Пальмира и Ирочка Гринькова, Зиночка («Утренние слезы»), Люся («Без шума и пыли»), Сашенька Павлюкова («Иглуокальвание») и другие милые, очаровательные, интеллигентные, легкомысленные, расчетливые, несчастные, любящие, страдающие, разные, не похожие друг на друга молодые женщины. Все они привлекают, интригуют, манят, они для Семенова — существа загадочные и прекрасные. И на эту бунинскую возвышенную и непреходящую влюбленность автора его

героини отвечают взаимностью, они удаются писателю, они открывают ему «печальные свои тайны».

Стремление к счастью, к гармонии, естественные, вольные порывы души в рассказах Г. Семенова особенно характерны для героинь; в них таится великая энергия любви, взламывающая привычное, устоявшееся равнодушие к жизни, сдвигающая с места «мирок укороченных чувств».

Г. Семенов близок к постижению идеала, когда видит перед собой женщину, обладающую «удивительной и редкой способностью тихо радоваться на людях своему загадочному и непонятному счастью, кото-

рым переполнена вся ее душа и которым она готова словно бы поделиться с каждым, кто только попросит у нее этого счастья». В этой женщине, в ее душе и видит писатель то «маленькое чудо, которым можно только восхищаться». И уже не таинственно-сказочная, нереальная лесная поляна, не загадочное вселенское око, а живой человек, его «запутанная простота» и вместе с тем его внутренняя красота, доброта и любовь дают писателю духовную опору, поддерживают его горячую веру в возможность человеческого счастья.

А. МИХАЙЛОВ.



СМЫСЛА ЖИВАЯ ОСНОВА

Леонард Лавлинский. Струги. Стихотворения и поэмы. М. «Молодая гвардия». 1982. 95 стр.

«На свете странного немало...» Так, кажется, пелось в одной довоенной песне. Во всяком случае, творческая судьба поэта и критика Леонарда Лавлинского весьма парадоксальна и стоит несколько особняком в текущем процессе современной поэзии.

В самом деле, для того чтобы написать целый ряд примечательных стихов, поэм и книг, Лавлинский начал с кропотливого анализа творчества своих талантливых современников: Л. Мартынова, Я. Смелякова, Е. Винокурова, А. Межирова и других.

У одного он научился историзму, придающему стихам объемную достоверность. Другой подсказал волнующий эстетизм конкретной детали, красоту неизящного слова и метафоры, указал на нестандартность эпитета, на философический смысл звучания взаимодействующих слов. Однако тот, кто знает Л. Лавлинского с юности, подтвердит, что весь его жизненный путь всегда был устремлен к поэзии и только предельная требовательность к своей работе мешала публикации первых стихов.

Но подлинность поэта определяется все-таки не только приметам его ремесла и техническими приемами, сколь ни совершенны бы они были, а более — подлинностью лирического героя.

И, может быть, тот, первый жанр — критика, с которым автор пришел в литературу, и помог ему осознать главным своим

лирическим героем анализирующую, ищущую и страдающую человеческую мысль. Именно для прояснения ее и совершается вся многотрудная работа чувства и сознания.

Сборник называется «Струги», и стихи в нем похожи на эти боевые казачьи лодки своей живописной затейливой резьбой, своим строгим предназначением и во многом географическим и этнографическим кругом тем и метафор.

И все время даже в лирико-философском стихотворении присутствует эпика.

Дружинный меч, тяжелый кистолом,
Что стал грухой невоскресимо ржавой,
Спокойно спит в музее под стеклом:
Он не в долгу перед своей державой.

Святой земли исконный старожил,
Заточенный на совесть перед битвой,
Для ратника и зеркалом и бритвой
Он мог служить. Но доблести служил.

Его посмертно выронил хозяин,
Чей лик увековечил богомаз,
Но, вглядываясь в свет иконных глаз,
Кого из двух теперь мы глубже знаем?

В основе поэтики Леонарда Лавлинского лежит знание. Знание географии эпохи и места действия. Знание примет времени и примет быта. Знание методов анализа и способов и приемов пейзажной и событийной живописи.

Отсюда так привлекателен и разнообразен формальный поиск автора.

Посмотрите, насколько диалектично, серьезно и свежо стихотворение «Князь». С поразительными по простоте и глубине последними строками...

Жил-поживал,
Тверь прижимал.

С прочих соседей
Драл по куску,
В царстве медведей
Строил Москву.

Кому святой,
А кому — клятой
Родился Иванов —
Стал Калитой...

Пачкая руки,
Льстив и хитер,
Подзал на брюхе
В ханский шатер...

— Зря не басы,
Колокольная меды
На небеси
Не спеши загрометь.

Помни и то:
Грянешь и ты
Лет через сто —
Без Калиты...

Жил-поживал,
А внук пожинал.

Все эти достоинства присутствуют и в балладе (определение мое, автор называет жанр поэмой) «Соловецкий апостол». Особенно привлекает меня постоянная полемика поэта с воображаемым критиком, возможно, с самим собой, придающая поэме дополнительную широту и свободу.

Однако у избранного метода изображения и познания действительности через знание,

анализ и мысль есть изначально один существенный недостаток. Он лишен продуктивной иррациональности, интуитивной чувственности, так любимой читателем в поэзии, особенно когда дело касается акта уникального, зачастую невоспроизводимого и априорно неопределенного. Я имею в виду стихи о любви.

В книге «Струги» наряду с богатством изобразительным, с полемической мыслью, с нюансами техники и формы мы были вправе ожидать от автора и большей чувственной, лирической наполненности. Впечатление такое, что автор это умеет, но почему-то не хочет.

Вот пример почти есенинского звукового иррационального письма:

Прислонюсь устало
К меньшей из сосенок:
Ты о ком шептала
Выдумки спросонок?

...Я-то здесь прохожий,
До утра попутчик
Тишины пригожей,
Ветра и колючек.

Но почую словом,
Чья лесная шалость
К сумеркам лиловым
Смольно примешалась...

Тонкое, интуитивное и не прописанное до конца стихотворение. Хотелось бы пожелать автору большего поиска в этом направлении. Найдено многое, и отказываться от него не нужно — нужно развивать. Все-таки найденное — уже и частично пройденное.

Вл. КОСТРОВ.



ОБРЕТЕНИЕ ДОМА

Григор Тютюнник. Огонен далеко в степи. Рассказы и повести. М. «Молодая гвардия». 1982. 350 стр.

Ребенок и война, дитя, подросток на войне или где-то подле нее — мотив в русской литературе, может стать, и не первостепенный, но существенный, намечается он у Лермонтова в «Казачьей колыбельной песне», а у Льва Толстого в «Войне и мире» принимает характер эпический. Ребенок не только полноправное действующее лицо эпопеи, но порою и высший нравственный авторитет. Ребенок — то лучшее, что есть в каждом из героев Толстого, и нечто детское уж так или иначе всегда проявится в них.

В литературе о Великой Отечественной войне мотив этот вновь входит в стихи и прозу: «Девочка и солдат» Алексея Суркова, «Майор привез мальчишку на лафете...» К. Симонова, «Сын полка» Валентина Катаева. Повесть украинца Григора Тютюнника «Климко» мне представляется своеобразной вехой в давней-давней, устойчивой, сурово-нежной традиции: война и ребенок. Тут — предельный, крайний вариант традиции, печально обновленной войною: гибель ребенка.

Шел да шел донбасский школьник Климка за солью в город Славянск, соли мешочек добыл, а когда возвращался домой и уже подошел к знакомому переезду, «от переезда ударила длинная автоматная очередь. Климка толкнуло в грудь и обожгло так больно, остро, что перед глазами поплыли оранжевые пятна. Он впился пальцами в тужурку на груди, тихо ойкнул и упал. А из пробитого мешка тоненькой белой струйкой потекла на дорогу соль...».

Детей в повестях и рассказах Тютюнника много-много. «Огонек далеко в степи» — тоже о детях, о послевоенных уже, о ребятах-ремесленниках. Герои этой повести на несколько лет старше, чем погибший Климка; они такие, каким был бы Климка, если бы жив остался. И когда читаешь о них, возникает иллюзия, будто не был Климка убит или будто воскрес он и снова живет, влившись в стайку голодных серошинельных селянских хлопцев, каждый божий день шагающих из села в район, а потом обратно — из района в село: девять километров туда, девять километров обратно.

Жизнь выработала, а литература закрепила творческий канон мотива-традиции: коль скоро ребенок оказался в горниле войны, ему предстоит, во-первых, встреча с врагом, с «чужим» и, во-вторых, встреча с другом, со «своим», с покровителем. И тут начинаются скрытые парадоксы Тютюнника.

Климко — мальчик, оказавшийся на войне. Но не с лица войну видит он, а с изнанки: он из тех ребятшек, что оказались на оккупированной территории, и поход его за торбой, за мешочком заветной соли сулит ему невероятнейшие неожиданности.

Война вспоминается мне и, думаю, людям моего поколения как время великой нравственной ясности. Все, казалось бы, было понятно: это — свои, а это — чужие. Свои — в гимнастерках и в пилотках со звездочкой, чужие — в мундирах мышинового или коричневатого колера, в пилотках с хищным орлом. Внутри своих с меньшей ясностью, но все же бесспорно храбрый отличался от труса, романтик от циника, цельный от снедаемого колебаниями. Но так было для тех, кто смотрел на войну «отсюда», с нашей стороны. «Оттуда», из глубины земли, захваченной разноязыким стадом пришельцев, многое виделось по-другому.

Оккупация создавала особый мир, хаотичный, непостоянный, запутанный, неустойчивый. Начать с того, что она создала свой, особый язык — дикое месиво русского, польского, румынского, немецкого, итальянского; и будь я лингвистом, я улучил бы время заняться этим аргю, прекрасно, кста-

ти, воспроизведенным у Тютюнника: «Сольдато италяно... дать вам маркен... унд зи мюссен... лютте — молько, бурро — масло, формадзо — сир... Манджяре! Эссен! Есть!» Докатившись до Дебальцево и Хацапетовки, язык Петрарки и Леонардо претерпел, как нетрудно заметить, ряд любопытных изменений, обратясь в тарабарщину, отразившую, впрочем, какие-то закономерности оккупационного быта. Оккупанты оказались массой неоднородной, и при всей их железной организованности полчища их обладали классическими признаками орды, потому что в отличие от армии орда совмещает в себе и военные устремления, и мародерство, и торжище, и псевдоромантический авантюризм, и леший ее разберет что еще Воин неколебим. Ордынец же неустойчив даже в своих захватнических устремлениях: один прет напралом; другой, которого, как это часто бывает, в орду затащили обманом или силком, колеблется, и то и дело накатывают на него острые приступы гуманизма, ему совестно и переть напралом почему-то не хочется; третий же ордынец вообще отправляется на войну не сражаться, а чем-то разжиться. Встречается и такой, что запросто может сменять карабин, а то даже и пулемет на яйца и сало; так оно и бывало, и поди различи, где тут солдат, а где некий ходячий обменный пункт с довольно оригинальным ассортиментом товаров.

Не один раз описывали украинские базары тех лет: 1941-го, 1942-го, отчасти еще и 1943 года. И Тютюнник описывает: с захудалого базарчика на некоей станции Климка идет на другой, на большой базар, километров за двести. И уже у себя, возле дома вступает он в хаотичный мир оккупации. Торгует на базаре вроде бы свой, земляк; худого ничего он не делает, напротив того, благодетель он. А оборачивается так, что свой — никакой не свой: обнажился жутковатый тип кулака, куркуля, сладострастно глумящегося над теми, кто нищ и убог.

Не всяк свой — свой взаправду. А как с чужаками? Климка, замерзая на осенних дорогах, ночует в скирде. Мимо едет немецкий обоз (какая же орда без обоза? Движение орды по чужой земле уж обязательно должно сопутствовать конское ржание, скрип телег и повозок). От обоза отделился один солдат, потопал к скирде. «Он был уже пожилой, этот солдат, и, верно, шел к скирде, чтобы набрать соломы под свое хилое тело». Он обнаруживает Климка. Испуганно в него целится. Но кончается неожиданно хорошо: солдат-обозник, должно полагать словак, одарил Климка обрывком

плащ-палатки и горсточкой соли. «Затем набрал охапку соломы, еще раз оглянулся на Климка, покачал головой: «Война... война... Плохо...» — и пошел к коням...»

Выходит, и не всякий чужой всегда до конца чужой: орда будет некомплектна, ежели в составе ее не окажется хотя бы одного, пусть даже самого бесхитростного пацифиста, под агрессивные вопли ее вожаков скептически кряхтящего некую сермяжную правду, которая, выгодно отличаясь от неизменно витающего над ордой пропагандистского трепя, укладывается всего лишь в два слова: «война» и «плохо».

Классический покровитель ребенка на войне — воин, солдат родной армии (вспомним хотя бы произведения Суркова, Симонина, Катаева). Но в тех передрыгах и горестях, которые обрушились на Климка, родному солдату взяться просто-напросто неоткуда. И реальность подсказала украинскому писателю новацию: он открыл и закрепил за собой давно назревший вариант извечного сюжетного мотива — ребенку, попавшему в вихрь войны или пожинающему плоды ее горькие, покровительствует рабочий.

Просто-таки драгоценны два образа, созданные Тютюнником: дядя Климка, его воспитатель, пожилой машинист, а в повести «Огонек далеко в степи» — Федор Демидович Сноп, мастер-пензионер, рабочий-педагог, мудрец-чадолюбец. Тютюнник взглянул на рабочего человека глазами хлопчика малого, ожидающими, испытующими. А рабочего-виртуоза показал он не в окончательной стадии его великолепных умений, а на изначальных этапах творческой жизни. Мудрый наставник Федор Демидович — не заданный неписаной литнормой передовик производства. Может, он таковым окажется способен, но сейчас делает он... лопаты да примитивные молотки. Но как делает! Делает, вовлекая в сотворение (!) лопаты разнородную стайку голодных ребят послевоенного года, превращая делание лопаты в ряд постепенного разгадываемых секретов: лопату делают из снарядных гильз, и метафора «перековать мечи на орала» неожиданно претворяется в реальность некоего производственного процесса. Рабочий человек — дяденька, едва ли не дедушка Сноп — явлен как покровитель, заступник «малых сих», как их «учитель и батька».

Предел покровительства, высшее его проявление — спасение жизни. Климка побывал под покровительством и дяди-рабочего, и чудесной украинской женщины, подобравшей его, больного, на базаре в Славянске и встреченного им там же безногого инвали-

да-шахтера. Но маленький школьник и сам вечно покровительствует кому-то: своей учительнице, оказавшейся в лютой беде, девушке, над которой нависла угроза попасть в руки полицаяв. В повести о Климке есть и вовсе трогательный вариант мотива «ребенок — война»: у учительницы Климка родилась кроха, дочка, и ей, новорожденной, так же как и маме ее, покровительствуют и Климка и его приятель-одноклассник, татарин Зульфат. Все смещено, и в подобных смещениях своеобразие украинского писателя: ребенок покровительствует другому ребенку, вовсе уж крохе, и старшим он покровительствует. И погибнет Климка, покровительствуя. Увидел он, что по шпалам «бежит какой-то человек — босой, в солдатском галифе с развязанными тесемками и в гимнастерке без ремня». За ним — двое. В черном. «Один из них припал на колени и выстрелил. Бегущий вильнул в сторону.

И тогда Климка все понял.

— Туда, дядя, бегите! — закричал он, показывая рукой направо от себя. — Туда! Там балка!»

Тут и прошла мальчика автоматная очередь.

То, что случилось с Павлом из повести «Огонек...», было уже после войны. Но и здесь отголоски мотива «война и ребенок». Жил да жил украинский хлопец, подросток Павло, учился, девушка, конечно, подле него появилась. А потом обернулось так, что его понадобилось... убить: уголовники убирают случайных свидетелей. И характерно, что убить мальчишку задумал шофер-уголовник, которого ребятня прозывает «Фрицем». По чисто внешним признакам его так прозвали: фуражка, каскетка у него на манер немецкой, а так-то он вроде бы свой. Но свои у Тютюнника, как уже было видно, не всегда свои, и в шофере-уголовнике ребятня безошибочно угадала что-то от уже отгремевшей войны.

Григор Тютюнник был писателем-социологом; и социология в его новеллах и повестях как-то даже демонстративна. Писатель оказался в центре общественно-исторических сдвигов, происходивших, да и сейчас идущих на родной его Украине: индустриализация, урбанизация, превращение селянина в рабочего, связанные с этим надежды, радости, драмы, печали — все это есть у Тютюнника.

«Климка» — о детстве. «Огонек далеко в степи» — об отрочестве. А третья повесть — «День мой субботний» — о юности и молодости. Ее герой — селянин по рождению, по корням. Но был он и рабочим, был он сол-

датом, стал же интеллигентом: по образованию он — учитель истории, а служит в столице республики, видимо, в Обществе по охране памятников старины. Я не считал бы «День...» безусловной удачей писателя. «Климко» непосредственнее и душевнее. Здесь же тенденции социальной жизни республики избыточно наглядны и как бы выставлены напоказ; герой был: а) крестьянином, б) рабочим, в) солдатом, г) служащим. Да, конечно, он остается веселым и лукавым украинским парубком; он изобретателен, приветлив, беззащитен и нежен, но «а», «б», «в», «г» проглядывают сквозь него, делая его каким-то излишне правильным; все слишком уж видно: не то портрет, не то рентгеновский снимок.

Впрочем, рентгеноскопичность эту смягчает еще один традиционный мотив, виртуозно писателем развиваемый, — мотив и вовсе извечный: дом. Он варьируется в рассказах писателя, а в трех его повестях он просто-таки все увенчивает: дома крушат, рушат, из домов выгоняют, но рано или поздно дома возникают заново, отстраиваются: перемелется — мука будет!

«Комната моя... вовсе не моя. Я живу в ней как кукушка в чужом гнезде», — сокрушается герой «Дня...». Все в повести вертится вокруг проблемы, в печенках — прошу извинить вульгаризм — сидящей едва ли не у каждого из нас: баталия вокруг вожделенной жилплощади, квартиры или хотя бы захудаленькой комнаты (об этом целая литература имеется от Ильфа и Петрова до Юрия Трифонова: не заметили, как на баталиях за квадратные метры целая классика выросла!).

Молоденький выпускник истфака «крадучись проник в божественный, сухой и не очень запущенный уголок». В пустую, выморочную жилплощадь. Появляется печально известная всем нам фигура, тип по-своему исторический: управдом. Тщится выселить жильца-наглеца. Жилец саркастически советует ему пойти к историческому музею. Зачем? А там «пушки у входа» стоят. И новосел объясняет: «Так если даже вы притащите сорокапятку и заряженную поставите против двери, я все равно отсюда не уйду».

Относительно пушек-сорокапятков — это, разумеется, лишь черный юмор, но и в остротах, аккомпанирующих перепалке новосела и управдома, слышатся отголоски серьезных и неколебимых пристрастий писателя. Мой дом — моя крепость. Управдом,

понятное дело, палить в жильца из пушки не станет. Но в сарказмах героя повести — отзвуки чего-то печального, жуткого: убийству на войне ребенка предшествует или сопутствует разрушение дома.

«Тут есть твой дом?» — спрашивает у Климка обозник-солдат, показывая на копену соломы. «Нет, — покачал головой Климко. — Я тут только ночевал. Дома у меня нигде нет».

Герои Тютюнника тяготятся бездомностью, маются, но и вечно ладят себе дома из чего-то, наперебой изощряясь в искусстве обретения дома. Два-три месяца жизни Климка в оккупации — словно целая эпоха бездомной жизни. Оборудование дома из служебного помещения при затопленной шахте — целая история, простая и трогательная. Разрушен был дом героя «Огонька далеко в степи». И у живущего во вполне уже благополучное время героя «Дня...» тоже нет дома: вынужденная богема, комната, у двери которой он готов лечь костыми под разящими залпами управдомовской артиллерии.

Нет, кажется, такой разновидности дома, которая не была бы охвачена пристальным взглядом писателя. Разве только в пещерах герои его не жилали, да и то... Стог соломы, в котором уютно устраивается Климко, — разновидность пещеры. Далее — служебные конторы, общежития, бараки. Но: «...бомба попала и в барак, и его развалило» («Климко»). Хату «сбросило бомбой в речку» («Огонек далеко в степи»). В третьей повести бомбам свалиться неоткуда, но все же и там, пусть в виде мрачновато-шутливой реплики, проступает образ убитого, убиенного дома.

А есть орды, прущие в чужие дома: индустриализованные воруги-домушники. Есть управдом, тоже уголовник-ворюга, хотя и не такой откровенный, как «Фриц»-шофер: он всего-то лишь мзду вымогает у новосела. И есть всенародное домостроительство — акт отнюдь не бытовой только, но и глубоко духовный.

Герои Тютюнника — истинные украинцы хотя бы потому, что они домовиты. Домовитость для них — феномен мирозерцательный, не быть домовитыми, не идти к обретению дома они просто не могут.

Общему домостроительству нашему и служил безвременно ушедший из жизни писатель Григорий Тютюнник.

В. ТУРБИН.



К ВОПРОСУ О ПОДЛИННОСТИ ПРИТВОРСТВА

М а т и У н т. Осенний бал. Повести и роман. Перевод с эстонского С. Семененко. М. «Советский писатель», 1982. 320 стр.

Напускное безразличие к существу дела. Намеренное нанизывание на повествовательную нить всяческих нелепостей. Наигранный интерес к пустякам и посторонним сведениям... Обычно писательское ремесло нацелено на обратное — выдать надуманное за подлинное, придать всему наносному видимость органики. Тем и парадоксален случай Мати Унта, что он пытается поставить этот принцип общения с читателем на голову, не боясь обвинений в элементарном нарушении логики. Фабульной, образной, эмоциональной. Во имя чего он это делает? И всегда ли с должным эффектом? Не слишком ли он рационален в своем иррационализме?

Иронию еще со времен Аристотеля рассматривают как притворство. Одно можно с уверенностью констатировать: в данном случае это притворство достаточно серьезно, чтобы видеть в нем всего лишь забавную повествовательную манеру. Ведь оно тревожит читательскую душу не только своей откровенной демонстративностью, но и явственным привкусом житейской горечи.

Ничего подобного у Мати Унта раньше не было. Его первые вещи написаны без всяких иронических кавычек, как смысловых, так и эмоциональных. В его «наивном романе» двадцатилетней давности «Прощай, рыжий кот» люди и их отношения значили именно то, что значили, без какой-либо потаенной семантики или обратного знака в подтексте. Видимо, ирония стала для Мати Унта спасительным амортизатором. Слишком резким оказался для него скачок из царства юношеской простодушной описательности в царство взрослой беспощадной аналитичности. Стремительная смена наивного удивления перед жизнью трезвым ее пониманием, наверно, и породила эту прикрытую насмешкой печаль.

Передо мной сборник произведений Мати Унта «Осенний бал», включающий в себя помимо одноименного романа (1977) три предшествующие ему повести тоже 70-х годов: «Голый берег», «Маттиас и Кристина» и «Via regia» — все в отличном переводе С. Семененко. Да, это Мати Унт, решительно оторвавшийся от «молодежной прозы» 60-х годов, в русле которой он начинал, еще будучи школьником. Теперь он не мыслит себе Откровенности помимо Иронии. Под знаком такого двуединства, собствен-

но, и сложилась эта причудливая книга, сочетающая в себе щемящую исповедальность и бесшабашное озорство.

Уже с первых страниц «Голый берег» и завораживает и угнетает необходимостью разделить с героями повести их состояние неприкаянности, прожить с ними почти протокольно, час за часом, эти восемь дней в атмосфере какого-то нескончаемого выяснения отношений и неотступной рефлексии. Поездка на острова молодого писателя (от лица которого ведется рассказ) и его жены Хелины к их общему другу, да к тому же ее любовнику скрипачу Эдуарду могла бы трактоваться как драма ревности, если бы этим персонажам была действительно свойственна какая-то личностная стабильность. Однако их текучий, изменчивый, ускользающий от анализа внутренний облик лишен во всех трех случаях той самой доминанты, на основании которой можно было бы составить себе представление о данном характере.

Поэтика этой повести чем-то напоминает «поэтику сна». На фоне очевидной физической реальности совершаются очевидные несообразности, ничуть не удивляющие самих персонажей. Перед нами жизнь, насыщенная выразительными подробностями, но старательно очищенная от мотивировок. Сознание, занятое самоанализом, но обходящееся без побуждений. Отношения, ничем не обусловленные, кроме чисто рефлекторного автоматизма.

«Ох уж это привычное, дурацкое самобичевание! Это неадекватное поведение!» — справедливо говорит о себе герой-рассказчик. Одержимый самыми странными комплексами, наделенный болезненной впечатлительностью, чудовищной мнительностью, изнуряющей ассоциативностью, подверженный резким сменам настроения, он и сам томится своей жизнью, которую осужден рассматривать с пристальным безразличием. В сущности, перед нами особый тип художественного сознания, социально реактивного и в то же время социально рассеянного, блуждающего, не умеющего вписаться в нравственно-исторический контекст. «Повсюду мне видятся скрытые угрозы, апокалипсические предзнаменования, всякие архетипические символы. Однажды я даже сказал полушутя, что все преувеличивать — это моя профессия... что именно этими пре-

увеличениями и мистификациями я и зарабатываю на жизнь».

Не знаю, насколько убедительна любовная драма, рассказанная Мати Унто, и может ли по-настоящему взволновать то чувство душевной опустошенности и гнетущей заброшенности, которое испытывает его герой наедине с любимой женщиной. Но о неизбежно преследующей художника тоске и радости творческого одиночества он поведал нам сквозь этот любовный морок с подлинным драматизмом и явственной нотой сострадания к своему лирическому персонажу.

Так из сюжета с ироническим подзаголовком «любовная история» исподволь прорастает метафора глубинной темы повести: голый берег — белый лист... Бывают моменты, когда у художника возникает потребность ощутить себя как бы голым человеком на голой земле, для которого все в мире совершается впервые. То есть речь идет об участии человека, извечно нуждающегося в одиночестве, автономии, даже заброшенности, мучительной и благодетельной одновременно. О профессии, самим провидением обреченной либо на уединенную схиму, либо на бездушную схему. «Белый лист, белый берег...»

И еще тут слышится тоска по цельности, по синтезу, по всеохватному ощущению единства и значительности бытия. «Интересно, почему в одном миге заключено все, почему время, жизнь, воспоминания так сконцентрированы?» — задается герой мучительным вопросом в конце. Тем и трагична эта мятущаяся натура, что обрести цельность непосредственного мировосприятия ей не дано. И тот искомый взгляд на вещи, который вместил бы в себя разительные противоречия жизни — ее абсурдность и ее мудрость в их единстве, — именно этот взгляд героя заказан.

Я так подробно останавливаюсь на «Голом берегу» потому, что эта вещь, по-видимому, была для Мати Унта и переломной и программной. Во всяком случае, следующая повесть «Маттиас и Кристина» может рассматриваться как продолжение, развитие, а отчасти и повторение тематических и композиционных особенностей «Голого берега». Правда, дистанция между автором и героем здесь уже иная. Если в «Голом берегу» автор почти полностью идентифицировал изображенного им молодого писателя с собой, настолько, что даже переадресовал ему действительно появившиеся когда-то в эстонской печати высказывания критика Яака Ряхесоо о подстерегающих Мати Унта

опасностях («яллюзиорный сентиментализм» и «исполненное жалости к самому себе героизирование»), то в новой повести, написанной уже не от первого, а от третьего лица, герой отличается от автора и возрастом и профессией. Однако это не помешало Мати Унту рассказать о нелепых авантюрах двадцатитрехлетнего фотографа Маттиаса («...этот фантазер, этот не особенно приятный молодой человек») так, что порой трудно сказать, чьи же это все-таки навязчивые мысли, переживания, воспоминания, исторические реминисценции и воображаемые эскапады — героя или писателя, вызвавшего его к жизни.

Принцип иронической двойственности, заявленный в «Голом берегу», что называется от всего сердца, пронизывает «Маттиаса и Кристину» уже «установочно», почти лабораторно. Здесь тоже все спорит внутри себя, все осложнено взаимопревращениями противоположных начал, но уже не без предварительных «вычислений» и расчета на ожидаемый эффект. Если автор ощущает свои средства и методы фиксации действительности как нечто зыбкое (даже синтаксически), текучее, порой незаметно уводящее его далеко за пределы сюжета, то его герой, напротив, знает, что все запечатленное на его негативах уже неизменно в качестве свидетельств нынешнего бытия. И если подруга Маттиаса, студентка университета Кристина, предстает перед нами как заурядная современная девушка, то это не должно помешать нам видеть в ней или через нее любвеобильную и властную шведскую королеву Кристину и, таким образом, время от времени погружаться в седую старину.

Здесь тоже есть свой назойливо сопугствующий герою рефрен. Однако «музыкальная тема» Маттиаса определяется уже не затверженными шекспировскими строчками из «Сна в летнюю ночь» («Как будто тень, как будто сновиденье, как молния среди кромешной тьмы...»), ставшими в «Голом берегу» возвышенным и грустным символом безвозвратно промелькнувшей любви, а (соответственно личности молодого фотографа) куплетом из низкопробного шлягера о последнем рассвете и неизбежной казни: «Я вступаю под своды глухие. Для тебя, для тебя лишь, Мария...»

Но эта тема неотвратимости «рокового конца», по-видимому, лишь ироническое инобытие другой, прямо противоположной темы, которая, переплетаясь и споря с первой, пронизывает повесть, так сказать, в виде назойливой идеи самого автора. Вдѣ

предложенный им сумбурный сюжет изначально подчинен (как и в «Голом берегу») созданию такой психологической атмосферы, когда все можно «извинить сознанием, что мир еще непонятен, что мир сложен, он постоянно меняется, развивается, он загадочен, беспокоен, тревожен, полон противоречий», и не потому ли так хочется все начать сначала.

Как бы ни был обусловлен всеобщей причинностью порядок вещей, как бы ни барахтались персонажи «в данном времени, в данном повествовании», «в когтях данного банального поворота жизни», как бы ни были они подчинены «данной парадоксальной логике», «миллионы людей с удовольствием выскочили бы из объективных закономерностей», что они и стараются сделать в лице Маттиаса и Кристины. Очевидно, этой задаче и подчинены их дикие, ничем не мотивированные поступки, порой ошеломляющие своей подчеркнутой необязательностью, граничащей с авторским произволом.

Конечно, этот своеобразный бунт против якобы гнетущей человечество железной обусловленности нашего поведения несколько элементарен. И Мати Унт это сознает, а потому спешит заверить нас, что «только наивный и простодушный... способен выбрать единственно возможный путь и его придерживаться, а умный завтра все понимает иначе, чем сегодня, подобно тому как сегодня он все видит иначе, чем видел вчера, так что у него всегда есть возможность все начать сначала...». Собственно, на ироническом двуединстве вероятности и неизбежности («...все в самом деле было еще возможно, но все-таки было уже предрешено») и построена (для умных?) эта грустная, полная неожиданных ходов история, кончающаяся словами фатальной тоски: «Дул холодный ветер, с берез срывало капли воды, в хлеве мычала корова; откуда нам знать, что нас вечером ждет?»

В следующей повести Мати Унта, «Via regia», эта все-таки не на шутку пробравшая его диалектика случайности и необходимости переносится на подмостки театра, то есть в сферу искусства, где она снова приобретает проблемный характер, но уже не столько в плане этическом, сколько в плане эстетическом. Теперь спор писателя с самим собой идет и о природе поступка, и о природе сценического образа. Но в тех же категориях и тоже без четкого ответа на поставленный вопрос.

Многолетняя работа Мати Унта в качестве завлита (в частности, в знаменитом эс-

тонском театре «Ванемуйне» под руководством Каарела Ирда) тому способствовала. Главный герой повести, ассистент режиссера Иллимар,— молодой человек, всецело погруженный в искусство сцены, безгранично преданный своему руководителю Феликсу, а также идеям Арто и Брука. Предполагается, что эти имена произведут должное впечатление на читателя, впрочем, как и многие, многие другие, упомянутые в тексте этого весьма рафинированного повествования, ведущегося от имени друга Иллимара, некоего кандидата филологических наук, явно упоенного своей гуманитарной эрудицией. Он со вкусом оперирует фамилиями западных драматургов и режиссеров, психоаналитиков и культурологов (даже астрологов), тасует их в разных комбинациях и охотно цитирует, стремясь поведать об увлечениях своего друга.

Разумеется, за театральной одержимостью героя и интеллектуальным пижонством его друга таится и лукавая усмешка автора. Однако читателю следует отнестись к увлечениям Иллимара с достаточным вниманием, иначе он рискует упустить смысл этой иронии. Ведь она тем и привлекательна для Мати Унта, что позволяет его творческой мысли свободно парить над разными философскими построениями, модными нынче на Западе, и приглядываться к ним со скептическим, ни к чему не обязывающим интересом.

Явления самого разного порядка, такие, к примеру, как искусство и быт, как бы обмениваются в этой повести (впрочем, это характерно для всей книги) своими родовыми функциями. Другое дело, что вопрос соотношения сознательного и бессознательного, рационального и инстинктивного, волевого и произвольного в поведении человека, поставленный во всех трех повестях, остается открытым и тут. Больше того изощренные умствования Иллимара в результате приводят его к полному краху — от него уходит жена, а сам он попадает за решетку. Значит, он даже с точки зрения автора все-таки заблуждался? Похоже, что так... «Но заблуждения всегда человечны,— читаем мы тут же,— это выражение не содержит ни осуждения, ни извинения... Следовательно, опять неопределенность итсга.

А теперь о романе Мати Унта «Осенний бал». «Сцены из городской жизни», как сказано под заголовком. Здесь сохраняется примерно тот же угол зрения, та же ответственность авторских выводов. Различие установки почти неощутимо. В повестях

философский ракурс формулировался как соотношение случайности и закономерности. К роману правильнее будет приложить соотношение таких категорий, как вероятность и достоверность — в полном соответствии с названием книги современного французского математика Эмиля Бореля. Тем более что эпиграф из нее предпослан одной из глав романа.

В «Осеннем бале» узнаются многие логические и психологические ситуации, с которыми мы встречались у Мати Унта и раньше. Переключка сходных мотивов и настроений вообще отличает его произведения — каждое последующее из них как бы зарождалось в недрах предыдущих. Особенно много ростков будущих раздумий писателя находишь при возвратном чтении «Голого берега». Например, тезис: театр — это встреча, а игра приводит нас к самим себе — был бегло заявлен уже там. Так же как тема тщетной, ибо неутолимой, жажды любви, пронизывающая все дальнейшее творчество Мати Унта. Так же как типичное для его героев душевное состояние, связанное с болезненным ощущением хода времени: «Время то шло, то останавливалось, то снова страгивалось с места».

Да и в «Маттиасе и Кристине» многое подготавливало мотивы «Осеннего бала». В частности, это странное и тревожное, ибо неизвестно что сулящее стремление автора примерить на своих персонажей самые неожиданные повороты судьбы, предоставить им широкий диапазон случайных возможностей. И что еще более важно: уже там поднимался ставший тут ведущим разговор о некоммуникабельных, душевно разобщенных и внутренне потерянных людях, не понимающих ни друг друга, ни даже самих себя.

Со всеми этими и многими другими уже знакомыми читателю темами и мыслями, только в более концентрированном виде и в более условном преломлении, снова сталкивает нас «Осенний бал». Это пространное повествование охватывает шесть перемежающихся и почти автономных судеб, объединенных лишь местом действия — новым районом Таллина Мустамяз, где живет, кстати, и сам автор. Мустамяз и является здесь если не главным действующим лицом, то главным символом. Это какая-то небывалая, призрачная среда обитания, лишенная человечности и уюта, духа интимности и неповторимости. И потому люди здесь невольно утрачивают не только физические, но и нравственные ориентиры, приходят к разладу со своим «я», отчуждаются от

природы и от себе подобных. Словом, перед нами своеобразная модификация памятного нам по классике мотива «умышленного города».

Дома здесь на одно лицо, но люди в них живут разные.

Поэт, от которого ушла жена, — человек еще молодой, но, судя по всему, уважаемый коллегами, хотя стихи он пишет странные — о панельных стенах, о пункте приема стеклотары и т. д.

Старый парикмахер, случайно погибающий в конце романа под колесами автомобиля, а пока почему-то тратящий свой досуг на штудирование сведений по демографии и статистике, а также на разглядывание в подозрную трубу ночной жизни в соседних окнах.

Сорокалетний архитектор, причастный к проектированию Мустамяз, убежденный сторонник свободной застройки и прочих градостроительных новаций, тоже одержимый демографическими и статистическими увлечениями.

Тридцатитрехлетний швейцар третьеразрядного ресторана, парень с «дионисийскими замашками», умеющий подойти к любой женщине, да к тому же астролог-любитель, не чуждый парапсихологии.

Брошенная мужем тридцатилетняя телефонистка, целиком поглощенная иностранными телевизионными сериалами, в конце выходящая замуж за поэта — их пути в этом лабиринте случайно пересеклись.

И наконец, сынишка телефонистки, дошкольник, во время ее ночных дежурств предоставленный самому себе, а потому набум набирающий телефонные номера и с интересом спрашивающий у неведомых собеседников: «Вы кто?»

И эти случайные звонки в ночи, и случайные встречи швейцара с женщинами, и бытовые сценки, случайно возникающие в подозрной трубе парикмахера, и блуждания поэта, случайно застигнутого на улице ночным туманом, и завораживающие телефонистку случайности телевизионных сюжетов, и многие другие эпизоды говорят о неудовлетворенности жизнью и одиночестве этих людей. Но странное дело: почему-то нам их нисколько не жаль. В отличие, например, от героя «Голого берега» мы им нисколько не сочувствуем. Они могут вызвать с нашей стороны в лучшем случае удивление, в худшем — недоуменное пожимание плечами — настолько случайна и необязательна логика их «притворного» существования. А это уже грозит побочным

действием на восприимчивую читательскую душу — она подвергается незаметной интоксикации безучастностью к чужим горестям. Весьма ядовитой интоксикации...

Впечатление такое, что, создавая эти образы, Мати Унт в своем «притворстве» перешел некую границу эмоциональной подлинности, ибо сознательно вытравлял из персонажей романа все, что могло бы говорить о них как о характерах. Словно бы он последовательно заменял эту эстетическую категорию механической комбинацией самых неожиданных свойств и признаков. Словно бы он взял на себя роль демиурга, которому дано неограниченное право манипулировать их способностями и интересами. абсолютно ни с чем не считаясь. И даже подменять (в соответствии с идеями Э. Бореля) «слепой случай» его затейливыми имитациями.

Вот и получается, что, например, заранее запрограммированное автором уличное несчастье пришлось почему-то именно на парикмахера. Что парикмахеру же почему-то придана ссылка на «Планету мистера Сэмлера» — «высоколобый» роман Сола Беллоу, который наш старик, оказывается, читал (!). Как и «Голую обезьяну» Десмонда Морриса. Как и другие западные бестселлеры. Да и швейцар тоже запросто читает английские и немецкие труды по теософии, знаком с писаниями Фрейда и маркиза де Сада, к тому же сам готовит исследование «Мужчина и женщина». Я уж не говорю о поэте, чьи бессмысленные ссылки на литературные авторитеты порой превращают его в фигуру даже не комедийную, а фарсовую.

Тут, наверно, самое время заметить, что в романе Мати Унта причудливо соседствуют самые далекие и трудносовместимые средства типизации — от обычного бытописательства до явного литературного розыгрыша, от элегического раздумья до граничащего с вульгарностью гротеска. Автор то доверительно делится с нами своими сокровенными мыслями, то беззастенчиво морочит нам голову, безудержно заваливая текст сугробами «паразитарной информации».

Словом, Мати Унт ведет себя в романе так, будто он, подобно своему Иллимару, может быть с нами откровенен, лишь удовлетворяя собственную потребность в мистификациях. Будто без такой литературной игры ему не удастся стать самим собой. обрести необходимую искренность. Однако предлагаемые условия игры тоже случайны и непостоянны. То автор ограничивается иронией как стилистической краской, то

претендует на всеобъемлющий принцип иронического познания мира. Да и «обратные знаки» его притворства расставлены так, что порой вовсе не способствуют уяснению реального соотношения вещей, а лишь порождают интригующие «диалектические ловушки» и уводят мысль в область смысловых мнимостей. А кроме того, сообщают некоторым персонажам чужеродные в данном контексте пародийные черты. Мне, например, кажется, что образы поэта, парикмахера и швейцара не что иное, как шарж, откровенный шарж для посвященных. Что навязанные этим персонажам странности сладостны автору именно тем, что рассчитаны на опознание реальных прототипов. Поистине такая ирония «может жить лишь в блаженном состоянии наслаждения собою», как выразился когда-то Гегель. Момент иронического осмысления подменен тут ехидной радостью карикатуриста.

Несмотря на все бросающиеся в глаза излишества и нарочитости, «Осенний бал» в истоках своих продиктован нешуточной тревогой автора. Он обеспокоен живучестью обывательских навыков и мещанских страстей, владеющих обитателями новых кварталов. Но в еще большей степени его общественное беспокойство вызвано нравственными, психологическими и эстетическими издержками урбанизации современной жизни. Уже в самом начале романа читателю предлагается весьма выразительная метафора, которая многозначительно потом повторяется в середине и в конце повествования. Машинист тронувшегося тепловоза на мгновение соскочил на землю, с тем чтобы сразу вскочить обратно, но загнулся, и тепловоз, никем не управляемый, оказался за пределами депо, а потом, набирая скорость, вышел на главный путь и двинулся навстречу пассажирскому поезду.

С этим символом опасного ускорения неочеловеченной техники перекликается не менее многозначительный монолог поэта, тоскующего по своему приверженному духовности читателю, затерявшемуся где-то здесь, среди однообразного каменного пейзажа. «Где ты есть? — обратил он вопрос к анонимному улью, который уже не был ни деревней, ни городом и у которого не было уже ни малейшей надежды снова стать землей или городом. — Я с удовольствием выбрал бы одного из этой работающей однообразной массы, своего читателя, выбрал бы из упрямства, чтобы доказать вам, как бессмысленно похвалиться только количеством. Вам назло я предпочитаю индивидуальность, вам в отместку люблю отдельную

личность, вам, кто полагает, что говорить о стремлении к высшему духу есть идеализм, в лучшем случае ребячество. Неужели только ради этого материя через человека должна была дойти до самопознания?»

Опять бунт. На этот раз против нивелирующего догматизма, против всяческих упрощений в сфере культуры. Однако достигает ли здесь автор поставленной цели? Становится ли тем самым его роман повествованием философским? Боюсь, что нет. Ирония судьбы в данном случае сама сыграла с писателем злую штуку. Дело в том, что даже тот самый «индивидуальный» читатель, который у Мати Унта, несомненно, есть, уже приучен искать во всем им написанном другой смысл. Давно настроенный писателем на иронический лад, он отнесется к этому страстному манифесту во славу личности со скептической усмешкой бывшего участника литературных игр. Да и можно ли отнести к этому монологу иначе, если он вложен в уста персонажа, с самого начала взятого, так сказать, в иронические кавычки. Достаточно вспомнить стихи о панелях и стеклотаре, чтобы расценить монолог поэта как комическую условность.

Вполне вероятно, что когда-то, еще в «Голом берегу», Мати Унт обратился к ироническому остранению просто как к средству деканонизации любовного треугольника, чреватого банальностью, сентиментальностью, жалостью. Ведь там так нужно было спрятать стыдливость сердца! Однако иронический второй план неожиданно открыл ему необычное психологическое пространство, насыщенное остросовременными ассоциациями и многозначными метафорами, выводящими содержание повести далеко за пределы фабулы. Ирония, то есть «притворство», тем и соблазнительна, что она приглашает читателя отказаться от прямого понимания текста и провоцирует его собственную ассоциативную способ-

ность на проникновение в скрытый смысл событий.

В «Осеннем бале» этого не произошло. Иронический роман об издержках современного технического прогресса столкнулся на этот раз с издержками самой «иронизации» современной прозы. Всегда сверкающие правдой истинные ценности оказались тут измельченными. И потому роман стал чем-то вроде искусной, но лишенной страсти игры в бисер.

Наверно, в недалеком будущем эстонские критики объяснят нам, как так получилось, что в их литературе, где всегда были столь сильны традиции добротного «мужицкого» реализма, стала обозначаться и другая тенденция: появилась целая плеяда молодых писателей, ориентированных в своих средствах выражения на условность и фантастику, на мистификации и сновидения, на гротеск и парадокс, на гиперболу и пародию.

Будь Мати Унт в этом смысле одинок, легче легкого было бы списать подобные его «экстравагантности» на некоторую литературную избалованность, на увлечение молодого филолога Джойсом, Фришем и Дюрренматтом, которых он, как ни странно, ни разу не упоминает в своей книге, не говоря уж о Кафке, Беккете и Элиоте, которых он упоминает достаточно привычно и непринужденно.

Но в том-то и дело, что по этому пути в современной эстонской литературе идут и другие обратившие на себя внимание несомненно одаренные писатели. И немного постарше Мати Унта, такие, как А. Валтон, Э. Ветемаа и Р. Салури. И его ровесники такие, как Т. Каллас и Т. Винт. И даже более молодые, такие, как Я. Йьерюйт и Мари Саат. И тут есть над чем подумать.

Но это уже другой разговор.

Б. РУНИН.



«КОПНИ ПОГЛУБЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ...»

Уильям Голдинг. «Шпиль» и другие повести. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1981. 448 стр.

Айрис Мэрдок. Море, море. Роман. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1982. 526 стр.

Грэм Грин. Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой. Перевод с английского. «Иностранная литература», 1982, № 6.

Для того, чтобы стать морально-добрым человеком, еще недостаточно безостановочно развивать то зерно добра, которое заложено в нашем роде, но надо бороться и с противодействующими причинами зла, находящимися в нас.

И. Кант.

У каждого из них в литературе свой маршрут. Грин всегда испытывал тяготение к политической злободневности. Мэрдок — к рафинированному и отчасти умозрительному интеллектуализму. Голдинг — к общепрофессиональным проблемам «кудела человеческого». Разительное несходство их художественного мышления проявилось и в книгах, к которым мы сейчас обращаемся.

И все же при всем их тематическом, жанровом и стилевом отличии точка соприкосновения, какая-то общая нота у них есть. Грин, Голдинг и Мэрдок принадлежат к тому достаточно редкому в наше время типу писателей, которых издавна называли моралистами, исследователями человеческих нравов, врачевателями пороков человеческой души. Все трое вот уже на протяжении не одного десятилетия вновь и вновь возвращаются в своих книгах к анализу нравственной природы современного западного общества. Не исключение и эти появившиеся на русском языке произведения. В целом они создают емкую обобщающую картину морального самочувствия, а точнее моральных недугов, сегодняшней буржуазной интеллигенции.

Три повести Голдинга образуют своего рода триптих, каждая часть которого варьирует коронную голдинговскую тему внутренней разорванности, болезненной противоречивости души человеческой, мятущейся между жадой добра и искусом зла. Едва ли не шекспировским по масштабу замыслом дать всеобъемлющий ответ на «последние вопросы» человеческого бытия проникнут «Повелитель мух» — книга, которой дебютировал писатель и которая принесла ему всемирную славу. Необитаемый остров, куда после авиационной катастрофы попадает группа английских мальчиков, — это не просто затерянный в океане клочок земли, где «нет ни единого взрослого». Это еще и модель Эдема, земного рая, потерянного детьми (людьми!) из-за их неспособности жить в согласии и мире, совместно. А создатель этого микрораи, словно естест-

воиспытатель, внимательно наблюдает за поведением своих подопытных, шаг за шагом делая неожиданные открытия... Выясняется, например, что дети вопреки убеждениям Руссо и его многочисленных последователей — это взрослые в миниатюре, плоть от плоти того общества, в котором они родились и выросли. Весь ход их мышления, все их привычки отвечают строгим предписаниям кодекса «цивилизованного» поведения. И по мере того как детские души очищаются от цивилизации, они приходят к «естественному состоянию», увя, слишком далекому от того, какое рисовалось в просветительских и романтических утопиях. Процесс децивилизации детей протекает у Голдинга с разной скоростью и, главное, под воздействием разных побудительных причин. Самостоятельно, быстрее и легче других освобождаются от пут цивилизации Джек и Роджер, в которых просыпается «зверь» — животные инстинкты, жажда крови, насилия и убийства. Приобщая слабых малышей к культуре «зверя», они постепенно превращают почти всех обитателей детского поселения в орду запуганных и послушных охотников...

«Повелителя мух» нередко читают как скорбный реквием по человеку, видя в этой повести выражение беспросветного пессимизма автора. Но так ли это? В самом деле, позиция Голдинга далека от прекрасодушного оптимизма просветительской этики. Голдинг отказывается безоговорочно признать человека существом от природы добрым. Но он далек и от человеконенавистнической, антигуманистической этики модернизма.

Автор «Повелителя мух» показывает, что от природы человек не добр и не зол. Естественный человек стоит как бы по ту сторону морали — таков вывод ведущего заочную полемику с руссоизмом Голдинга. Не «Повелитель мух» — не только мрачная насмешка над наивной арифметикой руссоистской этики, выведившей формулу человеческой природы при помощи неслож-

ной операции «плюс-минус цивилизация», но еще и удар по опасной, по мнению писателя, иллюзии о врожденной, как бы автоматической склонности человека к морально-доброму. Голдинг призывает не закрывать глаза на противодействующие силы зла. Идея «человек от природы добр», считает Голдинг, фактически утверждает этическую безответственность человека, в то время как источник морального зла, по его мнению, находится не в дурных условиях человеческой жизни, а в самом человеке, несущем полную моральную ответственность за содеянное им зло. Пафос «Повелителя мух» — в утверждении гуманизирующей роли морали, налагающей свои оковы на «зверя» и становящейся единственной надежной защитой «человека разумного» (или, что для Голдинга то же самое, «человека морального») в его битве с самим собой, в его противоборстве с разрушительными для него силами зла.

Заявленная в первой повести Голдинга тема находит дальнейшее развитие в «Наследниках». Обычно здесь видят спор Голдинга с позитивистской концепцией исторического прогресса как поступательного движения «все выше и выше». Но художественная логика этой повести позволяет прочитать ее не только как притчу о противоречиях и негативных сторонах исторического развития человечества. В «Наследниках» нетрудно увидеть написанную в духе «археологических» романов Ж. Рони-старшего вариацию на стандартную для романтической литературы тему морального преимущества «варварства» над «цивилизацией» (тут сразу же придут на ум знаменитые «Тайпи» и «Марди» Г. Мелвилла). Но в таком случае закономерно может возникнуть вопрос: если повесть рассказывает об уничтожении племени «добрых» неандертальцев «злым» племенем «людей разумных», не значит ли это, что Голдинг, изменив почему-то своему антирусоизму, провозглашает в «Наследниках» по меньшей мере странную и даже реакционную идею превосходства обезьянолюдей над... современным человеком?! К подобному выводу, впрочем, можно прийти только в том случае, если забыть, что Голдинг — прежде всего писатель-моралист и что, ставя свой очередной эксперимент по изучению природы человека, он в первую очередь интересуется этическими аспектами человеческого бытия. Итак, какие же силы сталкиваются в «Наследниках»? Два племени, стоящие на разных ступенях исторического развития, вступают в единоборство. И по закону борьбы за существование сильное племя наследников побеждает

своих слабых прародичей. Но по сути тут происходит то же, что и в «Повелителе мух», — сшибка двух систем морали, вообще двух ценностных систем: «гуманной» («цивилизованной») и «звериной». В повести с поразительной реалистической убедительностью воссоздана психология первобытного сознания, до мельчайших подробностей реконструирован быт наших далеких предков — словом, все декорации доисторической эпохи выполнены рукой талантливого художника. Но вот то, что в этих декорациях происходит, похоже больше на мистификацию. Дело в том, что «Наследники» — такой же литературный эксперимент, как и «Повелитель мух», и тут Голдинг тоже исследует «лабораторным путем» моральную природу человека.

Связывающие членов неандертальской семьи нити — это не только условие социальной сплоченности первобытного коллектива, но и залог его нравственного здоровья. «Люди смеялись», — снова и снова настойчиво подчеркивает Голдинг то состояние светлой радости и дружелюбия в маленьком племени, которому неведомо звериное чувство взаимной вражды и отчужденности. Наследников Голдинг изображает совсем по-другому. Это озлобленные, ожесточившиеся существа, познавшие «тьму мира», приобщившиеся к кровавому ритуалу убийства и воспитавшие в себе привычку оправдывать любые свои злодеяния воздействием «дурных» внешних сил, научившиеся снимать с себя моральную ответственность за кровопролитие... Не парадокс ли, что носители гуманной морали оказываются (разумеется, по воле Голдинга, а не по логике антропогенеза) звероподобные неандертальцы, а носителями морального зла их наследники! Повести предпослан эпиграф — выдержка из «Очерка истории» Г. Уэллса, где цитируются слова известного английского ученого-позитивиста Г. Джонстона о неандертальцах как о «гориллоподобных чудиках... с канибальскими вкусами». Это еще один способ ввести в заблуждение читателя, заставить его поверить в то, что Голдинг совершает переоценку концепций исторического прогресса. Мистификатора Голдинга вовсе не интересует историческая истина (в том числе и та бесспорная, что содержится в суждении сэра Джонстона). Писатель ее попросту игнорирует — и создает свою эпоху верхнего палеолита. И если за декорациями первобытной древности рассмотреть моралистическую аллегорию «всех времен» человечества, то тогда станет ясно, что в конечном счете в повести идет речь не о вражде неандер-

тальцев и «людей разумных», а о непримиримой борьбе гуманизма и нравственного каннибализма.

«Шпиль» — тоже притча о нравственном каннибализме. Здесь тьма человеческого сердца представлена эгоистическим своеволием, незаметно перерастающим в жестокий произвол, в фанатичную преданность замыслу, в жертву которому приносится человеческая жизнь. Дерзостный замысел увенчать главу провинциального собора гигантским шпилем становится для отца Джослина смыслом его существования, его маниакальной идеей. Собор, над которым медленно растет каменная игла, не только застит ему взор, но и загмевает его душу. «Какова бы ни была цена, я пожертвую всем... Я должен свершить великое дело. Дело! Дело!» — восклицает настоятель собора, ослепленный своей идеей. И люди перестают для слепца Джослина быть божьими тварями, а уподобляются камню, цементу, гвоздям, превращаясь в строительный материал, из коего создается «Джослиново безумство», как называют собор в округе. Перестройку собора можно рассматривать — и Голдинг неоднократно на эту возможность намекает — как аллгорию «социальной архитектуры». Так строительство пирамид в Древнем Египте было не только фактом архитектурного искусства. Исполнинские пирамиды, возводившиеся на костях рабов, становились зримым доказательством ничтожности человека перед богоподобным фараоном. В «Шпиле» тоже идет возведение пирамиды, должной стать символом несокрушимости воли отца Джослина, его слепой власти над людьми. Потому «Шпиль» можно прочитать и как притчу о строительстве не ради человека, а из человека. Не случайно в самом начале повести возникает символический образ собора, который возрос над «бесчувственным телом, распростертым на спине», собора, раздавившего человека. Слишком поздно постиг Джослин, что он всю жизнь был поглощен суетой... «Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть». Слишком поздно наступило прозрение — лишь после того, как был достроен собор, — ценой бессмысленной гибели многих его строителей. Ценой предательства, обмана и низости, которые совершал во имя «великого дела» отец Джослин...

Словно продолжение голдинговского «Шпиля» воспринимается «Море, море» Мэрдок — «исповедь себялюбца», как называет этот роман-дневник его вымышленный автор, удалившийся от дел знаменитый

театральный режиссер Чарльз Эрроуби. «Море, море» — тоже история о душевном ослеплении человека, об эгоистическом отказе вершить над собой нравственный суд, о склонности обольщаться иллюзией моральной своей правоты. Весь роман пронизывает мотив слепоты, мрака, параллельно с которым возникает то явно, то скрыто символический образ пещеры, заставляющий вспомнить знаменитый миф Платона. Люди, писал античный философ, заточены в пещере, куда сквозь небольшое отверстие сверху проникает наружный свет. Скованные по рукам и ногам, люди видят на стенах пещеры причудливые тени, отбрасываемые мерцанием далекого света, и воображают, будто видят реальные предметы, меж тем как их взору предстают лишь смутные подобия их. Платоновские иллюзии (а Мэрдок — горячая поклонница Платона) спрятаны в тексте романа, но внимательный читатель не может не обратить внимания, скажем, на такое многозначительное признание Чарльза Эрроуби: «С тех пор как я начал писать эту книгу, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колоды — может быть, из внешнего мира...» Как и голдингский отец Джослин, мэрдокский Чарльз Эрроуби слеп душевно. Он блуждает на ощупь во мраке своей «пещеры» и упрямо отказывается видеть неискаженный облик реальности, подменяя его тусклыми обликами придуманного им самим мира. «Жизнь — театр» — на этой шекспировской метафоре он возвел здание своей жизни, своих моральных принципов. «Моя пещера» — так называет Чарльз свою угрюмую виллу, примостившуюся на скале над бушующим морем. Но «пещера» — это и обьятая мраком душа Чарльза Эрроуби, непроницаемая для света других человеческих душ, которые для него существуют лишь постольку, поскольку он допускает их на подмости своей жизни и использует как материал для воплощения своего режиссерского замысла.

В небольшой приморской деревушке, где поселился Чарльз Эрроуби, он ставит очередной, может быть последний, спектакль своей жизни. Сюжет придуманной им на этот раз пьесы несложен. Две главные роли здесь достались ему самому (как всегда!) и Хартли Смит — той, которую он был влюблен в далекой юности и которую после сорокалетней разлуки случайно встретил (уже как миссис Фич) близ своей виллы. Пожилая усталая женщина становится еще одной тенью на тусклых стенах его «пеще-

ры — тенью, породившей тени других иллюзий. Вспоминал ли Чарльз Эрроуби о Хартли все эти сорок лет? Точно ответить он не может, но легко внушает себе, что помнил и любил ее всегда. Любит ли она его до сих пор? Да, внушает он себе, она тоже любила его всегда. Она сорок лет замужем? Пустяки — Эрроуби внушает себе, что ее брак несчастен и что он должен «вывести ее из тюрьмы». Тут, как и в «Шпиле», заявляет о себе эгоистический произвол, направляемый слепой идеей — добыть Хартли. Как и Джослин, Чарльз Эрроуби готов добиться своего любой ценой. В ход пушены шантаж, обман, грубое насилие. Залучив Хартли в свою «пещеру», он делает ее своей узницей, сажая под замок. Наконец-то она спасена из «домашней тюрьмы»... Итак, победа? Режиссерская воля к власти опять победила? Нет, спектакль не окончен, но по ходу режиссер теряет нити... В финале романа этот театр рушится, разлетается на куски «пещера», исчезают тени обманчивых вымыслов.

«Копни поглубже человеческую природу, и что найдешь на дне? Подленький, злобный, жестокий самоохранный страх...» — уверяет Чарльза один из его постоянных актеров, Перегрин Арбеллоу, и... разгадывает загадку человеческой природы самого режиссера. Это в нем, Чарльзе Эрроуби, копошился всю жизнь «подленький самоохранный страх» потерять свою личную независимость и волю повелевать чужими судьбами. Страх, который обрел его на какое-то каиново одиночество — бездомную кочевую жизнь человека, у которого «нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев». Страх, который привел его в конце концов к мучительному осознанию своего «непоправимого морального крушения».

Если в «Море, море» мы были свидетелями напряженной психологической драмы, то в «Докторе Фишере...» Грэма Грина перед нами разыгрывается своего рода фарс. Врачный фарс. Доктор Фишер, владелец процветающей швейцарской фирмы по производству зубной пасты, регулярно устраивает у себя пышные приемы, на которые приглашает очень богатых гостей. Голиудский плебей Ричард Дир, дивизионный генерал Крюгер, специалист по международному праву Кипс, налоговый инспектор Зельмон, двоя американка миссис Монголери — все они походят на персонажей современной комедии дель арте, олицетворяющих различные слои буржуазного общества. А во главе стола восседает сам доктор Фишер. В продолжение всего вечера он без-

жалостно издевается над своими гостями, которые терпеливо сносят самые оскорбительные для них выходки хозяина. Своеобразная компенсация за эти оскорбления — дорогие подарки, ожидающие гостей после десерта.

Словом, ситуация заведомо неправдоподобная, почти сказочная, и, как всякая сказка, повесть Грина имеет иносказательный смысл. Ведь что такое ужины у доктора Фишера? Сам он объясняет так: «Я изучаю жадность богачей... Я хочу выяснить, есть ли предел жадности у наших богатых друзей». «Исследование», предпринятое доктором Фишером, не просто опыт из области отвлеченной моралистики. Этические проблемы, которые в книгах Голдинга и Мэрдок рассматривались скорее в общечеловеческом плане, у Грина получают конкретное социальное истолкование. В результате своих многократных опытов доктор Фишер поставил своим «пациентам» один и тот же диагноз: болезненная алчность, беспредельный цинизм. «Как и герр Крупп, мистер Кипс с удовольствием сел бы за стол с Гитлером и в чайнии милостей разделил бы с ним любую трапезу» — эта убийственная характеристика относится ко всем гостям доктора Фишера, для которого моральное уродство его богатых друзей — выражение фатального свойства человеческой природы. Для ведущего с ним заочный спор Грина это нравственная патология, имеющая социальное происхождение. Патология, персонафикацией которой является сам устроитель этих ужинов. Кто же такой доктор Фишер, этот «дьявол во плоти» (как отзывается о нем его дочь Анна-Луиза), ненавидящий весь род людской и находящий сатанинскую радость в утолении своей прихоти унижать человеческое достоинство? По его собственному мнению, он фигура едва ли не байроническая. При встрече с Альфредом Джонсом (альтер эго самого Грина?) доктор Фишер аттестует себя этаким богоборцем, бросившим вызов мироознанию, которое «становится все более и более несчастным по мере того, как бог бесконечно закручивает гайки, хотя порой и подкидывает нам подарочки, чтобы облегчить унижения, которые мы терпим» Значит, званые ужины у доктора Фишера ни много ни мало — созданная женеvским миллионером миниатюрная модель бытия, где сам он играет роль господина бога? Что ж, он и в самом деле бог всемогущий для тех, кого он вылепил по своему образу и подобию. Перед нами не кто иной, как гётеvский Мефистофель, «царь крыс, лягушек и мышей, клопов, и мух, и жаб,

и вшей» (перевод Б. Пастернака; разрядка моя — О. А.), которого мы видели у Голдинга в отвратительном обличе Повелителя мух и который у Грина принял гротескно-сниженный образ «повелителя жаб» — преуспевающего торговца косметическими товарами... Когда-то бывало аллегорическое изображение капитализма: черный цилиндр, толстая сигара, огромное брюхо в виде мешка, набитого фунтами стерлингов. На шарже, который вызывал улыбку, капитализм выглядел вполне безобидно. Грин предупреждает: капитализм не смешон. И создает свою аллерию. Главная, родовая, так сказать, черта современного капитализма, по Грину, — его аморализм, развращающе воздействующий на человеческую душу. Вот почему у Грина, убежденного католика, буржуазная мораль аллегорически предстает в виде сатаны с его бесовским воинством и трактуется в традиционных образах евангельской мифологии: как дьявольское искушение, которому подвергается человек, как попытка сатаны завладеть душой человеческой. Заключительная сцена повести (ужин с бомбой, где Грин обыгрывает популярный в мировой литературе сюжет игры-состояния с чертом) — это последняя партия поединка доктора Фишера с

Альфредом Джонсом, где на кон поставлена вовсе не жизнь «жаб» (бомб-то была фальшивая!), а душа Альфреда Джонса, которую искушает «повелитель жаб». Финал «Доктора Фишера...» таков, каким и должен быть конец сказки: добро торжествует над поверженным злом. Альфред Джонс, словно сказочный рыцарь, выйдя один на один на битву с доктором Фишером, одолевает его, доказав, что вопреки мизантропическим теориям «повелителя жаб» в человеческой душе неистребимо зерно добра, из которого вырастают силы, способные побороть алчность и жестокость, ненависть и бездушие.

Каждая из прочитанных нами книг по своему трагична. Люди бессмысленно проливают кровь людей, по безрассудной прихоти хладнокровно ломаются людские судьбы. Вот горький вывод, к которому приходят и Голдинг, и Мэрдок, и Грин. Но ни одна из этих книг-трагедий не завершается на ноте отчаяния. Всякий раз обнаруживая в душах своих героев ростки зла, английские писатели-моралисты упорно ищут зерна добра. Ибо верят в устойчивые моральные императивы, противодействующие злу. Ибо верят: зло не должно восторжествовать.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



Политика и наука

«ЖИТЬ, КАК ВСЕ, А РАБОТАТЬ ВДВОЙНЕ»

Иван Васильев. Допуск на инициативу. Деревенские очерки. М. «Современник». 1983. 348 стр.

«**А** всего иного пуше не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуше, как бы ни была горька» — эти строки А. Твардовского, безусловно, могли бы стать эпиграфом к творчеству писателя-публициста, лауреата Государственной премии РСФСР Ивана Васильева, и в частности к его новой книге «Допуск на инициативу».

Читая ее, вспоминаю встречу и долгую, сердечную беседу с Иваном Афанасьевичем в уютном бревенчатом доме, который он сам построил себе в деревне Борки под Великими Луками, и думаю об этом человеке. С уважением, с доброй профессиональной завистью, с удивлением, наконец.

Легко быть «первым парнем на деревне», коль «в деревне три двора». Но наша деревенская публицистика — от В. Овечки-

на и Е. Дороша до Ю. Черниченко и А. Стреляного — отнюдь не бедна талантами. Даже на этом фоне Васильев — звезда достаточно яркая. А ведь он сложился как публицист поздно — годам к сорока. И сложился не в столице, где ключом бьет литературная, общественная, политическая жизнь страны, а в глубинке — нескольких областях северо-западного Нечерноземья. Был Васильев сельским учителем, директором детдома, районным и областным газетчиком.

Это неправда, что у нас нет провинции. Она есть и накладывает на человека свой отпечаток: ограниченность кругозора, робость и шаблонность мысли. К нашему брату-газетчику это в особенности относится. Сколько способных, подававших надежды журналистов засохло на корню в этих районных и областных газетах, где

им годами приходилось бичевать «зеленые» и «мокрые» настроения, поучать седовласых председателей колхозов, выступать под «свежими» заголовками «А воз и ныне там», «Тары-бары вокруг тары»...

Иван Васильев не провинциален, нет!

Можно иногда упрекнуть его в недостаточно отточенной, не слишком щеголеватой форме очерков, в том, что богатую свою, насыщенную мысль он иной раз подает сплошняком, целыми страницами, не балуя читателя «картинками», не щадя его: Думай, черт тебя дери, работай над очерком, как я работал. Не постесняется автор и газетный штамп вернуть, если полагает, что он наилучшим способом выражает идею. Но сама эта идея никогда не бывает стандартной.

Мой приятель-журналист вернулся на родину после долгой работы за рубежом. Жадно впитывает все, что пишут и говорят о внутренних проблемах. О деревне особенно. Прочел и очерки Васильева.

— Ты понимаешь: ни малейшего уважения к стереотипам, к тому, что до него писали! Бесстрашие анализа. Вот пишет он, скажем, о ржевских продавщицах. О хамстве и равнодушии в магазинах. Откуда такие красотики берутся? Мы бы написали, наверно, о том, что они материально не заинтересованы в покупателе, о дефиците говаров, который позволяет девушкам драть нос перед людьми. Все это будет верно и все уже где-то читано. А Васильев говорит: это ведь деревенские девчонки, которых родители избавили от труда — густь, мол, поживут полегче, чем мы. Вот они и дорвались до городской «сладкой» жизни. Ох как верно и как... неожиданно!

Смелость — вот самая характерная черта Васильева-публициста. Это, наверное, от биографии его идет. Он ведь фронтовик, был ранен, воевал в тех самых местах, где сегодня живет и о которых И. Эренбург писал: «Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие юльше человеческих жизней, но не было, а жется, другого столь же печального — медальми шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома и крохотный бугорок». Васильев и сегодня чувствует себя солдатом, защищающим эту святую землю: не отдали ее врагам, как же можно отдать осиннику, урьяну, запустению?

Право же, мирная эта битва тоже требует немало мужества. Не только в том смысле, что начальство может обидеться на критику и сделать оргвыводы. Есть и другой страх — посягнуть на догму, которая

завоевала тысячи умов, на кабинетную схему, которая сверкает-переливается болатными огоньками великих перспектив, а на самом деле опустошает землю и разоряет общество. К догме этой так просто не подступишься. Она не только украшена печатями и подписями весьма авторитетных организаций, но и обязательно содержит в себе некое рациональное зерно. «Во всяком заблуждении есть частица истины».

Сегодня, когда осуждены схемы, по которым в некоторых областях Нечерноземья чуть ли не 90 процентов деревень объявлялись неперспективными, кто вспомнит энтузиазм, с которым приняли эти схемы тысячи и тысячи работников на местах, людей разумных и честных? Вспомним и о том, что для молодых жизнь в таких деревнях (без дороги, без школы и клуба) и в самом деле не мед и не сахар. Уж Васильев-то это знает отлично! Тут самое важное понять, где кончается забота о людях и начинается забота о спокойствии управленцев и об удобствах управления: собрал кадры до кучи на центральной усадьбе, а в десятках других деревень хоть трава не расти: магазин закроем, почту прихлопнем, свет обрежем — вы неперспективные. Васильев одним из первых публицистов обрушился на подобные инициативы. У читателей на памяти его горькие строки: «Сильно, очень сильно ударило это слово («неперспективные»). — А. Н.) по сознанию и настроению коренного селянина. Мы, пишущие, очевидно, поддались гипнозу схемы, перспективы и очерта голову кинулись прославлять будущее, не замечая, что происходит в душе крестьянина. А в ней происходило то, что происходило бы и в нашей, если бы нам с утра до вечера радио и газеты внушали, а управдом ходил по квартирам и предупреждал, что мы уже включены в списки на сселение... Нам уже не милы были и улица, и сквер, и город, и ходили бы мы с опущенными руками». Или: «Не очень это понятно и вразумительно: грандиозное обновление древней земли и неперспективность тысяч деревень. Ведь нельзя же всерьез представлять себе эти тысячи деревень лишь как энное количество изб. Это — история, вековой уклад, тип земледельца, нравственность, наша суть».

Если вырвать последние слова из контекста, то может показаться, что Васильев — романтик, идеализирующий уходящую в прошлое деревушку, что, опираясь на «историю, вековой уклад», он пытается

ся остановить, неодолимый, прогрессивный процесс концентрации. Но прочитав этот и другие очерки в целом, убеждаешься, что нигде публицист не отрывается от грешной земли. Для него в деревне нет неинтересных людей. У каждого своя неповторимая мысль, свое яркое, запоминающееся словцо. И все они помогают Васильеву дать точный, глубокий анализ деревенской жизни, где все на месте — и базис, и надстройка, и центральные усадьбы, где живут молодые, и малые деревни, где остались их отцы и деды. К примеру, беседует автор с Мариной Петровной Подшевкиной в деревне Фелистово, слышит: «На четверых — четыре зуба, вот, мил человек, какие мы девки. Мне без двух девяносто... сын у меня... Зовет к себе, да что я там у них делать стану?.. Тут все свое. Тут — спокой на душе. Нет, сын и внуки не забывают. Дровец вон привезли, в воскресенье приедут, распилят, поколют. Говорю внуку: спи ли ты мне березы. Видишь, как разрослись, избу закрыли. А внук отвечает: не, бабушка, тые березы папка сажал, это — память, пускай стоят, дров я тебе из лесу привезу. Хорошие у меня внуки, не буду бога гневить. А все ж доживать надо дома».

Это к чему разговор-то? Родимые березки — против экономики, против специализации и концентрации? Но послушайте дальше: «Стоит Фелистово. Что за сила держит людей в этой и в подобных ей малодворках? Столько энергии потрачено на речи, на бумаги, на всякие разные доказательства бесперспективности малой деревни, что кажется: вот-вот придет конец ей, бедняге. Ан нет — стоит как вкопанная... корень привязанности все-таки глубоже, и он, на мой взгляд, столь же материален, сколь материально и стремление молодых к благоустройству быта. Стариками тоже руководит «материя»... Земля кормит, земля не даст пропасть при любой беде, в любое лихолетье что-нибудь да уродит: не хлеб, так картошку, не картошку, так гриб... Вот корень, уходящий в тысяче-летние глубины, который не дает человеку оторваться от земли. Не дает в первую очередь тому, кто хлебнул в своей жизни лиха. Да и те, сорванные с якоря и устремившиеся к городским благам, преотлично чувствуют силу земли, когда везут по выходным дням от своих деревенских стариков набитые продуктами сумки».

Вам эта стариковская экономика кажется малозначительной? Тогда посмотрите, как вокруг заброшенных деревень зарастают

поля и луга — колхозные, общественные уголья. Послушайте, как сокрушается председатель М. Голубев, колхоз которого буквально разорили «концентрацией» и «комплексом». Развивал бы я, как раньше, свои бригады, размышляет председатель, где сегодня было бы хозяйство?

В других очерках Васильев детально разобрал схемы, по которым «огромная, разветвленная специализированная служба обеспечения основного производства, никаким боком не зависящая от конечной продукции, но владеющая всеми лимитами и фондами, встала над производством и потребовала поклонения». Разобрал и сделал вывод: «Специализация — это такая мама, которая часто родит весьма непривлекательное дитя — бюрократизм». Сейчас-то, когда решениями партии и правительства Сельхозтехнику, Сельхозхимию и прочую службу напрямую привязывают к селу, к урожаю, когда ими начинает командовать единый аграрно-промышленный комплекс, эта мысль кажется бесспорной до банальности. А раньше? Когда услуга володела и княжила на селе? Когда колхоз кланялся ей в пояс за каждую гайку, реальными, кровными рублями платил за липовую работу? Когда в разгар уборки «слуги» захлопывали двери своих складов перед носом «хозяина» и уезжали за грибами? Вы думаете, аргументов у них не было в защиту своего полупаразитического образа жизни? Ого! От премудрых рассуждений о неизбежности специализации и концентрации до ссылок на заграничный опыт, где фермер, мол, сеет, пашет да прибыль считает, а остальное за него фирмы делают..

Не только бесстрашие тут требовалось от публициста, но и крестьянский здравый смысл. Умение отличать зерно от мякины. В чем-то Васильев мне часто кажется похожим на своих героев — старых колхозных председателей, о которых он писал «Я люблю этих беспокойных, добросовестных, преданных идее и земле славных мужиков — моих сверстников». Грамотешки некоторых из них маловато, они могут на звать пшеницу пшанницей, их соображения могут показаться примитивными, особенно после той словесной эквилибристики, которая успешно заменяет мировоззрение инь гораздо более образованным людям. Но они, эти мужики, крепко знают главное: надо любить людей, труд и землю. Прав это не так уж мало! Особенно если покреплено трудом по двенадцать часов, и фарктами из-за неурожая, всей прожито жизнью. И это прекрасная прививка от бюрократических дуростей, которые обходя

ся нашему сельскому хозяйству, ей-богу, не дешевле, чем засухи или наводнения.

Васильев любит и уважает деревенских людей. Он не смотрит на них свысока и никогда не позволяет себе умилиться тем, что, видите ли, «и крестьянка чувствовать умеет». Но в этой любви писателя к своим героям есть одна опасная сторона. Встречаясь с деревенскими людьми Нечерноземья, которые действительно поражают своей добротой, радушием, открытостью, так легко сделать вывод: вот где сохранились подлинные корни народного характера, противопоставить эти корни «развращенному городу». Короче, скатиться в ряды тех, кого Маяковский назвал мужиковствующими.

Что спасает Васильева от подобных перекосов? Он не просто сельский житель. Он коммунист, во-первых. И сельский интеллигент, во-вторых. Один из тех русских интеллигентов — учителей, агрономов или врачей, перед которыми, бывало, вся деревня снимала шапки, к кому односельчане бегали советоваться по всем вопросам. Такой интеллигент-просветитель — свой человек на селе. Но он сохраняет и некую грань между собой и земляками. Он не ищет вроде Васисуалия Лоханкина какую-то сермяжную и кондовую правду, не растворяется в народе, не перенимает его слабости и предрассудки, а тащит, поднимает окружающих до своего нравственного и культурного уровня.

«Жить, как все, а работать вдвойне» — вот кредо автора «Допуска на инициативу». При этом Васильев отнюдь не снимает ответственности с крестьянина. Публицист говорит о фактах «паразитического обленения нынешнего деревенского жителя», о подчас вялом, полупенсионном стиле жизни многих деревень. Он даже своим любимым председателям-ветеранам не спускает: почему допустили разгул ведомственности на селе, почему молчали, не протестовали, не боролись? Он требует мужества от каждого, кто трудится на земле.

Иногда мне лично Васильев кажется даже чересчур строгим к землякам. Вот пишет Иван Афанасьевич о личном подсобном хозяйстве. Пишет о необходимости уважать хозяина, имеющего хорошее, крепкое подворье. Критикует пресловутые сенокосные проценты, по которым на местах все еще заставляют людей добывать корм для буренки, вместо того чтобы, как положено по постановлению правительства, дать им в долгосрочное пользование сенокосные участки. Действительно безобразие: за право держать корову, то есть работать на об-

щество после основной работы, будь любезен, накоси еще на три совхозных коровы... Но когда Васильев призывает к тому, чтобы все живущие на селе — и специалисты, сельские интеллигенты, и молодые ребята после десятилетки — непременно держали коров, упрекает бескоровных в лени и мещанстве, мне это кажется перегибом. Причем небезопасным. Мы уже видели, как мысль публицистов (того же Васильева) потом отражалась в директивных решениях. В огромном большинстве случаев это шло на пользу обществу, а в данном конкретном как будет? Сегодня — агитация, завтра — рекомендация, послезавтра — приказ: все подряд держите корову? Между тем для молодежи, для специалистов да и для механизаторов эта самая корова, как ни крути, тяжелая гиря на ногах. Ни пьесу по телевизору вечером посмотреть, ни поехать в отпуск...

Думается, надо по мере возможности снимать с сельского труженика это бремя — вторую, домашнюю, смену. Так, кстати, и поступают умные руководители хозяйств, которые вообще избавляют «личника» от ручных сенокосов, просто-напросто продавая сено по две тонны на корову, а в иных хозяйствах продавая колхозникам мясо и молоко. Не вечно же будет сохраняться это странное положение: потребитель ходит за молоком в магазин, а производитель — в свой коровник! Кто хочет корову — всяческое ему уважение и помощь, кто не хочет — не надо навязывать.

Есть и другие аспекты сельской жизни, по которым полностью согласиться с Иваном Афанасьевичем трудно. Но должен признаться: спорить с ним нелегко. В хитросплетениях современной деревенской жизни он разбирается свободно, видит эту жизнь объемно, во всех ее взаимосвязях и, оказавшись неправым, допустим, с экономической точки зрения, может прихлопнуть оппонента не менее сильным социальным или психологическим козырем. Есть у него, скажем, выпад против публицистов, которые призывают создавать молодежи условия в деревне, тогда она, мол, осчастливит деревню своим присутствием или возвращением из города. Что за иждивенчество? Кто будет создавать эти самые условия? Человек только тогда и становится человеком, только тогда по-настоящему привяжется к земле, к деревне, когда вложит в них свой труд, окультурит их. В общем, Васильев тут придерживается точки зрения маленького принца Экзюпери: «Встал поутру... приведи в порядок свою планету».

Такая позиция симпатична. Ведь пассивность многих молодых и в городе и на селе не может не раздражать: даже поиграть в чехарду сами разучились — подавай им штатного педагога-затейника. Но я, к примеру, тоже насмотрелся вдоволь на деревни, где ни девичьей песни, ни ребячьего писка не услышишь, знаю статистику продолжающегося исхода молодежи из деревни в города, и, когда читал об этом у Васильева, возникало сомнение: уж не попытка ли это хлестать море плетью? Заменить действительно позарез необходимые условия воззваниями к совести и гражданскому долгу молодых?

Строить деревню надо! Пусть город строит. Подрядные организации, шефы. Только это позволит закрепить молодежь. Так я думал... А потом побывал в Костромской области. Условия там хуже, чем в среднем по Нечерноземью, строят не лучше: городато слабенькие. Однако молодежи, десятиклассников остается в деревне много, почти нигде в России такого низкого процента миграции населения нет. Оказалось, что уже семь лет костромичи ведут работу с деревенскими ребятами как раз по принципу Васильева и Сент-Экзюпери: «...приведи в порядок свою планету». Во-первых, огромное внимание трудовому воспитанию в школе. Для многих ребят деревенский труд становится родным сызмалства. Во-вторых, разными способами помогают молодым встречаться, общаться, искать себе друзей и любимых: не столько условия (скажем, жилье), сколько дефицит общения, малолюдь, замкнутость в родной деревне особенно гнетут младшую, зеленую молодежь. В-третьих, доверие и уважение к ней, соединенные с требовательностью. Очень высоко — опять-таки разными способами — поднят престиж десятиклассника, остающегося на селе. Нет у него чувства,

что он второй сорт, обсеков в поле. В результате закрепляется тот минимум молодежи, с помощью которого будет неизмеримо легче создавать «условия».

Конечно, от их создания все равно не отвертеться. Повзрослев, обзаведясь семьей, парни и девушки потребуют все того же: благоустроенной квартиры, школы, клуба, дороги до райцентра. Но обращение к уму и сердцу молодых хозяев земли тоже оказывается серьезным экономическим фактором, так что Васильев по-своему прав. У него, кстати, перед глазами опыт пусть не целой области, но района — Великолуцкого на Псковщине, где райком партии добивается примерно такого же, как под Костромой, результата и примерно такими же методами.

Замечаешь: постепенно Васильев отходит в своей публицистике от экономических и организационных проблем. Все больший упор делает на нравственность, на духовный облик современного сельского жителя. Это и понятно. Время-то идет. Ряд, так сказать, васильевских проблем пусть не столь быстро, как нам хотелось бы, но решается. В последних решениях партии по сельскому хозяйству — прямые ответы на многие вопросы, поставленные Васильевым и другими публицистами-аграрниками: о неперспективной деревне, о необходимости собрать всех, кто трудится на земле или обслуживает земледельца, в единый аграрно-промышленный комплекс. Слово превращается в дело, идея становится материальной силой. Счастлив публицист, который может при жизни увидеть плоды своего труда, увидеть, как закрываются на практике проблемы, над которыми он бился и мучился, в решение которых вложил столько партийной, гражданственной страсти, ума и таланта.

Александр НИКИТИН.



ЭПИЛОГ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

А. И. Полторака. Нюрнбергский эпилог. М. «Юридическая литература». 1983. 416 стр.

Почти тридцать лет назад, во второй половине 50-х годов, А. Полторака приступил к «Нюрнбергскому эпилогу» — основному публицистическому труду своей жизни. Через восемь лет книга была готова и в 1964—1965 годах напечатана в журнале «Звезда». К сегодняшнему дню она переиздана уже трижды общим тиражом около 600 тысяч экземпляров, переведена на английский, французский, немецкий и некоторые другие языки. Ныне, как и в начале 60-х, книга эта верно служит делу борьбы

за мир и разоблачению империализма. Служит благодаря уникальному документальному материалу о первом международном судебном процессе. Материалу, который умело отобран и систематизирован автором. (Отмечу, что стенограмма Нюрнбергского процесса и приложенные к ней доказательства насчитывают многие десятки тысяч страниц.)

Книга А. Полторака заканчивается символически. После приговора французский журналист дарит автору фотографию опу-

стевшей скамьи подсудимых. «Мы оба посмотрели на нее. И фотография будто заговорила: «Помните уроки истории, господа! Не забывайте Нюрнберг!»

А забывать о нем нельзя. Ибо на Нюрнбергском процессе с германского фашизма была снята маска явления чисто национального, и он предстал как одна из наиболее чудовищных форм империалистической государственности, которая может вновь возникнуть в определенных исторических условиях, пусть в ином облике и в иной стране. И разве сегодня в Центральной Америке и в Чили, в ЮАР и на Ближнем Востоке неофашизм не стал реально существующим и действующим фактором? Разве не проступают его элементы во внешней политике Соединенных Штатов, поддерживающих любые неофашистские режимы, создающих пятые колонны в прогрессивных странах, практикующих убийства своих политических противников? И точно так же, как Берлин времен германского фашизма, нынешний официальный Вашингтон прикрывается мнимой «советской угрозой», якобы оправдывающей военную доктрину превентивного удара по СССР, дабы «спасти» западную цивилизацию.

Вспомним иронический афоризм Бернарда Шоу: урок истории заключается в том, что из него не извлекают никаких уроков. В вопросах войны и мира ныне такое преступное легкомыслие (или сознательное искажение исторических фактов) может привести человечество на грань ядерной катастрофы, и книга А. Полторака «Нюрнбергский эпилог» воспринимается сейчас как предупреждение.

Думается, внимательный читатель «Нюрнбергского эпилога» сумеет сам перебросить мост из недавнего прошлого в современность и прийти к выводу, что империализм, фашизм и война — явления родственные.

Через несколько лет после процесса, правда, значительно «поправев», умер главный американский обвинитель — Джексон. Читал ли когда-нибудь Рейган его речи в Нюрнберге? В них есть некоторые высказывания, которые можно считать характеристикой не только гитлеровской, но и сегодняшней вашингтонской внешней политики и ее монополистических вдохновителей: «Финансисты, экономисты, промышленники присоединились к этому плану... (заговору против мира.— Е. З.) с тем, чтобы поддерживать беспрецедентную концентрацию ресурсов и энергии для подготовки к войне... Эта подготовка имела такой размах, который превосходил все нужды обороны, и каждый подсудимый, и каждый здравомыс-

лящий немец вполне понимали, что целью ее является агрессия».

Сейчас в США ежегодный бюджет Пентагона исчисляется сотнями миллиардов долларов, а Рейган и его команда открыто обсуждают возможность термоядерной войны и победы в ней. И каждому здравомыслящему американцу должно быть ясно, что речь идет о подготовке к агрессии глобального масштаба.

В этой связи нельзя не упомянуть в «Нюрнбергском эпилоге» яркую авторскую полемику А. Полторака с адвокатом Редера — Зиммерсом по вопросу о том, как понимать определение «заговор против мира». Статья 6 Устава Международного Военного трибунала, пункт «а» отвечает на этот вопрос четко и ясно: планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной войны или участие в заговоре, направленном к осуществлению любого из вышеизложенных действий. Под этим Уставом стоит подпись и представителя США. Еще в 1946 году решением Генеральной Ассамблеи ООН Уставу Международного Военного трибунала придана сила международного закона. А в 1974 году Генеральная Ассамблея ООН дала четкое определение понятия «агрессия».

Наконец, в 1983 году по инициативе СССР Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, которая решительно, безоговорочно и навсегда осудила ядерную войну как самое чудовищное преступление против народов, как попрание первейшего права человека — права на жизнь. Поэтому сейчас администрации США не мешает вспомнить еще одну цитату из речи в Нюрнберге главного американского обвинителя: «Я хочу разъяснить, что хотя этот закон применяется впервые против германских агрессоров, он должен осуждать агрессию, совершенную любой другой нацией, включая и те, которые представлены сегодня в трибунале, если только он предназначен для служения истинно полезной цели... Этот процесс представляет собой отчаянное усилие человечества применить дисциплинирующее влияние закона к государственным деятелям, которые пользовались своей властью для того, чтобы подрывать основы всеобщего мира и совершать акты агрессии против своих соседей».

И судьи Международного Военного трибунала, в том числе американский, французский и английский, согласились с Джексоном. Приговор гласит: «Развязывание агрессивной войны является не просто преступлением международного характера — оно является тяжчайшим международным

преступлением...» И далее: «Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены установления международного права».

Борьба за мир, за право человека на жизнь — одна из основных проблем нашего времени. Вот почему современен и «Нюрнбергский эпилог» и вся нюрнбергская тема в целом, хотя, разумеется, ни опыт, ни приговор Нюрнбергского трибунала и аналогичного международного суда в Токио сами по себе не могут обеспечить нам мир сегодня. Однако их материалы играют свою положительную, а главное, поучительную роль в комплексе многих и многих других компонентов антивоенного движения, давая ценные, безупречной достоверности аргументы.

Мы говорили, что современная американская внешняя политика во многом напоминает внешнюю политику третьего рейха. Это особенно ощущаешь, читая в «Нюрнбергском эпилоге» главу «Риббентроп под судебным микроскопом». Сквозь старую политику Мюнхена просматривается новая доктрина Вашингтона об «ограниченной» ядерной войне, где роль довоенной Чехо-

словакии отводится ряду стран Западной Европы. Характеризуя цель и методы деятельности Риббентропа, А. Полторак писал о его стремлении средствами внешней политики расчищать путь агрессии, неизменно имея на руках веский козырь — возможность всегда и везде оперировать аргументом силы. «Агрессивные заговоры и политические убийства, шантаж и угрозы, шпионаж и пятые колонны, самые беспардонные ультиматумы законным правительствам соседних стран — вот что составляло арсенал дипломата».

Подставьте вместо Риббентропа тандем Рейган — Шульц, и вы получите достаточно наглядное представление о сегодняшнем дне американской дипломатии.

Сходство исторических фактов, приведенных в «Нюрнбергском эпилоге», с некоторыми событиями послевоенных лет и дня сегодняшнего — это сигнал тревоги людям планеты 80-х годов. Это призыв к действию, к активной борьбе за мир. Таковы основные мысли, рождаемые книгой А. Полторака, таковы масштабы исторических параллелей, которые она вызывает, и именно в острой актуальности секрет ее долготеления.

Е. ЗАЙЦЕВ.

Ленинград.



НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

А. Золототрубов. Буденный («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1983. 303 стр.

Судьба Буденного необыкновенна и, я бы сказал, символична, как и время, в которое он жил. Именно в это время стало возможным невероятное: крестьянин-бедняк, батрак, рядовой солдат-кавалерист становится командующим Конной армией, маршалом, государственным деятелем. Его революционная работа началась в февральские дни семнадцатого года, когда Буденный был избран председателем полкового комитета и участвовал в разоружении корниловцев. После Октября Буденный — организатор Советской власти у себя на родине, где вместе с другими солдатами-фронтовиками борется за укрепление революционных завоеваний, избирается членом исполкома Сальского окружного совета, а вскоре формирует кавалерийский отряд для борьбы с контрреволюцией на Дону.

А. Золототрубов уделяет особое внимание военной деятельности Семена Михайловича в годы гражданской войны. Это естественно. Ведь как раз тогда, в огне сражений

против сил внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, формировалась новая, революционная, народная армия. Одним из ее талантливейших военачальников был Буденный.

В напряженных боях под Царицыном во всем блеске проявились выдающиеся способности Буденного-полководца. От боя к бою росло его командирское мастерство, в сражениях постигал он основы применения конницы. Полководцем Буденный был прирожденным. Он обладал навыками быстро и всесторонне оценивать обстановку, принимать смелые решения, тщательно организовывать действия частей и в ходе боя внезапными, молниеносными и сокрушительными ударами, не давая передышки врагу, громить его превосходящие силы. Особая кавдивизия, корпус, Первая Конная армия... Буденный приложил максимум усилий, чтобы создать эти мощные соединения, способные решать задачи не только тактического, но и стратегического масштаба.

Первая Конная героическими действиями на фронтах покрыла неуывдаемой славой свои боевые знамена и вошла в историю Красной Армии как легендарная Конная армия Буденного. Посвященные ей страницы книги А. Золототрубова, на мой взгляд, одни из лучших. Батальные сцены написаны со знанием обстановки того времени. Автор не избегает показа трудностей, но дает ясно почувствовать оптимизм и силу бойцов молодой республики и их командира.

Книга насыщена интересными и яркими эпизодами из жизни полководца, его боевой деятельности. В них Буденный предстает прежде всего сознательным борцом за новый мир: твердым, смелым, решительным, талантливым вожаком вооруженных народных масс.

Таким он и был в действительности. Таким его считал Ленин. Осенью 1920 года в беседе с Кларой Цеткин Владимир Ильич говорил: «Наш Буденный сейчас, наверно, должен считаться самым блестящим кавалерийским начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что он — крестьянский парень. Как и солдаты французской революционной армии, он нес маршальский жезл в своем ранце, в данном случае — в сумке своего седла. Он обладает замечательным стратегическим инстинктом. Он отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части. Он один заменяет нам целые эскадроны».

В самые трудные моменты своей жизни Буденный обращался за помощью и советом к Ленину. Когда весной 1921 года Троцкий упорно не давал своего согласия на передислокацию Первой Конной армии с Украины на Северный Кавказ и армия гибла от голода на глазах командарма, Буденный послал письмо Владимиру Ильичу с просьбой перебросить Конармию на Дон и Кубань. «Взяв на себя смелость сообщить Вам всю мою боль за любимую армию, — писал командарм, — прошу Вашей помощи о сохранении конницы. Чтобы, когда нашей республике будет что-либо угрожать, мы могли бы, как и раньше, пойти в бой...» И Владимир Ильич сделал так, как просил Буденный.

В книге приведены материалы о встречах Семена Михайловича с Лениным, Калининым, Сталиным, Фрунзе, Алексеем Толстым, Георгием Димитровым, Людвигом Свободой, маршалом Чойбалсаном.

Буденного знали все. Его знали люди разных наций и народностей, о нем сложены легенды, поются песни. Его образ запечатлен в картинах, фильмах и песнях. На его примере служения социалистической Родине воспитываются и будут воспитываться новые поколения советской молодежи. Еще Фрунзе отмечал, что в нашей армии нет других частей, которые с такой полнотой, такой яркостью и глубиной отразили в себе и своих действиях весь характер гражданской войны, всей Красной Армии. Немалая заслуга в формировании такой армии принадлежит Буденному. В этом еще раз убеждает и книга А. Золототрубова, точная, правдивая, эмоциональная. Хорошо, по-моему, и то, что автор не уходит от острых и конфликтных ситуаций, которые возникали в жизни Буденного, не скрывает сложных, подчас не поддающихся однозначной оценке черт его характера.

Достаточно подробно рассказано в книге и о деятельности Семена Михайловича по укреплению боеспособности Красной Армии после гражданской войны, когда Буденный проводил большую организаторскую работу по моторизации и механизации кавалерийских частей и соединений.

В годы Великой Отечественной Буденный был членом Ставки Верховного Главнокомандования, командовал войсками направлений и фронтов. Примечательно, что 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские армии находились на подступах к Москве, именно Буденный принимал исторический парад войск, которые прямо с Красной площади шли на фронт.

С интересом читаются заключительные страницы книги, повествующие о послевоенной жизни Маршала Советского Союза Буденного. Он оставался в кадрах Вооруженных Сил СССР, принимал активное участие в государственной и общественной жизни, вел большую военно-патриотическую работу.

Прославленный народный герой, выдающийся полководец, Семен Михайлович Буденный видел смысл своей жизни в беззаветном служении Родине, делу коммунизма. Его имя и деятельность — пример творческого исполнения долга советского человека перед партией и народом.

П. БАТОВ,

*генерал армии,
дважды Герой Советского Союза.*

КТО ПОМОЖЕТ МАМЕ МЫТЬ РАМЫ?

В дискуссиях о трудовом воспитании, о профориентации, о кадрах открыто и прямо высказаны многие точки зрения на этот вопрос, порой диаметрально противоположные. Один директор высказался даже так: «Не сгущайте краски, людей у нас полно, надо только уметь сделать из них «кадры» — и никакой кадровой проблемы и в помине не останется». Выходит, людей полно, да работать некому.

Есть в этом доля правды. Действительно, в разгар трудового дня пройдитесь по городским скверам и паркам, по увеселительным заведениям, пляжам и рынкам, поинтересуйтесь официальными цифрами зарегистрированных тунеядцев, спросите у бабушек, сидящих у подъездов, сколько молодых людей в вашем доме не работает, под любым предлогом увильнует от полезного труда, и вы поймете, что «факт имеет место». Правда, последнее время тунеядцев значительно поубавилось — после того, как партия заострила внимание на дисциплине и порядке. Но не об этом пойдет у нас речь, а о другом: как заставить человека полюбить труд, обрести к нему вкус, как привить ту самую «привычку и любовь к полезному труду», о которых говорил Генеральный Секретарь партии Ю. В. Андропов на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Просчеты и недоработки в трудовом воспитании подрастающего поколения налицо. Необходимость реформы школы не вызывает сомнения. Мой молодой современник, не имеющий вкуса к труду, вызывает у меня острую тревогу. Как могло это случиться? На каком поле и когда мы обошли заботой свои колоски? Может, не так сеяли? К мысли заново окончить пять классов и скрупулезно прочитать более сотни школьных учебников в поисках того, где допущен просчет, я пришел не сразу. Сначала стал пристальней обычного присматриваться к нашей детворе, к их привычкам и повадкам.

Вот заселяется новый девятиэтажный дом. Полно грузовиков с мебелью, домашней утварью. Только съехавшиеся дети познакомились и уже организовались по интересам в группы, кучки и команды. Дорывают штаны на новой ржавой горке, испытывают на излом столб качелей, гоняют мяч, стаскивают в огромную кучу картон и клетки мебельной упаковки и поджигают ее. Соседка-пенсионерка недоумевает:

— Что творят! Да разве мы такие были? Лифты не работают, гляньте, бабушки и дедушки пехом на этажи таскают чемоданы, узлы, книжные полки. Думаете, хоть один помог? И не подумал! Да что за дети такие ленивые? Чему их в школе учат?

Это — о младших школьников. А вот дедушка просит восьмиклассника помочь перенести во двор уголь и обещает три рубля.

— Зачем мне ваша трешка, у меня свои деньги есть.

— Ну тогда просто так помоги.

— А что я, дурак?

Вскоре в новый дом давний знакомый хирург приглашает на новоселье. Переступив порог, сразу понимаю «подтекст»: семья хочет похвастаться квартирой. И есть чем. После строителей в четырех комнатах многое переделано. Вдохновенной мозаикой выложен паркетный пол, изящные обои на стенах. В пустоты рационально добавлены полированные полочки и подставки, обшиты дубом оконные и дверные проемы, в об-

щем, сказка, а не квартира. Вопросы, во сколько все это обошлось, ждали и с гордостью ответили:

— Только на материал тратились да и то в основном на копеечный хлам, что в «Юном технике» продают, а работа бесплатно, все сами.

«Отделочники» высокой руки — это два врача, сын-девятокласник и шестиклассница дочь. Родители не скрывают, что больше всего потрудились дети. И не по принуждению, а по собственной охоте. А кто учил? Семья? Школа? Улица?

Потом еще одно откровение на именинах двухлетней Алены в семье театрального режиссера. Тут уж у меня появляется уверенность в том, что ребенок будет в жизни таким, каким воспитают его до двух-трех лет. Ради этого мать сознательно взяла на год дополнительный отпуск без оплаты. Честное слово, не думал, что на третьем году жизни ребенок может, хочет и умеет столько делать. Аленка спокойно и привычно сервирует стол, подает холодные закуски, носит хрупкие чашки и фужеры. В течение целого вечера я был свидетелем активной, напряженной творческой жизни ребенка: Лена жила, а не готовилась к жизни.

Среди гостей именинницу и не видно было, лишь часто слышались ее ответы на мамины замечания: «я сама», «я умею». Признаюсь, после этой работающей двухлетней крошки у меня не прибавилось симпатий ни к младшим школьникам, ничего не делающим в доме и во дворе, ни к их родителям, которые и не заставляют своих чад что-либо делать.

А возвращаясь к прерванному рассказу о заселении дома, должен добавить, что помощников переносить уголь пенсионер все же нашел. Двое десятиклассников спортивного телосложения подхватывают ведра, как пушинки, и почти бегом таскают их. Но почему-то часто оглядываются, а когда мимо проходят девушки, приседают за забором и прижимают палец к губам.

— Боитесь? — спрашивает старичок.

— Не боюсь, а стыдно. Во, скажут, бедные, за трешку впряглись в самую грязную работу. Начнут подначивать...

Их признание возмутило старичка. Очки сползли у него на нос, брови вздернулись, сухие кулачки сжались.

— Стыдно? Таким здоровым лбам полчаса поработать — стыдно!? Да ка-титесь вы, без вас перенесу.

Может быть, в этом ключ проблемы: физический труд на сегодня стал «стыдным». Не потому ли издревле почитаемые профессии кузнеца, печника, плотника, гуртоправа, саложника сейчас не вызывают особых эмоций, прекрасным полом не почитаемы и юношами не избираемы? Не потому ли крен престижности профессий 80-х годов едва ли не противоположен крену 30—40-х годов?

А не придираюсь ли я к малышне? Ну что возьмешь с десятилетнего? Окна мыть ему рано, уголь таскать тяжело. В школе немалые нагрузки по всем предметам... Да еще заставлять его во дворе ямы копать из-за того, что ЖЭК не прислал трактор? А что я сам делал в десять лет?

Вспоминаю. Я умел и делал не больше, чем ватага моих сверстников, таких же «шахтарчат» из рабочего поселка. Как и все, держал голубей и кролей, добывал им корм, кормил и ухаживал — сам. В магазин за хлебом, на базар за молоком. Ежедневно в белом узелке километра за два носил отцу обед. Попутно приобретался навык отбиваться от собак и чужой пацанвы. Внести уголь, нарубить дров, растопить печку, нарвать кабанчику ведра два-три травы. Самое постылое было нянчить малышей, но коли мать приказала да еще шлепка отпустила — значит, надо. В заброшенном сарае был у нас свой тимуровский штаб с запутаннейшей сетью подземных ходов — выкопали, закрепили, сами выносили землю, выносили с таким шахтопроходческим искусством, что взрослые на поверхности не заметили ни одной посторонней горсти.

Впрочем, не в перечне того, что мы умели, суть, а в самом вкусе к труду. Объектом нашего восхищения были постепенно откальвывавшиеся от нашей ватаги старшие, которые шли в рабочие, поступали в ФЗО. На эту фуражку с молоточками, на жесткие руки с первыми заводскими ссадинами мы смотрели с благоговейным трепетом и невыразимым желанием скорей стать такими же. Белоручка был в нашей среде презираем, лупили мы их нещадно. Для нас слова о том, что труд является делом чести, доблести и геройства не были отвлеченными. Помню, после демобилизации в 1946 году, уже повзрослевшим, с десятилетним образованием, я пошел рабо-

тать горным путейцем на восстановление соляных шахт. И там я умышленно не пользовался брезентовыми рукавицами, а за лом, корявые рельсы, ржавые вагонетки хватался только голыми руками: чтобы быстрее руки огрубели и на них появились мозоли. Ведь пришла уже пора свиданий, а какая же девушка пойдет с тобой на танцы, если у тебя нежные, нерабочие руки. Нет мозолей — значит, не мужчина.

Да, так было. И не с единицами, а с поколениями. Мое поколение не может обижаться на своих учителей и наставников. Время показало, что учили они нас правильно. И мы от детской подражательности взрослым легко и естественно перешли к реальным испытаниям на поле брани, на фронте труда. И выдержали их. Этим мы как бы выставили своим учителям и школьным учебникам пятерки с плюсом.

Так по какой же причине с языка старших не сходят слова сожаления: «Разве мы такие были?» и «Чему их в школе учат?» А действительно, чему?

И вот я начинаю собирать школьные учебники: буквари, книги для чтения, учебники русского и украинского языков, хрестоматии, родную литературу, читанки (так на Украине называются книги для чтения), историю, природоведение и даже математику. Задача оказалась не из легких и заняла несколько месяцев. Скопилось столько книг, что на их прочтение не хватит и жизни. Пришлось ограничиться шестым классом. И по сей день мой кабинет похож на передвижную школьную библиотеку: кругом яркие обложки, крупный шрифт, на рисунках — дети, дети, дети. Для изучения и выявления истины мною взяты учебники 1959—1984 годов, утвержденные министерствами просвещения РСФСР и Украины, а также некоторые издания Академии педагогических наук СССР.

Единственным облегчением в моей «адовой» работе было то, что весь изложенный в учебниках педагогический комплекс, все тексты, все рисунки, все сказки, даже загадки и математические задачи я рассматривал под одним углом зрения, так сказать «с колокольни» заводского гудка. Благо каждый день утром, в обед и вечером он меня подбадривал своим присутствием и как заинтересованное лицо одобрял мой труд: гудок звал рабочие руки на смену, а я пытался разобраться, даст ли и дает ли ему наша школа эту смену. Через несколько месяцев чтения, сопоставления я сделал вывод первый: наши учебники для детей от 5 до 13 лет не нацелены на трудовое воспитание школьника, на закладку основ вкуса к труду, философии труда. На практике они растягивают не индивидуумов с активной жизненной позицией строителей своей собственной жизни и светлого будущего, а потребителей чужого труда, чужими руками созданных людских благ, потребителей природных богатств своего Отечества.

Понимаю, что вывод смелый. И никогда не высказал бы его, если бы он был взят не из реальных, строго пронумерованных страниц и томов, изданных тиражами в полмиллиона, а то и несколько миллионов экземпляров.

Вывод, родившийся за письменным столом, предстояло, однако, доказать на практике и, главное, найти причину столь ненормального положения. И вот, вооруженный знаниями дошкольника и младшего школьника, я отправляюсь в типичные городские и типичные сельские школы. Не в образцовые и не в отстающие. И сразу убеждаюсь: все не так уж плохо и непоправимо — реальный уровень трудового воспитания везде, и особенно в сельских школах, значительно выше книжного. И в основном за счет энтузиазма и изобретательности учителей, которые сами из немислимых источников подбирают для учащихся столь необходимые в жизни но, увы, отсутствующие в учебниках тексты для зарождения вкуса к труду, для конкретной профориентации. Учителя даже сами составляют математические задачи на местную тему по цифрам из газет. Это тоже свидетельствовало об отставании теоретической части педагогики и учебников от сегодняшних задач школы. Причин этому много, так что выделять главное представлялось невозможным.

И вот однажды на родительском собрании... Речь шла о предполагаемом участии городских пятиклассников в уборке урожая. Тридцать пап и мам, бабушек и дедушек сразу разделились на два противоположных стана. У одних не было никаких претензий: «Пусть едут — и колхозу польза и им трудовая закалка». Но другой стан заявил категорически: «Нет! Никогда! Ни за что!» Роме нельзя рвать траву, у него пальцы, он будущий скрипач. У Лары горло, она поет, а в колхозе может быть дождь. У Вени при наклонах кружится голова, собирать помидоры ему противопоказано. Сеня официальной справкой (на зависть многих мамаш) освобожден от физкультуры и уроков труда. Мамы и бабушки всеми силами защищали своих детей и

внучат от легкого, посильного, приятного труда на воздухе. Но план классу был спущен. Мама из «важных» пообещала достать справку на весь класс, что трава уже сдана колхозу, а помидоры — базе. Вот эта справка и взорвала другой лагерь вместе с учительницей. До каких пор! Кого же вы растите из своих детей! Справки, справки, освобождения, липовые болезни. Освобожденного от физкультуры и труда Сеню никто из сверстников побороть не может. Рома еще в первом классе капитально забросил скрипку и в футляре давно носит сдавать бутылки. У Вени голова кружится не от наклонов, а от курения. Вот вам и справки для цветов жизни!

— Да, цветы жизни! Пусть они не знают того, что мы знали!

— Но это не значит, что дети не должны работать!

— Нароботаются еще, успеют. Колхозники там прохлаждаются в своих вишневых садочках, а бедного ребенка — на солнце, в степь, в пыль... Не пу-щю, хоть режьте!

— Вот из-за таких защитников и конкурсов не стало на горные и металлургические факультеты! Заласкали! Залелеяли!

— Нравится шахта — ну и лезьте в нее сами! Перевелись дураки, хватит!

Вот оно, мещанство. Закоренелое. Неистребимое. Наступательное.

Да, половина родителей не скрывала, что для них дети — цветы жизни. На то и родители, чтобы этот цветочек поливать, укрывать от ветра и холода и всю жизнь любоваться. А приучать его с детства работать... За что страдали! Страна богатая, прокормится и проживет без лопаты и грязной тачки... Другая половина родителей, я их считаю нормальными, не сомневалась в том, что дети должны привыкать к труду с самого раннего возраста, с первого сознательного шага, ибо в труде и есть главный смысл жизни человека.

Таким образом, на обычном родительском собрании столкнулись два отношения к детям и жизни вообще: пассивное созерцательное и активное созидательное. В том, что тридцать взрослых людей разделились на созерцателей и созидателей большой беды не было: один класс направить в нужное русло можно силами школы или двух хороших лекторов. Но, вернувшись с собрания к своим школьным учебникам, я пришел в ужас от неожиданной параллели: а ведь все прочитанные мной учебники тоже делятся на учебники созерцательные и учебники созидательные. Мало того, не только составители, авторы, редакторы и рекомедатели Министерства просвещения, а почтеннейшие ученые светила из Академии педагогических наук СССР — тоже. И главная беда, что учебников созидательных — единицы, а учебников созерцательных — тьма.

Вывод второй: наша педагогика во главе с Академией на практике не определила четких, твердых, ясных позиций отношения к ребенку вообще и к его трудовому воспитанию в частности.

В жизни это привело к тому, что в «огородах» наших букварей, читанок, хрестоматий летят камни как минимум с двух сторон: и от созерцателей и от созидателей. Удивительно, что мощные Голиафы-созидатели почти не наступают, они находятся в обороне и постоянно защищаются и отбиваются. И это при полном арсенале марксистско-ленинской теоретической базы, при всей полноте власти. На стороне созидателей фундаментальные положения классиков марксизма-ленинизма, великих педагогов Ушинского, Сухомлинского, Макаренко.

Владимир Ильич Ленин писал, что «нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения...». Согласно главным педагогическим постулатам, воспитание у учащихся готовности к труду, трудолюбия, профессиональная ориентация обеспечиваются в СССР всей системой учебной и внеучебной работы средней образовательной школы. Как видим, все формы власти находятся в руках активных строителей коммунизма, то есть представителей созидательного направления.

А на чем же держатся созерцатели, то есть прямые противники трудового воспитания детей? Да ни на чем! Даже пустынной теоретической зацепки у них нет.

Вот еще что видно, если прочитать все школьные учебники сразу: созидатели успокоились на своих нерушимых позициях. А созерцатели отвоевали немало позиций, они берут числом и напором. Кто не верит, давайте вместе полистаем и прочитаем.

Чтобы воспитать дошкольника, надо научно и обоснованно разбираться в предмете, то есть в самом дошкольнике. Привожу полностью аннотацию, броско напе-

чтанную на переплете книги, выпущенной издательством «Педагогика» в 1979 году. «Мир детства» — цикл книг о воспитании подрастающего поколения и формирования нового человека, обобщающий достижения современной науки. Авторы книг — ведущие ученые Академии педагогических наук СССР, педагоги, психологи, физиологи рассказывают, как в процессе идейного, трудового, нравственного воспитания формируется личность гражданина. «Мир детства» включает четыре книги — «Дошкольник», «Младший школьник», «Подросток», «Юность». Каждая из этих книг посвящена определенному этапу в жизни ребенка и последовательно раскрывает особенности его физического, психического и умственного развития от рождения до вступления в самостоятельную жизнь. Первая книга цикла — «Дошкольник».

Вот она в моих руках. Вся в глянце, в радуге красок, в лаке, с изумительными цветными вклейками, 300-тысячный тираж. Как отец и дедушка, я радовался, читая великолепное по ясности предисловие В. Н. Столетова. С позиций убежденного создателя автор предисловия прежде всего сослался на Конституцию СССР, которая обязывает родителей готовить детей к общественно полезному труду. Н. К. Крупская также была уверена, что «если труд соединяет семью в дружный союз, семья будет иметь хорошее влияние на ребенка».

«Наконец-то появилась настольная книга, и не какая-нибудь, а академическая, практическое пособие по воспитанию дошкольника», — подумал я.

Однако дальнейшие страницы этого увесистого тома привели меня в полную растерянность и уныние. То, что написано в книге после предисловия — это неприкрытое утверждение позиций созерцателей. На странице 22, перечисляя различные цели дошкольного воспитания детей — физическое, умственное, нравственное, эстетическое, авторы, в сущности, игнорируют вопрос о привитии ребенку начальных трудовых навыков. На странице 36, к примеру, они говорят о том, что дошкольник может выполнять лишь «...отдельные учебные задания, трудовые поручения...».

Вот так. Говоря простыми словами, до семи лет — дитя мое не трожь! Ни учебой, ни трудом... Агусеньки, цветочек жизни! В книге 415 страниц, почти 150 глав, пять крупных разделов. И есть в ней многое. Как вести себя мамам и бабушкам у колыбельки, с какой стороны подходить с бутылочкой, чем и когда кормить, как купать, читать сказки, водить гулять. И везде он — в центре, все вокруг него. Потребительская, эгоцентристская позиция будущего гражданина воспитывается последовательно, от главы к главе. И из 150 глав лишь одна (малюсенькая!), всего на четыре странички, называется «Воспитывать трудолюбие». И каким чужаком выглядит автор крошечной главки в океане созерцателей. Ему еле позволили сказать, что раннее включение детей в семье в посильную работу делает жизнь ребенка более полной и интересной. И разрешили дать схему детского труда: хозяйственно-бытовой, в природе и ручной. И все!

Так не тут ли, еще до школы, ребенку не привит вкус труда и вместе с дармовыми апельсинами, шоколадом, пирожными вскормлен и стыд к работе?

Проведя «цветок жизни» по всем оранжерейным прелестям, посвятив целый подраздел теме «Ребенок и прекрасное» или главу — «К чудесной красоте природы...» и т. п., не разрешив ему за семь лет прикоснуться к рабочему инструменту, кроме ложки, авторы на последней странице книги патетически восклицают: «Итак, ваш ребенок на пороге школы... У него начнется новая жизнь». Каким, мол, будет наш дошкольник младшим школьником? А что тут загадывать? Тут, батеньки, пора ответ держать за то, какой он уже есть, каким стал за семь лет с помощью предложенной ему системы воспитания.

В порядке отступления. Были и веселые моменты при чтении «Дошкольника». При обучении счету вся наша дошкольная и школьная детвора считает почему-то конфеты, яблоки, груши, апельсины. И ни в одном учебнике не считают гвоздей, подков, выстреленных в тире пульек, автомобильных колес и так далее. Какое-то кондитерское воспитание получается.

Итак, не ударив палец о палец за семь лет, ваш ребенок в привычном безделье пошаривает по томам букварей и хрестоматий, которые с еще большей щепетильностью будут оберегать его от физического труда не только в пору «счастливого детства», но и в юности. Всматриваясь и вдумываясь в страницы школьных учебников, не перестаешь недоумевать: неужели составители, рекомендатели и издатели забыли самое главное: ребенку нужен пример **ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ**.

Ребенок — очень податливый материал, и вопрос, какой пример дать ему для подражания, это уже вопрос идеологического порядка. В стране трудящихся примеры должны соответствовать нашей идеологии.

Пример или образ учебника обязан породить характер, жизненный принцип, действие. Об этом хорошо рассказала мне однажды моя мама, простая крестьянская женщина, давным-давно окончившая три группы земской школы. Когда учитель читал им «Несжатую полоску» Некрасова — весь класс сельской гольтыбы полон был сострадания к заболевшему пахарю, к одинокой несжатой полоске. А наутро, не стовариваясь, пришли в школу — кто с серпом, кто с косой. И робко спросили учителя: «А где та полоска? Я жать умею! Я косить умею! Я — снопы вязать!»

— Похвалил нас всех учитель за доброе сердце, спасибо сказал. А **полоска**, говорит, уже нет. Вчера я мужиков кликнул, вместе все и убрали...

Своих оппонентов я спрашиваю: чему научит второклассника пример, который подавал учебник украинского языка З. Жолдаковой и Ф. Яковенко, изданный еще в 1959 году, допустим, рассказом «Забиться о чистоте»? Привожу его полностью: «Возвратилась Оля из школы. Мать поставила обед на стол. Братик Петя и Тарасик уже сидели за столом. «Быстрее, Оля, мы тебя ждем», — говорит мама. «Сейчас, **вог только** руки помою. Петя, Тарасик, а вы почему рук не мыли? Пошли со мной **мыть** руки», — сказала Оля». Итак, перед глазами второклассника прошло звено типичных потребителей и бездельников, у которых мать в прислугах ходит. Чему тут учиться, чему подражать? Кто быстрее сядет за стол? Оля только вошла, а братики уже там, уже с ложками, второпях и рук не помыли... Многие учителя, немисливо изворачиваясь, не читали этого текста, они сами переделывали его на свой лад. Вот один из них: «Оля пришла из школы раньше, чем мама с работы. Братики Петя и Тарасик встретили ее. «Давайте приготовим маме и себе обед», — сказала Оля. «Я принесу воды», — сказал Петя. «А я почищу картошку», — сказал Тарасик. «А я буду резать лук», — сказала Оля. Когда мама пришла с работы, обед был на столе. «Как все вкусно», — сказала мама. — Спасибо, дети!»

Как говорится, то же действие и в той же декорации, но учитель превратил созерцательный текст учебника в созидательный. И этот учебник просуществовал 15 лет. В новом приведенного рассказа уже нет. Украинским второклассникам русских школ разрешено подражать лишь в вышивании голубей и салфеток, в кормлении птиц. Единственный «трудоу герой» книги — Лень, который помог старушке собрать рассыпавшийся картофель.

Вообще перечень дозволенного труда в учебниках составляет буквально несколько слов. До шестого класса дети в книжках кормят птиц, поливают цветочки и в лучшем случае сажают деревья. При этом деревце должно быть малюсеньким, тонюсеньким, дабы школьник не надорвался... Гляжу на детскую площадку большого городского двора. Вся она из металла — таков утвержденный архитекторами современный стандарт. Горки, качели, карусели, качалки, заборы сваривали шефы новейшей электросварочной **установкой** Института электросварки имени Е. О. Патона. Эта сварка выдерживает километровые пролеты мостов, нагрузки высоковольтных опор, но... детского напора не выдерживает. За одну весну карусели выворачиваются из земли вместе с бетонным фундаментом, качели лопаются, качалки превращаются в хоккейные ворота, катаные трубы забора лопаются по сварке и приобретают **профиль** штопора. **Выпустите** дошкольника на час без присмотра, наблюдайте за ним. Он в миг окажется на трубе дома, пролезет в подвал, куда кошка не пролезет, **откроет** все, что должно быть закрыто и закроет все, чему надо быть открытым. А если рядом сверстник — это уже неуправляемая таранная сила. Заполнить бы его руки нужным и интересным делом, направить бы на школьном уроке его мозги в **нужную** сторону, дать бы рисунок для прямого подражания, дать бы зовущее слово, да он сам, в охотку горы своротит, этот младший школьник. А наши учебники **чинно**, за ручонки водят их, розовощеких, чистеньких, с кулечками в пальчиках: **во они класом** ждут кормить птиц. От идеализма веет ладаном, кажется, из **заплетных** ренцев сейчас выскочат складные ангельские крылышки. Остается прослезиться в педагогическом умилении.

Всего в одном из прочитанных учебников в «Читанке» для 3-го класса составителями внесено разнообразие в цветочно-кормушечный труд школьника. Спасибо, помогли писатели. В рассказе Ивана Кирия «Выбойна» дети по своей воле засыпали **выбойну** на дороге, чтобы на ней не просыпалось зерно из колхозных машин. Да

Олесь Гончар рассказал, как дети из старых автомобильных покрышек сделали поилки для степных чаек, поедавших на полях хлебного жука-вредителя. Вообще об этом учебнике и его авторах Балацкой, Горбуновой, Миронове хочется сказать доброе слово. Оказывается, можно давать детям то, что надо! Ведь писатели, на произведениях которых в основном строится система школьного обучения написали очень и очень много. Воспитательный арсенал у нас неисчерпаем. Но выбрать нужное произведение для определенного возраста — это уже дело педагогов. И совершенно правильно, на мой взгляд, для третьеклассников взят рассказ В. Василевской «Вишневая дорога». В увлекательной форме, с конфликтом здесь дается полная «технология» закладки детьми вишневого сада. Готовый пример для подражания! Хорош и «Русский язык для третьего класса украинских школ». В нем подобран и «Пионерский колхоз» и рассказы о конкретных делах тимуровцев.

К сожалению, учебники, сознательно нацеливающие школьников на вкус к труду, можно сосчитать на пальцах одной руки. Невероятные приключения, например, происходят до сих пор с мамой, которая моет раму. Изучение слогов «ма», «ра», «мы» сделало маму и раму вечным учебным пособием. В букваре 30-х годов, помню, мама мыла раму, а мальчик возле нее держал таз с водой. Трудовое участие ребенка было налицо. Потом, очевидно, педагоги-хранители цветов жизни пришли к выводу, что допускать первоклассника к стеклу, высоте, воде, раме опасно. Возможно, были и другие причины, но многие годы мама моет раму сама. То согнувшись, как автомобильный крюк, то выставив раму на пол, что под силу дюжему плотнику. Конец маме-прислуге, маме-рабыне возле рамы положил «михалковский букварь» (так, между прочим, в учительской среде называют наш основной, стабильный русский букварь, изданный «Просвещением» в 1965 году и не утративший своего воспитательного значения и по сей день). За него школы низко кланяются и коллективу научных сотрудников Академии педагогических наук РСФСР и учителям Москвы и Ленинграда, написавшим эту книгу.

Попутно замечу, что лишь в одной этой книге литературным консультантом был писатель, в данном случае Сергей Владимирович Михалков. И жаль, что только в одной. Не сделать ли это исключение правилом?..

Да, о раме и маме. В «михалковском» букваре остались и нужные слоги и рама, но возле нее появились двое детей и дедушка, может, папа. Дети заняты делом: режут бумагу, смазывают полоски клеем, чтобы заклеивать щели на раме. Нарисованы и помощники в труде: пила, клещи, топорик, банка для воды или клея. По этому рисунку на уроке можно задавать школьнику много вопросов, связанных с трудом. И это прекрасно.

Ну что ж, отлично! Пусть дети подражают. На страницах букваря дети моют после еды посуду, помогают на поле убирать картофель, пилить дрова, поят и купают лошадей. Точно, как в жизни, на страницах букваря дел у них невпроворот. Хороший букварь! Однако, пробив серьезную брешь в крепости созерцателей, добрый педагогический пример не стал обязательным.

Передо мной 24-е издание «Азбуки», выпущенное тем же «Просвещением» в 1984 году. В ней детям запрещена всякая работа, хотя там и содержатся материалы по «трудовому обучению». В начале книги красочный разворот, где великолепная семерка с автоматами, пистолетами, со всеми видами тактического и стратегического оружия и даже с медсестрой в обозе — лавиной, с криком «ура» мчится на неизвестного врага. Я узнаю их. В моем дворе они такие же, как на картинке. Это они к пятому классу не выкопали в своем дворе ни одной ямки для дерева, это от их нашествия коты взлетают на бетонные стенки, а на детской площадке лопаются швы электросварки Патона. А вот юному школьнику с воздушными шарами в руках его портфель и даже автомат (личное оружие) услужливо несет на картинке папа. А вот сюжет «У папы ноша» — откровенный вызов сторонникам детского труда. У папы ноша невероятная: на спине огромный рюкзак, в руках удочки, сачок, палка... А его розовенькое чадо гордо вышагивает впереди с корабликом в ручках. Думается, что главная ноша для папы — это его отпрыск, не придется ли его кормить до самой пенсии... «Азбука» не обошла классические «маму» и «раму». Ну а мама здесь — сущий грузчик, целую стопу рам она поставила на пол. «У мамы рамы. Мама мыла рамы». Как всегда одна, как всегда согнувшись. А рядом, на том же развороте, — четверо чистеньких, беззаботных ребятшек заняты своим «делом»: «На, Шура, яб-

локо. На, Маша, яблоко. На, Лара, яблоко. Наша Шура мала. На, Шура, 2 шара». Куда же идти дальше, товарищ педагогическая наука?

Читая учебники, убеждаешься, что при желании и осознанной целенаправленности на трудовое обучение яркие примеры для подражания возможны и для детсадовской малышни. У составителей «Математики в картинках» М. Моро, Н. Вапняр и С. Степановой такое желание было. И они его блестяще осуществили, не убоившись, что их книга рассчитана на тех, кому всего 5—6 лет. Казалось бы, если уж гуманитарным наукам, идущим к сердцу ребенка через образ, задачи трудового воспитания не всегда по силам, то что может сухая математика? Может! В этой книжке дети заняты на каждой странице. Еще не умеющие считать и читать, в процессе уяснения «меньше — больше», «длинней — короче», они знакомятся с многими инструментами, они гладят, стирают, моют пол, лепят бумажного змея. «Лара помогает маме. Вчера она мыла пол, сегодня стирала платье, а завтра будет его гладить. Что Лара сделала сначала?» Это — не литературный текст, а задача по математике. Целиком можно ставить в буквари. Если в задаче сказано «Решили пересадить рыбок...», то нет сомнения, что решил не кто иной, а сами дети. Они на странице 55 их сами и пересаживают.

Есть в учебниках незыблемые разделы, обязательные для всех. Отечество! Всеми формами искусства в книгах неоднократно подчеркивается, что оно у нас безбрежно и сказочно богато. Но ни на одной странице не нашел я заостренной мысли, что это богатство надо беречь, активно защищать его. Нет рассказов о рукотворных лесах и прудах, об охране рек и воздуха. А сколько в жизни примеров борьбы егерей и пионеров с вооруженными браконьерами, сколько об этом пишут газеты! По драматизму эта тема сугубо детская, нескучная, но даже это не дает ей права на место в сегодняшних учебниках. И по-прежнему, наверное, уже лет шестьдесят выручает тему активной любви к природе «Серая Шейка» Мимины-Сибиряка.

Линия любви к своей школе, классу, парте ведется чаще всего вот так: «У нас новая школа. Она хорошая. За школой сад. В саду много яблонь. Я люблю свою школу. Вот наш класс. Там моя парта. То моя сумка». И ни слова о том, откуда же взялся этот сад, как возникла новая школа, как ухаживать за своим классом, своей партой. Многие годы такие вроде вовсе безобидные тексты были в учебниках первого и второго классов. А ведь вывод-то из них не простой и не безобидный — по требительский вывод! Жалко, что почувствовал это всего один украинский «Буквар» (авторы Б. и М. Саженок), он-то и поставил линию любви на ее законное место. Вот рассказ «Наш сад». «Возле школы большой сад. Деревья сажали пионеры. Каждый пионер посадил дерево. Молодые деревца подсаживали к старым, засохшим. Растет пионерский сад. Дети очень рады и говорят: это наш сад». Оказывается, не так уж трудно из бездельника-созерцателя сделать школьника-созидателя, если понять всю ответственность конкретного примера для вступающего в жизнь гражданина. Ведь ребенок — это *tabula rasa*, чистая доска, но нельзя писать на ней что вздумается.

Уход за собой в книгах дается настолько куце, что его не сразу и отыщешь. Во всех книгах есть картинки распорядка дня. Чаще всего тут только четыре позиции: 1) Юра спит. 2) Юра делает зарядку. 3) Юра завтракает. 4) Юра идет в школу. Как видим, действие ребенка всего одно: зарядка. Даже завтракает Юра (стол накрыт, сервирован неизвестно кем!) с таким видом, так важно, что сзади не хватает лишь двух рабов с опахалами. Некоторые последние буквари эту схему расширили, добавили рисунки, где Юра сам одевается, сам убирает постель. Леб тронулся! На мой взгляд, надо бы добавить еще, как Юра после сна полностью убирает свою комнату или уголок, а после завтрака моет посуду. Именно после себя и именно сам. Знакомый художник жаловался на дочерей, взрослых, с высшим образованием: «Позавтракали все вместе, смотри, девы мои посуду к центру стола — раз, сумочками шелк, зеркала перед собой — хлоп и давай пудриться как ни в чем не бывало». Чтоб отцу-фронтвику не грохать по столу, не бить посуду, пытаюсь тридцатилетних приучить убирать за собой — лучше это навеки заложить в рефлексе годиков с двух, так, как это делает режиссерская доченька Аленка.

Не думайте, что не работающий в книжках дошкольник и младший школьник начнет по программам приобретать вкус к труду в четвертом или пятом классах. Как бы не так! Передо мной «Родная литература», учебник-хрестоматия для пятого класса, утвержденный Министерством просвещения РСФСР. С колокольни заводского

гудка он вообще не может быть объектом для критики или похвал: на всех 382 страницах пособия нет ни одного рассказа, стихотворения, басни, текста, имеющих хотя бы отдаленное отношение к трудовому воспитанию. И эту книгу целый год учат не кто-нибудь, а пятиклассники, энергию которых можно сравнить разве с раскаленной плазмой. Значит, и для пятиклассников труд — табу!

На созерцательных позициях стоит и «Родная литература» для четвертого класса. Ни одного произведения о труде! Спорить с этой книжкой трудно, а надо. Трудно потому, что тут Пушкин, Некрасов, Тургенев, Толстой. А надо потому, что составители М. Пушкарева, М. Снежневская, Т. Зепалова просто прикрылись авторитетными именами, не задумываясь особо над тем, что важнее всего знать учащемуся четвертого класса. Я солидарен с ленинградским учителем Е. Ильиным, который недавно в «Правде» в статье «Необходимость вопроса» откровенно сказал, что педагоги нередко на том и останавливаются, что «Герцен говорил», «Луначарский сказал», «Горький подчеркнул». Но, если учитель на уроке не донесет сказанного и подчеркнутого до сознания школьника, то окажется, что «ничего не сказали и ничего особенного не подчеркнули ни Герцен, ни Луначарский, ни Горький». И что подчеркнет четверокласснику «Кавказский пленник» Льва Толстого, я не знаю. В своем четвертом я тоже его «проходил», в памяти осталось только то, что всех тучных сверстников мы стали дразнить Костылиными, а тонких Жилиными. А ведь Толстой мог подчеркнуть что-то невероятно важное, самое главное и для младшего школьника. Сокрушительный борец за народное образование, организатор сельских школ, автор «Новой азбуки» — да неужели составителям нечего было отобрать из огромнейшего творческого наследия великого художника, кроме непонятной для подростка войны на Кавказе, немотивированной жестокости татар? История Жилина и Костылина заняла 32 страницы, пушкинский «Дубровский» — 68. Да по силам ли пятикласснику сложные отношения Маши и Дубровского?! Не перенести ли это прекрасное произведение на те годы, когда собственное сердце забьется от любовной записочки... Уверен, что по воле составителей произошел именно тот случай, когда ни Толстой, ни Пушкин ничего «не подчеркнули».

Если быть абсолютно точным, то надо сказать, что в хрестоматии для четвертого класса одно «трудовое» произведение есть. Это «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Поступки команды Тимура породили всесоюзное движение трудолюбивых, которое живет уже более сорока лет. Изучение этого произведения, где дети осознанно действуют, творят добро, помогают взрослым, борются со злом, — конкретный повод провести в классе предметный разговор: а кому помог ты? что сделал для благоустройства своего двора ты? помогли ли твои руки школе, колхозу, маме, бабушке? какие работы ты умеешь делать? Нет, на такой разговор даже это произведение составителями не нацелено.

Неужели в нашей русской и советской литературе нет произведений, которые со снайперской точностью попадали бы в возрастные интересы ученика, которые были бы им близки, понятны, вызвали прилив сил и тягу к доброму подражанию? Ими хоть пруд пруди. Четвертые-пятые — возраст повышенной энергии, тяги к рабочим инструментам, машинам, к домашним животным. И почему бы в эти годы не дать увлекательные рассказы о ремеслах? О русском мастере пушечного литья Андрее Чохове — для будущих литейщиков и слесарей. О подвиге народа, сотворившего за одно лето петровский флот — для будущих плотников и корабелов. О дедах и прадедах наших, топором да стамеской возводивших терема звонкие да храмы — для строителей. О трудолюбии Королева, который своими руками строил планеры и сам летал на них. О подростках, точивших на Урале и в Сибири снаряды в годы войны.

В учебниках для школ с украинским языком преподавания вообще нет имени... Стаханова. Для учителей восьмилетней трудовой политехнической школы села Богодатное, с которыми я обсуждал этот вопрос, это тоже было неожиданностью. Собрался весь педагогический коллектив. Словесники и историки сразу заявили, что у них — нет. Потом вспомнили, что еще года три назад он был в «Природоведении» (на украинском языке) в разделе «Полезные ископаемые». Искали и там родоначальника прославленного трудового движения, Героя Социалистического Труда — не обнаружили...

С введением урока и учебника труда во многих школах все заботы о трудовом воспитании переложили на этот урок. При этом забывается главное: урок труда дает школьнику навыки ремесла, его приемы. Юный работник научится гнуть жезл, паять

чайник, точить пилу и рубанок. Но урок труда не прививает вкус, любовь к труду. Это не его задача, а задача гуманитарных наук и в первую очередь литературы. Только она может дать яркие, впечатляющие, запоминающиеся на всю жизнь эталоны трудового поведения человека. И как же можно рекомендовать и издавать учебники, не испытав их задачами сегодняшнего и завтрашнего трудового ритма страны, не соразмерив уровень звука каждой строчки с тоном заводского гудка?!

Еще раз отмечу, что в жизни с трудовым воспитанием школьников дела обстоят лучше, чем в учебниках. Ведь кроме школы ребенок бывает дома, где в большинстве семей по древней народной традиции его с ранних лет приучают не быть иждивенцем. Хотя бы раз можно сказать доброе слово и об улице. Понаблюдайте за детворой в своем дворе, у детей пауз нет, все заполнено движением и делом. Значит, и улица учит.

Вывод третий и тоже неутешительный. Здоровый, созидательный рабочий дух подрастающего поколения еще сохранился не благодаря тщательно разработанной системе трудового воспитания в школах (ее практически нет), а нередко вопреки многим учебникам и программам, которые не помогают, а, наоборот, тормозят трудовое воспитание и развитие детей.

Родителей, которые тетешкают своих детей, хлебом не корми, а дай при гостях спросить у своего чада, кем он будет, когда вырастет. И несут дети такую ахинею под восторженными «умничка» родителей! А что может знать семилетний о профессии шофера? То, что на машине приятно кататься, что есть на ней руль и кнопка для библиканья. И в чем же его ум, если «станет космонавтом»? Откуда ему знать, что космонавт может десять лет готовиться к полету, проходит нечеловеческие испытания на выживаемость, прежде чем попадет в космос. Профессии выбирают серьезно. Но с родителей взятки гладки, им можно и простить беспочвенную игру. Но если: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» становится линией школьных учебников — это уже страшно. На мой взгляд, этот вопрос в принципе антипедагогичен. Он дает право (и самое страшное — внутреннее, душевное право) пассивно ждать чего-то 10—15 лет, ничего не делая сейчас. «Вот вырасту — тогда стану...» Не станешь, если до сих пор не стал! Надо уяснить, что с первого сознательного шага ребенок не «готовится к жизни», а активно живет, не «готовится к труду», а активно трудится в меру своих сил. Именно это и надо закладывать в учебники.

Целенаправленное, действенное трудовое воспитание — не новинка для советской педагогики и в теоретической части и на практике. Все у нас есть, все мы умеем. Свой богатейший опыт охотно передаем друзьям. Угадайте, откуда эти строчки? «Воспитание деловых людей... начинается уже в школе. Ребенка готовят не просто к жизни, а к труду — постоянному, неизменному, добросовестному, стараются убедить, что в этом и есть его главное назначение в жизни. Прослыть в школе лентяем — позор. Каких только у ребят нагрузок нет! Курсы машинописи, гидов, кулинаров... В каникулы месяцы работают продавцами, официантами, едут на уборку урожая. С детства знают цену труду и деньгам, заработанным за труд»... Эти слова принадлежат двум московским учителям, которые в венгерской гимназии преподавали русский язык, прививали детям вместе с венгерскими коллегами вкус к труду. Их рассказ о воспитании трудолюбия в Венгрии привела в январе 1981 года «Литературная газета». Широта наших возможностей радует. А грустинка остается: венгерских можем, всех других тоже, а своих-то когда начнем?..

В разных тональностях пробовал я пропеть наболевшее, но неизменно возвращался к тону прямому, пусть даже грубоватому. Он взят из жизни. Не фигурально, а наяву писатели, живущие в Донбассе, находятся в гуще рабочего класса. Ежегодно каждый из нас проводит встречи с шахтерами, металлургами, строителями, учителями, школьниками. Директора шахт и заводов, бригадиры, кадровики угольного министерства, производственных объединений, ощущая острейшую нехватку рабочих рук и видя толпы праздношатающихся убежденных бездельников, спрашивают нас, бойцов идеологического фронта: «Строить светлое будущее? Да! Но чьими руками?» Ведь выпускники школ в большинстве не идут на инженерно-технические профессии, крен престижности сдвинут в опасную сторону. Возродить у взрослого человека любовь к труду, если она не была заложена в школьные годы, невозможно. Вот к чему приводит «безобидная» концепция академического «Дошкольника» о том, что в детстве надо лишь играть, в школе — учиться, а работать — дело взрослых людей.

Не забуду того прапорщика-танкиста, с которым мы разговорились все о том же трудолюбии юношества. Он не выбирал выражений. Именно к нему, прапорщику, попадают вначале бывшие школьники. Он, как заботливая мамка, учит их наматывать портянки, стирать подворотники и рубахи, пришивать пуговицы, заправлять постели, мыть посуду. Многих, к сожалению, на девятнадцатом году — впервые. «Нас было семеро в семье, с малых лет мы умели все, гордились работой, искали ее. А тут приказал новобранцу помыть пол в казарме. И он такого натворил! «Выжми, говорю, тряпку и вытри все». И вот он, здоровенный оболтус с усиками, кладет на ладонь тряпку, а сверху другой ладошкой честно пытается выжать. «Ты что, никогда пол не мыл?» «Не приходилось». «Тряпку не выкручивал досуха?» «А как это?» «Рамы оконные не протирал?». «А зачем?»... Но это не главная беда, за два года я его научу хозяйствовать. Дело в том, что он солдат и попадает в обстановку, приближенную к боевой...».

И наш недоросль в этой обстановке чувствует за спиной огромный пробел, пустоту от незнания многих простейших дел, которым ни в школе, ни дома его не научили. Застрянет машина, и он не завяжет трос, ибо не завязал в жизни ни одного узла. Он не забьет кувалдой палец в трак — побойтся попасть по руке. А неуверенность рождает страх.

Трудовое будущее нашей юности в центре внимания всей страны. Выбрать правильную дорогу молодым помогают издательства, газеты, журналы, радио, театр. О злободневности вопроса свидетельствуют открытые дискуссии на эту тему на экранах и газетных страницах. Однако эта большая, необходимая и полезная работа страдает, на мой взгляд, одним общим недостатком: неверной точкой отсчета самой проблемы. Попытаюсь сформулировать

вывод четвертый: первые серьезные трудовые вопросы мы начинаем задавать подростку в 14—15 лет. А это безнадежно поздно!

В речи Генерального Секретаря нашей партии Ю. В. Андропова на июньском (1983) Пленуме ЦК сказано: «...формирование человека начинается с первых лет его жизни... Мне хотелось бы подчеркнуть одно: партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего — как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма, с присущими ему идейными установками, моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения.

Хорошее средство воспитания — соединение обучения с производительным трудом. Надо твердо проводить курс на то, чтобы прививать школьнику привычку и любовь к полезному труду».

Реформа школы — общенародное дело. Недаром Проект ЦК КПСС «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы» вынесен на широкое обсуждение. Примечательно и то, что в этом документе есть такие слова: «Обеспечивая высокий уровень знаний, необходимый для продолжения учебы в вузе, школа в то же время должна ориентировать молодежь на общественно полезный труд в народном хозяйстве и готовить ее к этому. Трудовое воспитание следует рассматривать как важнейший фактор формирования личности и как средство удовлетворения потребности народного хозяйства в трудовых ресурсах».

Думается, нашей педагогике не время сейчас обижаться на замечания или критику. Положение надо исправлять сообща.

...Зовут заводские гудки молодую смену на смену. Помочь молодым войти хозяевами в заводские проходные, обрести свое призвание и место в жизни — гражданская обязанность и долг педагогов и писателей.

Анатолий МАРТЫНОВ.

г. Донецк.

КОРОТКО О КНИГАХ



Е. ДОЛМАТОВСКИЙ. Зеленая брама. М. Политиздат. 1983. 301 стр.

Чем дальше отодвигается от нас минувшая война, тем чаще возникает она в памяти фронтовиков, громче стучится в их сердца. Известный поэт Евгений Долматовский, прошедший войну, немало писавший о ней, обратился к документальной прозе о событиях той поры. Несколько лет назад он опубликовал в газетах серию статей о героической борьбе частей 6-й и 12-й армий, окруженных в августе 1941 года тройным кольцом врага на территории Кировоградской области в большом лесу с поэтическим названием Зеленая брама. Публикация вызвала множество писем от участников боев тех лет. Вместе с дополнительными сведениями из архивов, мемуаров, исследований они вошли в документальную повесть, которая увидела свет на страницах журнала «Октябрь» (1981, № 7). Поток писем не прекращался. На их основе возникли новые главы. Отдельной книгой повесть вышла в издательстве «Политическая литература».

События двух самых напряженных недель — с 1 по 14 августа 1941 года — проследжены день за днем и даже час за часом. И каждый час отмечен массовым героизмом. Из отдельных эпизодов вырастает монументальный образ красноармейца начала войны, боевые качества которого характеризуются выражением «сталь закали сорок первого года».

Оказавшись в окружении, солдаты и командиры настойчиво искали выход из кольца. Из остатков подразделений на ходу формировались новые отряды. Бойцы всех тыловых служб, санитары, журналисты, рабочие походных хлебозаводов, полевой почты стали стрелками, шли в дерзкие атаки, отражали натиск противника.

Публикация повести (ее сокращенного варианта) в «Роман-газете» (1983, № 2) завершалась послесловием маршала И. Х. Баграмяна, который в августовские дни 1941 года был заместителем начальника штаба Юго-Западного фронта и хорошо знал об этих событиях. Солдаты и командиры, сражавшиеся в Зеленой браме, по

словам маршала, «сделали все, что было в их силах, и много свыше своих сил».

Автор не ограничивается описанием боев и подвигов. Он сопоставляет документы, свидетельства, сопоставляет и освещает точки зрения командиров разных рангов, солдат всех родов войск. Показана Зеленая брама и глазами врагов, для чего использованы их дневники, письма, публикации.

Пространственные рамки повествования не ограничиваются полями боевых действий, а временные — сорок первым годом. Автор прослеживает судьбы вырвавшихся из окружения, убежавших из лагерей смерти. Солдаты закали сорок первого года к концу войны стали капитанами, майорами, а капитаны и майоры — генералами. Многие воевали в партизанских отрядах, участвовали в движении Сопротивления народов Западной Европы. В Норвегии, США, Италии, Франции, ФРГ — везде находит автор следы героев Зеленой брамы.

Небольшой лесной массив в степной части Украины автор называет крепостью без стен и башен. Бои окруженных здесь частей ставит в ряд крупнейших оборонительных сражений 1941 года, подорвавших силы противника и существенно повлиявших на дальнейшие события войны.

Повесть завершается обоснованным выводом о том, что самоотверженность бойцов Зеленой брамы явилась залогом победы, ибо «сперва была Зеленая брама, а триумфальные арки — потом, почти через четыре года».

Будучи активным деятелем движения борцов за мир, Долматовский сумел взглянуть на события далеких лет с высоты нынешнего опыта, показал связь этих событий с современностью. Приведена масса примеров, свидетельствующих о том, что люди 80-х годов постоянно помнят о героических сражениях 1941 года, во многом опираются на эту память.

Повесть написана поэтом. В ней присутствуют лирическая теплота, напряженность стиля, глубокое подводное течение, ассоциативность.

Она читается с большим интересом.

По ходу изложения автор кое-что сообщает и о себе. Видимо, личная скромность

не позволила ему осветить свое участие в тех событиях полнее. Как работник газеты одной из дивизий, сражавшихся в районе Зеленой браны, я не раз встречал Долматовского в боевой обстановке, видел, как достойно делил поэт ратные труды с бойцами и командирами. Личное участие писателя в незабываемых сражениях сообщает особую убедительность его повествованию.

Документальная повесть Е. Долматовского — достойный памятник героям 1941 года. Она существенно расширяет наше представление о событиях той трагической поры. И с большим интересом будет прочитана не только ветеранами войны, но и молодежью, обогатит читателя новыми уроками героизма и гражданственности.

Ф. Сетин,

*доктор филологических наук,
ветеран войны, профессор.*



ВАЛЕРИЯ ПЕРУАНСКАЯ. *Зимние каникулы. Повести.* М. «Советский писатель». 1982. 295 стр.

Совсем не удивительно, что женщин-писательниц особенно интересуют женские судьбы. Вот и у Валерии Перуанской на первом плане судьбы, характеры наших современниц. С такими, как ее героини, юными, молодыми, старыми городскими женщинами могут каждый день пересекаться наши пути.

«Кикимора»... Так назвала пожилую, невзрачную Анну Константиновну молодая, уверенная в себе дочь человека, полюбившего ее. А она, услышав обидное словечко, озбочена лишь тем, как бы злоязычная девица о том не догадалась и не была смущена. История случайного знакомства двух старых одиноких людей — кульминация немногословно рассказанной, исполненной драматизма жизни «кикиморы». Эта тихая, деликатная женщина вызывает глубокое сочувствие. Идеалистка и бесребреница, до старости проработавшая корректором, писавшая стихи, заполнявшая свою жизнь чтением, она думает о людях, обуреваемых меркантильными интересами: «Остается ли время на небо с бескорыстной радостью взглянуть?» Но чем подробнее знакомишься с героиней, тем очевиднее, что ее определяющая черта — крайняя робость перед жизнью, пассивно-смирное отношение к несправедливости... И не она ли, эта всепобеждающая робость, одна из причин горького одиночества героини?

Читатели В. Перуанской непременно задумаются о том, что иные люди слишком уж безвольно отдаются течению жизни, отказываясь активно строить собственную судьбу.

Герой повести «Тридцать три богатыря», вступивший в зрелый возраст, предается маниловским мечтаниям о том, чтобы все в его жизни образовалось, разрешилось само собой, без его сознательного решения и воли. И неудивительно, что его, сорокапятилетнего мужчину, переполняет инфан-

тная обида на «Судьбу-злодейку», которая «поманила и обманула». Не расплачивается ли он поздними разочарованиями за всегдашнюю свою вялость, инертность, готовность ко лжи? Мы догадываемся, что его «доброта» — синоним слабости или безволия. И не случайно сын этого героя, переполненный энергией и оптимизмом, говорит ему, что человек — кузнец своего счастья, что ссылки на везение или невезение — удел малодушных.

Молоденькая Майя попадает в больницу и поначалу способна думать только о себе. Состояние соседок по палате ее очень мало трогает («Зимние каникулы»). Но проходит какое-то время, и ей становятся интересны, даже дороги другие. В больнице она задумывается о том, что у каждого должны быть силы совершать добро. И вот она обнаруживает их в себе...

При внешней сдержанности проза В. Перуанской исполнена драматизма. Чаще всего повествование строится как внутренний монолог героев, размышляющих о своей жизни. За подчеркнута будничными ситуациями вырисовываются острозлободневные вопросы. И один из них проходит через все повести сборника В. Перуанской — вопрос об ответственности человека и за собственную судьбу и за чистоту, разумность тех отношений, которые связывают его с окружающими людьми.

Лидия Мешкова.



НИКОЛАЙ АМОСОВ. *Книга о счастье и несчастьях.* «Радуга», 1983, №№ 1—4.

Автобиографическая «Книга о счастье и несчастьях», принадлежащая перу хирурга, ученого и писателя Николая Амосова, не романтична. Исповедь, в которой эмоции поверены разумом, а события изложены спокойно, деловито, словно история болезни. На мой взгляд, намеренно спокойно, в соответствии с авторской задачей, сформулированной Амосовым кратко: не блеск, а информация. «Я начинаю эту новую книгу о своей жизни в четыре утра. Давно кручусь в постели, принял снотворное — бесполезно, не уснуть». Уже одно это неброское начало показательно и заметно контрастирует с жутковато-эффектными зачинами предыдущих книг Амосова. Вот, скажем, первые фразы повести «Мысли и сердце»: «Это морг. Такой безобидный маленький домик стоит в углу институтского сада. Светло. Яркая зелень. Цветы. Кажется, по этой тропинке ходит Красная Шапочка. Нет. Здесь носят трупы». Или в романе «Записки из будущего»: «Все ясно. Лейкоз, лейкемия. В моем случае — год, может быть, два».

«Книга о счастье и несчастьях» написана в другом ключе. Это дневник и воспоминания о детстве и юности, это размышления о жизни и науке — об этике врача, о хирургии, психологии, кибернетике, естественном и искусственном интеллекте, о вечных вопросах (жизнь, смерть, старость)... Притом все настолько мозаично, что при чтении возникает, я бы сказал, некая мерцательная

аритмия восприятия. Прочитав первые страницы, думаешь: так, ясно — хроника операционной, литература факта, познавательнейшего иного романа. И вдруг — перечисление основных пороков сердца, да еще с рисунком-схемой, будто в Медицинской энциклопедии. Что ж, сведения тоже не лишние, однако несколько неожиданно. Но далее снова дневник. Стало быть, все-таки документалистика, записки врача? Ан нет. Начинается глава «Наука», которая легко могла бы стать частью научно-популярной статьи. А «Мама, детство, родня» — главой мемуаров. А «Любовь и вообще» — фрагментом повести.

В «Книге...» все вместе. Форма, мне кажется, наиболее естественная для Амосова, впервые в одном произведении прямо соединившего свои научные и беллетристические опыты. Не исключено, впрочем, что избранный автором жанр перспективен и для литературы вообще, так как синтез в принципе в духе времени, символом которого становится интеграл, а не дифференциал, Моцарт, а не Сальери (по типу творчества, конечно).

И хотя соединение научного и художественного начал в «Книге...» Амосова не всегда органично, читается она с не меньшим увлечением, чем «Мысли и сердце» и «Записки из будущего». Во-первых, потому, что искренность автобиографии, исповедальной прозы в целом, к которой, к слову, можно отнести все художественное творчество Амосова, вообще привлекательна. Во-вторых, потому, что автор неизменно старается показать движение мысли, а оно подчас значительней, чем результат. Очень интересна, положим, гипотеза, защищаемая рядом ученых, в том числе Амосовым: создание искусственного интеллекта не фантастика, а реальная цель современной науки, но не менее любопытно, как и почему автор пришел к такому выводу. Амосов, заведующий отделом Киевского института кибернетики, приводит развернутую систему доказательств.

В центре «Книги о счастье и несчастьях», как и в прежних произведениях автора, — судьба врача-хирурга и судьбы его больных, нередко драматичные. Ведь в сложных операциях на сердце, которыми занимается Амосов в руководимой им клинике грудной хирургии, силы жизни и смерти сталкиваются в упор — на узком лезвии скальпеля. Для литературы подобная «пограничная» ситуация, как известно, одна из самых благодарных — по заключенному в ней мощному заряду трагизма; трагедия же издревле считалась сильнейшим средством духовного очищения человека. Именно это, очевидно, хочет подчеркнуть Амосов-писатель, вынося в эпиграф своей «Книги...»: «Тема смерти всегда сильнее темы любви». Или, другими словами, тема счастья слабее темы несчастья.

Такова художественная логика, принятая автором. Но «пограничная» ситуация волнует Амосова не только как литератора, и я не думаю, что он имеет в виду исключительно законы художественные. Да и не случайно, быть может, «счастье» в русском языке существует лишь в единственном числе, «несчастье» же множественно.

Однако завершается «Книга...» мыслями иными: казалось, смерть, несчастье слишком часто неодолимы, а годы берут свое, и из хирургии пора уходить, но «права не имеешь, пока можешь», и завтра у Амосова три операции...

Возможно, когда-нибудь он расскажет и о них. «Мне не надоедает описывать операции, — говорит автор. — Я ими живу». А нам не надоедает читать эти описания, так как мы страстно надеемся, что каждый следующий поединок врача с болезнью окончится победой, сколько бы поражений ни терпел он раньше. Счастьем — даже если оно в единственном числе и одинаково для многих.

А. Белорусец.



СТ. РАССАДИН. Круг зрения. Беседы об искусстве. М. «Детская литература». 1982. 222 стр.

Название новой книги известного литературного и театального критика может, пожалуй, ввести в заблуждение читателя, взявшего ее в руки. «Круг зрения»... Существуют, как известно, многочисленные попытки определить «круг чтения» — какой-то минимум самых великих, самых нужных книг, которые следует прочесть. Так, может быть, Ст. Рассадин и написал свою книгу о наиболее замечательных произведениях сцены, кинематографа и телевидения, которые обязательно следует посмотреть?

И действительно в поле зрения автора — спектакли и фильмы самые известные, самые популярные. Но, вчитавшись в «Круг зрения» (а вчитаться легко: книга написана увлекательно, иногда и вдохновенно), мы быстро понимаем, что анализ этих самых разных явлений понадобился автору вовсе не для того, чтобы поставить им отметки. Ст. Рассадин размышляет о том, что является важнейшим признаком настоящего художественного произведения, — о хорошем вкусе, аргументированно доказывая, что в искусстве существуют объективные критерии и что есть ориентиры, с которыми можно и нужно сверяться.

С первых же страниц своей книги Ст. Рассадин включает в продолжающийся десятилетиями спор об отношении к классике. Его позиция ясна и определена — он не сторонник того, что часто называют «современным прочтением» или даже «обогачением» великих произведений. Он пишет: «...искусство — не коммерция, и богатство в нем не накапливается и не умножается за счет процентов, а обнаруживается». Надо ставить старую и вечную пьесу так, «будто взяли и мокрой тряпкой протерли заплывшееся от времени окно».

Свою мысль Ст. Рассадин иллюстрирует примером из фильма «Несколько дней из жизни Обломова». Любя и почитая талант режиссера Никиты Михалкова и исполнителя главной роли Олега Табакова, критик

протестует против попыток авторов фильма (как и автора биографической книги о Гончарове Ю. Лоцица) пересмотреть традиции русской демократической мысли и сделать купцов благостными, а помещиков — воплощением доброты.

Отношение автора «Круга зрения» к спорам о «современном прочтении» классиков вытекает из его взгляда на смысл и значение для современных поколений исторической памяти. «...великий писатель может быть осознан как «наш современник» только если он будет понят как современник самому себе. Своей эпохе», — пишет он.

Одна из «бесед» Ст. Рассадина со своим читателем названа строчкой из Н. Заболоцкого: «Душа обязана трудиться»... Она адресована тем, кто не понимает, что чтение великого произведения есть труд, что не для забавы, не для приятного времяпрепровождения великие создавали свои романы, стихи, музыку, картины... Ст. Рассадин искренне жалеет тех, кому неинтересно читать Толстого и Достоевского, кому скучно слушать великую музыку, надеясь, что они сумеют преодолеть душевную лень.

Но если «пассивного» читателя (зрителя, слушателя) автор «Круга зрения» жалеет, то художников, писателей, режиссеров, актеров, заботящихся о том, чтобы все у них выходило полегче и попроще, он не щадит, ибо они «упрощают и укрощают прекрасную сложность искусства, жизни, истории».

Книга Ст. Рассадина — о театре, кинематографе и телевидении. Но вся она одновременно и о литературе. Ибо драматургия есть неотъемлемая часть литературы, а литературные произведения составляют основу множества спектаклей и фильмов.

Ст. Рассадин постоянно обращается к телевидению, с уважением и требовательностью относится к этому виду искусства. До сих пор часть искусствоведов относится к телевидению с оттенком высокомерной снисходительности, как к искусству «домашнему». Ст. Рассадин думает не об издержках или «слабостях» телевидения, а о его великих возможностях: «Телевидение, как никакое другое искусство, придвинуло к нам человека, его личность. Помогло в буквальном смысле заглянуть ему в глаза. В душу». И тем требовательнее он относится к многочисленным попыткам экранизировать для телевидения как замечательные произведения классики, так и наиболее яркие страницы современной прозы.

Последняя глава «Круга зрения» называется «Уроки». Она написана в форме писем к читателям. Это разговор с читателями о разнице между версификацией и поэзией, о том, что в искусстве не может быть ориентации на «средний уровень», о необходимости читательского и зрительского роста...

Впрочем, уроками можно назвать все разделы этой интересной и умной книги. Изданная для молодого читателя, она обращена ко всем, кто любит искусство.

Лев Разгов.



Г. А. ШАХОВ. Игорь Ильинский. М. Союз кинематографистов СССР и Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. 1982.

Нам, кажется, известно все или почти все о гениальном Игоре Ильинском. Множество статей в газетах, журналах, сборниках, рекламные буклеты, популярные брошюры, академические монографии, переиздающиеся мемуары самого актера «Сам о себе».

И вот еще одна брошюра — «Игорь Ильинский». По жанру это путеводитель для тех, кто только начинает путешествие в магический мир кино и театра. От такого путеводителя не ждешь, понятно, новаций, но хочется быть уверенным в надежности и достоверности искусствоведческой лоци: иначе в чем же тогда смысл просветительских изданий?

Для читателя, безусловно, интересны перепечатанные в брошюре статьи Вс. Мейерхольда «Игорь Ильинский и проблема ампула», С. Юткевича «Гороскоп сверстника», В. Марецкой «...И я влюбилась», Г. Александрова «Вечный искатель нового», Ю. Саакова «Двадцать четыре и один», В. Комиссаржевского «Метаморфозы Ильинского» и, наконец, самого Ильинского «О том, что главное» (к сожалению, нигде, кроме статьи Мейерхольда, не указано, откуда взяты эти материалы). Высказывания учителя, сотоварищей актера, помогают понять, кем был и остается для нашего искусства человек по имени Игорь Ильинский.

Но все это как бы приложение к брошюре, а главное в ней — очерк «Всегда в пути» Г. Шахова (в выходных данных Г. А. Шахов рекомендован как автор брошюры).

Пока Г. А. Шахов рассказывает о десятой музе, о ролях, сыгранных Ильинским в кино, он, в общем-то, в ладу с реальностью: и фильмы верно названы, и даты съемок, и персонажи. Но едва наш гид заговаривает о театре, как мы словно улетаем в королевство кригых зеркал — что ни страница, то загадки и сюрпризы. Вот Г. А. Шахов оповещает о премьерах в Театре имени Вс. Мейерхольда: «Горе от ума» (кстати, в театре спектакль назывался «Горе уму») в 1927 году, «Клоп» в 1928 году, «Свадьба Кречинского» в 1932 году. Однако обратимся к самому Мейерхольду. В книге Э. Мейерхольда «Статьи, письма, речи, беседы», часть 2 (М. «Искусство». 1968), на страницах 605, 606 читаем, что спектакль «Горе уму» был поставлен в 1928 году,

«Клош» — в 1929-м, «Свадьба Кречинского» — в 1933 году. Разница вроде бы и небольшая, всего лишь в год. Но нам дорога истина. Если верить автору очерка, И. В. Ильинский ставит «Госпожу Бовари» в Малом театре в 1958/59 году совместно с В. Цыганковым, а Театральная энциклопедия (М. 1964, т. III, стр. 661) и З. В. Владимирова в книге «Игорь Ильинский» (М. «Искусство». 1967, стр. 294) указывают, что премьера спектакля состоялась в 1963 году в постановке И. Ильинского и А. Шипова. Кому же верить?

Артист, как известно, свою первую встречу с Маяковским датирует зимой 1917/18 года. (Игорь Ильинский. Сам о себе. М. Изд-во ВТО. 1961, стр. 62—63). Но по Г. А. Шахову, Маяковский и Ильинский знакомятся «уже в канун Октября 1917 года...» (стр. 5). Опять загадка.

Слово самому Г. А. Шахову, лично (запоминаем!) присутствовавшему на одном из первых спектаклей «Леса» с участием Игоря Ильинского» в Театре имени Вс. Мейерхольда: «Дебютант органично вошел в этот уже шедший на сцене театра... спектакль». Помилуйте, зачем Ильинскому было входить в спектакль, из которого он и не думал выходить, а играл Счастливецва, если верить самому Ильинскому, со дня премьеры — с 19 января 1924 года (Игорь Ильинский. Сам о себе, стр. 193). Это подтверждает и книга К. Л. Рудницкого «Мейерхольд».

Как я вычитал в другой книге (Г. А. Хайченко. Игорь Ильинский. М. Изд. АН СССР. 1962, стр. 128), артиста все ж таки ввели на роль Счастливецва; правда, в другой «Лес» и в другое время — в спектакль Малого театра в марте 1939 года.

Точность, говорят, вежливость королей. Так ли уж пунктуальны были монархи, не знаю, не проверял, но что научной точности, авторской и редакторской, не хватает рецензируемой брошюре, слишком уж очевидно (нет даже нумерации страниц!).

Хронологическая вольница, играшка с фактами более к лицу сборникам кинотеатральных анекдотов, чем серьезно задуманным изданиям. Читатель, вконец сбитый загадками (а вернее, ошибками), что встречаются в очерке, скептически отнесется и к самым верным замечаниям и оценкам работы автора (будем объективны, не все же в брошюре напутано). Не зря сказано: единожды солгав, кто тебе поверит.

В. Селезнев.

Саратов.



СОВРЕМЕННОЕ ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО. XX век. Проблемы и тенденции. М. «Наука». 1982. 317 стр.

Литература, живопись, музыка, архитектура, скульптура, театр — ко всем видам искусства обращаются авторы книг, составляющих серию «Западное искусство. XX век» (первая книга вышла в 1978 году) и заслуживших добрую славу у читателей разных профессий. Авторы серии стремятся увидеть движение современного искусства в сложном единстве самых разных его проявлений, сопоставить язык разных муз, найти нечто общее, оттенить специфическое, особенное. Добрая оценка, которую получают книги этой серии, объясняется не в последнюю очередь высоким профессиональным уровнем разговора, хорошим языком, каким говорится о сложнейших явлениях культуры.

Авторам сборника удается проследить динамику широких художественных процессов. Читатель видит, как на смену относительной гармонии импрессионизма приходит полная тревог и грозových предчувствий живопись Сезанна — «плотная, материальная, весомая», где «предметы второго и даже третьего плана не отступают плавно в глубину, а, увеличиваясь масштабно, как бы нависают над предметами первого плана», где «грубые, глухие, черные тени сезанновского «Завтрака на траве» взрывают безмятежность «пасторальной темы» (С. П. Батракова. «Поль Сезанн»). Убедительно рассказано о «театре жестокости» Альфреда Жарри, изобретавшего самые фантастические сценические ходы, чтобы «самодовольный и ограниченный человек снова научился кричать» (Т. Б. Прокурникова. «Антонен Арто, теоретик театра жестокости»); о специфике стиля Бернарда Шоу, так озадачивающего нас парадоксами (Ю. И. Кагарлицкий. «Назад к Мафусаилу» в свете научных воззрений Шоу); о графике немецких художников-экспрессионистов (В. В. Турова. «Революционно-политическое искусство в Германии 20—30-х годов»)...

Читатель улавливает противоборство тенденций, логику размежевания художников, путь тех из них, наиболее зрелых гражданственно, что выходят на простор революционного преобразования искусства.

В книге прослежены пути от 20—30-х годов (которым преимущественно посвящены статьи) к нашим дням. Речь, в частности, идет о популярном среди художников За-

пада девизе — сделать искусство действенным! Такое желание, несовместимое с рафинированным эстетизмом, порождало, как известно, революционные фрески Диего Риверы или Ороско. Но та же формула дала начало левацкому экстремизму, разбушевавшемуся в 60—70-е годы. В какую сторону двинется художник, получивший такой импульс, опять же зависит от его социальной ориентации. Важнейшие положения сборника развернуты во вводной главе, написанной безвременно от нас ушедшим Г. А. Недошивиным, — «К вопросу о реализме в современном искусстве капиталистических стран». XX век рассматривается здесь как новый этап в развитии реалистического метода. «Обретя новые образные возможности, — читаем мы у Г. А. Недошивина, — реализм образует сегодня едва ли не самый мощный (и уж во всяком случае самый содержательный) отряд мирового искусства». Отличительное свойство реализма для автора вводной статьи — устремленность художника к общественно значимому идеалу: «Правда идеала нередко предшествует правде воспроизведения» и называется для художника той путеводной звездой, которая спасает его от духовной слепоты и эстетического капитулянтства».

Доверие к художнику, который мерит свой путь правдой социального идеала, во многом определяет в этом сборнике точность звучания литературно-критического слова.

Т. Балашова,
доктор филологических наук.



МУДРОСТЬ ВЫМЫСЛА. Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. Составитель и автор вступительной статьи С. В. Асенин. М. «Искусство». 1983. 207 стр. 40 л. илл.

Вот если бы слить воедино достоинства разных видов искусств! Утонченную одухотворенность музыки, динамичность и зрелищность кинематографа, гармонию звучания и смысла поэтического слова, пластичную выразительность зримого образа — застывшего (живопись, скульптура) и в движении (балет)...

Судя по некоторым высказываниям, приведенным в этой книге, подобный синтез реализован. Создана наиболее современная, всеохватывающая форма искусства (Дж. Халас). «...искусство, границы которого совпадают с границами фантазии» (Д. Вукотич).

Кто-то, возможно, усмехнется, узнав, что речь идет о мультипликации. Многие ли принимают всерьез эти мультияшки, мультипульти? Люди смотрят их, чтобы посмеяться — веселым детским смехом. Один из авторов справедливо сетует: «Безликая масса мультфильмов, заполняющих кино и особенно телеэкраны, предназначена лишь для развлечения».

Итак, по убеждению одних — синтез искусств, а для кого-то — отрасль индустрии развлечений. Авторы книги — виднейшие режиссеры — мультипликаторы разных стран — рассуждают именно о возвышенной сущности своей профессии. Их взгляды обращены к вершинам, в то время как большинство людей этих вершин и в глаза не видели и вынуждены довольствоваться заурядными зрелищами. Мультипликация — продукт технической эпохи.

Благодаря технической оснащенности здесь можно творить волшебство, придавая зримость идеям и грезам. Но та же техника подчас множит «механический смех» по самым примитивным трафаретам. Впрочем, в каждом искусстве можно быть убогим ремесленником, в каждом ремесле — возвышенным искусником. Творчество большинства авторов этой книги само по себе без лишних слов доказывает оригинальность и выразительность искусства мультипликации.

Интересная закономерность обнаруживается, когда пытаешься осмыслить весь сборник в целом. Некогда Уолт Дисней, начав с небольших развлекательных роликов серий типа «Ну, погоди!» и детских непритязательных фильмов, перешел к крупным — по содержанию и объему — произведениям. А в мечтах уносился еще дальше: «Я не думаю, что будущее мультипликации принадлежит исключительно царству сказок и фантастики. Она может и должна внести свой вклад в развитие науки и образования». И вот теперь многих мастеров тоже стесняют малые формы и частные задачи. «Меня не интересует, — признается Б. Довникович, — кино атмосферы, чистой графики, живописности, цвета, звука. Меня интересуют прежде всего характеры». «Меня не привлекает краткость мультипликации... — вторит ему Ю. Норштейн. — Вполне возможно, что в мультипликацию может прийти романная форма». А Ф. Хитрук предвидит: «...завтра главным, решающим качеством станет способность осмысливать сложные и противоречивые процессы жизни... Мультипликация — искусство во многом еще не познанное и не разгаданное».

Неудовлетворенность мастера — залог роста его мастерства. В этом смысле понятны, оправданы и обнадеживающи высказывания о безграничных возможностях мультипликации и ограниченном их использовании.

Но в искусстве именно ограничения нередко способствуют большей выразительности (скажем, «тесные» рамки стихотворной формы). Относится это и к мультипликации.

В книге собраны мнения ведущих режиссеров. Может сложиться впечатление, будто режиссер является единственным автором мультфильма (показательно: хорошо подобранные иллюстрации — кадры из мультфильмов — приведены в книге без указания авторов-художников). А ведь режиссер далеко не всегда сам еще рисует,

озвучивает фильм, сочиняет сценарий, пишет музыку. Мультфильм — это итог не только содружества муз, но и содружества авторов под руководством режиссера. Если сверхзадача фильма будет сведена лишь к самовыражению режиссера, не будут ли этим обеднены возможности мультипликации?..

Книга «Мудрость вымысла» помогает осмыслить феномен мультипликации, уяснить творческое кредо мастеров этого жанра. Отсюда ее важная просветительская роль. Ведь чудо мультфильма возникает не в механическом чередовании кадров на плоскости экрана, а в момент ответного движения сочувствующей и сомнящейся человеческой души.

Р. Баладий.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

А. Васильев. Персидский залив в эпицентре бури. 288 стр. Цена 65 к.

А. Дихтярь. Стелль любит мужество. Повести о делах и людях партии. 270 стр. Цена 40 к.

Е. Добровольский. Город на речке Гусь. Документальная повесть. 254 стр. Цена 50 к.

Ю. Семенов. Лицом к лицу. 464 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Бажан. Раздумья и воспоминания. 335 стр. Цена 85 к.

Н. Матвеева. Закон песен. Стихи. 127 стр. Цена 60 к.

Писатель и время. Сборник документальной прозы. Составитель А. Гангус. 488 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Шубина. Невинный скворец. Повесть, рассказы. 247 стр. Цена 90 к.

Т. Чантурня. Медовый век. Стихи. Перевод с грузинского. 95 стр. Цена 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Воронько. Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 350 стр. Цена 2 р.

Р. Дорсанвилль. Кимби. Романы и рассказы. Перевод с французского. 288 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. Евтушенко. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1952—1964. 559 стр. Цена 3 р.

В. Солухин. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. Стихотворения. Лирические повести. 638 стр. Цена 2 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Абрамов. Трава-мурава. Миниатюры, рассказы. 110 стр. Цена 45 к.

М. Анчаров. Дорога через хаос. Роман, повести. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Горный. Литературные портреты. («Жизнь замечательных людей») 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

Л. Арабей. Созвездие Большой Медведицы. Роман. Перевод с белорусского. 252 стр. Цена 1 р. 20 к.

Р. Гамзатов. Вечный бой. Стихи и поэмы. Перевод с аварского. 430 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Давыдов. Назначение. Роман. 332 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Белов. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 1. Роман, рассказы. 591 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Ванеев. Наша ягода — брусника. Стихи. Перевод с коми. 159 стр. Цена 80 к.

Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти тт. Т. 1. Вставай, страна огромная... Составитель В. Заливако. 751 стр. Цена 3 р. 30 к.

Г. Прякин. Родные и близкие. Повести. 254 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. О детской литературе. Сборник. Составители В. Терновская, Н. Якушина. 430 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. Кассиль. Великое противостояние. Повесть. 399 стр. Цена 3 р.

В. Леонов. Мамин сын. Грушевый чертенок. Повести. 238 стр. Цена 65 к.

«РАДУГА»

С. Блаттер. А тоска все сильнее... Роман. Перевод с немецкого. 368 стр. Цена 2 р. 40 к.

Лабиринты ночи. Повести и рассказы. Перевод с арабского. 192 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Пушнаш. Четвертое измерение. Повести, рассказы. Перевод со словацкого. 272 стр. Цена 1 р. 90 к.

М. Русинек. Непотерянный рай. Роман. Перевод с польского 269 стр. Цена 1 р. 50 к.

«НАУКА»

Е. Будилова. Социально-психологические проблемы в русской науке. Вторая половина XIX — начало XX века. 230 стр. Цена 1 р.

М. Куличенко. Нация и социальный прогресс. 317 стр. Цена 1 р. 90 к.

Современные идеологические течения в Латинской Америке. Ответственный редактор А. Шульговский. 352 стр. Цена 3 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

П. Косенко. Вчера. Сегодня... Завтра? Дневник критики. Алма-Ата, «Жазушы». 224 стр. Цена 65 к.

Литературное Прикамье. Сборник очерков, рассказов, стихов. Составитель А. Крашенинников. Пермь. Книжное издательство. 175 стр. Цена 80 к.

О боях-пожарищах. Фронтовой фольклор и малоизвестные песенные тексты из армейских многотражных газет. Составитель П. Лебедев. Краснодар. Книжное издательство. 271 стр. Цена 1 р. 40 к.

Русская советская поэзия Урала. Антология. Составление и предисловие П. Сорокина. «Уральская библиотека». Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 415 стр. Цена 2 р. 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращать в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 23.11.83 г. Подписано к печати 13.01.84 г. А 02417.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,12 уч.-изд. л. Тираж 380.000 экз. Зак. 4022

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 00341.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 2, 1—272.